

CIVITAS TERRENA

Жан Жак  
РУССО

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ  
ДОГОВОРЕ



КАНОН-ПРЕСС  
КУЧКОВО ПОЛЕ



ЦФС



**СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ,  
ПОЛИТИКА И ПРАВО**

JEAN-JACQUES

ROUSSEAU

**TRAITÉS**

ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ

ЖАН ЖАК  
РУССО

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ  
ДОГОВОРЕ

ТРАКТАТЫ

МОСКВА  
КАНОН-ПРЕСС-Ц  
КУЧКОВО ПОЛЕ  
1998

**ББК 87.3**  
**Р89**

*Издание осуществлено при участии  
ГФ «Полиграфресурсы»,*

**CIVITAS TERRENA:**

**СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ, ПОЛИТИКА И ПРАВО**

Серия основана в 1998 году Центром Фундаментальной  
Социологии и издается под общей редакцией  
С. П. Баньковской, Н. Д. Саркитова и А. Ф. Филиппова

Ответственный редактор издательства Г. Э. Кучков

**Руссо Ж. Ж.**

**Р89** Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. —  
М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. — 416 с.  
(Малая серия «CIVITAS TERRENA: Социальная теория,  
политика и право» в серии «Публикации Центра Фун-  
даментальной Социологии»).

Первая книга большой серии «Публикации Центра Фундаментальной Социологии» являющейся совместным проектом ЦФС и издательства «КАНОН-пресс-Ц» представляет собой сборник основных общественно-политических трактатов великого французского философа, подлинного родоначальника теоретической социологии Жана Жака Руссо и адресована всем читателям, интересующимся вопросами философии истории, социологии и социальной теории в целом.

Р  $\frac{0301030000-12}{2ШО(03)-98}$  Без объявл.

**ББК 87.3**

**ISBN 5-87533-113-5**

- © Перевод, А. Д. Хаютин, 1998
- © Комментарии, В. С. Алексеев-Попов, 1998
- © Послесловие, А. Ф. Филиппов, 1998
- © Название серии CIVITAS TERRENA является зарегистрированным товарным знаком, 1998
- © Оформление и составление серии, издательство «КАНОН-пресс-Ц», 1998.

Изданием политических трактатов Жана Жака Руссо *Центр фундаментальной социологии и издательство «Канон-пресс-Ц»* начинает серию публикаций, посвященных основополагающим проблемам социальной теории. Мы исходим из того, что в современной России социология пребывает в процессе становления. Собственно социологии еще нет, хотя общественная потребность в ней велика. Отсутствие социологии не означает для нас отсутствие интересных, глубоких исследований и серьезных ученых. Оценивать ситуацию столь радикально значило бы не заметить подлинного существа проблемы. Дело в том, что у нас нет обширных и постоянных коммуникаций, тематизирующих, прежде всего, фундаментальную социологическую теорию, нет ни одного обширного концептуального построения (разветвленной теории), ни одного достаточно самостоятельного последователя (во всяком случае, *круга последователей*) признанной западной школы, нет и заметных претензий на создание своего собственного большого теоретического проекта.

Во главу угла мы ставим научную коммуникацию, а она возможна только тогда, когда исследователи хотя бы в принципе предполагают возможность говорить друг с другом *на одном научном языке*. А для этого требуется, чтобы они могли *читать одни и те же книги* и чтобы результаты их собственных теоретических изысканий могли быть доступны кругу заинтересованных коллег.

Во главу угла мы ставим именно теорию, и здесь необходима полная ясность. Именно состояние теоретической социологии в России не может считаться удовлетворительным. В первую очередь это сказывается в том, что привычный язык социальных описаний все меньше удовлетворяет исследователей. Если мы примем за отправную точку положение о том, что социологическая теория как таковая представляет собой не столько готовый результат познания,

сколько его инструмент, то роль так называемой «работы с понятиями» предстанет в новом свете. Чистое теоретизирование зачастую вызывает справедливые подозрения у тех исследователей, интересы которых носят более прикладной характер. Теория, не «положенная» на материал кажется в лучшем случае игрой ума, не способной удовлетворить более глубокие потребности в собственно научном знании как знании о *действительно происходящем*. Однако к теории можно подойти иначе, памятуя известную формулу Канта: понятия без созерцаний пусты, но созерцания без понятий слепы. Теория в этом смысле выполняет роль «продуктивной способности воображения», столь же необходимой науке, как и насыщение ее реальными данными. С этой точки зрения, мы предлагаем рассматривать теоретическую социологию как *ресурс социальных описаний*, не более того, но и не менее.

Разумеется, роль теоретика не ограничивается только выработкой ресурсов описания. Он идет к самой реальности, он рассматривает социологию — как говорили некогда великие немцы — как *науку о действительности*. А потому для него не могут иметь значения узкие границы дисциплины. Никогда нельзя быть заведомо уверенным, относится ли то или иное высказывание, исследование, теоретическое построение к социологии, политической науке, психологии, экономике, истории и т. д. Современное дисциплинарное членение сковывает социологию, негативно сказывается на ее социальном статусе и — будучи опрокинутым в прошлое — нередко способствует созданию самых диковинных представлений о характере, задачах и возможностях этой науки. Стремясь к преодолению этого бессмысленного дробления, мы в нашей большой серии «*Публикации Центра фундаментальной социологии*» предлагаем читателям следующие малые серии публикаций:

«*Град земной*» (*Civitas terrena*) назвали мы малую серию, посвященную социально-политическим теориям. Конечно, нам, сегодняшним, трудно придерживаться предложенного Блаженным Августином деления на «град земной» и «град Божий». И все-таки мы подчеркиваем именно это: политическая наука в самом широком смысле слова занимается не теми, кто живет «по духу», не высшими идеалами, но земным, грешным, себялюбивым человеком и свойственными ему формам общежития. В этой серии мы публикуем классиков социальной и политической мысли.

«*Conditio humana*» (что можно перевести и попроще: «условия человеческого существования», и более возвышенно: «удел человеческий») — малая серия, посвященная социальной и культурной антропологии. По существу, социология и антропология — это одна наука, что хорошо известно в одних странах и недооценивается в других. Более всего от такой недооценки страдает именно социология. В этой серии мы публикуем также работы по философской и культурной антропологии.

«*Studium sociale*» («Социальное исследование») — это малая серия, посвященная актуальным теоретико-социологическим проблемам. Она ориентирована как на классику социологии в самом узком, дисциплинарно ограниченном смысле этого слова, так и на лучшие образцы современных монографических публикаций.

Кроме того, в качестве четвертой малой серии мы намерены регулярно издавать ежегодники «Теория общества». Здесь будут представлены материалы, так или иначе связанные с тремя вышеупомянутыми малыми сериями, но представленные в ином, более скромном формате: статьями, докладами, отрывками из книг.

Публикации не заменяют исследований. Переводы (которые мы поневоле должны будем отдавать предпочтение) не могут заменить собственно теоретической работы. Наша издательская деятельность не исчерпывает всей деятельности Центра. Однако она нацелена на создание (по меньшей мере, участие в создании) тех необходимых, хотя и недостаточных условий, без которых дальнейшее развитие отечественной социологии представляется просто невозможным.

Жан Жак Руссо, с публикации произведений которого и начинается наша серия, был крупнейшим представителем философии французского Просвещения и подлинным родоначальником теоретической социологии. Именно это обстоятельство, да еще тот факт, что последний раз философские произведения Руссо публиковались лишь в 1969 году одной книгой и почему-то в серии «Литературные памятники», побудили нас начать нашу серию именно с Руссо.

Та сторона философских взглядов Руссо, которая более всего интересует нас с точки зрения содержания данной серии исследуется в заключительной статье «Систематическое значение политических трактатов Руссо для общей социологии», помещенной в конце этой книги в качестве

---

аналитического приложения. Такого рода аналитические статьи будут обязательными приложениями ко всем книгам малых серий «Civitas terrena», «Conditio humana» и «Studium sociale».

*Александр Филиппов*  
руководитель Центра фундаментальной социологии

*Светлана Баньковская,*  
руководитель исследовательских программ

*Николай Саркитов*  
руководитель издательских программ, директор  
издательства  
«Канон-пресс-Ц»

## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Переводы включенных в настоящее издание социально-политических трудов Жана Жака Руссо впервые увидели свет в 1969 году в однотомнике, опубликованном под названием «Трактаты» в серии «Литературные памятники»\*. Тираж в 30 тысяч экземпляров (немалый для небеллетристических произведений) был буквально «сметен» с прилавков магазинов «Академкниги», причем в столице и в крупных городах большинство книг «ушло» по предварительным заявкам. Подумывали и о втором издании...

А между тем сама мысль о публикации новых переводов главных политических (от др. греч. Πολιτικά (*множ.*) — искусство управлять государством) сочинений гражданина Женевы, как называл себя сам Руссо, принадлежала академику В. П. Волгину (1879—1962) автору многочисленных трудов по истории социалистических и коммунистических идей домарковского периода. Именно Волгин во время одной из встреч с доцентом Одесского университета В. С. Алексеевым-Поповым предложил издать «Трактаты» (название это уже на последней стадии подготовки книги к изданию «придумал» ныне уже покойный ученый секретарь «Литературных памятников» Д. В. Ознобишин. На первой стадии работы В. П. Волгин принял непосредственное участие в определении списка сочинений Руссо для включения в книгу, интересовался тем, как выполняются переводы. Немалую роль в интенсификации работы сыграла 250-я годовщина со дня рождения Ж. Ж. Руссо и научная конференция, посвященная этой годовщине, проведенная в Одесском университете.

Стало ясно, что все произведения, включаемые в книгу, придется переводить на русский язык заново (а некоторые —

---

\* Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., «Наука», 1969; в серии «Литературные памятники».

впервые). Причина — не только в многочисленных искажениях и даже прямых ошибках, имеющих в старых переводах\*, но, в первую очередь, как это выяснилось довольно скоро, в необходимости воссоздания на русском языке сложной, далеко не устоявшейся политической терминологии великого женева. Кроме того, по условиям времени и из-за ограниченности объема «Трактатов» отдельные произведения пришлось издавать в отрывках. Это относится не только к впервые переведенным на русский язык фрагментам незавершенных социально-политических сочинений Руссо («Соображения об образе Правления в Польше» и др.), но также и к представленным к публикации Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС выпискам Карла Маркса из «Общественного договора» Ж. Ж. Руссо, относящимся к 1843 году. Большое внимание при переводе было уделено соблюдению стиля эпохи и индивидуальной манеры письма Руссо. Наряду с использованием устоявшихся в русском языке средств выражения и отказом от переводческих неологизмов, такой цели послужило сохранение в переводе использованных Руссо заглавных букв (в написании ряда понятий-терминов, при определении оттенков их употребления — Государство, Правление, Правительство, Власть, Закон, Суверен, Общественный договор и др.) в обращении к Богу (причем в опубликованном тексте удалось отстоять только написания с заглавной буквы обращений к христианскому Богу, но не к богам других религий), а также сохранение курсива, служащего для выделения определенной части текста и выполняющего роль кавычек (например, в названиях упоминаемых Руссо книг и др. произведений).

Непосредственно переводческая работа заняла десять лет (1957—1967 гг.). На ее основе мною было проведено исследование и защита кандидатской диссертации на тему: «Общественно-политическая терминология Жана Жака Руссо в свете современной теории термина» (Калинин, 1970), была проведена и определенная текстологическая работа по сравнению различных изданий переведенных текстов.

В основу перевода текстов для «Трактатов» было положено двухтомное издание политических сочинений Руссо, осуществленное на языке оригинала английским исследова-

---

\* См. об этом: А. Д. Хаютин. Некоторые вопросы нового перевода политических сочинений Ж. Ж. Руссо. — В кн.: Из истории якобинской диктатуры, Одесса, изд. Одесского ун-та, 1962, с. 523 и след.

телем Ч. Воганом в канун первой мировой войны, впервые опубликованное в 1915 г. и переизданное почти одновременно с выходом в свет нашего перевода — ср.: J.-J. Rousseau. Political writings, edited from the original manuscripts and the authentic editions with introductions and notes by C. E. Vaughan. v. I-II, Cambridge, 1915, а также третий том «Собрания сочинений» Руссо в авторитетнейшей серии «Библиотека Плевады», издаваемой во Франции: J.-J. Rousseau. Oeuvres complètes, t. III. Contrat social et écrits politiques. Paris. «Bibliothèque Pléiade», 1964).

Подлинным «мотором» подготовки «Трактатов» был, к сожалению уже ушедший из жизни, В. С. Алексеев-Попов. Именно он привлек к работе над будущей книгой приехавшего из Тарту на конференцию, посвященную 250-летию со дня рождения Руссо, замечательного филолога Ю. М. Лотмана, а также Н. А. Полторацкого, Л. В. Борщевского и автора замечательной книги «Путь слова»\* Л. Я. Борового.

В. С. Алексеев-Попов по мере чтения и критики моих переводов стал подлинным соавтором перевода основных трактатов Руссо, а некоторые фрагменты и наброски в конце концов перевел сам. Ему же принадлежат заслуги подбора иллюстраций, причем интересно отметить, что он был едва ли не последним посетителем библиотеки музея в Архангельском под Москвой (бывшей усадьбы кн. Н. Б. Юсупова), который увидел и сумел запечатлеть в иллюстрациях, помещенных в «Трактатах», представленную там восковую статую Руссо; именно Алексееву-Попову принадлежит большинство комментариев к «Трактатам», причем эти комментарии удостоились высокой оценки специалистов. В целом именно Алексееву-Попову, в первую очередь, принадлежит заслуга представления «Трактатов» во всем многообразии средств литературного выражения мыслей Руссо по-русски. Недаром видный французский ученый, профессор Мишель Лонэ из университета г. Ниццы, в 1968 г. опубликовавший большую статью об идеях и методах изучения политического языка Жана Жака Руссо, на встрече с составителями «Трактатов» на семинаре в Одессе, потребовав прочитать ему по-русски отдельные места из перевода «Рассуждения о неравенстве», с удовлетворением отметил, что он «узнает» текст Руссо в русском переводе. Что еще может быть приятнее для переводчика?..

---

\* Боровой Л. Я. Путь слова. М., Сов. писатель. 1974, 960 с., с предисловием Л. Славина.

Состав данного сборника был определен конкретными целями и задачами предлагаемой вниманию читателей научной серии. В книгу были включены четыре завершённые работы, в которых Руссо исследует четыре относительно самостоятельные составляющие своего социально-философского учения. Кроме того издатели отошли от использованной в выпущенных в 1969 г. «Трактатах» системы обозначения сносок, несколько упростив ее, т. е. сведя все сноски к подстрочным, и обозначая их звездочками. Это связано с желанием облечить процесс чтения и с тем, что все *содержательные* постраничные сноски принадлежат самому Руссо. Переводчикам принадлежат лишь сноски, переводящие или поясняющие встречающиеся в тексте термины.

В комментариях к книге приняты следующие сокращенные обозначения:

Избр. соч. — Ж. Ж. Р у с с о. Избранные сочинения. Составитель И. Е. Верцман, т. I—III. М., 1961.

C. G. — J.-J. R o u s s e a u. Correspondance générale, t. I—XX. Paris, 1924—1934.

A. R. — «Annales de la Société J.-J. Rousseau», t. I—LXII. Genève, 1904—1963.

Работы Руссо по вопросам искусства, литературы, истории языка, его художественные произведения и «Исповедь» цитируются по первому из названных выше изданий.

Ссылки на «Эмиля» даются по русскому переводу П. Перова. Москва, 1896; при цитировании внесены некоторые исправления.

При указаниях на сочинения некоторых авторов, особенно часто цитируемых Руссо, помимо общей сноски на книгу и главу указаны и страницы по следующим изданиям:

Г. Г р о ц и й. О праве войны и мира. Перевод А. Л. Саккети, под ред. С. Б. Крылова. Три книги. М., 1956.

Т. Г о б б с. Избранные произведения. Под ред. В. В. Соколова, т. 1, 2. М., 1965.

Дени Д и д р о. Собрание сочинений в десяти томах. Под ред. М. К. Луппола. М.—Л., 1939—1940.

Д. Л о к к. Избранные философские произведения. Под ред. А. А. Макаровского, т. I, II. М., Соцэкгиз, 1960.

М. М о н т е н ь. Опыты. Подготовили А. С. Бобович, Ф. А. Коган-Бернштейн, Н. Я. Рыкова и А. А. Смирнов, т. I—III. М., 1958—1960. Серия «Литературные памятники».

Ш. М о н т е с к ь е. Избранные произведения. М., 1955.

П л у т а р х. Сравнительные жизнеописания. Подготовили М. Е. Грабарь-Пассек и С. Л. Маркиш, т. I—III. М., 1963. Серия «Литературные памятники».

Автор этого предисловия просит всех, у кого могут возникнуть какие-либо вопросы и замечания, связанные с данным изданием трактатов Ж. Ж. Руссо, обращаться в издательство «Канон-пресс-Ц» (111402. Москва. Вешняковская ул. 6—3—92. Для Хаятина А. Д.).

*Александр Хаятин*

Вольтер и Руссо — почти современники, а какое расстояние делит их! Вольтер еще борется с невежеством за цивилизацию. Руссо клеймит уже позором самую эту искусственную цивилизацию...

*А. И. Герцен*

Жан Жак Руссо «...не дожил до французской революции и был вполне искренен, когда сам лично всегда с ужасом думал о всяком насильственном перевороте, и все-таки его сочинения более, чем какие-либо другие, подготовили эту революцию. Руссо — философ революции. Она была лишь осуществлением его теорий. В этом заключается его культурно-философское значение...

Насколько мало сам Руссо думал о возможности реализовать свои идеалы путем насилия, настолько могущественной оказалась однако революционная сила его сочинений. Его столетие привыкло критиковать существующие во всех областях факты общественной жизни с точки зрения размышляющего разума. Оно привыкло понимать идеал разума как имеющий свое основание в природе вещей. Но никогда еще таким красноречивым образом и в таких величественных чертах, как это сделал Руссо, никто не апеллировал к естественному чувству, помимо разума и рассуждения... Руссо выговорил слово, рвавшееся с языка сотен тысяч людей, и его сочинения зазвучали по всей Европе, как лозунг движения, волны которого вздымались все выше и, наконец, смыли старые порядки. Если Руссо оказал подобное действие скорее, чем остальные (причем большей частью гораздо более крайние) мыслители, то это зависело от той ясной формы, в которой он изложил самую проблему умственной культуры...»

*Вильгельм Виндельбанд.*  
(«История Новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками»).

Я прочитал всего Руссо, все двадцать томов... Я больше, чем восхищался им, — я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо натального креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, что я их написал сам...

*Л. Н. Толстой*

Жан Жак Руссо родился 28 июня 1712 г. в Женеве, в семье часовщика\*. Несмотря на то, что будущий философ появился на свет в Швейцарии, он (а вернее, его семья) имел прямое отношение к Франции — предки Руссо были французскими ремесленниками, бежавшими из родной страны, спасаясь от преследований, которым подвергались там гугеноты (кстати сказать, мать Руссо — Сюзанна Бернар — была племянницей протестантского пастора). С другой стороны, тот факт, что будущий великий *французский* философ родился в Женеве, уже тогда отличавшейся редкой для того времени демократизацией общества, сыграл огромную роль в формировании его последующих социально-философских воззрений. Руссо до конца своих дней гордился тем, что родился как «свободный гражданин Женевской республики», и идеализировал ее, хотя не раз в моменты жесточайших преследований и связанных с ними скитаний мог убедиться (но, как это ни странно, так до конца и не убедился), что существующий в его представлении идеал очень далек от реальности.

С самого детства Жан Жак начал учиться ремеслу, однако это не мешало ему развиваться и в духовном плане, чему, в первую очередь, способствовало чтение, которому мальчик отдавал почти все свободное время. Пока Жан Жак жил с отцом, они часто, ночи напролет, вместе читали современную им художественную литературу. Позже, когда в 1722 году отец покинул Женеву\*\*, Жан Жак, которому в

---

\* Только что родившийся Руссо почти сразу же остался сиротой, поскольку его мать умерла вскоре после родов.

\*\* Исаак Руссо, отец будущего философа, вступил в конфликт с офицером французской службы и был вынужден уехать из Женевы.

наследство осталась библиотека деда, уже сам выбирал себе книги для чтения. Огромную роль в его дальнейшем интеллектуальном развитии сыграли прочитанные им произведения Бюффона, Фонтенеля, Вольтера, аббата Сен-Пьера. Особенно потрясли юного Руссо «Сравнительные жизнеописания» Плутарха.

Родственники отдали подростка Руссо в ученики. Мелочная опека мастера, принимавшая порой формы настоящей тирании, в конце концов вынудила Жана Жака бежать, что он и сделал в 1728 г. Однажды, скитаясь по Франции, Руссо нашел приют у почтенного аббата де Понвера, который решил обратить юного кальвиниста в католицизм. Опеку над Жаном Жаком аббат возложил на молодую еще женщину, баронессу Луизу де Варан, пользовавшуюся особым расположением римского папы.

Руссо отправили с письмом в Турин, в монастырь, где его должны были принять в лоно католической церкви и где он должен был пройти курс обучения в туринской духовной семинарии. Однако жизнь послушника не вызвала у Жана Жака восторга, а пример большинства духовных сановников показал юноше, что в большинстве из них больше лицемерия, чем добродетели. Руссо снова сбежал. Он служил лакеем у графини Версилис, затем чем-то вроде секретаря у аббата Гувона, но вскоре понял, что в далеком Турине он вряд ли найдет себя и решил вернуться в Аннеси к Луизе де Варан\*, у которой он в общей сложности провел

\* Этот и ряд последующих эпизодов в жизни Руссо, дают многим исследователям повод обвинять будущего философа в «нахлебничестве», представляя его чуть ли не альфонсом. Однако Руссо всю свою жизнь работал. И не только служа у кого-то в той или иной должности, но и с огромным упорством работал над собой, изучал науки, был сведущ в искусствах, был прекрасным литератором, музыкантом и композитором и состоялся, в конце концов, как великий представитель философии Просвещения, как один из немногих выдающихся теоретиков «естественного права» и создателей теории «общественного договора», как один из родоначальников сентиментализма и его крупнейший представитель. К людям, критически относившимся к жизни и, соответственно, к учению Руссо принадлежали и принадлежат многие мыслители. Вот как начинается свою главу о Руссо в своей знаменитой «Истории Новой философии...» В. Виндельбанда: «...О большинстве мыслителей французского Просвещения можно сказать, что они были интереснее, как личности, чем как философы. Это справедливо и относительно Вольтера, и относительно Дидро, но в наибольшей степени это справедливо по отношению к Жану Жаку Руссо. Запутанные, отличающиеся друг от друга, как свет и тень, пути его внешней и внутренней жизни известны из «Исповеди», в которой он не мог упустить случая, чтобы не пококетничать своими слабостями, так же как и своими достоинствами.

почти пятнадцать лет, впитав в себя многие положения, муссируемые в провинциальном интеллектуальном кружке своей покровительницы, развивавшем скептицизм XVII в. в том смысле, что все недостатки современного общества проистекают из низменной природы человека, в связи с чем совершенно бессмысленно пытаться изменить характер существующих общественных отношений. Такой взгляд на жизнь и пыталась воспитать (сразу отметим, что безуспешно) в Жане Жаке госпожа де Варан. Жизнь в патриархальной, далекой от бурных политических событий Савойе оказала на дальнейшее интеллектуальное и духовное развитие будущего философа очень большое влияние.

Весной 1740 г. Руссо покидает дом госпожи де Варан и отправляется в Лион, где занимает место гувернера детей начальника судебных установлений Мабли (братьями этого Мабли были знаменитый историк Габриэль Мабли и такой же знаменитый философ Кондильяк, с которым Руссо вскоре и познакомился).

В 1742 году Руссо переезжает в Париж. Начинается первый период его парижской жизни, оказавший решающее влияние на формирование Руссо-философа. Здесь он с жадностью использует все возможности чтобы увидеть и наблюдать поближе в салонах Парижа блистающих здесь Вольтера и Монтескье, Бюффона и Рейналя, Мармонтеля и Марииво, Фонтенеля, Тюрго, Кондорсе.

В июне 1743 г. Руссо на год отправился в Венецию в должности секретаря французского посланника в Венеции графа де Монтегю, который был совершенно негодным дипломатом. Всю работу выполнял Руссо, за что, вместо благодарности, получал лишь выговоры. В августе 1744 г. Руссо разорвал свои отношения с Монтегю и вернулся в Париж.

Первый парижский период в его жизни продолжался. Он познакомился и сблизился с уже тогда невероятно популярным философом Дени Дидро и не менее известным мате-

---

Тем не менее, побуждаемый неумным стремлением к образованию, он пробился в жизни удивительными окольными путями. Он убежал из учения, некоторое время был в услужении у одной богатой дамы, а позднее и у какого-то графа. Затем, избавившись из подобного положения, с удивительной изменчивостью искал себе места в различных областях, пока не нашел, наконец, малозавидное пристанище у некоей покровительницы. Когда позднее Руссо испытывал счастье в Париже, благодаря разносторонним знаниям и блестящим качествам своего ума, он с полным правом вступил в круг образованных людей. В личной жизни он заключил непонятную связь, висевшую камнем на его шее до самой смерти; и в то же время он жил в кругу энциклопедистов и называл Дидро своим другом\*...

матиком д'Аламбером и был привлечен ими к подготовке знаменитой «Энциклопедии». Но произошло это не сразу. Поначалу Дидро знал Руссо лишь как способного молодого литератора, пишущего на темы, связанные с музыкой, и решил поощрить его, поручив вести отдел музыки. Пока еще Руссо не пробовал своих писательских сил в области социальной критики\*. Все те мысли, которые позже выстраются в строгую систему знания, изложенную Руссо в его «Рассуждениях о происхождении и основаниях неравенства между людьми» и «Об общественном договоре...», пока еще не оформились в нечто цельное и ясное. Они еще дремали в сознании Руссо, и должны были рано или поздно обязательно вылиться в нечто оформленное и законченное, написанное на бумаге. И это вскоре произошло. И, как часто бывает в жизни, роль стимула, катализатора философской писательской деятельности Руссо сыграл случай. В 1749 г. Жан Жак отправился навестить содержащегося в заключении недалеко от Парижа Дидро (тот был арестован за опубликование его «Писем о слепых в назидание зрячим»). Чтобы не скучать, Руссо взял с собой один из номеров журнала «Французский Меркурий», в котором он прочел информацию о том, что Дижонская академия объявила конкурс на тему: «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» Вопрос, заключенный в названии конкурса буквально потряс Руссо, который впоследствии даже вспоминал об этом моменте как о некоем озарении. На самом деле формулировка темы конкурса оказалась тем стержнем, на который мгновенно и удачно нанизались все те мысли, чувства и наблюдения, накопленные и выстраданные Руссо за все предыдущие годы\*\*.

В этом же году Руссо написал «Рассуждение на тему о том, способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?», предложил его на конкурс и в 1750 г. стал

\* Но и в дальнейшем Руссо не привлекался Дидро в качестве автора статей социально-философского содержания. Даже статью «Равенство» (!) написал для «Энциклопедии» не он — великий певец Равноправия, — а другой автор.

\*\* Скитаясь в юности (причем пешком), после побегов из Женевы и из Турина, затем разыскивая Луизу де Варан, переехавшую из Савойи в Лион, а впоследствии убегая от преследований, которым он подвергался после опубликования «Эмиля», Руссо обошел и объездил практически всю Францию и как никто из его товарищей-энциклопедистов знал подлинную жизнь французского народа, которому Жан Жак безмерно сочувствовал, что и отразилось на всем его учении и стало основой эгалитаристских убеждений философа.

победителем этого конкурса. Осенью того же года под контролем самого Дидро это произведение было впервые опубликовано под названием, под которым оно публикуется и в этой нашей книге.

Дебют Руссо имел огромный успех. Книга пользовалась популярностью в кругах читателей всех сословий\*. К этому времени Руссо уже изменил свое семейное положение, сблизившись в 1745 г. с дочерью бедного чиновника швейцарки Терезы Левассер, которая одна своим трудом зарабатывала на пропитание всей семье. Руссо считал годы, проведенные с Терезой счастливыми, несмотря на то, что сам он принес этой женщине немало страданий, отказываясь оставлять в семье рождавшихся у них детей. Упорное желание Руссо, написавшего немало замечательных работ по основам новой педагогики, отдавать своих детей в воспитательный дом, до сих пор не нашло адекватного объяснения.

В 1753 г. все та же Дижонская академия объявила новую тему своего конкурса: «О происхождении и основаниях неравенства среди людей». Удивительным было то, что именно эта тема к тому времени уже несколько лет волновала Руссо. Разумеется молодой философ ухватился за эту идею. Как и предвидел Руссо, написанная работа не получи-

---

\* Вопрос, предложенный дижонской Академией для соискания премии, побудил его написать «Discours sur les sciences et les arts», появившийся в 1750 г.; это сочинение одним ударом обосновало его европейскую славу и поставило в ряды наиболее прославленных и читаемых писателей Франции. Его научное образование было недостаточно, его философское мышление поверхностно, его логика очень невыдержана. Однако его стиль был настолько же блестящ и увлекателен, как стиль Вольтера, и он даже превосходил Вольтера манерой писать, чарующей силой вдохновения, пронизывающею все его сочинения. Оттого-то влияние Руссо было громадно; он, пожалуй, больше, чем Вольтер, нашел себе почитателей и приверженцев как во Франции, так и за ее пределами, а молодой литературной Германии он был безусловно симпатичнее Вольтера. Но тот разлад с обществом, на который указывают его сочинения, был личным. При всем одушевлении, пробуждаемом его произведениями, он стоял одиноким. Своеобразие его образа мыслей делало его противником всех партий. К тому же в Руссо, в человеке, наиважнейшим догматом которого была несокрушимая и первоначальная доброта человеческой природы, присоединилась недоверчивость ко всем окружающим, коренящаяся в безмерном тщеславии и дошедшая до ясно выраженных признаков мании преследования. Дикие страсти и печальный опыт довершили остальное, затемнили его ум, и такое настроение характеризуется лучше всего тем, что после того, как Юм взял Руссо с собой в Англию, последний вскоре рассорился с ним там, вообразив, что его доброжелатель в заговоре с его врагами. По возвращении он жил, не вступая ни с кем в общение, в различных местах, куда его приглашали знатные почитатели, и умер одиноким и озлобленным...» (В. Виндельбанд. «История Новой философии...»).

ла премии, а в Европе нашлось мало людей которые смогли понять ее. И тем не менее, все это не помешало «Рассуждениям о происхождении и основаниях неравенства между людьми», получившим высочайшую оценку друзей Руссо, а особенно Дидро, сыграть огромную роль в развитии радикальной социальной критики XVIII и XIX вв.

К 1753—1754 гг. относится также создание весьма важной программной статьи Руссо «О Политической экономике»\* и уже в этот период начинают проявляться некоторое его несогласие с модными по тем временам убеждениями прогрессивных философов-просветителей. Как и они, Руссо выступал против старого общественного порядка, против феодально-абсолютистского строя, и, в то же время, не верил во всемогущее действие прогресса наук и искусств, выступал против просветительских иллюзий, против убеждений, что научно-технический прогресс (а вместе с ним и рост капитализма) приведут к благоденствию. Руссо все более склонялся к мысли о том, что искусства и науки — источник и спутник роскоши, имущественного неравенства, к которым он относился все хуже и хуже. И чем больше Руссо критиковал все это, тем круче расходились его пути с его другом Дидро и другими просветителями, что в конце концов привело к полному разрыву между ними.

Преследования, обрушившиеся на Руссо после выхода в свет «Эмиля»\*, не улучшили его из без того тяжелого характера. Попытка найти защиту в родной Женеве и в соседних Берне и Невшателе привели лишь к разочарованию в достоинствах швейцарских республик. Руссо принял приглашение Юма и в 1766 г. переехал в Англию, где начал работать над своей знаменитой «Исповедью». Прожив в Англии 5 лет, Руссо поссорился с Юмом и вернулся на континент, где предпочел жить затворником, работая над своими «Письмами с горы» и «Прогулками одинокого мечтателя». Так он и умер, одинокий в зените славы, которой он избегал всю свою жизнь, в маленьком городке Эрменонвилле 2 июля 1778 года.

*Николай Саркитов*

---

\* Это единственная социально-критическая статья, написанная Руссо для «Энциклопедии».

\*\* Роман «Эмиль, или О воспитании» был опубликован в 1762 г. За год до этого, в 1761 г., вышел в свет роман «Юлия, или Новая Элоиза».

**РАССУЖДЕНИЕ,  
ПОЛУЧИВШЕЕ ПРЕМИЮ  
ДИЖОНСКОЙ АКАДЕМИИ  
В 1750 ГОДУ ПО ВОПРОСУ,  
ПРЕДЛОЖЕННОМУ  
ЭТОЙ ЖЕ АКАДЕМИЕЙ:  
«СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ  
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАУК  
И ИСКУССТВ  
ОЧИЩЕНИЮ ПРАВОВ?»**

Barbarus hic ego sum, quia non  
intelligor illis

Ovid [ius]\*.

## ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ<sup>2</sup>

*Что такое известность? Вот злосчастный труд, коему я обязан моею известностью. Конечно же, это сочинение, которое принесло мне премию и создало мне имя, в лучшем случае — посредственно и, смею добавить, оно — одно из самых незначительных во всем этом издании<sup>3</sup>. Какой бездны терзаний совсем не знал бы автор, если бы это первое его сочинение было принято лишь так, как оно того заслуживало. Однако должно же было случиться, чтобы благосклонность, тогда еще неоправданная, навлекла на меня постепенно строгости, которые еще более несправедливы<sup>4</sup>.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ<sup>5</sup>

*Вот один из самых великих и прекрасных вопросов, которые когда-либо поднимались. В этом Рассуждении речь идет вовсе не о тех метафизических тонкостях, которые заполнили все области литературы и от которых не всегда свободны и академические программы, но об одной и тех истин, от коих зависит счастье человеческого рода.*

*Предвижу, что мне нелегко простят то, что я осмелился предложить свое решение в этом споре. Прямо падая на то, чем люди нынче восхищаются, я могу ожидать лишь всеобщего осуждения; и даже если удостоился одобрения нескольких Мудрецов<sup>6</sup>, не могу все же рассчитывать на одобрение Публики; и потому выбор мой сде-*

---

\* Я здесь чужеземец, ибо никто меня не понимает. О в и д и й<sup>7</sup> (лат.). — Тристин, V. Элегия X, стих 37.

лан: я не надеюсь угодить ни Остроумцам, ни Кумирам моды. Во все времена будут люди, которым суждено подчиняться воззрениям своего века, своей Страны и своего Общества. Иной корчит из себя сегодня Вольнодумца и Философа; по той же причине он обязательно был бы фанатиком во времена Лиги<sup>8</sup>. Совсем не для таких Читателей надо писать, если хочешь прожить долее своего века.

Еще одно слово, и я кончаю. Мало рассчитывая на ту честь, какая была мне оказана, я до такой степени переработал и расширил это Рассуждение после того, как отослал его, что сделал из него в некотором роде новое произведение<sup>9</sup>. Теперь же я счел себя обязанным восстановить сей труд в том виде, в каком он был отмечен премией. Я лишь вставил в него несколько примечаний и сохранил два добавления, которые легко увидеть<sup>10</sup> и которые, быть может, не получили бы одобрения Академии. Я считал, что справедливость, уважение и признательность требуют от меня, чтобы я сделал это предупреждение.

**РАССУЖДЕНИЕ ПО ВОПРОСУ:  
СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ  
НАУК И ИСКУССТВ  
ОЧИЩЕНИЮ ПРАВОВ?**

*Decipimur specie recti\**.

Возрождение Наук и Искусств очищению или же порче Правов<sup>11</sup> способствовало? Вот что предстоит нам рассмотреть. Чью сторону должен я принять в этом вопросе? Ту, господа, которая подобает порядочному человеку, если он ничего не знает, но не теряет из-за этого ни в какой мере уважения к самому себе.

Трудно будет, — и я это чувствую, — отстаивать то, что предстоит мне сказать, в том Суде, перед которым я выступаю. Как решиться хулить Науки перед одним из учнейших собраний в Европе, восхвалять невежество перед знаменитою Академией<sup>12</sup> и примирить презрение к научным занятиям с уважением к истинным Ученым? Я видел все эти противоречия, но они меня не остановили. Не Науку я оскорбляю, — сказал я самому себе, — Добродетель защищаю я перед людьми добродетельными. Честность для людей порядочных еще дороже, чем ученость для ученых. Чего же мне страшиться? Просвещенности ли собрания, меня слушающего? Да, я страшусь, признаюсь в этом; но за построение моей речи я опасаюсь, а не за мнение оратора. Справедливые Властители всегда без колебаний сами признавали себя неправыми, когда в спорах возникало сомнение; а для того, кто отстаивает правое

---

\* Мы, честные люди, обманываемся видимостью правды (лат.)<sup>13</sup>.  
Г о р а ц и й. Искусство поэзии, 25.

дело, положение всего благоприятнее, когда ему приходится защищаться перед честным и просвещенным противником, судьей в собственном своем деле.

К этому соображению, меня ободряющему, присоединяется еще и другое, заставляющее меня решиться: я принял сообразно природному моему разумению сторону истины, и чего бы я ни добился, одна награда все же не уйдет от меня — я найду ее в глубине моего сердца.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сколь величественно и прекрасно зрелище, когда видим мы, как человек в некотором роде выходит из небытия при помощи собственных своих усилий; как рассеивает он светом своего разума мрак<sup>14</sup>, коим окутала его природа, как поднимается он над самим собою, как возносится он в своих помыслах до небесных пределов; как проходит он гигантскими шагами, подобно солнцу, по обширным пространствам Вселенной, и — что важнее еще и труднее, — как он углубляется в самого себя, чтобы в себе самом изучить человека и познать его природу, его обязанности и его судьбу. И все эти чудеса вновь совершились на памяти недавних поколений<sup>15</sup>.

Европа уже опять впадала в варварство первых веков<sup>16</sup>. Народы этой части света, ныне столь просвещенные, жили несколько столетий тому назад в состоянии худшем, чем невежество. Не знаю, какой наукоподобный жаргон, еще более презренный, чем само невежество<sup>17</sup>, присвоил себе право называться наукой и поставил возвращению настоящего знания почти неодолимые препятствия. Нужен был переворот, чтобы опять привести людей к здравому смыслу; и он пришел, наконец, с той стороны, с которой его меньше всего можно было бы ждать. Тупой мусульманин<sup>18</sup>, этот извечный гонитель литературы, — вот кто возродил ее среди нас. С падением трона Константина<sup>19</sup> обломки Древней Греции были перенесены в Италию. Франция в свою очередь обогатилась от этих драгоценных останков. Вскоре за литературою последовали науки; к искусству писать присоединилось искусство мыслить; последовательность эта кажется странной, и все же она, быть может, более, чем естественна: и людям стало открываться глав-

ное преимущество общения с музами, — преимущество это делает людей более общительными, так как оно внушает им при помощи произведений, достойных общего одобрения, желание друг другу понравиться.

У духа есть свои потребности, как и у тела. Эти последние образуют самые основания общества; первые же придают ему приятность. В то время как Правительство и Законы обеспечивают безопасность и благополучие объединившихся людей, Науки, Литература и Искусства — менее деспотичные, но, быть может, более могущественные, — покрывают гирляндами цветов железные цепи<sup>20</sup>, коими опутаны эти люди; подавляют в них чувство той истинной свободы, для которой они, казалось бы, рождены; заставляют их любить свое рабское состояние и превращают их в то, что называется цивилизованными народами. Необходимость воздвигла троны; Науки и Искусства их укрепили. Сильные мира сего, возлюбите дарования и покровительствуйте тем, кто их развивает\*.

Цивилизованные народы, развивайте дарования: счастливые рабы, вы им обязаны этим нежным и тонким вкусом, которым вы кичитесь, этой кротостью характера и благоразумною сдержанностью нравов, которые делают общение между вами столь тесным и легким; одним словом, дарования дают вам видимость всех добродетелей, хоть вы и не обладаете из них ни одною.

Вот такого рода обходительностью, тем более приятною, чем менее она старается себя показать, отличались некогда Афины и Рим в столь превозносимые дни их величия и блеска; безусловно, благодаря этой же именно обходительности и наш век, и наша Нация переживут все времена и все народы. Философский тон без педантизма, естественные и все же предупредительные манеры, равно далекие как от германской грубости, так и от итальянского

---

\* Государи всегда рады видеть, как среди их подданных распространяется вкус к приятным искусствам и к излишествам, если это не влечет за собою вывоза денег; ибо, помимо того, что таким путем они воспитывают в подданных душевное убожество, столь присущее рабству, они еще очень хорошо знают, что все потребности, которые теперь появляются у народа, суть цепи, которые он сам на себя возлагает. Александр, желая удержатъ ихтиофагов в зависимом от него положении<sup>21</sup>, принудил их отказаться от рыбной ловли и питаться теми же продуктами, что и другие народы; но дикарей Америки, которые ходят совершенно нагими и живут лишь тем, что им приносит охота, так и не удалось покорить; в самом деле, какое ярмо можно наложить на людей, которым ничего не нужно?

фиглярства, — вот плоды вкуса, приобретенного основательными занятиями и усовершенствованного в светском общении.

Как было бы приятно жить среди нас<sup>22</sup>, если бы внешность всегда выражала подлинные душевные склонности, если бы благопристойность была добродетелью, если бы наши возвышенные моральные афоризмы служили нам в самом деле правилами поведения, если бы настоящая философия была неотделима от звания философа! Но столь многие качества слишком редко оказываются вместе, и добродетель едва ли шествует с такою пышною свитой. Богатство наряда может говорить нам о зажиточности человека, а его изящество — о том, что это человек со вкусом, но здоровый и крепкий человек узнается по другим приметам: под деревенской одеждою землепашца, а не под шитым золотым нарядом придворного, — вот где окажется сильное и крепкое тело. Наряды не менее чужды добродетели, которая есть сила и крепость души. Добродетельный человек — это атлет, который находит удовольствие в том, чтобы сражаться нагим; он презирает все эти ничтожные украшения, которые помешали бы ему проявить свою силу и большая часть которых была изобретена лишь для того, чтобы скрыть какое-нибудь уродство.

До того, как искусство обтесало наши манеры и научило наши страсти говорить готовым языком, нравы у нас были грубые и простые, но естественные, и различие в поведении с первого взгляда говорило о различии характеров. Человеческая природа, в сущности, не была лучшей, но люди видели свою безопасность в легкости, с какою они понимали друг друга, и это преимущество, ценности которого мы уже не чувствуем, избавляло их от многих пороков.

Ныне, когда более хитроумные ухищрения и более тонкий вкус свели искусство нравиться к определенным принципам, в наших нравах воцарилось низкое обманчивое однообразие, и все умы кажутся отлитыми в одной и той же форме: вежливость без конца чего-то требует, благопристойность приказывает, мы без конца следуем обычаем и никогда — собственному своему разуму. Люди уже не решаются казаться тем, что они есть; и при таком постоянном принуждении эти люди, составляющие стадо, именуемое обществом, поставленные в одинаковые условия, бу-

дуг все делать то же самое, если только более могущественные причины их от этого не отвратят. Никогда не знаешь как следует, с кем имеешь дело: для того, чтобы узнать своего друга, нужно таким образом ждать крупных событий, т. е. ждать, когда на это уже нет больше времени, так как именно ради этих событий и было бы важно узнать, кто твой друг.

Какая вереница пороков тянется за этуо неуверенностью. Нет больше ни искренней дружбы, ни настоящего уважения, ни обоснованного доверия. Подозрения, недоверие, страхи, холодность, сдержанность, ненависть постоянно скрываются под этим неизменным и коварным обличьем вежливости, под этуо столь хваленою благовоспитанностью, которой мы обязаны просвещенности нашего века. Никто уже не станет помянуть всуе имя Владыки вселенной, но его оскорбляют богохульством, и это не оскорбляет наш слух. Люди уже не превозносят свои собственные заслуги, но они умяляют заслуги других людей. Никто уже не станет грубо оскорблять своего врага, но его умеют ловко оклеветать. Национальная вражда угасает, но вместе с нею угасает и любовь к Отечеству. Невежество, достойное презрения, заменяется опасным пирронизмом<sup>23</sup>. Появляются недозволенные излишества, бесчестные пороки; но иные из пороков и излишеств награждаются именем добродетелей; нужно обладать ими или притворяться, что ими обладаешь. Пусть кто угодно превозносит воздержанность мудрецов нашего времени; я же вижу в этом лишь утонченную развращенность, столь же мало достойную моей похвалы, как их искусственная простота\*.

Вот какой чистоты достигли наши нравы; вот как стали мы добродетельными людьми. Литература, науки и искусства вправе требовать, чтобы оценили по достоинству то, что принадлежит им в этом столь спасительном превращении. Я добавлю только одно соображение: если бы житель каких-нибудь отдаленных стран попытался создать себе представление о европейских нравах, исходя из состояния наук в наших странах, из совершенства наших искусств,

---

\* «Я люблю, — говорит Монтень, — беседование и спор, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо служить зрелищем для великих мира сего и выставлять напоказ свой ум и умение болтать я считаю делом вовсе неподобающим для порядочного человека»<sup>24</sup>. Таково ремесло всех наших остроумцев, кроме одного<sup>25</sup>.

из благопристойности наших театральных представлений, из мягкости наших манер, из приветливости наших речей и из того, как люди всякого возраста от утренней зари до заката солнца, казалось бы, только и делают, что наперебой стараются перещеголять друг друга в услужливости, — то у этого чужеземца сложилось бы о наших нравах представление как раз обратное тому, что они собой представляют в действительности.

Там, где нет никакого результата, там нечего искать и какой-либо причины, но здесь результат несомненен — явная испорченность; и наши души развратились по мере того, как шли к совершенству наши науки и искусства. Можно ли сказать, что это несчастье свойственно лишь нашему веку? Нет, господа, беды, вызванные нашим ненужным любопытством, стары, как мир. Ежедневные приливы и отливы вод Океана не более связаны с движением планеты, что светит нам по ночам<sup>26</sup>, чем судьба нравов и честности с успехами наук и искусств. Люди видели, что добродетель исчезла по мере того, как их сияние поднималось все выше над нашим горизонтом, и то же явление наблюдалось во все времена и повсеместно.

Возьмите Египет — эту первую школу вселенной — с его благодатным климатом под медным, раскаленным небом; взгляните на эту знаменитую страну, откуда Сезострис<sup>27</sup> некогда отправился завоевывать мир. Эта страна становится матерью философии и изящных искусств, и вскоре после этого — завоевана Камбизом, затем греками, римлянами, арабами и, наконец, турками<sup>28</sup>.

Возьмите Грецию, некогда населенную героями, которые дважды одолели Азию, один раз у Трои, а другой — у собственных своих очагов<sup>29</sup>. Рождающаяся литература не внесла еще испорченности в сердца ее обитателей; но развитие искусств, разложение нравов и иго македонца последовали непосредственно одно за другим; и Греция по-прежнему ученая, по-прежнему сладострастная и по-прежнему поработанная в результате происходивших в ней переворотов получала лишь новых повелителей<sup>30</sup>. Все красноречие Демосфена<sup>31</sup> никак не могло оживить организм, обесиленный роскошью и искусствами.

Во времена Энниев и Теренциев<sup>32</sup> — вот когда Рим, основанный пастухом<sup>33</sup> и прославленный земледельцами<sup>34</sup>, начинает приходить в упадок. Но после Овидиев, Катул-

лов, Марциалов<sup>35</sup> и этой толпы непристойных писателей, одни имена которых возмущают стыдливость, Рим, бывший когда-то храмом добродетели, превращается в театр преступлений, позор народов и игрушку варваров. Эта столица мира пала в конце концов под тяжестью ярма, которое она наложила на столь многие народы, и накануне дня ее падения одному из ее граждан был пожалован титул «арбитра хорошего вкуса»<sup>36</sup>.

А что скажу я о том центре Восточной империи<sup>37</sup>, который по своему положению, казалось бы, должен был быть центром всего мира, об этом прибежище наук и искусств, изгнанных из остальной части Европы, быть может, скорее вследствие осмотрительности, нежели из варварства? Все, что в разврате и испорченности есть самого постыдного — в изменах, убийствах и отравлениях, — самого черного, все, что есть в скопищах всех преступлений самого жестокого, — вот что образует основу истории Константинополя; вот он, чистый источник, из которого просочились к нам знания<sup>38</sup>, коими кичится наш век.

Но к чему нам искать в далеких временах доказательства той истины, подтверждения которой налицо перед нами? В Азии есть огромная страна<sup>39</sup>, где литература в почете и ведет к самым высоким должностям в государстве. Если бы науки очищали нравы, если бы учили они людей проливать кровь за свое отечество, если бы внушали они мужество, то народы Китая должны были быть мудрыми, свободными и непобедимыми. Но если нет такого порока, который не властвовал бы над ними, если нет такого преступления, которое не было бы у них обычным, если ни познания министров, ни так называемая мудрость законов, ни многочисленность жителей этой обширной империи не смогли ее оградить от ига невежественного и грубого монгола<sup>40</sup>, — то пригодилась ли ей все ее ученые? Что получила страна от почестей, коими они осыпаны? Не то ли, что населяют ее рабы и злодеи?

Противопоставим этому картину нравов немногочисленных народов, которые, предохранив себя от этой заразы ненужных знаний, своими добродетелями создали собственное свое счастье и явили собою пример для других народов. Таковы были древние персы — удивительная нация, где изучали добродетель<sup>41</sup>, как у нас изучают науку, которая с такою легкостью покорила Азию и которая,

единственная, прославилась тем, что история ее установлений стала восприниматься как философский роман<sup>42</sup>. Таковы были скифы<sup>43</sup>, о которых до нас дошли столь восторженные хвалебные отзывы. Таковы были германцы; перо, уставшее описывать преступления<sup>44</sup> и мерзости образованного, богатого и сластолюбивого народа, с чувством облегчения рисовало их простоту, невинность и добродетели. Таков был даже Рим во времена своей бедности и неведения; такой, наконец, показала себя до наших дней эта нация крестьян<sup>45</sup>, столь превозносимая за храбрость, которую не смогли сломить бедствия, и за верность, которую не мог поколебать дурной пример\*.

Отнюдь не по глупости предпочли эти последние упражнения ума иные упражнения. Они не могли не знать, что в других странах праздные люди проводят жизнь в спорах о высшем благе, о пороке и о добродетели и что спесивые болтуны, расточая сами себе величайшие похвалы, все остальные народы смешивают в один, под одним презрительным прозвищем варваров. Но эти варвары присмотрелись к их нравам и научились презирать их ученость\*\*.

Забуду ли я, что из самых недр Греции поднялся этот город, столь же знаменитый счастливым своим неведением, как и мудростью своих законов; эта республика скорее полубогов, чем людей, настолько добродетели их, казалось, превосходили все человеческое? О, Спарта, вечное посрамление бесплодной учености!<sup>46</sup> В то время, как пороки, предводительствуемые изящными искусствами, вместе

\* Я не осмеливаюсь говорить здесь о счастливых народах, не ведающих даже названий тех пороков, с которыми нам так трудно справиться, об этих дикарях Америки, чей простой и естественный уклад жизни Монтень без колебаний предпочитает не только законам Платона<sup>47</sup>, но даже всему тому самому совершенному, что философия когда бы то ни было сможет изобрести для управления народами. Он приводит тому множество разительных примеров для тех, кто способен этим восхищаться. «*Но ведь, — говорит он, — они не носят коротких штанов!*»<sup>48</sup>.

\*\* По совести, пусть мне скажут, какого мнения должны были быть сами афиняне о красноречии, когда они его так старательно изгоняли из неподкупного совета, чьи приговоры не оспаривали сами боги? Что думали римляне о медицине, когда изгнали ее из своей Республики?<sup>49</sup> А когда кое-какие остатки человечности заставили испанцев запретить своим законникам въезд в Америку, какое представление должны были они иметь о юриспруденции? Не скажете ли вы, что они думали одним этим поступком искупить все зло, которое они причинили этим несчастным индейцам?<sup>50</sup>

с ними проникали в Афины, где тиран с таким старанием собирал творения первого из поэтов<sup>51</sup>, ты изгнала из своих стен искусства и художников, науки и ученых!

Исход событий показал цену этих различий. Афины стали обителью вежливости и хорошего вкуса, страну ораторов и философов; изящество строений соответствовало в этом городе изяществу языка: повсюду видны были там мрамор и холст, оживленные руками искуснейших мастеров; из Афин вышли эти удивительные произведения, которые будут служить образцами во все развращенные века. Лакедемон<sup>52</sup> являл собою менее блистательную картину. Там, — говорили другие народы, — *люди рождаются добродетельными и кажется, что сам воздух этой страны внушает добродетель*. От ее обитателей нам кажется лишь память о их героических деяниях. Разве такие памятники должны иметь для нас меньше цены, чем мраморные изваяния, что остались нам от Афин?

Некоторые мудрецы, правда, противостояли общему потоку и убереглись от порока в обители муз. Но послушайте, какое суждение высказал первый и самый несчастный из этих мудрецов<sup>53</sup> о художниках своего времени:

«Я изучил, — говорит он, — поэтов, и смотрю на них как на людей, чье дарование вводит в заблуждение их самих и других: они выдают себя за мудрецов, их считают таковыми, но они менее всего мудрецы.

От поэтов, — продолжает Сократ, — я перешел к художникам. Никто не был большим невеждою в искусствах, чем я; никто не был больше меня убежден, что художники владеют весьма замечательными секретами. Между тем я увидел, что их положение не лучше положения поэтов и что все они, и те и другие, пребывают во власти одного и того же предрассудка. Самые искусные из них достигли совершенства в своем деле и потому считают себя мудрейшими из людей. Это их самомнение заставило поустынь в моих глазах весь блеск их знания: так что поставив себя на место оракула и вопрошая себя, кем бы я предпочел быть — самим собою или ими, — зная то, чему они научились, или же зная, что я ничего не знаю, я ответил самому себе и Богу: я хочу остаться самим собою.

Мы не знаем — ни софисты, ни поэты, ни ораторы, ни художники, ни я, — что есть истина, добро, красота. Но есть между нами то различие, что хотя эти люди ничего

не знают, все они полагают, что знают кое-что; тогда как я, если и ничего не знаю, то, по меньшей мере, не имею на этот счет никаких сомнений. Так что все это превосходство, дарованное мне оракулом, сводится лишь к тому, что я твердо убежден в том, что мне неизвестно то, чего я не знаю».

Итак, вы видите, что самый мудрый из людей, по суждению богов, и самый ученый из афинян, по мнению всей Греции, Сократ, воздает хвалу неведению! Можно ли верить, что если бы вновь ожил он среди нас в наше время, наши ученые и художники заставили бы его изменить свое мнение? Нет, милостивые государи: этот справедливый человек продолжал бы презирать наши ненужные науки; он никак не способствовал бы приумножению той массы книг, коими засыпают нас со всех сторон, и он оставил бы, как он это и сделал, в назидание своим ученикам и нашим внукам лишь свой пример и память о своих добродетелях. Вот так хорошо поучать людей.

Сначала Сократ в Афинах, за ним Катон Старший в Риме<sup>54</sup> обрушились на этих коварных и хитрых греков, которые создавали соблазны для добродетели и ослабляли мужество своих сограждан. Но науки, искусства и диалектика все же восторжествовали: Рим переполнялся философами и ораторами; военная дисциплина оказалась в пренебрежении; к земледелию стали относиться с презрением; люди разделились на секты и забыли об общем отечестве. Вместо священных слов: свобода, бескорыстие, повинование законам, появились имена: Эпикур, Зенон, Аркесилай<sup>55</sup>. *С тех пор, как среди нас начали появляться ученые, — говорили их собственные философы, — добродетельные люди сокрылись*<sup>56</sup>. До тех пор римляне довольствовались тем, что поступали добродетельно; все погибло, когда они начали изучать добродетель.

О, Фабриций!<sup>57</sup> Что почувствовала бы ваша великая душа, если бы на ваше несчастье, вновь вызванный к жизни, вы увидели пышное обличье Рима, который спасен был некогда вашей рукою и который честное ваше имя прославило больше, чем все его завоевания? «Боги! — сказали бы вы, — во что превратились эти соломенные крыши и скромные очаги, где некогда обитали умеренность и добродетель? Какое пагубное великолепие сменило римскую простоту? Что это за незнакомый язык?»<sup>58</sup> что за изнежен-

ные нравы? что означают эти статуи, эти картины, эти здания? Безумные, что вы наделали? Вы, повелители народов, вы превратились в рабов тех никчемных людей, которых вы покорили!<sup>59</sup> Риторы — вот кто правит вами! Для того, чтобы обогатить архитекторов, художников, скульпторов и комедиантов — вот для чего оросили вы вашу кровью Грецию и Азию! Останки Карфагена стали добычей флейтиста!<sup>60</sup> Римляне, спешите же уничтожить эти амфитеатры; разбейте эти мраморные изваяния, сожгите эти картины! Изгоните рабов, которые вас себе подчиняют, и пагубные искусства их, вас развращающие. Пусть другие руки прославляют себя ненужными дарованиями; единственное дарование, достойное Рима, — это завоевание мира, чтобы установить в нем царство добродетели<sup>61</sup>. Когда Киней принял наш сенат за собрание царей<sup>62</sup>, он не был ослеплен ни ненужною пышностью, ни изысканною утонченностью; он не услышал там никчемного красноречия, в котором изощряются и находят наслаждение праздные люди. Что же увидел Киней такого величественного? О, граждане! он увидел зрелище, какого никогда не дадут вам ни ваши богатства, ни все ваши искусства, самое прекрасное зрелище, которое когда-либо видели под небесами: собрание двухсот добродетельных людей, достойных повелевать в Риме и править землею».

Но давайте перенесемся через века и пространства и посмотрим, что произошло в наших странах и у нас на глазах; или нет — лучше отбросим отвратительные картины, которые могли бы задеть нашу чувствительность, и избавим себя от труда повторять то же самое под другими названиями. Не напрасно вызвал я тень Фабриция и заставил ли я сказать этого великого человека хоть что-нибудь такое, чего я не смог бы вложить в уста Людовика XII или Генриха IV?<sup>63</sup> В наше время, правда, Сократу не пришлось бы выпить сок цикуты, но ему пришлось бы испить нечто еще более горькое — отвратительные насмешки и презрение, что во сто раз хуже, чем смерть.

Вот каким образом роскошь, распущенность и рабство во все времена становились наказанием за все исполненные гордыни попытки выйти из счастливого неведения, в которое погрузила нас вечная Мудрость. Густая пелена, которую покрыла она все свои действия, казалось, достаточно предупреждала нас о том, что она вовсе не предназначала

нас для ненужных и пустых разысканий. Но сумели ли мы воспользоваться или безнаказанно пренебречь хоть одним из ее уроков? Народы, знайте же раз навсегда, что природа хотела уберечь вас от знания, как мать, которая вырывает опасный предмет из рук своего дитяти; что все тайны, которые она от нас скрывает, — это беды, от которых она нас ограждает; что трудности учения — это не меньшее из ее благодеяний. Люди испорчены; они могли бы быть еще хуже, если бы имели несчастье родиться учеными.

Сколь унизительны для человечества подобные размышления! сколь должна от них страдать наша гордость! Как! честность — это дочь невежества? науки и добродетель — несовместимы? Каких только выводов нельзя сделать из этих предпосылок? Но чтобы примирить эти кажущиеся противоположности, нужно лишь увидеть, как напрасны и пусты те горделивые названия, которые нас ослепляют и которые мы так легко даем человеческим знаниям. Рассмотрим же науки и искусства сами по себе: посмотрим, к чему должны привести их успехи; и без колебаний примем все те выводы из наших рассуждений, которые окажутся в согласии с выводами истории.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Древнее предание, перешедшее из Египта в Грецию, говорит, что тот из богов, который был врагом людского покоя<sup>64</sup>, был изобретателем наук\*. Что же должны были думать о науках сами египтяне, среди которых они зародились? Дело в том, что они видели перед собою источники, науки породившие. В самом деле, если перелистаем мы все летописи мира и даже восполним, при помощи разных философских построений, все пробелы в очень сбивчивых хрониках, мы не найдем такого источника человеческих знаний, который отвечал бы нашим любимым представ-

\* Нетрудно понять аллегорическое сказание о Прометее; и не похоже на то, чтобы греки, приковавшие его на Кавказе<sup>65</sup>, думали о нем сколько-нибудь лучше, чем египтяне о своем боге Тоте. «Сатир, — рассказывается в одной старинной басне, — увидев впервые огонь, хотел его обнять и поцеловать, но Прометей крикнул ему: «Сатир, ты будешь оплакивать бороду на твоём подбородке, ибо огонь жжется, когда к нему прикасаются»<sup>66</sup>. Таков сюжет фронтисписа.

лениям о их происхождении. Астрономия родилась из суеверий; красноречие — из честолюбия, ненависти, лести, лжи; геометрия — из скупости; физика — из праздного любопытства, — все они и даже сама мораль вместе с ними — из человеческой гордыни. Науки и искусства, таким образом, обязаны своим происхождением нашим порокам<sup>67</sup>: мы бы меньше сомневались в их достоинствах, если бы своим происхождением обязаны они были нашим добродетелям.

Порочное их происхождение даже слишком наглядно открывается перед нами снова в том, чему они служат. К чему были бы нам искусства, если бы не питающая их роскошь? Не будь людской несправедливости, зачем понадобилась бы нам юриспруденция? Что случилось бы с историей, если бы не было ни таранов, ни войн, ни заговорщиков? Одним словом, кто бы захотел проводить свою жизнь в бесплодном созерцании, если бы каждый, соображаясь лишь с обязанностями человека и с требованиями природы, отдавал все свое время только родине, несчастным и своим друзьям? Неужто мы созданы для того, чтобы умереть прикованными к краям колодца, в котором скрылась истина?<sup>68</sup> Одно только это соображение должно было с первых шагов отпугнуть всякого человека, который всерьез стремился бы просветиться, изучая философию.

Сколько опасностей, сколько ложных путей угрожают нам в научных исследованиях! Через сколько ошибок, в тысячу раз более опасных, чем польза, приносимая истиною, нужно пройти, чтобы этой истины достигнуть? Несоразмерность затрат и результатов очевидна: ибо ложное может выступать в бесконечных сочетаниях, истина же существует лишь в одном виде<sup>69</sup>. Впрочем, кто же ищет ее со всею искренностью? Даже при самом большом желании, по каким признакам можно с уверенностью ее узнать? В этой толчее различных мнений, что будет нашим *критерием*, позволяющим верно судить о ней?\*. И что всего труднее, — если по счастью мы найдем, наконец,

---

\* Чем меньше люди знают, тем более сведущими они себя считают. Разве перипатетики в чем-либо сомневались?<sup>70</sup> Разве Декарт не построил вселенную из кубов и вихрей?<sup>71</sup> И разве даже теперь в Европе найдется настолько плохой физик, который не взялся бы бойко объяснять глубокую тайну электричества<sup>72</sup>, хотя она, вероятно, всегда будет приводить в отчаяние истинных философов?

этот критерий, — кто из нас сумеет правильно его применить?

Если наши науки бессильны решить те задачи, которые они перед собою ставят, то они еще более опасны по тем результатам, к которым они приводят. Рожденные в праздности, они, в свою очередь, питают праздность, и невозместимая потеря времени — вот в чем, раньше всего, выражается вред, который они неизбежно приносят обществу. В политике, как и в морали, не делать никакого добра — это большое зло; и каждый бесполезный гражданин может рассматриваться как человек вредный<sup>73</sup>. Ответьте же мне, знаменитые философы, вы, которые открыли нам, почему тела притягивают друг друга в пустоте<sup>74</sup>; каковы при обращении планет отношения пространств, пройденных за равные промежутки времени<sup>75</sup>; какие кривые имеют сопряженные точки<sup>76</sup>, точки склонения и точки изгиба; как человек все видит в Боге<sup>77</sup>; как душа и тело отвечают друг другу<sup>78</sup> не сообщаясь так же, как двое часов в разных местах; какие небесные тела могут быть обитаемы<sup>79</sup>; какие насекомые размножаются необычным образом<sup>80</sup>, — ответьте мне, говорю я, вы, которые дали нам столько блистательных открытий: если бы вы не узнали ничего из этих вещей, были бы мы менее многочисленны, хуже управляемы, менее грозны для врагов, процветали бы меньше или были бы менее порочны? Подумайте же еще раз о значении ваших произведений и если самые просвещенные труды наших ученых и наших лучших граждан для нас столь малополезны, скажите нам, что должны мы думать об этой толпе безвестных писателей и праздных грамотеев, которые высасывают жизненные соки государства, не принося ровно никакой пользы.

Праздных, говорю я? О, если бы Богу было угодно, чтобы так было на самом деле! Нравы были бы тогда здоровее, а общество — спокойнее. Но эти бесполезные и ничтожные витии наступают на нас со всех сторон, вооруженные своими пагубными парадоксами, подкапываются под самые основы веры<sup>81</sup> и уничтожают добродетель. Они презрительно улыбаются, когда слышат старые эти слова: «родина», «религия» и обращают свои дарования и свою философию на то, чтобы все, что есть у людей святого, разрушить и опорочить. И не то, чтобы они ненавидели в самом деле добродетель и наши догматы; они — враги об-

щественного мнения; и чтобы снова привести их к подножию алтарей, достаточно было бы зачислить их в безбожники. О, это неистовое желание — отличаться — тех, кому это не дано!

Это большое зло — потеря времени. Но зло еще худшее несут с собою литература и искусство. Такое зло — роскошь, рожденная, как и они, из праздности и людского тщеславия<sup>82</sup>. Роскошь редко обходится без наук и искусств, они же никогда не обходятся без роскоши. Я знаю, что наша философия, неистощимая в изобретении удивительных афоризмов, утверждает, вопреки всему вековому опыту, что роскошь сообщает блеск государствам<sup>83</sup>; но, забыв о необходимости законов против роскоши, осмелится ли она также отрицать, что долговечность империй зиждется на добрых нравах и что роскошь представляет собою диаметрально противоположность добрым нравам? Пусть роскошь представляет собою достоверный признак богатства; пусть она даже служит, если угодно, для умножения богатств: что же следует заключить из этого парадокса, столь достойного наших дней? и что станется с добродетелью, если люди будут вынуждены обогащаться любой ценою? Политики древности беспрестанно говорили о нравах и о добродетели; наши — говорят лишь о торговле и о деньгах<sup>84</sup>. Один вам скажет, что человек стóит в такой-то стране столько, сколько можно было бы за него получить, если продать его в Алжир<sup>85</sup>; другой, следуя тому же расчету, найдет такие страны, где человек не стоит ничего<sup>86</sup>, и такие, где он стоит меньше, чем ничего. Они оценивают людей как стада скота. По их мнению, ценность человека в Государстве определяется лишь тем, что он в этом Государстве потребляет; таким образом, один сибарит стоил бы добрых тридцати лакедемонян<sup>87</sup>. Вот и угадайте, которая из этих двух республик, Спарта или Сибарис, была покорена горстью крестьян<sup>88</sup> и которая из них повергла в трепет Азию.

Монархию Кира завоевал с тридцатью тысячами человек государь<sup>89</sup> более бедный, чем самый незначительный из персидских сатрапов; а скифы, самый нищий из всех народов, противостояли самым могущественным монархам вселенной<sup>90</sup>. Две знаменитые республики оспаривали друг у друга власть над миром<sup>91</sup>; одна из них была очень богатой, у другой — не было ничего, и именно эта последняя

разрушила первую. Римская империя, поглотив все богатство мира, стала добычей людей, даже не знавших, что такое богатство. Франки завоевали Галлию, саксы — Англию<sup>92</sup>, не имея иных сокровищ, кроме храбрости и бедности. Толпа бедных горцев, все вождения которых не шли дальше нескольких бараньих шкур, унизив гордыню австрийцев, сокрушила затем богатейшую и грозную Бургундскую династию<sup>93</sup>, приводившую в трепет властителей Европы. Наконец, все могущество и вся мудрость наследника Карла V<sup>94</sup>, подкрепленные всеми сокровищами Индии, разбились о горсточку ловцов сельдей<sup>95</sup>. Пусть наши политики соблаговолит прекратить свои подсчеты и поразмыслят над этими примерами, и пусть они раз и навсегда поймут, что за деньги можно приобрести все, кроме добрых нравов и обычаев добрых граждан.

О чем же, строго говоря, идет речь, когда мы рассуждаем о роскоши? О том, чтобы узнать, что важнее всего для держав: быть блестящими и существовать недолго или добродетельными и долговечными? Я говорю блестящими, но каким блеском? Склонность к пышности едва ли уживется в одних и тех же душах с любовью к честности. Нет, невозможно, чтобы умы, погрязшие во множестве ничтожных забот, возвысились когда-нибудь до чего-либо великого, и если бы даже у них и хватило на это сил, им не хватило бы на то мужества.

Каждому художнику желанны рукоплескания. Похвалы современников — это самая драгоценная часть его награды. Что же ему делать, чтобы заслужить эти похвалы, если он имел несчастье родиться среди такого народа и в такое время, когда вошедшие в моду ученые позволили легкомысленной молодежи задавать тон; когда мужи жертвуют своими вкусами в угоду тиранам их свободы\*;

---

\* Я весьма далек от того, чтобы считать, что такое влияние женщин есть само по себе зло. Это дар, которым их наградила природа; лучше направляемое, это влияние могло бы принести столько же добра, сколько зло оно причиняет сегодня. Никто еще не поймет, какие выгоды приобрело бы общество, если бы эта половина человеческого рода, которая управляет другою, получала лучшее воспитание. Мужчины всегда будут такими, как это будет угодно женщинам: если же вы хотите, чтобы они стали великими и добродетельными, научите женщин тому, что есть величие души и добродетель. Рассуждения, которые влечет за собою эта тема и которыми некогда занимался Платон, заслуживают дальнейшего развития под пером, имеющим право писать о том же после столь великого мастера и защищать столь великое дело.

когда один пол решается одобрять лишь то, что соответствует малодушию другого, и потому терпят провал шедевры драматической поэзии<sup>96</sup> и отвергаются чудеса гармонии?<sup>97</sup> Что же сделает художник, господа? Он принизит свой геней до уровня своего века и предпочтет создавать произведения посредственные, которыми будут восхищаться при его жизни, нежели чудеса искусства, которыми будут восхищаться лишь через долгое время после его смерти. Скажите нам, знаменитый Аруэ<sup>98</sup>, сколько откровенных и сильных красот принесли Вы в жертву нашим ложным приличиям! и скольких великих созданий стоил Вам дух галантности, породивший столько безделушек!

Так распушенность нравов — неизбежное следствие роскоши — в свою очередь ведет к испорченности вкуса. Если же случайно среди людей выдающихся по своим дарованиям, найдется один, у которого достанет твердости в душе, чтобы не примениться к духу своего века и не унижить себя жалкими творениями, — то горе ему! Он умрет в нужде и забвении. И это не пророчество, а плоды горького опыта! Карл, Пьер<sup>99</sup>, пришло время, когда кисть, предназначенная для того, чтобы умножать величие храмов наших изображениями возвышенными и священными, выпадет из ваших рук или будет осквернена тем, что станет украшать непристойными картинками дверцы экипажей<sup>100</sup>. А ты, соперник Праксителя и Фидия<sup>101</sup>, чьим резцом древние могли бы воспользоваться, чтобы творить себе богов, способных оправдать в наших глазах их идолопоклонство, неподражаемый Пигаль, твоей руке придется лепить животы смешных уродцев<sup>102</sup>, или — она не найдет себе работы.

Размышляя о нравах, нельзя не вспомнить с наслаждением картины простоты обычаев первобытных времен. Это — прекрасное побережье, украшенное руками одной только природы, к которому беспрестанно обращаются наши взоры и от которого отдаляешься столь неохотно. Когда люди были невинны и добродетельны, они хотели, чтобы боги были свидетелями их поступков, и они жили с богами под одной и тою же крышею; но вскоре, когда люди стали недобрыми, им наскучили эти неудобные свидетели и они удалили их в величественные храмы. В конце концов, они изгнали богов и оттуда, чтобы обосноваться в этих храмах самим, или, по меньшей мере, храмы богов уже перестали отличаться от домов людей. Это было преде-

лом упадка нравов, и никогда пороки не заходили столь далеко, как в то время, когда их, так сказать, поддерживали мраморные колонны и когда они у входа во дворцы великих мира сего были запечатлены в коринфских капителях.

Пока умножаются жизненные удобства, совершенствуются искусства и распространяется роскошь, истинное мужество хиреет, воинские доблести исчезают; и все это тоже дело наук и всех этих искусств, что развиваются в тиши кабинетов. Когда готы опустошили Грецию<sup>103</sup>, все библиотеки были спасены от сожжения лишь благодаря тому, что один из победителей подумал: надо оставить врагам то их достояние, которое так удачно отвращает их от военных упражнений и располагает к занятиям праздным и требующим сидячего образа жизни. Карл VIII оказался повелителем Тосканы<sup>104</sup>, почти не обнажая шпаги; а весь его двор приписал эту неожиданную легкость победы тому, что итальянские государи и дворянство больше увлекались остроумием и ученостью, чем занимались упражнениями, развивающими силу и воинское рвение. В самом деле, говорит тот здравомыслящий человек<sup>105</sup>, который приводит эти два случая, все эти примеры учат нас, что при таком военном порядке — и при всяком ему подобном — изучение наук гораздо более способствует расслаблению и утрате мужества, чем укреплению этих чувств и воодушевлению людей.

Римляне признавались, что воинская доблесть исчезала среди них по мере того, как они начинали понимать толк в картинах, гравюрах<sup>106</sup>, сосудах из золота и серебра и заниматься изящными искусствами; и, как если бы эта знаменитая страна была предназначена судьбою постоянно служить примером для других народов, возвышение дома Медичи и возрождение искусств<sup>107</sup> вновь и, быть может, навсегда погубили ту воинскую славу, которую Италия, казалось, возвратила себе за несколько веков перед тем.

Древнегреческие республики с той мудростью, какую блещет бóльшая часть их установлений, запретили своим гражданам заниматься всеми теми спокойными и требующими сидячего положения ремеслами, которые, ослабляя и разрушая тело, слишком рано иссушают стойкость души. В самом деле, как, думаете вы, смогут встретиться

лицом к лицу с жаждой, усталостью, опасностями и смертью люди, которых малейшая нужда угнетает, а малейшая трудность лишает мужества? Откуда возьмется у солдат мужество, чтобы нести непомерные тяготы, к которым у них нет никакой привычки? Откуда возьмется у них пыл, чтобы совершать вынужденные переходы под командованием офицеров, которые не в силах держаться в седле? Пусть не указывают мне в ответ на прославленную доблесть всех этих современных воинов, которые вымуштрованы столь умело. Мне весьма расхваливают их храбрость в день битвы, но мне никак не объясняют, как они выдерживают чрезмерное напряжение, как они переносят капризы разных времен года и непогоды. Достаточно, чтобы немного пригрело солнце или выпал снег, достаточно лишить этих воинов некоторых удобств, чтобы в несколько дней рассеять и уничтожить лучшую из наших армий. Бесстрашные воины, стерпите однажды правду, которую вам столь редко приходится слышать. Вы храбры, я это знаю; вы одержали бы с Ганнибалом победу при Каннах и при Тразимене<sup>108</sup>; Цезарь пересек бы с вами Рубикон<sup>109</sup> и поработил свою страну: но никак не с вами перешел бы Ганнибал через Альпы и не с вами победил бы Цезарь ваших предков<sup>110</sup>.

Битвы не всегда решают успех войны, и добиться успеха — это для генералов искусство более высокое, чем искусство выигрывать сражения. Иной бесстрашно бросается в огонь, но это не мешает ему быть очень плохим офицером; и даже солдату, пожалуй, нужнее немного больше силы и выносливости, чем такая храбрость, которая не оберегает его от смерти. И не все ли равно для государства, как погибнут его войска: от лихорадки ли и простуды или от неприятельского оружия.

Если развитие наук вредно отражается на воинских качествах, то на свойствах моральных оно отражается еще более вредно. С первых же лет нашей жизни безрассудное воспитание изощряет наш ум<sup>111</sup> и извращает наши суждения. Я вижу повсюду бесчисленные заведения, где с большими затратами воспитывают молодежь, чтобы научить ее всему, но только не выполнению ее обязанностей. Ваши дети не будут знать своего родного языка, зато они научатся говорить на других языках, которые нигде не употребляются; они научатся слагать стихи, которые они сами

едва ли смогут понимать, не умея отличать заблуждения от истины, они овладеют искусством делать их, с помощью благовидных доказательств, неразличимыми и для других; но они не будут знать, что означают слова: великодушие, справедливость, воздержание, человечность; сладостное слово «родина» никогда не дойдет до их слуха, и, если перед ними говорят о Боге, то не столько для того, чтобы они почитали Бога, сколько чтобы они его боялись\*. Я бы предпочел, сказал один мудрец<sup>112</sup>, чтобы мой ученик проводил время, играя в мяч, это, по меньшей мере, сделало бы его тело подвижным. Я знаю, что детей нужно как-то занимать и что праздность есть для них самая страшная опасность. Чему же они должны научиться? Вот, поистине, удивительный вопрос! Пусть они учатся тому, что они должны будут делать, когда станут мужчинами\*\*, а не тому, что они должны позабыть.

\* «Философские мысли»<sup>113</sup>.

\*\* Таково было воспитание спартиатов, по свидетельству самого великого из их царей<sup>114</sup>. «Достоин величайшего внимания, — говорит Монтень, — что в превосходном наставлении о государственном устройстве у Ликурга, поистине удивительном по своему совершенству и уделяющем однако столь много внимания прокормлению детей, как главной своей задаче, в самом этом пристанище муз, так редко упоминается об учении; как будто этому презирующему всякое иное ярмо юношеству вместо наших учителей наук дали лишь учителей доблести, благоразумия и справедливости»<sup>115</sup>.

Посмотрим теперь, как говорит этот же писатель о древних персах: Платон, говорит наш автор, рассказывает<sup>116</sup>, что «старший сын их царствующей династии воспитывался следующим образом. После рождения его поручали не женщинам, но двум евнухам, пользовавшимся наибольшим доверием царей по причине их добродетели. Они заботились о том, чтобы сделать его тело красивым и здоровым, и, когда ему исполнилось семь лет, заставляли его садиться на коня и отправляться на охоту. Когда он достигал четырнадцатилетнего возраста, они передавали его в руки четверки: самого мудрого, самого справедливого, самого воздержанного и самого доблестного из всей нации. Первый учил его религии, второй — быть всегда правдивым; третий — побеждать свою жадность; четвертый — ничего не бояться»<sup>117</sup>. Все, добавлю я, стремились сделать его благонравным и ни один — ученым.

«Астиаг, — говорит у Ксенофонта, — спросил у Кира<sup>118</sup> о его последнем уроке. В нашей школе, — отвечал тот, — высокий мальчик, имевший короткий хитон, отдал его одному из своих товарищей меньшего роста и забрал у того принадлежащий ему более длинный хитон. Когда наш наставник предложил мне быть судьей в этом споре, я рассудил, что следует сохранить такое положение вещей, и это будет удобнее всего для обоих. В ответ на это он мне доказал, что я поступил плохо; ибо я исходил только из соображений удобства, а следовало прежде всего иметь в виду справедливость, которая требует, чтобы ни у кого не отнимали силу то, что ему принадлежит; и еще сказал, что мальчика

Наши сады украшены статуями, а наши галереи — картинами. Что же, по-вашему, изображают эти шедевры искусства, выставленные для всеобщего обозрения — защитников отечества или еще более великих людей, кои обогатили его своими добродетелями? Нет. Эти картины изображают все заблуждения сердца и ума<sup>119</sup>, заботливо выбранные из древней мифологии и выставленные на обозрение нашим детям с их ранних лет, вне сомнения, для того, чтобы у них всегда были перед глазами примеры дурных поступков даже прежде, чем они выучатся читать.

Откуда рождаются все эти заблуждения, если не из пагубного неравенства<sup>120</sup>, появившегося среди людей из-за различия дарований и унижения добродетелей? Вот самый очевидный результат всех наших занятий и самое опасное из всех их последствий. Уже не спрашивают больше о человеке, честен ли он, но — есть ли у него дарования; ни о книге, полезна ли она, но — хорошо ли она написана. Награды щедро расточаются остроумию, а для добродетели уже не остается никаких почестей. Есть тысячи наград за прекрасные речи, и ни одной — за прекрасные деяния. Пусть мне все скажут, можно ли сравнить славу лучшего из рассуждений, которые будут увенчаны наградами в этой академии, с заслугами того, кто учредил эти награды.

Мудрец вовсе не гонится за богатством, но он не равнодушен к славе; и когда он видит, как дурно она бывает распределена, его добродетель, которую дух соревнования оживил бы и сделал бы полезною для общества, начинает томиться и постепенно угасает в нищете и безвестности. Вот к чему должно в конце концов привести повсеместное предпочтение дарований приятных дарованиям полезным, и это слишком хорошо подтверждается и нашим опытом со времен обновления наук и искусств. У нас есть физики, геометры, химики, астрономы, поэты, музыканты, художники — у нас нет больше граждан; и если они еще и остались, рассеянные по нашим глухим деревням, то погибают там в бедности и пренебрежении<sup>121</sup>. Таково положение,

---

*за это высекли точно так же, как секут нас в деревне, когда мы забываем первый аорист от глагола τβητω\**<sup>1</sup>. *Мой учитель должен был произнести превосходную речь in genere demonstrativo*<sup>2</sup>, прежде чем убедил меня, что его школа может сравниться с тою».

\*<sup>1</sup> Я бью (греч.).

\*<sup>2</sup> В образцовом, показательном роде (лат.).

до которого они теперь низведены; вот какие чувства выказываем мы тем, кто дает нам хлеб, а нашим детям молоко.

Я признаю, однако, что зло не столь велико, как оно могло бы быть. Всевышняя прозорливость, помещая рядом с вредоносными растениями обычные целебные травы, а в самом теле многих ядовитых животных противоядие от их укусов, научила властителей, которые суть ее слуги, подражать ее мудрости. И вот, следуя ее примеру, из самых недр наук и искусств, источников тысячи неурядиц, этот великий монарх<sup>122</sup>, чья слава из века в век будет лишь возрастать, извлек эти знаменитые общества<sup>123</sup>, наделенные одновременно опасным грузом человеческих знаний и священным бременем нравственности; общества, прославившиеся благодаря тому вниманию, которое они уделяют поддержанию чистоты нравов, и благодаря требованию такой чистоты нравов от новых членов.

Эти мудрые установления, упроченные его августейшим преемником<sup>124</sup> и послужившие образцом для всех королей Европы<sup>125</sup>, послужат, по меньшей мере, уздой для литераторов, которые все поголовно, стремясь к чести быть принятыми в академии, будут следить за собою и будут стараться удостоиться этого в награду за полезные труды и безупречные нравы. Те из собраний, которые для соискания премий, присуждаемых за литературные достоинства, изберут темы, способные возродить в сердцах граждан любовь к добродетели, покажут, что такая любовь царит безраздельно среди их участников, и дадут народам столь редкое и приятное наслаждение увидеть, что ученые общества приносят человеческому роду не одни только приятные знания, но и благотворные наставления.

Пусть же не приводят мне в качестве возражения то, что есть для меня лишь новое доказательство моей правоты. Многочисленность принимаемых мер только слишком хорошо доказывает, что эти меры нужно принимать, и мы вовсе не ищем лекарства от несуществующих болезней. Почему же нужно, чтобы эти меры из-за их недостаточности носили все еще характер обычных лекарств? Многочисленность учреждений, созданных для пользы ученых, может еще более привлечь внимание к самим предметам наук и обратить умы к их изучению. Можно подумать, если судить по принимаемым предосторожностям, что зем-

ледельцев слишком много и что следует бояться недостатка философов. Я вовсе не хочу приводить рискованное сравнение между земледелием и философией: этого никто бы не поддержал. Я только спрошу: что такое философия? что содержат писания наиболее известных философов? каковы уроки этих друзей мудрости? Если их послушать, разве нельзя их принять за толпу шарлатанов, что кричат каждый свое на общественной площади: идите ко мне, только я один никогда не ошибаюсь? Один утверждает, что тел вообще нет в природе и что все есть мое представление о них<sup>126</sup>; другой, — что нет ни иного вещества, кроме материи, ни иного бога, кроме вселенной<sup>127</sup>. Этот заявляет, что не существует ни добродетелей, ни пороков и что добро и зло в области нравственности — это выдумки<sup>128</sup>; тот — что люди суть волки<sup>129</sup> и могут со спокойною совестью пожирать друг друга. О, великие философы! Почему не оставляете вы для друзей и детей своих эти полезные уроки? вы бы сразу были за них вознаграждены, и мы не боялись бы найти в ком-нибудь из наших друзей или детей одного из ваших приверженцев.

Вот каковы они, эти удивительные люди, которым еще при жизни их современников так щедро расточали свое уважение и которым после кончины было уготовано бессмертие! вот те мудрые наставления, которые мы от них получили и которые мы передаем из поколения в поколение нашим потомкам! Разве язычество, подверженное всем заблуждениям человеческого разума, оставило потомству что-либо, что можно было бы сравнить с постыдными памятниками, которые уготовило ему книгопечатание, в царстве Евангелия? Нечестивые писания Левкиппа и Диагора<sup>130</sup> погибли вместе с ними — еще не было изобретено искусство увековечивать странные причуды человеческого разума; но благодаря типографским литерам\* и тому

---

\* Если посмотреть на ужасающие неурядицы, которые книгопечатание уже породило в Европе, если судить о будущем по тем успехам, которые делает зло изо дня в день, легко можно предвидеть, что наши властители не преминут приложить к изгнанию этого ужасного зла из своих государств столько же усилий, сколько потратили они на его распространение. Султан Ахмет<sup>131</sup>, уступая настояниям нескольких так называемых людей со вкусом, согласился устроить в Константинополе типографию, но едва был пущен в ход типографский пресс, как его пришлось уничтожить и выбросить части его в колодезь. Говорят, что халиф Омар<sup>132</sup>, когда его спросили о том, как поступить с Александрийской библиотекой, ответил в таких выражениях: «Если книги этой библиотеки содержат

применению, какое мы им находим, опасные заблуждения Гоббсов и Спиноз<sup>135</sup> сохраняются навеки. Прославленные писания, на которые не были способны невежественные и грубые отцы наши, соединитесь у наших потомков с этими еще более опасными сочинениями, что дышат испорченностью нравов нашего времени, и, все вместе, несите грядущим векам достоверную историю развития и успехов наших наук и наших искусств. Если прочтут они вас, у них не останется никаких сомнений относительно того вопроса, который мы сегодня поднимаем; и, если только не будут они еще безрассуднее, чем мы, то возденут руки к небу и скажут с горечью в сердце: «Боже всемогущий, ты, который властвуешь над умами, освободи нас от знаний и от пагубных искусств отцов наших и верни нам неведение, невинность и бедность — единственные блага, которые могут составить наше счастье и которые только и будут драгоценными в твоих глазах».

Но если успехи наук и искусств ничего не прибавили к нашему истинному счастью, если они испортили наши нравы и нанесли ущерб чистоте вкуса, что подумаем мы о толпе наивных писателей, что убрали перед храмом муз преграды, защищавшие доступ к нему и расставленные природою как испытание силы для тех, кого прельщает знание? Что подумаем мы об этих компиляторах, нескромно взломавших двери науки и впусивших в святилище ее чернь, недостойную приближаться к этому святилищу, тогда как следовало бы желать, чтобы все те, кто не может продвинуться далеко на поприще литературы, были отогнаны от входа в святилище и занялись ремеслами, полезными для общества? Тот, кто всю свою жизнь был бы скверным рифмоплетом, посредственным геометром, быть может, стал бы великим в изготовлении тканей. Никакие учителя не понадобились тем, кому природою было предназначено создать школу. Бэконы, Декарты и Ньютоны<sup>136</sup> — эти наставники человеческого рода, сами не имели никаких наставников; — и какие педагоги привели бы

---

вещи, противоречащие Алькорану, — то они дурны и их следует сжечь, если же они содержат лишь те же учения, что и Алькоран, опять-таки сожгите их, потому что они излишни». Наши ученые приводили это рассуждение как верх нелепости<sup>133</sup>. Однако же, представьте себе на месте Омара Григория Великого<sup>134</sup>, а вместо Алькорана — Евангелие, библиотека опять-таки была бы сожжена, и это было бы, быть может, самым прекрасным деянием этого знаменитого первосвященника.

их туда, куда вознес этих людей их могучий гений? Заурядные учителя могли бы лишь ограничить их кругозор узкими рамками своих собственных возможностей. Ведь именно первые препятствия научили их прилагать усилия и помогли им преодолеть то огромное пространство, которое они прошли. Если и нужно позволить некоторым людям посвятить себя изучению наук и искусств, то лишь только тем, кто почувствует в себе силы, чтобы самостоятельно идти по их стопам и опередить их; этим немногим и следует воздвигать памятники во славу человеческого ума. Но если мы хотим, чтобы ничто не было ниже их гения, нужно, чтобы ничто не было ниже их ожиданий — вот то единственное поощрение, в котором они нуждаются. Душа незаметно приходит в соответствие с тем, что ее занимает, и лишь великие события создают великих людей. Первейший в красноречии был в Риме консулом<sup>137</sup>, а, может быть, величайший из философов — канцлером Англии<sup>138</sup>. Как вы считаете, если бы один из них занимал лишь кафедру в каком-нибудь университете, а другой достиг лишь скромного академического содержания; как вы считаете, спрашиваю я, на их произведениях не сказалось бы их положение в обществе? Пусть же короли не гнушаются допускать в свои советы людей более всего способных быть для них хорошими советчиками; пусть откажутся они от этого давнего предубеждения, порожденного гордынею вельмож, что искусство править народами труднее, чем искусство их просвещать; будто легче заставить людей поступать хорошо по собственному желанию, чем принуждать их к тому же с помощью силы; пусть первоклассные ученые получают при дворе почетный кров; пусть они получают там единственную достойную их награду: возможность содействовать своим влиянием счастью народов, которые они научат мудрости; лишь тогда увидят люди, на что способны добродетель, наука и власть, возбуждаемые духом благородного соревнования и действующие в согласии на благо человеческому роду. Но до тех пор, пока с одной стороны будет только власть, а с другой — только знания и мудрость, ученые редко будут думать о великих вещах, государи будут совершать хорошие поступки еще реже, а народы будут все так же порочны, испорчены и несчастны.

Что до нас, людей обыкновенных, которым небо не отпустило столь великих дарований и которых оно не пред-

назначает к подобной славе, то давайте по-прежнему остаемся в тени. Не будем гнаться за известностью, коей мы не достигнем и которая при настоящем положении вещей никогда не воздаст нам того, что она нам стоила, если бы у нас были все права, чтобы ее добиться. Зачем же искать наше счастье в мнении других, когда мы можем его найти в самих себе. Предоставим другим заботу учить народы их долгу и ограничимся тем, что будем хорошо выполнять свой долг; нам нет нужды знать об этом больше.

О добродетель, возвышенная наука простых душ! Нужно ли, право, столько усилий и приспособлений, чтобы тебя познать? Разве не запечатлены во всех сердцах твои принципы? и разве, чтобы узнать твои законы, не достаточно ли уйти в самого себя и прислушаться к голосу своей совести, когда страсти безмолвствуют?<sup>139</sup> Вот истинная философия, научимся же ею довольствоваться; и, не завидуя славе тех знаменитых людей, которые достигают бессмертия в республике ученых, попытаемся провести между ними и нами то почетное различие, которое замечали когда-то между двумя великими Народами<sup>140</sup>: один из них умел хорошо говорить, а другой — хорошо поступать.

**РАССУЖДЕНИЕ  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ  
И ОСНОВАНИЯХ НЕРАВЕНСТВА  
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ**

Non in depravatis, sed in his quae  
bene secundum naturam se habent,  
considerandum est quid sit naturale.  
*Aristot[eles]. Politic[a], lib. I, cap. II\**.

## **ЖЕНЕВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ<sup>1</sup>**

### **СИЯТЕЛЬНЕЙШИЕ, ВЫСОКОЧТИМЫЕ И ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРИ!**

Будучи убежден, что лишь добродетельному гражданину подобает воздавать своему отечеству почести, которые оно могло бы открыто принять, я вот уже тридцать лет тружусь<sup>2</sup>, чтобы заслужить право принести вам публично дань уважения; теперь счастливый случай отчасти восполняет то, чего не смогли сделать мои усилия, и я счел, что мне позволено будет более сообразоваться с одушевляющим меня рвением, чем с правом, которое должно было бы дать мне на то достаточные полномочия. Так как я имел счастье родиться среди вас, то как могу я размышлять о равенстве между людьми, которое предуказано самой природою, и о неравенстве, которое установлено людьми<sup>3</sup>, не задумываясь над глубокой мудростью, с которою и то и другое, счастливо сочетаясь в этом Государстве, способствуют, наиболее приближающимся к естественному закону и наиболее благоприятным для общества образом, поддержанию общественного порядка и счастью частных лиц? Доискиваясь принципов, которые здравый смысл может внушить касательно устройства Правления, я был так поражен, когда увидел их все в действии в вашем Правлении, что даже если бы я и не родился в стенах ваших, я не смог бы, полагаю, не преподнести эту картину человеческого общества тому из всех народов, который, как мне кажется, пользуется самыми большими благами такого Правления и лучше всех других сумел предупредить возможные злоупотребления.

---

\* «Не по извращенному, но по тому, что вполне сообразно с природой, должно заключать о том, что естественно». *Аристотель*<sup>4</sup>. Политика, кн. I, гл. II (лат.).

Если бы мне было дано избрать место моего рождения, я избрал бы общество, численность коего была бы ограничена<sup>5</sup> объемом человеческих способностей, то есть возможностью быть хорошо управляемым, общество, где каждый был бы на своем месте и потому никто не был бы вынужден передавать другим возложенные на него должностные обязанности — Государство, где все частные лица знали бы друг друга, от взоров и суда народа не могли бы потому укрыться ни темные козни порока, ни скромность добродетели, и где эта приятная привычка видеть и знать друг друга делала бы любовь к отечеству скорее любовью к согражданам, чем к той или иной территории.

Я желал бы родиться в стране, где у суверена и у народа могли бы быть только одни и те же интересы, так, чтобы все движения машины были всегда направлены лишь к общему счастью; а так как это может произойти лишь в том случае, когда народ и суверен есть одно и то же лицо, то отсюда следует, что я желал бы родиться при Правлении демократическом, разумно умеренном.

Я бы хотел жить и умереть свободным, т. е. таким образом подчиненным законам, чтобы ни я сам, ни кто-либо другой не мог сбросить с себя их почетного ярма, этого спасительного и нетяжкого ярма, под которое самые гордые головы склоняются тем послушнее, что они не способны склониться под какое-либо иное<sup>6</sup>.

Итак, я бы хотел, чтобы никто в Государстве не мог ставить себя выше Закона и чтобы никто извне не мог навязать никакого закона, который обязано было бы признать Государство. Ибо, каково бы ни было устройство Правления, если при нем найдется хоть один-единственный человек, который не будет подчинен Закону, то все остальные неизбежно окажутся во власти этого последнего<sup>6)</sup>; и если налицо один правитель, принадлежащий данному народу, а другой — чуждый ему<sup>7</sup>, то как бы ни разделили они между собою власть, невозможно, чтобы и тому и другому оказывали должное повиновение и чтобы государство было управляемо должным образом.

Я никак не хотел бы жить в Республике, недавно образовавшейся, как бы хороши ни были ее законы, из опасения, что форма Правления, устроенная, быть может, иначе, чем это требовалось бы в данный момент, не соответствовала бы новым гражданам или граждане не соответство-

вали бы новой форме Правления, и Государству грозили бы потрясения и гибель почти с самого его рождения. Ибо свобода подобна той грубой и сочной пище или тем благородным винам, которые хорошо питают и укрепляют людей сильных и к ним привыкших, но только отягощают, обессиливают и опьяняют слабых и изнеженных, которые к ним не приучены. Народы, уже привыкшие иметь повелителей, больше не в состоянии обходиться без них. Если они пытаются свергнуть иго, то еще больше удаляются от свободы, так как принимают за свободу безудержную распущенность, которая ей противоположна; такие перевероты почти всегда отдают этих людей в руки соблазнительей, которые только отягчают их цепи. Даже народ Рима, этот образец всех свободных народов, не был в состоянии управлять собою, когда вышел из-под гнета Тарквиниев<sup>8</sup>. Уже низко павший в рабстве и в позорных работах, которые навалили на него Тарквинии, он представлял собою сначала лишь бессмысленную чернь; с ней нужно было обращаться бережно и управлять ею нужно было с величайшею мудростью, чтобы, привыкая понемногу дышать благотворным воздухом свободы, эти души, обессиленные, или, вернее, огрубевшие под властью тирании, постепенно приобрели ту строгость нравов и ту мужественную гордость, которые превратили их, в конце концов, в самый достойный уважения из всех народов. Я постарался бы, следовательно, найти себе отечество в счастливой и спокойной Республике, которой древность терялась бы, так сказать, во мраке времен, которая подвергалась бы лишь таким испытаниям, что способны были укрепить в ее жителях мужество и любовь к отечеству, и где граждане, издавна привыкшие к мудрой независимости, были бы не только свободны, но и достойны свободы.

Я бы желал избрать себе отечество, чуждое, благодаря счастливой неспособности к ним, кровожадной страсти к завоеваниям и избавленное, благодаря еще более счастливому географическому положению, от страха стать само добычею другого Государства; вольный город, расположенный среди многих народов, из которых ни одному не было бы выгодно его захватить<sup>9</sup>; одним словом, Республику, которая никак не искушала бы честолюбия своих соседей и которая могла бы с основанием рассчитывать на их помощь в случае нужды. Отсюда следует, что в таком счаст-

ливом положении ей не приходилось бы опасаться ничего, кроме как самой себя; и если бы граждане ее упражнялись во владении оружием, то они делали бы это скорее для поддержания того воинственного пыла и той мужественной гордости, которая так к лицу свободе и питает свободолюбие, чем из необходимости заботиться о самозащите.

Я попытался бы найти страну, где право законодательства принадлежало бы всем гражданам, ибо кто может знать лучше самих граждан, при каких условиях подобаает им жить совместно в одном и том же обществе? Но я не одобрил бы плебисцитов, подобных плебисцитам у римлян, когда руководители Государства и люди, наиболее заинтересованные в его сохранении, исключались из совещаний, от которых нередко зависело его спасение, и где в результате нелепой непоследовательности законов магистраты были бы лишены тех прав, которыми пользовались простые граждане.

Я желал бы, напротив, закрыть дорогу своекорыстным и плохо понятным законопроектам и опасным нововведениям, которые, в конце концов, погубили афинян, и чтобы поэтому не всякий имел возможность предлагать новые законы, когда и как ему заблагорассудится; чтобы право это принадлежало одним только магистратам<sup>10</sup>; чтобы сами магистраты пользовались им весьма осмотрительно; чтобы народ, со своей стороны, был столь же осторожен, когда он дает свое согласие на эти законы; чтобы обнародование их могло происходить лишь с соблюдением такого рода процедуры, что прежде, чем государственное устройство было бы поколеблено, у людей было бы время убедиться, что именно великая древность законов и делает их священными и почитаемыми. Потому что народ уже скоро начинает презирать такие законы, которые на его глазах ежедневно меняются, и потому что, привыкнув пренебрегать старыми обычаями, люди часто вносят большее зло, чтобы исправить меньшее.

И особенно я бежал бы, как неизбежно дурно управляемой, такой Республики, где народ, полагая, что он может обойтись без своих магистратов или что он может предоставить им лишь призрачную власть, неосмотрительно сохранил бы в своих руках управление гражданскими делами и осуществление своих собственных законов: таким должно было быть несовершенное устройство первых Правлений<sup>11</sup>, вышедших непосредственно из естественно-

го состояния, и в этом же заключался один их тех пороков, что погубили Афинскую Республику.

Но я избрал бы такую Республику, где частные лица, довольствуясь тем, что утверждали бы законы сообща и по представлению правителей разрешали бы наиболее важные общественные дела, учредили бы пользующиеся уважением органы управления, тщательно разграничили бы отдельные ведомства, избирали бы из года в год наиболее способных и наиболее неподкупных из своих сограждан, чтобы отправлять правосудие и править государством; и где добродетели магистратов свидетельствовали бы, таким образом, о мудрости народа, — и первые, и вторые глубоко почитали бы друг друга. Так что, если бы когда-нибудь пагубные недоразумения нарушили общественное согласие<sup>12</sup>, то эти времена ослепления и ошибок были бы отмечены проявлением сдержанности, взаимного уважения и общего преклонения перед законами: это и есть предвестие и залог искреннего и вечного внутреннего мира.

Таковы суть, сиятельнейшие, высокочтимые и владетельные ГОСУДАРИ, те преимущества, которые я желал бы найти в отечестве, которое я бы себе избрал. А если бы Провидение присоединило к этому еще и прелестное местоположение, умеренный климат, плодородную почву и вид самый восхитительный из существующих под небесами, то для полноты моего счастья я желал бы лишь пользоваться всеми этими благами на лоне этого счастливого отечества, мирно живя в приятном общении с моими согражданами, проявляя по отношению к ним и по их примеру гуманность, дружбу и все добродетели и оставив о себе хорошую память как о добродетельном человеке и о честном и доблестном патриоте.

Если бы, менее счастливый или слишком поздно умудренный, я бы оказался вынужден в иных краях кончать отягченную болезнями угасающую жизнь, сожалея о покое и мире, которых лишила меня неблагоприятная юность, я бы, по меньшей мере, питал в своей душе те же чувства, которым не мог бы дать исхода в моей стране, и, проникнувшись нежною и бескорыстною любовью к далеким моим согражданам, я обратил бы к ним из глубины души моей такую, приблизительно, речь:

«Дорогие мои сограждане, или, скорее, братья мои, потому что узы крови, как и законы, связывают нас почти всех! Мне отраднo, что я не могу думать о вас, не думая

одновременно о всех благах, которыми вы пользуетесь и цену которым, быть может, никто не знает лучше, чем я, который их потерял. Чем больше размышляю я о вашем политическом и гражданском положении, тем меньше могу я себе представить, что может быть в природе лучшее положение дел человеческих. При всех иных формах Правления, когда речь заходит о том, чтобы обеспечить наибольшее благо Государства, все ограничивается постоянно одними проектами, или, самое большее, только возможностями. Что же до вас, то ваше счастье вполне создано, остается им пользоваться, и для того, чтобы стать совершенно счастливыми, вам нужно лишь уметь довольствоваться своим счастьем. Ваш суверенитет, приобретенный или отвоеванный острием шпаги и оберегаемый в течение двух веков вашею доблестью и мудростью, наконец, полностью и повсеместно признан. Ваше государственное устройство превосходно, оно продиктовано возвышеннейшим разумом и гарантируется дружественными и уважаемыми державами; ваше Государство мирно: ни войн, ни завоевателей не приходится вам бояться; нет у вас других повелителей, кроме как мудрые законы, вами составленные, приводимые во исполнение неподкупными магистратами, вами избранными. Вы не столь богаты, чтобы обессилеть от изнеженности и утратить в суетных наслаждениях вкус к истинному счастью и подлинным добродетелям, и не столь бедны, чтобы нуждаться в помощи извне, чтобы восполнить то, чего не обеспечивает вам ваш прилежный труд. И вам почти ничего не стоит сохранять эту драгоценную свободу, которую у великих наций поддерживают лишь с помощью непомерных налогов.

Пусть же существует вечно, на счастье своим гражданам и в пример народам, Республика эта, столь мудро и столь счастливо устроенная! Вот единственный обет, который вам остается провозгласить, и единственная забота ваша. От вас самих зависит отныне не создать свое счастье, — ваши предки избавили вас от этого труда, — но упрочить его, мудро им пользуясь. От вашего постоянного единения, от вашего повиновения законам, от вашего уважения к служителям их зависит ваше благополучие. Если остаются средь вас малейшие зачатки злобы и недоверия, спешите их уничтожить как пагубные всходы, из которых взойдут рано или поздно ваши несчастья и гибель государ-

ства. Я призываю вас всех заглянуть в глубину своей души и прислушаться к тайному голосу своей совести. Знает ли кто-нибудь из вас во всей вселенной корпорацию более просвещенную и более достойную уважения, чем корпорация вашей магистратуры. Разве все ее члены не подают вам пример умеренности, простоты нравов и самого искреннего согласия? Даруйте же безоговорочно столь мудрым руководителям то спасительное доверие, которым разум обязан добродетели; помните, что они вами избраны, что они оправдывают это избрание и что почести, положенные тем, кого облекли вы высокими должностями, неизбежно передаются и вам самим. Нет среди вас ни одного человека столь мало просвещенного, чтобы не знать, что там, где прекращается власть законов и сила защитников их, там не может быть ни для кого ни безопасности, ни свободы. Что же требуется от вас, кроме как исполнять с надлежащим доверием то, что вы все равно обязаны были бы исполнить, следуя своим подлинным интересам, долгу и во имя разума. Пусть преступное и пагубное безразличие к сохранению государственного устройства никогда не побудит вас пренебречь мудрыми мнениями наиболее просвещенных и наиболее ревностных среди вас; но пусть справедливость, умеренность и более всего уважения достойная твердость продолжают управлять всеми вашими поступками и в вас являть всему миру пример народа гордого и скромного, столь же ревнивого к своей славе, как и к своей свободе. Особенно остерегайтесь — и это будет мой последний совет — внимать когда-либо зловещим кривотолкам и ядовитым речам<sup>13</sup>, коих тайные мотивы часто более опасны, чем те действия, которые они имеют свою целью. Весь дом просыпается и приходит в тревогу, едва раздастся голос доброго и верного сторожа, который лает только при приближении воров; но всем ненавистна назойливость этих шумливых животных, которые беспрестанно нарушают общественный покой и чьих постоянных и неуместных предупреждений даже не слышно тогда, когда они нужны».

И вы, сиятельнейшие и высокочтимые государи, вы, достойные и уважаемые магистраты свободного народа, позвольте мне принести вам лично дань моего уважения и почтения. Если есть в мире положение, способное прославить тех, которые его занимают, то это, безусловно,

то положение, которое доставляют таланты и добродетель, положение, которого вы сделали достойны и до которого возвысили вас ваши сограждане. Их собственные достоинства придадут новый блеск вашим и, потому что вы избраны людьми, способными управлять другими, для того, чтобы управлять ими самими, я нахожу, что вы стоите настолько же выше других магистратов, насколько свободный народ, и особенно тот народ, руководить которым вы имеете честь, стоит по своей просвещенности и по разуму своему выше черни других государств.

Да будет мне позволено привести пример, о котором должна была бы остаться более прочная память и который всегда будет жить в моем сердце. Я не могу вспомнить, не испытывая сладчайшего волнения, о добродетельном гражданине<sup>14</sup>, которому я обязан появлением на свет и кто часто в детстве беседовал со мною о том уважении, которое вам надлежит оказывать. Я вижу его еще, живущего трудом рук своих и питающего душу свою возвышеннейшими истинами. Я вижу книги Тацита, Плутарха и Гроция<sup>15</sup>, перед ним лежащие, вперемешку с его рабочими инструментами. Я вижу подле него любимого его сына, внимающего со слишком малою пользой нежным наставлениям лучшего из отцов. Но если заблуждения безрассудной юности и заставили меня в течение некоторого времени забыть столь мудрые уроки, мне все же досталось счастье испытать на себе в конце концов, что как бы сильна ни была склонность к пороку, трудно ожидать, чтобы плоды воспитания, в которое вложена часть души, погибли навсегда.

Таковы суть, сиятельнейшие и высокочтимые государи, граждане и даже простые обитатели<sup>16</sup>, рожденные в государстве, которым Вы управляете; таковы эти опытные и толковые люди, о которых под именем рабочих и народа у других наций существуют столь низкие и столь ложные представления. Мой отец — я с радостью признаю это — совсем не выделялся среди своих сограждан: он был подобен им всем; и каков бы он ни был, нет ни одного места, где не искали бы его общества и не поддерживали с ним отношений, и притом даже с пользою для себя, самые достойные люди. Мне не подобает и, слава богу, нет необходимости говорить вам о почтении, коего могут ждать от вас люди такого закала, равные вам как по воспитанию,

так и по естественному праву и праву рождения, но поставившие себя ниже вас по собственной воле вследствие ваших достоинств, которым они должны были оказать и оказали предпочтение, и за которое вы, в свою очередь, обязаны им некоторого рода признательностью. Я замечаю с живым удовлетворением, какую кротостью и снисходительностью смягчаете вы суровость, подобающую служителям законов; сколь щедро воздаете вы им уважением и проявлениями внимания за то повиновение и почтение, которым они вам обязаны: поведение это, исполненное справедливости и мудрости, способно все более и более изглаживать память о тех злосчастных событиях<sup>17</sup>, о которых нужно забыть, чтобы никогда более не увидеть их снова; поведение это тем более основательно, что этот справедливый и великодушный народ превращает долг свой в удовольствие, что ему от природы нравится почитать вас и что наиболее горячо отстаивающие свои права наиболее склонны уважать ваши.

Не должно казаться удивительным, что руководители гражданского общества любят его славу и счастье; но более, чем удивительно, для спокойствия людей, когда те, кто смотрит на себя как на магистратов или скорее как на повелителей более священной и более возвышенной отчизны, проявляют любовь к земной отчизне, что их кормит<sup>18</sup>. Как отрадно мне, что я могу сделать столь редкое исключение в нашу пользу и поставить в ряды наших лучших граждан этих ревностных хранителей утвержденных законами священных догм, этих почтенных пастырей душ, живое и сладостное красноречие которых тем лучше утверждает в наших сердцах заповеди Евангелия, что они всегда начинают с того, что выполняют их сами. Всем известно, с каким успехом совершенствуется в Женеве высокое искусство проповедничества. Но так как люди слишком привыкли видеть, что говорят одно, а делают другое, то лишь немногие знают до какой степени царят в корпорации наших священнослужителей дух христианства, святость нравов, строгость к самому себе и мягкость по отношению к другим. Быть может одному только городу — Женеве — подобает явить миру назидательный образец столь совершенного единения в рядах общества богословов и литераторов<sup>19</sup>; и на их признанной мудрости и умеренности, на их рвении к процветанию государства я и осно-

ываю в значительной степени надежду на вечное его спокойствие; и я отмечаю с удовольствием, смешанным с удивлением и почтением, какое содрогание вызывают у них принципы тех варваров, что считаются священными<sup>20</sup>, коих не один пример дает нам история и которые для защиты так называемых божьих прав, т. е. своих интересов, проливали человеческую кровь тем щедрее, что их собственная, как они льстили себя надеждой, всегда должна щадиться.

Могу ли я забыть о той драгоценной половине Республики, которая составляет счастье другой и коей кротость и мудрость поддерживают в ней мир и добрые нравы. Любезные и добродетельные гражданки, вашему полу всегда будет суждено управлять нашим. Сколь радостно, если ваша целомудренная власть, проявляемая только в супружеском союзе, дает себя чувствовать лишь во славу государства и всеобщего счастья! Именно так повелевали женщины в Спарте и так именно достойны вы повелевать в Женеве. Какой варвар-мужчина может противиться голосу чести и разума в устах нежной супруги? и кто не проникнется презрением к бесполезной роскоши при виде вашего простого и скромного наряда, которому ваши личные достоинства придают такой блеск, что этот наряд уже кажется самым счастливым дополнением к вашей красоте? Именно вам надлежит поддерживать всегда вашу любезную и невинную власть и вашим тонким умом любовь к законам в Государстве и согласие между гражданами, объединять посредством счастливых браков враждующие семьи и более всего исправлять убедительною кротостью ваших наставлений и скромным изяществом вашей беседы дурные манеры, которые наша молодежь усваивает в иных краях, откуда вместо стольких полезных вещей, что могли бы пойти им впрок, наши молодые люди приносят с собой, наряду с ребячливым тоном и смешными замашками, замешанными у падших женщин, лишь преклонение перед уж не знаю какими так называемыми идеалами, внешне скрашивающими рабское состояние, перед идеалами, которые никогда не заменят священной свободы. Будьте же всегда тем, что вы есть, — целомудренными хранительницами нравов и нежных уз мира; и продолжайте отстаивать по всякому случаю права сердца и природы на пользу долгу и добродетели.

Я хочу думать, что не буду опровергнут фактами, когда основываю на подобных залогах свою надежду на общее счастье граждан и славу Республики. Я признаю, что, обладая всеми этими преимуществами, Республика не будет блистать тем блеском, который ослепляет большинство глаз и детская и пагубная страсть к которому — самый смертельный враг и счастья, и свободы. Пусть развращенная молодежь ищет в иных краях легких удовольствий и затем долгого раскаяния; пусть так называемые люди со вкусом в иных местах восхищаются великолепием дворцов, красотой экипажей, изысканностью мебелировки, пышностью зрелищ и всеми утонченностями изнеженности и роскоши. В Женеве можно увидеть только людей; но ведь и такое зрелище, конечно, имеет свою цену, и те, кто ищут его, конечно же, стоят более, чем поклонники всего остального.

Соблаговолите, СИЯТЕЛЬНЕЙШИЕ, ВЫСОКОЧТИМЫЕ И ВЛАДЕТЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРИ, все с одинаковою добротою, принять почтительные свидетельства того, как мне дорого ваше общее благополучие. Если оказался я столь несчастен, что повинен в несколько нескромной восторженности в этом живом излиянии моей души, то умоляю вас простить мне эту восторженность, видя в ней только нежную привязанность истинного патриота и пылкое и законное рвение человека, который не знает для себя большего счастья как видеть вас всех счастливыми.

С глубочайшим почтением,  
СИЯТЕЛЬНЕЙШИЕ,  
ВЫСОКОЧТИМЫЕ И ВЛАДЕТЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРИ,  
*ваш нижайший и покорнейший слуга и согражданин*  
Жан Жак Руссо.

*Шамбери, 12 июня 1754 г.*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Наиболее полезным и наименее продвинувшимся из всех знаний<sup>21</sup> человеческих мне представляется знание человека<sup>(II)</sup>; и я осмеливаюсь утверждать, что одна надпись дельфийского храма<sup>22</sup> содержала в себе наставление более важное и более глубокое, чем все толстые книги моралистов. Поэтому я смотрю на предмет этого рассуждения как на один из самых интересных вопросов, которые может выдвинуть для обсуждения философия, и, к несчастью для нас, как на один из самых щекотливых вопросов, которые могли бы разрешить философы, ибо как познать источник неравенства между людьми, если не начать с познания их самих? и как удастся человеку увидеть себя таким, каким создала его природа, через все те изменения, которые должна была произвести в его изначальной организации последовательная смена времен и вещей, и отделить то, что было ему присуще с самого начала, от того, что обстоятельства и развитие прибавили к первоначальному его состоянию или изменили в нем? Подобно статуе Главка<sup>23</sup>, которую время, море и бури настолько обезобразили, что она походила не столько на бога, сколько на дикого зверя, душа человеческая, извращающаяся в обществе в силу тысячи причин, беспрестанно вновь возобновляющихся, вследствие приобретения множества знаний и заблуждений, изменений в телосложении и постоянного столкновения страстей, переменяла, так сказать, свою внешность почти что до неузнаваемости, и мы находим теперь в ней вместо существа, действующего всегда по определенным и неизменным принципам, вместо той небесной и величественной простоты, которую запечатлел в ней ее творец, лишь безобразное противоречие между страстью, полагающей, что она рассуждает, и разумом в бреду.

Еще более жестоко то, что все успехи человеческого рода беспрестанно отдаляют его от первоначального его состояния, и, следовательно, чем более накапливаем мы но-

вых знаний, тем более отнимаем мы у себя средств приобрести самое важное из всех; так что, по мере того, как мы углубляемся в изучение человека, мы, в известном смысле, утрачиваем способность его познать.

Нетрудно видеть, что именно в этих последовательных изменениях природы человека и следует искать первые истоки различий между людьми, которые, по общему мнению, были так же равны между собою, как равны были животные каждого вида, прежде чем различные физические причины вызвали среди некоторых видов образование отмечаемых нами теперь в них разновидностей. В самом деле, было бы непостижимо, если бы все эти изменения, чем бы они ни были вызваны, сразу же и одинаковым образом переиначили всех индивидуумов этого вида; однако тогда как одни стали совершеннее или выродились и приобрели различные новые качества, хорошие или дурные, которые не были присущи их природе, другие долгие оставались в первоизданном своем состоянии. И таков был между людьми первый источник неравенства, который легче показать, таким образом, в общей форме, чем с точностью указать его истинные причины.

Пусть же мои читатели не думают, что я осмеливаюсь льстить себя надеждою, будто увидел я то, что увидеть мне кажется столь трудным. Я начал несколько рассуждений, я решился высказать несколько предположений не столько в надежде разрешить этот вопрос, сколько с намерением придать ему ясность и привести его в истинный вид. Другие легко пойдут дальше по этому же пути, но никому не будет легко достигнуть предела, ибо это нелегкое предприятие — выделить то, что врождено и что искусственно в теперешней природе человека, и вполне познать состояние, которое более не существует, которое быть может никогда не существовало<sup>24</sup>, которое, вероятно, не будет никогда существовать и о котором нужно все же иметь правильное представление, чтобы как следует судить о нынешнем нашем состоянии. Даже больше, чем думают, потребуется твердости духа тому, кто возьмется точно определить, какие предосторожности принять, чтобы произвести серьезные наблюдения по этому предмету, и верное решение следующей задачи не кажется мне недостойным Аристотелей и Плиниев нашего века<sup>25</sup>: *Какие будут необходимы опыты, чтобы удалось познать естественного человека? и каковы средства, которые позво-*

лят проделать эти опыты в обществе? Далекий от мысли, что я мог бы взяться за решение этой задачи, я полагаю, что достаточно продумал этот вопрос, чтобы осмелиться ответить уже сейчас: и величайшим философам не зазорно будет руководить этими опытами и могущественнейшим государям их предпринимать, так как вряд ли было бы разумно ожидать, что придет само собою такое стечение обстоятельств и такое неуклонное, или, скорее, такое последовательное развитие наших знаний, да еще в сочетании с необходимой с обеих сторон доброй волей, которое одно только позволило бы достичь успеха.

Эти исследования, которые так трудно провести и о которых так мало думали до сей поры, дают все же единственное остающееся у нас средство устранить множество затруднений на пути к познанию действительных основ человеческого общества. Это именно незнание человеческой природы и покрывает такую туманностью и мраком истинное определение естественного права: ибо идея права, говорит г-н Бурламаки<sup>26</sup>, и еще более идея естественного права, это, очевидно, идеи, относящиеся к природе человека. Таким образом, из этой самой природы человека, — продолжает он, — и его организации, и его состояния и следует выводить принципы этой науки.

Не без удивления и не без стыда замечаешь, как мало согласия царит по этому важному вопросу между различными авторами, которые им занимались. Среди самых серьезных писателей едва ли найдутся двое, которые имели бы на этот счет одинаковое мнение. Не говоря уже о философях древности, как будто задававшихся целью противоречить друг другу в самых основных принципах, римские юристы подчиняют, без разбора, человека и всех других животных одному и тому же естественному закону, потому что они разумеют под этим понятием скорее тот закон, который природа устанавливает для самой себя, чем тот, который она предписывает человеку; или же скорее из-за особого значения, придаваемого этими юристами слову *закон*, которое они, как будто, берут в этом случае лишь для выражения общих отношений, устанавливаемых природой между всеми живыми существами для их общего сохранения<sup>27</sup>. Люди новых времен, признающие под именем закона лишь правило, предписываемое существу нравственному, т. е. разумному, свободному и рассматриваемому в его отношениях с другими существами, ограничива-

ют, следовательно, область применения естественного закона одним-единственным животным, одаренным разумом, т. е. человеком; но, определяя закон этот каждый по-своему, все они основывают его на столь метафизических принципах, что даже среди нас очень немногие в состоянии понять эти принципы, не говоря уже о возможности самим их обнаружить. Так что все определения этих ученых мужей, всегда, к тому же, противоречивые, согласуются только в том, что невозможно понять естественный закон и, следовательно, повиноваться ему, не будучи весьма великим мастером рассуждать и глубоким метафизиком, а это непременно означает, что люди должны были использовать для установления общества такие познания, которые даются только с большим трудом и лишь очень немногим людям уже в самом этом обществе<sup>28</sup>.

Раз мы так мало знаем природу и так неодинаково понимаем смысл слова *закон*, то очень трудно будет прийти к соглашению относительно верного определения естественного закона. К тому же, все определения, которые находим мы в книгах, имеют помимо того недостатка, что они вовсе не единообразны, еще и тот, что они выводятся из множества знаний, которыми люди не обладают от природы, и из преимуществ, представление о которых можно получить только по выходе из естественного состояния. Начинают с того, что изыскивают правила, относительно которых, для общей пользы, людям было бы хорошо согласиться между собою, а затем собранию этих правил дают название *естественный закон*, ссылаясь только на благо, которое, как они полагают, произойдет от повсеместного применения этих правил. Вот, поистине, слишком удобный способ давать определения и объяснять природу вещей с помощью соглашений, допускаемых почти произвольно.

Но до тех пор, пока мы совершенно не знаем естественного человека, тщетно будем мы пытаться определить закон, им полученный, или тот закон, который лучше всего соответствует его природе. Мы можем вполне ясно сказать относительно этого закона только вот что: чтобы он был законом, нужно не только, чтобы воля того, на кого он налагает обязательство, могла сознательно ему подчиниться; но, кроме того, чтобы он был естественным, нужно, чтобы он говорил голосом самой природы.

Отложив потому в сторону все научные книги, которые учат нас видеть людей такими, какими они себя сделали, и размышляя о первых и простейших действиях человеческой души<sup>29</sup>, я полагаю, что вижу в ней два начала, предшествующие разуму; из них одно горячо заинтересовывает нас в нашем собственном благосостоянии и самосохранении, а другое внушает нам естественное отвращение при виде гибели или страданий всякого чувствующего существа и главным образом нам подобных. Из взаимодействия и того сочетания, которое может создать из этих двух начал наш ум, без того, чтобы было необходимо добавлять сюда еще свойство общежительности<sup>30</sup>, — и могут, как мне кажется, вытекать все принципы естественного права; принципы, которые разум затем вынужден вновь возводить на иные основания, когда, в результате последовательных успехов в своем развитии, он, в конце концов, подавляет природу.

Таким образом вовсе не обязательно делать из человека философа прежде, чем делать из него человека<sup>31</sup>. Его обязанности по отношению к другим не диктуются исключительно запоздалыми уроками мудрости; и пока не будет он противиться внутреннему влечению к состраданию, он никогда не причинит зла ни другому человеку, ни какому бы то ни было чувствующему существу, исключая тот случай, когда дело идет о его существовании, и он уже вполне закономерно обязан оказать предпочтение себе самому. Таким образом мы покончим и с давнишними спорами о причастности животных к естественному закону, ибо ясно, что, будучи лишены знаний и свободы, они не могут признавать этот закон; но так как они имеют с нашей природою нечто общее, поскольку и они одарены способностью чувствовать, то можно считать, что они также должны быть причастны естественному праву и что на человеке лежат по отношению к ним некоторого рода обязанности. В самом деле, получается, что если я обязан не причинять никакого зла мне подобному, то не столько потому, что он есть существо мыслящее, сколько потому, что он есть существо чувствующее: это качество, общее и животному и человеку, должно, по меньшей мере, давать первому из них право не подвергаться напрасно мучениям по вине другого<sup>32</sup>.

Это именно изучение первобытного человека, подлинных его потребностей и главных основ его понимания сво-

их обязанностей есть также единственное верное средство для устранения тех бесчисленных трудностей, которые возникают перед нами при разрешении вопроса о происхождении неравенства в положении личностей<sup>33</sup>, об истинных основаниях политического Организма, о взаимных правах его членов и в отношении множества других подобных вопросов, столь же важных, как и мало освещенных.

Если обратить на человеческое общество взгляд спокойный и беспристрастный, то оно явит нам сначала, как будто, только насилие людей могущественных и угнетение слабых: ум восстает против жестокости первых; мы склонны оплакивать слепоту вторых. И так как ничего нет среди людей менее постоянного, чем эти внешние отношения, чаще порождаемые случаем, чем мудростью, и именуемые слабостью или могуществом, богатством или бедностью, то человеческие установления кажутся с первого взгляда возведенными на кучах зыбучего песка. Только присмотревшись к ним поближе, только убрав пыль и песок, окружающие здание, замечаешь незыблемое основание, на котором оно воздвигнуто, и научаешься видеть его устои. Итак, без серьезного изучения человека, его естественных способностей и их последовательного развития мы никогда не сможем провести этих различий и отделить, в настоящем устройстве вещей, то, что создано божественной волей<sup>34</sup>, от того, что хотело бы себе приписать человеческое искусство. Политические и моральные исследования, которые влечет за собой важный вопрос, мною рассматриваемый, полезны, таким образом, всесторонне, а предположительная история Правлений будет для человека поучительным уроком во всех отношениях. Когда подумаешь о том, во что бы мы превратились, будучи предоставлены самим себе, как не благословлять того, чья благодетельная рука, исправляя наши установления и делая их незыблемыми, предупредила беспорядки и создала наше счастье теми средствами, которые, казалось, должны были довершить наши бедствия.

*Quem te Deus esse  
Jussit, et humana qua parte locatus es in re,  
Disce\*.*

---

\* Кем быть тебе Бог  
Повелел, что сделано здесь человеком,  
Поведай (лат.).  
П е р с и й<sup>35</sup>. Сатиры, III, 71.

## **ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИМЕЧАНИЯХ<sup>36</sup>**

Я добавил к этому произведению некоторые примечания, сообразно моей несколько беспечной привычке работать урывками. Примечания эти подчас настолько отклоняются от моей темы, что незачем читать их одновременно с текстом. Поэтому я перенес их к концу Рассуждения, в котором я пытался, насколько мог, следовать наиболее прямым путем. Те, кому достанет решимости вновь приняться за чтение, могут, развлечения ради, еще раз пошарить в поисках добычи и попытаться просмотреть эти примечания; беда будет невелика, если остальные не прочтут их вовсе.

## **РАССУЖДЕНИЕ**

О человеке, вот о ком предстоит мне говорить: и сам вопрос, мною рассматриваемый, требует, чтобы я говорил об этом людям, ибо подобных вопросов не предлагают, когда боятся чтить истину. Я буду, таким образом, убежденно защищать дело человечества перед мудрецами, которые меня к тому побуждают, и я не буду недоволен самим собою, если окажусь достойным темы моей и судей моих.

Я вижу в человеческом роде два вида неравенства: одно, которое я называю естественным или физическим, потому что оно устроено природою и состоит в различии возраста, здоровья, телесных сил и умственных или душевных качеств; другое, которое можно назвать неравенством условным или политическим, потому что оно зависит от некоторого рода соглашения и потому что оно устанавливается или, по меньшей мере, утверждается с согласия людей. Это последнее заключается в различных привилегиях, которыми некоторые пользуются за счет других: как то, что они более богаты, более почитаемы, более могу-

щественны, чем другие, или даже заставляют их себе повиноваться.

Не к чему спрашивать, каков источник естественного неравенства, потому что ответ содержится уже в простом определении смысла этих слов. Еще менее возможно установить, есть ли вообще между этими двумя видами неравенства какая-либо существенная связь. Ибо это означало бы, иными словами, спрашивать, обязательно ли те, кто повелевают, лучше, чем те, кто повинуются, и всегда ли пропорциональны у одних и тех же индивидуумов телесная или духовная сила, мудрость или добродетель их могуществу или богатству: вопрос этот пристало бы ставить разве что перед теми, кто признает себя рабами своих господ: он не возникает перед людьми разумными и свободными, которые ищут истину.

О чем же именно идет речь в этом Рассуждении? О том, чтобы указать в поступательном развитии вещей тот момент, когда право пришло на смену насилию и природа, следовательно, была подчинена Закону; объяснить, в силу какого сцепления чудес сильный мог решиться служить слабому, а народ — купить воображаемое спокойствие ценою действительного счастья.

Философы, которые исследовали основания общества, все ощущали необходимость восходить к естественному состоянию, но никому из них это еще не удавалось. Одни не колебались предположить<sup>37</sup> у человека в этом состоянии понятие о справедливом и несправедливом, не позаботившись показать ни того, должен ли он был иметь такое понятие, ни даже того, было ли оно для него полезно. Другие говорили<sup>38</sup> о естественном праве каждого на сохранение того, что ему принадлежит, не объясняя, что понимают они под словом «принадлежать». Третьи, наделив сперва<sup>39</sup> более сильного властью над более слабым, немедленно создали Управление, не думая о том, что должно было пройти некоторое время, прежде чем слова «власть» и «управление» получили понятный для людей смысл. Наконец, все, беспрестанно говоря о потребностях, жадности, угнетении, желаниях и гордости, перенесли в естественное состояние представления, которые они взяли в обществе: они говорили о диком человеке, и изображали человека в гражданском состоянии. Большинству наших философов не приходило даже в голову сомневаться в том,

что естественное состояние существовало, между тем как очевидно, когда читаешь священные книги, что первый человек, получивший непосредственно от Бога знания и наставления, вовсе не был сам в этом состоянии; и, если относиться к писаниям Моисея<sup>40</sup> с тем доверием, с которым подобает относиться к ним всякому христианскому философу, то уже нельзя допустить, что люди, даже до потопа, когда-либо находились в естественном состоянии в его чистом виде, если только они не впали в него снова в результате какого-нибудь необычайного события — парадокс этот очень трудно защищать и совершенно невозможно доказать.

Начнем же с того, что отбросим все факты<sup>41</sup>, ибо они не имеют никакого касательства к данному вопросу. Мы должны принимать результаты розысканий, которые можно повести по этому предмету, не за исторические истины, но лишь за предположительные и условные рассуждения, более способные осветить природу вещей, чем установить их действительное происхождение, и подобные тем предположениям, которые постоянно высказывают об образовании мира наши натуралисты<sup>42</sup>. Религия предписывает нам верить, что так как сам Бог вывел людей из естественного состояния сразу же после сотворения мира, то они не равны, потому что он хотел, чтобы они не были равными; но религия не запрещает нам, на основании одной только природы человека и существ, его окружающих, строить предположения о том, во что человеческий род мог бы превратиться, если бы он был предоставлен самому себе<sup>43</sup>. Вот — то, что у меня спрашивают, и то, что я ставлю себе задачей рассмотреть в этом Рассуждении. Так как тема моя относится к человеку вообще, то я постараюсь говорить таким языком, который понятен был бы всем нациям; или, точнее, — отвлекаясь от места и времени, чтобы думать лишь о людях, которым я говорю, я предположу, что нахожусь в Лицее афинском<sup>44</sup>, повторяя уроки моих учителей, имея судьями Платонов и Ксенократов<sup>45</sup>, а слушателем — род человеческий.

О человек! Из какой бы ты ни был страны, каковы бы ни были твои взгляды, слушай, — вот твоя история, такая, какой, полагаю, я прочел ее не в книгах, написанных тебе подобными, которые лживы, а в природе, которая никогда не лжет. Все, что от нее — истинно: ложно будет

---

лишь то, что я, не желая того, прибавлю от себя. Времена, о которых буду я говорить, очень отдаленны: как изменился ты с тех пор по сравнению с тем, каким был. Я опишу тебе, так сказать, жизнь твоего рода, судя по свойствам, которые ты получил, которые воспитание твое и привычки твои могли извратить, но которых не могли они уничтожить. Есть, чувствую я, такой возраст, на котором отдельный человек хотел бы остановиться: ты будешь искать тот возраст, на котором ты желал бы, чтобы остановился род твой. Огорченный нынешним твоим состоянием по причинам, которые сулят твоему несчастному потомству еще большие огорчения, ты, возможно, пожелаешь вернуться назад: и это чувство должно вылиться в похвальное слово первым предкам твоим, в критику современников твоих и внушить ужас тем, кто будет иметь несчастье жить после тебя.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сколь ни важно для того, чтобы правильно судить о естественном состоянии человека, изучить его с момента первого его появления на свет и рассмотреть, так сказать, первый эмбрион этого вида, я не стану прослеживать последовательные изменения его организации, я не стану останавливаться на изучении организма животных, дабы узнать, что мог человек представлять собою вначале, если стал в конце концов тем, чем он стал<sup>46</sup>. Я не стану исследовать, не были ли его продолговатые ногти, как думает Аристотель, сначала вовсе крючкообразными когтями; не был ли он покрыт шерстью, как медведь; и, когда он ходил на четвереньках, не определяли ли его взоры, устремленные к земле и простиравшиеся всего на несколько шагов вперед, самый характер и границы его представлений. Обо всем этом я мог бы высказать здесь только предположения неопределенные и почти лишенные оснований. Сравнительная анатомия сделала еще слишком мало успехов, наблюдения естествоиспытателей еще чересчур неопределенны, чтобы можно было на такой основе построить убедительное рассуждение. Поэтому, не полагаясь здесь на снизошедшие на нас озарения свыше и не учитывая изменений, которые должны были совершиться в строении тела человека как внешнем, так и внутреннем, по мере того как он приучал свои члены к новым действиям и переходил к новым видам пищи, я предположу, что он во все времена был таким же, каким вижу я его сегодня: ходил на двух ногах, пользовался своими руками так же, как пользуемся нашими руками мы, охватывал своим взглядом всю природу и измерял взором своим обширное пространство неба.

Освободив существо, таким образом устроенное, от всех сверхъестественных даров, которые могло оно получить, и от всех искусственных способностей, которые оно могло

приобрести лишь в результате долгого развития, словом, рассматривая его таким, каким оно должно было выйти из рук природы, я вижу перед собою животное, менее сильное, чем одни, менее проворное, чем другие, но, в общем, организованное лучше, чем какое-либо другое. Я вижу, как утоляет оно свой голод под каким-нибудь дубом и жажду — из первого встретившегося ему ручья; как находит оно ложе свое под тем же деревом, что доставило ему пищу, — и вот уже удовлетворены все его потребности.

Земля, представленная своему естественному плодородию и покрытая огромными лесами, которых еще не калечил топор, предлагает на каждом шагу склады питания и убежища всякого рода животным. Люди, рассеянные среди них, наблюдают, перенимают их навыки и поднимаются таким образом до инстинкта животных: с тем преимуществом, что каждый вид животных обладает лишь своим собственным инстинктом, а человек, который, быть может, не обладает ни одним принадлежащим только ему инстинктом, присваивает себе их все; употребляет в равной мере почти все те виды пищи, которые разделяют между собою другие животные, и, следовательно, находит средства к существованию с меньшим трудом, чем любое из них.

Привыкнувшие с детства к превратностям погоды, к зимней стуже и к летнему зною, приученные к тяготам и вынужденные нагими и безоружными защищать свою жизнь и добычу от других хищных зверей или спастись от них бегством, люди приобретают телосложение крепкое и почти не подверженное изменениям. Дети, появляясь на свет, наследуют превосходное телосложение своих отцов и укрепляют его посредством тех же упражнений, которые его создали; они приобретают, таким образом, всю силу, на которую человеческий род способен. Природа поступает с ним так же, как закон Спарты с детьми ее граждан: она делает сильными и крепкими тех, которые хорошо сложены, и уничтожает всех остальных, отличаясь этим от наших обществ, в которых государство, превращая детей в тяжкое бремя для их отцов, убивает их без всякого разбора еще до их появления на свет.

Так как тело дикого человека — это единственное известное ему орудие, он использует его и для многих таких

целей, к которым наши тела, по недостатку упражнений, уже неспособны: самая наша изобретательность лишает нас той силы и той ловкости, которую дикого человека заставляла приобретать необходимость. Имей он топор, разве могла бы рука его ломать столь крепкие ветви? Имей он пращу, разве мог бы он с такою меткостью бросать камни рукою? Будь у него лестница, разве мог бы он с такою легкостью взлезать на деревья? Будь у него лошадь, разве был бы он столь быстр в беге? Дайте цивилизованному человеку время собрать около себя все его машины: не приходится сомневаться, что он легко одержит верх над диким человеком; но если хотите вы увидеть борьбу еще более неравную, то поставьте их друг против друга нагими и безоружными и вы вскоре увидите, какое это преимущество — иметь постоянно все силы свои в своем распоряжении, всегда быть готовым ко всякой неожиданности и носить, так сказать, всего себя с собою<sup>(III)</sup>.

Гоббс утверждает<sup>47</sup>, что человек от природы бесстрашен и ждет только случая нападать и сражаться. Один знаменитый философ<sup>48</sup>, напротив, полагает, и Кэмберленд<sup>49</sup> и Пуфендорф<sup>50</sup> также это утверждают, что ничего нет столь робкого, как человек в его естественном состоянии, и что он всегда дрожит от страха и готов бежать при малейшем шуме, который он слышит, при малейшем движении, которое он заметит. Это, быть может, и так относительно тех предметов, которые ему неизвестны, и я несколько не сомневаюсь, что он пугается всех новых зрелищ, открывающихся перед ним, всякий раз, когда он не может распознать, должен ли он от этого ждать хорошего или плохого в физическом отношении и не может соразмерить свои силы с грозящими ему опасностями; такого рода обстоятельство весьма редки в естественном состоянии, где все идет так однообразно и когда лицо земли не подвергается тем внезапным и непрерывным изменениям, которые вызывают на земле страсти и непостоянство целых народов. Но дикий человек, живя непосредственно среди животных и с ранних пор в таком положении, когда ему приходится меряться с ними силами, вскоре начинает сравнивать их с собою и, чувствуя, что он в большей мере превосходит их ловкостью, чем они его силою, приучается их уже не бояться. Заставьте медведя или волка сражаться с дикарем, крепким, ловким и храбрым, как и все они, воору-

женным камнями и хорошей дубиной, и вы увидите, что опасность будет, по меньшей мере, взаимной и что после многих подобных опытов хищные звери, которые вообще не любят нападать друг на друга, неохотно станут нападать на человека, которого они сочтут столь же хищным, как они сами. Что же до животных, у которых силы действительно больше, чем у него ловкости, то по отношению к ним он находится в положении других видов, более слабых, которые все же существуют; причем у человека есть то преимущество, что, будучи не менее, чем они, проверен в беге и находя на деревьях почти что обеспеченное убежище, он может всякий раз вступать в борьбу или уклоняться от нее и выбирать между бегством и схваткою. Добавим, что, кажется, нет ни одного животного, которое по своей природе нападало бы на человека, кроме как в случаях самозащиты или крайнего голода, и проявляло бы по отношению к нему столь резкую антипатию, чтобы это свидетельствовало о том, что один из этих видов предназначен природою служить пищей для другого.

Вот, без сомнения, те причины, по которым негры и дикири так мало тревожатся о том, что они могут встретиться в лесу с хищными зверями. Венесуэльские караибы, среди прочих, живут в этом отношении в полной безопасности, не испытывая ни малейшего неудобства. Хотя они почти наги, говорит Франсуа Кореаль<sup>51</sup>, они смело углубляются в чащу, вооруженные только стрелой и луком; но никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь из них был растерзан дикими зверями.

Другие враги человека, более страшные, от которых он не может себя защитить такими же средствами, суть естественные немощи, детство, старость и всякого рода болезни — печальные признаки нашей слабости, из которых первые два общи всем животным, а последний присущ главным образом человеку, живущему в обществе. Если говорить о детях, я мог бы даже заметить, что женщине-матери, которая повсюду носит свое дитя с собою, легче его прокормить, чем самкам многих животных, которые вынуждены беспрестанно уходить и возвращаться, затрачивая на это много сил, — как для того, чтобы отыскать себе пищу, так и для того, чтобы выкармливать своих детенышей молоком или кормить их. Правда, если погибает мать, то и ребенку грозит большая опасность погибнуть

вместе с ней; но такая же опасность грозит сотне других видов животных, детеныши которых в течение долгого времени не в состоянии сами отыскивать себе пищу; и если детство у нас более продолжительно, то, поскольку и жизнь наша более продолжительна, все опять-таки оказывается в этом отношении примерно равным, хотя в том, что касается продолжительности детского возраста и числа детенышей, действуют уже другие законы, не относящиеся к моей теме. У стариков, которые мало действуют и мало потеют, потребности в пище убывают вместе со способностью ее добывать; а так как вольная жизнь избавляет их от подагры и ревматизма, а старость — это из всех бед та, которую человек менее всего в состоянии облегчить, то они угасают в конце концов так, что и не видно, как они перестали существовать, и они почти что не замечают этого сами<sup>52</sup>.

Что до болезней, то я никак не хочу повторять здесь те пустые и лживые декламации против медицины, исходящие от большинства здоровых людей; но я спрошу, есть ли какие-нибудь серьезные наблюдения, из которых можно было бы заключить, что в странах, где искусством этим более всего пренебрегают, средняя продолжительность жизни человека меньше, чем в тех странах, где его насаждают всего заботливее. Да и как могло бы это быть, если мы изобретаем для себя болезней больше, чем медицина может нам предоставить лекарств? Крайнее неравенство в образе жизни, избыток праздности у одних, избыток работы у других; та легкость, с какою можно возбуждать и удовлетворять наши аппетиты и нашу чувственность; слишком изысканная пища богатых, которая сообщает им горячительные соки и вызывает у них расстройства пищеварения, плохая пища бедных, которой, к тому же, им часто не хватает и недостаток которой заставляет их с жадностью переполнять свой желудок, когда это случайно оказывается возможным; бессонные ночи, излишества всякого рода, неумеренные порывы всей страстей, тревожения и истощение умственных сил, бесконечные огорчения и заботы, которые человек испытывает при любом имущественном положении и которые постоянно гложут его душу — вот печальные доказательства того, что большая часть болезней наших — это дело наших собственных рук и что мы могли бы почти всех их избежать, если бы сохра-

нили образ жизни простой, однообразный и уединенный, который предписан нам был природою. Если она предназначала нас к тому, чтобы мы были здоровыми, то я почти решаюсь утверждать, что состояние размышления — это уже состояние почти что противоестественное и что человек, который размышляет — это животное извращенное. Когда подумаешь о прекрасном здоровье дикарей, по меньшей мере тех, которых мы сами не погубили с помощью наших спиртных напитков; когда вспомнишь, что они почти не знают никаких иных немощей, кроме как раны и старость, то склоняешься к мысли, что легко можно было бы составить историю человеческих болезней, если проследить историю гражданских обществ. Таково, по крайней мере, мнение Платона<sup>53</sup> — он, судя по некоторым лекарствам, применявшимся или одобрявшимся Подалирием и Махаоном<sup>54</sup>, пришел к выводу, что различные болезни, которые неизбежно должны были вызвать эти лекарства, были, стало быть, еще совсем неизвестны среди людей; а Цельс<sup>55</sup> сообщает, что диета, столь необходимая ныне, была изобретена только Гиппократом<sup>56</sup>.

При столь немногих источниках болезней человек в естественном состоянии почти что не нуждается в лекарствах и еще менее — во врачах; человеческий род в этом отношении находится в положении, отнюдь не худшем, чем все остальные; и у охотников нетрудно узнать, много ли больных животных попадает к им по пути. Много встречают они животных с опасными ранами, которые сами собою очень хорошо зарубцевались; с переломами костей и даже членов, которые выправились без помощи иного хирурга, кроме времени, иного режима, кроме обычной их жизни; эти животные выздоровели окончательно, хотя их не мучили операциями, не отравляли снадобьями и не изнуряли постами. Наконец, сколь бы ни было полезно нам искусство врачевания, правильно используемое, все же очевидно, что если больному дикарю, предоставленному самому себе, не на кого надеяться, кроме как на природу, ему зато и нечего опасаться, кроме своей болезни: это делает нередко его положение более предпочтительным, чем наше.

Остережемся же смешивать дикого человека с теми людьми, которых видим мы перед собою. Природа обходится со всеми животными, предоставленными ее заботам,

с особою нежностью, которая как бы показывает, насколько ревниво относится она к этому своему праву. Лошадь, кошка, бык и даже осел, в большинстве своем, отличаются более высоким ростом и все — более крепким телосложением, большею живостью, силою и храбростью пока живут в лесах, а не в домах наших; они теряют половину этих преимуществ, когда становятся домашними, и можно сказать, что все наши старания хорошо обращаться с этими животными и хорошо кормить их ведут лишь к их вырождению. То же происходит и с человеком: приобретая способность жить в обществе и становясь рабом, он делается слабым, боязливым и приниженным, а его образ жизни, изнеженный и расслабленный, окончательно подтачивает и его силы и его мужество. Прибавим, что различия между людьми в состояниях диком и домашнем должны быть еще больше, чем между животными дикими и домашними, ибо, поскольку природа обходится одинаково с животным и с человеком, все жизненные удобства, которых человек доставляет себе больше, чем приручаемым им животным, суть особые причины, которые вызывают более ошутимое его вырождение.

Итак, для этих первых людей не составляет столь большого несчастья, ни, даже, столь большого препятствия для их самосохранения, нагота, отсутствие жилища и всех тех ненужностей, которые считаем мы столь необходимыми. Если кожа их не покрыта шерстью, то в жарких странах они в этом не нуждаются, а в холодных странах они быстро научаются приспособлять в качестве одежды шкуры тех животных, которых они победили. Если у них только две ноги, чтобы бегать, зато у них две руки, чтобы позаботиться о своей защите и о своих нуждах. Дети их научаются ходить, быть может, поздно и с трудом, зато матери легко носят их с собою — этого преимущества нет у других видов, у которых мать, будучи преследуема, оказывается вынужденной бросать своих детенышей на произвол судьбы или же соразмерять свой бег с их бегом\*. Нако-

\* Тут возможны некоторые исключения: к примеру, животное из провинции Никарагуа: оно похоже на лисицу; у него ноги напоминают руки человека, и оно, согласно Кореалю<sup>57</sup>, имеет под животом карман, в который мать кладет детей, когда ей приходится спасаться бегством. Это, безусловно, то же животное, что в Мексике называют *тлакатцином*<sup>58</sup> и самке которого Лаэт<sup>59</sup> приписывает подобный же карман, имеющий то же назначение.

нец, если не предполагать тех исключительных и случайных обстоятельств, о которых я буду говорить в дальнейшем и которые вполне могли бы никогда не иметь места, то ясно, во всяком случае, что первый, кто изготовил себе одежду и построил себе жилище, доставил себе этим вещи мало необходимые, потому как до того времени он обходился без них, и мы не видим, почему бы он не мог, став взрослым, вести тот образ жизни, который он вел с самого своего детства.

Одинокий, праздный, всегда в непосредственной близости к опасности дикий человек должен любить спать и сон его должен быть чутким, как у животных, которые, думая мало, спят, так сказать, все время, когда они не думают. Так как забота о самосохранении составляет почти единственную его заботу, то наиболее развитыми его способностями должны быть те, главное назначение которых служить для нападения и для защиты: либо для того, чтобы овладеть своей добычей, либо для того, чтобы не стать самому добычею другого животного. Напротив, те органы, которые совершенствуются лишь под влиянием изнеженности и чувственности, должны оставаться в грубом состоянии — это исключает в дикаре утонченность какого бы то ни было рода; и так как чувства его разделяются по такому признаку, то осязание и вкус будут у него крайне грубы, зрение же, слух и обоняние — в высшей степени обостренными. Таково животное состояние вообще и таково же, по свидетельству путешественников, состояние большинства диких народов. Поэтому вовсе не следует удивляться ни тому, что готтентоты мыса Доброй Надежды<sup>60</sup> различают невооруженным глазом корабли в открытом море с такого же расстояния, как голландцы с помощью зрительных труб; ни тому, что дикари Америки чуют испанцев по их следу, как самые лучшие псы; ни тому, что все эти дикие народы без труда переносят свою наготу, возбуждают аппетит свой с помощью индейского перца и пьют европейские крепкие напитки, как воду.

До сих пор я рассматривал только физическое естественное человека, попробуем теперь взглянуть на него со стороны духовной и нравственной.

Во всяком животном я вижу лишь хитроумную машину<sup>61</sup>, которую природа наделила чувствами, чтобы она могла сама себя заводить и ограждать себя, до некоторой

степени, от всего, что могло бы ее уничтожить или привести в расстройство. В точности то же самое вижу я и в машине человеческой с той только разницей, что природа одна управляет всеми действиями животного, тогда как человек и сам в этом участвует как свободно действующее лицо. Одно выбирает или отвергает по инстинкту, другой — актом своей свободной воли. Это приводит к тому, что животное не может уклониться от предписанного ему порядка, даже если бы то было ему выгодно, человек же часто уклоняется от этого порядка себе во вред.

Именно поэтом голубь умер бы с голоду подле миски, наполненной превосходным мясом, а кошка — на груде плодов или зерна, хотя и тот и другая прекрасно могли бы кормиться этою пищей, которую они пренебрегают, если бы они только догадались ее отведать. Именно поэтому люди невоздержанные предаются излишества, которые вызывают волнения и смерть, так как ум развращает чувства, а желание продолжает еще говорить, когда природа умолкает.

У всякого животного есть свои представления, потому что у него есть чувства; оно даже до некоторой степени комбинирует свои представления, и человек отличается в этом отношении от животного лишь как большее от меньшего<sup>62</sup>. Некоторые философы даже предположили, что один человек больше отличается от другого человека, чем человек — от животного. Следовательно, специфическое отличие, выделяющее человека из всех других животных, составляет не столько разум, сколько его способность действовать свободно. Природа велит всякому живому существу, и животное повинуетя. Человек испытывает то же воздействие, но считает себя свободным повиноваться или противиться, и как раз в сознании этой свободы проявляется более всего духовная природа его души. Ибо физика некоторым образом объясняет нам механизм чувств и образования понятий, но в способности желать, или точнее, выбирать, и в ощущении этой способности можно видеть лишь акты чисто духовные, которые ни в коей мере нельзя объяснить, исходя из законов механики.

Но если бы трудности, с которыми связано изучение всех этих вопросов, и оставляли все же некоторый повод для споров относительно этого различия между человеком и животным, то есть другое, весьма характерное и отли-

чающее их одно от другого свойство, которое уже не может вызвать никаких споров: это — способность к самосовершенствованию, которое с помощью различных обстоятельств ведет к последовательному развитию всех остальных способностей, способность, присущая нам как всему роду нашему, так и каждому индивидууму, в то время, как животное, по истечении нескольких месяцев после рождения на свет, становится тем, чем будет всю жизнь, а род его, через тысячу лет, — тем же, чем был он в первый год этого тысячелетия. Почему один только человек способен впадать в слабоумие? Не потому ли, что он таким образом возвращается к изначальному своему состоянию; и в то время как животное, которое ничего не приобрело и которое тем более не может ничего потерять, всегда сохраняет свой инстинкт, человек, теряя вследствие старости или иных злоключений все то, что он приобрел благодаря его способности к совершенствованию<sup>63</sup>, снова падает таким образом даже ниже еще, чем животное? Было бы печально для нас, если бы мы вынуждены были признать, что эта отличительная и почти неограниченная способность человека есть источник всех его несчастий, что именно она выводит его с течением времени из того первоначального состояния, в котором он проводит свои дни спокойно и невинно; что именно она, способствуя с веками расцвету его знаний и заблуждений, пороков и добродетелей, превращает его со временем в тирана себя самого и природы<sup>(IV)</sup>. Было бы ужасно, если бы мы должны были бы восхвалять, как существо благодетельное, того, кто первым подсказал обитателю берегов Ориноко, как применять дощечки<sup>64</sup>, которыми он зажимает виски своих детей и которые являются, по меньшей мере, одной из причин их слабоумия и первобытного их счастья.

Дикий человек, предоставленный природою одному лишь инстинкту, или, точнее, вознаграждаемый за возможное отсутствие инстинкта такими способностями, которые сперва позволяют ему заменить его, а потом поднимают его значительно над природою, — этот человек начнет с чисто животных функций. Замечать и чувствовать — таково будет первое его состояние, которое будет у него еще общим со всеми другими животными; хотеть или не хотеть, желать и бояться — таковы будут первые и почти единственные движения души его до тех пор, пока новые обстоятельства не вызовут в ней нового развития.

Что бы там ни говорили моралисты, а разум человеческий все же многим обязан страстям<sup>65</sup>, которые, по общему признанию, также многим ему обязаны. Именно благодаря их деятельности и совершенствуется наш разум; мы хотим знать только потому, что мы хотим наслаждаться, и невозможно было бы постигнуть, зачем тот, у кого нет ни желаний, ни страхов, дал бы себе труд мыслить. Страсти, в свою очередь, ведут свое происхождение от наших потребностей, а развитие их — от наших знаний; ибо желать или бояться чего-либо можно лишь на основании представлений, которые можем мы иметь об этом или же следуя естественному импульсу; и дикий человек, лишенный каких бы то ни было познаний, испытывает лишь страсти этого последнего рода. Его желания не идут далее физических потребностей<sup>(V)</sup>; единственные блага в мире, которые ему известны, — это пища, самка и отдых; единственные беды, которых он страшится, — это боль и голод. Я говорю боль, а не смерть, ибо никогда животное не узнает, что такое — умереть, и знание того, что такое смерть и ужасы ее — это одно из первых приобретений, которые человек делает, отдаляясь от животного состояния<sup>66</sup>.

Мне было бы легко, если бы это было необходимо, подтвердить сие мнение фактами и показать, что у всех народов мира успехи разума оказались в точном соответствии с потребностями, которые они получили от природы или которым подчинили их обстоятельства, и, следовательно, с теми страстями, которые побуждали их удовлетворять эти потребности. Я показал бы, как в Египте науки и искусства рождались и распространялись вместе с разливами Нила<sup>67</sup>; я проследил бы за развитием их у греков, где они зародились, развились и поднялись до небес среди песков и скал Аттики, но не могли укорениться на плодородных берегах Еврота<sup>68</sup>; я отметил бы, что вообще народы Севера более изобретательны, чем народы Юга<sup>69</sup>, потому что им труднее без этого обойтись, как если бы природа таким образом хотела уравнивать возможности, наделив умы тем плодородием, в котором она отказала почве.

Но даже если мы и не будем прибегать к малодостоверным свидетельствам истории, разве не всякому понятно, что все, казалось бы, удаляет от дикого человека искушение и средства перестать быть таковым? Его воображение ничего не рисует ему, его сердце ничего от него не требует.

То, что нужно для удовлетворения его скромных потребностей, столь легко можно найти под руками и он столь далек от уровня знаний, необходимого для того, чтобы желать приобрести еще бóльшие, что у него не может быть ни предвидения, ни любознательности. Зрелище природы становится ему безразличным по мере того, как оно становится для него привычным: вечно тот же порядок, вечно те же перевороты; он не склонен удивляться величайшим чудесам, и не у него следует искать тот философский склад ума, который нужен человеку, чтобы он смог однажды заметить то, что до этого видел он ежедневно. Его душа, которую ничто не волнует, предается только лишь ощущению его существования в данный момент, не имея никакого представления о будущем, как бы оно ни было близко, и его планы, ограниченные, как и кругозор его, едва простираются до конца текущего дня. Такова еще и сегодня степень предвидения карайба: он продает поутру хлопковое ложе свое и, плача, приходит выкупать его к вечеру, так как он не предвидел, что оно может ему понадобиться на ближайшую ночь<sup>70</sup>.

Чем больше размышляем мы по этому вопросу, тем более увеличивается в наших глазах дистанция между чистыми ощущениями и самыми несложными знаниями; и невозможно себе представить, как мог человек, только своими силами и без помощи общения с себе подобными и не подстрекаемый необходимостью, преодолеть столь большое расстояние. Сколько веков, возможно, протекло, прежде чем люди оказались в состоянии увидеть иной огонь, кроме небесного! сколько понадобилось им разного рода случайностей, чтобы научиться самым обычным способом пользоваться этою стихией! сколько раз погасал он у них, прежде чем они постигли искусство разводить его вновь! и сколько раз, быть может, каждый из секретов этих умирал вместе с тем, кто открывал его! Что же сказать нам о земледелии, искусстве, которое требует столько труда и столько предусмотрительности, зависит от столь многих других искусств, которое, вполне очевидно, может применяться только в обществе, хотя бы недавно возникшем, и служит нам не столько для того, чтобы добывать из земли ту пищу, которую земля исправно доставляла бы и без него, сколько для того, чтобы заставить ее производить предпочтительно то, что нам более всего по вкусу?

Но предположим, что люди размножились настолько, что продуктов природы оказалось бы уже недостаточно, чтобы их прокормить, — предположение это, отметим попутно, свидетельствовало бы, что этот образ жизни заключает в себе великую выгоду для человеческого рода. Предположим, что земледельческие орудия, без кузниц и мастерских, попали бы в руки дикарей, упав с неба; что люди эти побороли бы в себе смертельное отвращение, которое все они питают к продолжительному труду; что они научились бы предвидеть столь задолго свои потребности; что они догадались бы, как нужно обрабатывать землю, высевать семена и сажать деревья; что они открыли бы искусство молотить хлебные зерна и вызывать брожение в винограде — всему этому должны были бы их научить боги, потому что невозможно постигнуть, как могли бы они научиться этому сами, — кто после всего этого был бы столь безрассуден, чтобы выбиваться из сил, обрабатывая поле, которое будет опустошено первым же пришельцем — безразлично, человеком или животным, — которому приглянется эта жатва? И почему бы каждый решил проводить жизнь свою в тяжелых трудах, если он будет тем менее уверен в том, что получит вознаграждение за них, чем более будет оно ему необходимо? Словом, как может положение это побудить людей обрабатывать землю до тех пор, пока не будет она вообще разделена между ними, то есть пока не будет вообще уничтожено естественное состояние?

Если бы мы захотели предположить, что дикий человек столь же далеко ушел в искусстве мышления, каким нам представляют его наши философы; если бы мы, по их примеру, сделали его самого философом, самостоятельно открывающим возвышеннейшие истины, создающим себе путем целого ряда отвлеченных рассуждений принципы справедливого и разумного, основанные на любви к порядку вообще или на познанной воле Создателя его: словом, если бы мы предположили, что у него в голове столько же смысла, сколько в действительности там оказывается непонятливости и тупости, — то какую пользу извлек бы род человеческий из такого рода умственного развития, которое не могло бы передаваться от одного индивидуума к другому и умирало бы вместе с тем, кто проделал его? Каковы могли бы быть успехи рода человеческого, рассе-

янного в лесах среди животных? И до какой степени могли бы взаимно совершенствоваться и взаимно просвещать друг друга люди, которые, не имея ни постоянного жилища, ни какой бы то ни было нужды один в другом, встречались бы, быть может, не более двух раз в своей жизни, не узнавая друг друга и не вступая друг с другом в разговор?<sup>71</sup>

Подумайте, сколькими представлениями обязаны мы употреблению речи; как изощряет и облегчает грамматика действия ума; каких невообразимых усилий и какого огромного времени стоило впервые изобрести языки. Присоедините к этим соображениям предыдущие, и тогда судите сами, сколько тысяч веков потребовалось, чтобы развить последовательно в человеческом уме способность производить те действия, на которые он был способен.

Да будет мне позволено бросить беглый взгляд на трудности, связанные с вопросом о происхождении языков<sup>72</sup>. Я мог бы ограничиться здесь изложением или повторением исследований по этому вопросу г-на аббата де Кондильяка<sup>73</sup>, они полностью подтверждают мое мнение и они-то, быть может, и дали мне первое представление об этом предмете. Но способ, каким этот философ разрешает трудности, которые он сам же себе создает в вопросе о происхождении установленных законов, показывает, что он предположил то, что я подвергаю сомнению, а именно — уже установленную своего рода связь между изобретателями языка; поэтому я полагаю, что, отсылая читателя к его размышлениям, я должен присоединить к ним и мои, чтобы представить эти трудности в освещении, соответствующем моей теме. Первая трудность, которая здесь возникает, состоит в том, чтобы представить себе, каким образом языки могли оказаться нужны, ибо если люди не имели никаких сношений между собою и никакой нужды в них, то непонятна ни потребность в этом изобретении, ни возможность его, если не было оно необходимо. Я вполне мог бы сказать, как многие другие, что языки родились в домашних сношениях между отцами, матерями и детьми. Но помимо того, что это вовсе не опровергло бы возражений, это значило бы совершить ошибку, которую совершают все, кто, размышляя о естественном состоянии, переносят на него понятия, взятые в обществе, видят всегда семью соединенной в одном и том же жилище и ее членов, сохраняющих между собою союз столь же тесный и столь

же постоянный, каким он является у нас, где их объединяет столько общих интересов; между тем, в этом первобытном состоянии не было ни домов, ни хижин, ни какого бы то ни было рода собственности, и поэтому каждый располагался как и где придется — и часто только на одну ночь: самцы и самки соединялись случайно волею встречи, случая и желанья, не испытывая особой необходимости в речи, чтобы передавать то, что им нужно было сказать друг другу; они покидали друг друга с такою же легкостью. Мать сначала выкармливала своих детей, потому что ей самой это было необходимо; затем привычка делала их для нее дорогими — и она кормила их потому, что это было им необходимо. Как только у них появлялись силы искать себе пропитание, они немедленно покидали мать, и так как едва ли было какое-либо другое средство отыскивать друг друга, кроме как не терять друг друга из виду, то они вскоре доходили до того, что переставали даже узнавать друг друга. Отметим еще, что так как ребенок должен объяснить все, что ему надобно, и, следовательно, ему нужно сказать матери больше, чем мать должна сказать ему, то именно ребенку нужно потратить больше всего труда на это изобретение, и язык, которым он пользуется, должен быть в значительной степени его собственным созданием<sup>74</sup>. Это плодит столько же языков, сколько существует индивидуумов, чтобы на них разговаривать; этому способствует еще кочевой образ жизни, который не дает ни одному наречию времени укорениться. Если же сказать, что мать диктует ребенку слова, которыми он должен будет пользоваться, чтобы попросить у нее то или иное, то сие наглядно показывает, как обучают языкам, уже сложившимся, но это вовсе не объясняет, как они складываются.

Предположим первую эту трудность преодоленною; перенесемся на мгновение через огромное пространство, которое должно было отделять естественное состояние от возникшей уже потребности в языках, и попытаемся узнать, предполагая, что языки необходимы<sup>(71)</sup>, как они могли начать устанавливаться. Новая трудность, еще большая, чем предыдущая. Ибо если люди нуждались в речи, чтобы научиться мыслить, то они еще более нуждались в умении мыслить, чтобы изобрести искусство речи<sup>75</sup>, и если бы мы поняли, каким образом звуки голоса взяты были

как условные передатчики наших мыслей, то все же останется еще узнать, каковы могли быть сами передатчики условия этого для понятий, которые, не имея предметом своим нечто осязаемое, не могли быть определяемы ни жестами, ни голосом. Так что едва ли можно строить какие-либо основательные предположения относительно зарождения этого искусства сообщать другим свои мысли и устанавливать сношения между умами; искусства возвышенного, которое столь далеко уже ушло от своих истоков, но, на взгляд философа, остается еще столь далеким от своего совершенства, что нет человека достаточно дерзкого, который решился бы утверждать, что оно когда-нибудь придет к этому совершенству — даже если бы перевороты, которые неизбежно приносит с собой время, и прекратились, к выгоде для него, даже если бы академии расстались со всеми своими предрассудками или предрассудки умолкли перед лицом академий, и академии могли бы непрерывно, на протяжении целых столетий, заниматься только этим затруднительным вопросом.

Первый язык человека, язык наиболее всеобщий, наиболее выразительный и единственный, в котором нуждался он, прежде чем пришлось ему убеждать в чем-то людей уже объединившихся, — это крик самой природы<sup>76</sup>. Так как этот крик исторгался у человека лишь силою некоторого рода инстинкта в случаях настоящей необходимости, чтобы умолять о помощи при большой опасности или об облегчении при тяжких страданиях, то им редко пользовались в повседневной жизни, где царят чувства более умеренные. Когда представления людей стали расширяться и усложняться и когда между людьми установилось более тесное общение, они постарались найти знаки более многочисленные и язык более развитый, они увеличили число изменений голоса и присоединили к ним жесты, которые по природе своей более выразительны и смысл которых менее зависит от предварительного условия. Они, таким образом, выражали предметы видимые и движущиеся посредством жестов, а те, которые действуют на слух, — посредством звукоподражаний. А так как жесты означают почти только такие предметы, которые налицо, или такие, которые легко описать, и видимые действия, так как применение жестов не всеобъемлюще, потому что темнота или возникновение преграды в виде какого-либо

предмета делают их бесполезными и потому что они скорее требуют внимания, чем возбуждают его, то, в конце концов, додумались заменить их изменениями голоса, которые, не имея такой же связи с определенными представлениями, все же более способны выражать их в виде условных обозначений. Замена эта может совершиться только с общего согласия и притом таким способом, который довольно трудно было осуществить людям с мало развитыми, ввиду отсутствия упражнений, органами речи, и такая замена сама по себе кажется еще более непостижимой, потому что это единодушное согласие должно было быть каким-либо образом мотивировано, и, следовательно, получается, что необходимо было прежде обладать речью, чтобы потом ввести ее в употребление.

Надо полагать, что первые слова, которыми люди пользовались, имели в их уме значение гораздо более широкое, чем слова, которые употребляют в языках, уже сложившихся; и что, не ведая разделения речи на составные ее части, они придавали каждому слову сначала смысл целого предложения<sup>77</sup>. Когда они начали отличать подлежащее от сказуемого и глаголы от существительных, что было уже не малым подвигом человеческого гения, существительных было вначале лишь столько же, сколько имен собственных, настоящее время инфинитива было единственным временем глаголов<sup>78</sup>, а что до прилагательных<sup>79</sup>, то понятие о них должно было развиваться лишь с большим трудом, потому что всякое прилагательное есть слово абстрактное, а абстракции суть операции трудные и мало естественные.

Каждый предмет получил сначала свое особое название, вне зависимости от родов и видов, которые эти первые учителя не были в состоянии различать, и все индивидуумы представлялись их уму обособленными, какими и являются они на картине природы. Если один дуб назывался *A*, то другой дуб назывался *B*, ибо первое наше представление, которое возникает при виде двух предметов — это то, что они не одно и то же, и часто нужно немало времени, чтобы подметить, что у них есть общего; так что чем более ограниченными были знания, тем обширнее становился словарь<sup>80</sup>. Затруднения, связанные со всею этою номенклатурой, нельзя было легко устранить, ибо, чтобы расположить живые существа согласно общим и родовым обозна-

чениям, нужно было знать свойства и различия, нужны были наблюдения и определения, то есть требовались естественная история и метафизика в гораздо большем объеме, чем то могло быть известно людям того времени.

К тому же общие понятия могут сложиться в уме лишь с помощью слов, а рассудок постигает их лишь посредством предложений. Это — одна из причин, почему у животных не может образоваться таких понятий и почему они не смогут когда бы то ни было приобрести ту способность к совершенствованию, которая от этих понятий зависит. Когда обезьяна, не колеблясь, переходит от одного ореха к другому, то разве думаем мы, что у нее есть общее понятие об этом роде плодов и что она сравнивает сложившийся у нее первообраз с этими двумя отдельными предметами? Нет, конечно, но вид одного из этих орехов вызывает в ее памяти ощущения, вызванные у нее другим, а глаза ее, уже приспособившись определенным образом, предуведомляют ее орган вкуса о том, как он должен приспособиться. Всякое общее понятие чисто умственно; если только к нему хоть чуть-чуть примешивается воображение, понятие сразу же становится частным. Попробуйте представить себе образ дерева вообще — это вам никогда не удастся: помимо вашей воли, вы должны будете увидеть его маленьким или большим, густым или с редкою листвою, светлым или темным, и если бы от вас зависело увидеть в нем лишь только то, что свойственно всякому дереву, то образ этот больше не походил бы на дерево. То, что существует только как чистая абстракция, также можно увидеть подобным образом или постигнуть лишь посредством речи. Одно только определение треугольника даст вам о нем истинное представление; но как только вы представите себе треугольник в уме, то это будет именно такой-то треугольник, а не иной, и вы обязательно придадите ему ощутимые линии или окрашенную плоскость. Нужно, следовательно, произносить предложения, нужно, следовательно, говорить, чтобы иметь общие понятия<sup>81</sup>, ибо как только прекращается работа воображения, ум может продвигаться лишь с помощью речи. Если, таким образом, первые изобретатели могли дать названия лишь тем понятиям, которые у них уже были, то отсюда следует, что первые существительные никогда не могли быть ничем иным, кроме как именами собственными.

Но когда, посредством непостижимых для меня способов, наши новоявленные грамматикеры начали расширять свои понятия и делать более общими свои слова, то невежество изобретателей должно было ограничить этот метод весьма тесными рамками; и так как сначала они чрезмерно умножили число названий индивидуумов, ибо не знали родов и видов, то впоследствии они образовали уже слишком мало видов и родов, ибо существа они не рассматривали с точки зрения всех их различий. Чтобы продвинуть разделение достаточно далеко, нужно было иметь больше опыта и знаний, чем могло у них быть, больше исследований и труда, чем пожелали они на это употребить. А если и теперь открывают ежедневно новые виды, которые до сих пор ускользали от всех наших наблюдений, то подумайте, сколько их должно было укрыться от людей, которые судили о вещах лишь по первому взгляду. Что же до первоначальных категорий и наиболее общих понятий, то излишне прибавлять, что они также должны были от них ускользнуть. Как могли они, например, представить себе или понять такие слова, как материя, дух, сущность, способ, образ, движение, когда наши философы, которые столь долгое время уже ими пользуются, с большим трудом могут их понять сами, и, — так как понятия, которые связываем мы с этими словами, всецело отвлеченные, — они не находят им никакого прообраза в природе?

Я остановлюсь на этих первых шагах и умоляю моих судей прервать здесь чтение и подумать: после изобретения существительных, т. е. той части языка, которую создать было легче всего, — какой еще путь должен был пройти язык, чтобы он мог выражать все мысли людей, чтобы он мог получить постоянную форму, чтобы на нем можно было разговаривать публично и с его помощью воздействовать на общество? Я умоляю их поразмыслить над тем, сколько потребовалось времени и знаний, чтобы изобрести числа<sup>(VII)</sup>, слова, обозначающие отвлеченные понятия, аористы и все времена глаголов, частицы, синтаксис, чтобы научиться составлять предложения, суждения и чтобы создать всю логическую систему речи. Что до меня, то, утраченный все умножающимися трудностями и убежденный в том, что, как это уже почти доказано, языки не могли возникнуть и утвердиться с помощью средств чисто человеческих<sup>82</sup>, я предоставляю всем желающим зани-

маться обсуждением сего трудного вопроса: что было нужнее — общество, уже сложившееся, — для введения языков, либо языки, уже изобретенные, — для установления общества.

Как бы ни обстояло дело с происхождением языка и общества, все же по тому, сколь мало природа позаботилась о сближении людей на основе их взаимных потребностей и об облегчении им пользования речью, видно, по меньшей мере, сколь мало подготовила она их способность к общежитию<sup>83</sup> и сколь мало внесла она своего во все то, что сделали они, чтобы укрепить узы общества. В самом деле, невозможно представить себе, почему человек в этом первобытном состоянии больше нуждался бы в другом человеке, чем обезьяна или волк — в себе подобных; и если даже предположить, что была у него в этом нужда, то какая причина могла бы побудить другого человека идти ему в этом навстречу; наконец, даже в этом последнем случае, как могли бы они достигнуть между собою соглашения относительно тех или иных условий. Нам беспрестанно повторяют, я это знаю, что не было ничего столь несчастного, как человек в этом состоянии<sup>84</sup>; и если верно, как я, надеюсь, это доказал, что лишь через много веков у него могли появиться желание и возможность выйти из этого состояния, то винить в этом надо бы природу, а не того, кого она таким именно создала. Но если я правильно понимаю это выражение *несчастный*, то слово это либо не имеет смысла, либо означает лишь мучительные лишения и страдания души или тела; и если так, то я бы очень хотел, чтобы мне объяснили, какого рода могут быть несчастья существа свободного, спокойного душою и здорового телом. Я спрашиваю, который из двух образцов жизни — в гражданском обществе или в естественном состоянии — скорее может стать невыносимым для того, кто живет в этих условиях? Мы видим вокруг нас почти только таких людей, которые жалуются на свою жизнь, и многих таких, которые лишают себя жизни, когда это в их власти; законы божеский и человеческий вместе едва способны остановить этот беспорядок. А случилось ли вам когда-либо слышать, я спрашиваю, чтобы дикарь на свободе хотя бы только подумал о том, чтобы жаловаться на жизнь и кончать с собою. Судите же с меньшим высокомерием о том, по какую сторону мы видим подлинное челове-

ческое несчастье. И напротив, могло ли быть существо столь же несчастное, как дикий человек, ослепленный познаниями, измученный страстями и рассуждающий о состоянии, отличном от его собственного. То было весьма мудрым предвидением, что способности, которыми обладал этот человек в потенции, должны были развиваться только тогда, когда уже были случаи их упражнять, так чтобы они не оказались для него излишними и обременительными прежде времени или же запоздалыми и бесполезными в случае надобности. В одном только инстинкте заключалось для него все, что было ему необходимо, чтобы жить в естественном состоянии; а в просвещенном уме заключается для него лишь то, что ему необходимо, чтобы жить в обществе.

На первый взгляд кажется, что люди, которые в этом состоянии не имели между собою ни какого-либо рода отношений морального характера, ни определенных обязанностей, не могли быть ни хорошими, ни дурными и не имели ни пороков, ни добродетелей<sup>85</sup>, если только, принимая эти слова в некоем физическом смысле, мы не назовем пороками те качества индивидуума, которые могут препятствовать его самосохранению, а добродетелями — те качества, которые могут его самосохранению способствовать; в этом случае пришлось бы назвать наиболее добродетельным того, кто менее всех противился бы простейшим внушениям природы. Но, если мы не будем отходить от обычного значения этого слова, то лучше не высказывать пока суждения, которое могли бы мы вынести о таком положении, и не доверяться нашим предрассудкам до тех пор, пока, имея в руках надежное мерило, мы не исследуем, больше ли добродетелей, чем пороков, среди людей цивилизованных, либо же — приносят ли этим людям больше пользы их добродетели, чем вреда — их пороки; либо — является ли развитие их знаний достаточным вознаграждением за то зло, которое они взаимно причиняют один другому по мере того, как научаются добру, которое они должны делать друг другу; либо же, в общем, — не было ли бы их положение более предпочтительным, когда им нечего было терять и не надо было ни страшиться зла, ни ждать добра от кого бы то ни было, чем тогда, когда, сделавшись зависимыми от всего решительно, они обязались бы ждать всего от тех, кто не обязывается что-либо им давать.

Более же всего воздержимся заключать вместе с Гоббсом<sup>86</sup>, что пока человек не имеет понятия о доброте, он от природы зол, что он порочен, пока не знает добродетели; что он неизменно отказывает себе подобным в услугах, если он не считает себя к тому обязанным, и что, в силу права на владение вещами, ему необходимыми, — права, которое он не без основания себе присваивает, — он безрассудно мнит себя единственным обладателем всего мира<sup>87</sup>. Гоббс очень хорошо видел недостаточность всех современных определений естественного права, но следствия, которые выводит он из своего собственного определения, показывают, что он придает ему такое значение, которое не менее ложно. Исходя из принципов, им же установленных, этот автор должен был бы сказать, что естественное состояние — это такое состояние, когда забота о нашем самосохранении менее всего вредит заботе других о самосохранении, и состояние это, следовательно, есть наиболее благоприятное для мира и наиболее подходящее для человеческого рода. Он, однако, утверждает как раз противное, когда включает, весьма некстати, в то, что составляет заботу дикого человека о своем самосохранении, необходимость удовлетворять множество страстей, кои суть порождение общества и которые сделали необходимым установление законов. Злой, — говорит он<sup>88</sup>, — это сильное дитя. Остается выяснить, является ли дикарь сильным дитятею? Допустим, что мы бы с ним в этом согласились, что бы он из этого вывел? Что, если, будучи сильным, человек этот так же зависел от других, как тогда, когда он слаб, что нет такой крайности, которая могла бы его остановить, он прибил бы свою мать, если бы она слишком замешкалась дать ему грудь; он задушил бы одного из своих младших братьев, если бы тот ему докучал; он укусил бы за ногу другого, если бы тот толкнул его или обеспокоил. Но — быть сильным и одновременно зависимым — это два предположения, которые исключают друг друга при естественном состоянии: человек слаб, когда он зависим, но он освобождается от зависимости прежде еще, чем становится сильным. Гоббс упустил из виду, что та же причина, которая мешает дикарям использовать свой ум, как утверждают наши юристы, в то же время мешает им злоупотреблять своими способностями, как утверждает он сам. Так что можно было бы сказать, что дикари не злы

как раз потому, что они не знают, что значит быть добрыми, ибо не развитие познаний и не узда Закона, а безмятежность страстей и неведение порока мешают им совершать зло: *Tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio quam in his cognitio virtutis\**. Есть, впрочем, еще одно начало, которое Гоббс совсем упустил из вида и которое, будучи дано человеку для смягчения, в известных обстоятельствах, неукротимости его самолюбия или его стремления к самосохранению, пока еще не родилось чувство самолюбия<sup>(viii)</sup>, умеряет его рвение в борьбе за свое благополучие врожденным отвращением, которое он испытывает при виде страданий ему подобного<sup>89</sup>. Полагаю, что мне нечего бояться каких-либо возражений, если я отдам человеку ту единственную природную добродетель, признать которую был вынужден даже самый злостный хулитель добродетелей человеческих<sup>90</sup>. Я говорю о жалости, о естественном сочувствии к существам, которые столь же слабы, как мы, и которым грозит столько же бед, как и нам: добродетель эта тем более всеобъемлюща и тем более полезна для человека, что она предшествует у него всякому размышлению, и столь естественна, что даже животные иногда обнаруживают явные ее признаки. Не говоря уже о нежности матерей к их детенышам и о тех опасностях, которым идут навстречу, чтобы оградить своих детенышей от этих опасностей, разве не приходится нам ежедневно наблюдать, сколь противно лошади раздавить ногою какое-либо живое существо. Всякое животное чувствует некоторое беспокойство, когда встречает на своем пути мертвое животное его же вида; есть даже такие, которые устраивают своим собратьям нечто вроде погребения; и жалобный рев скота, когда он попадает на бойню, говорит о том впечатлении, которое производит на него это ужасное зрелище, его поражающее. Мы с удовольствием замечаем, что и автор *Басни о пчелах*<sup>91</sup>, вынужденный признать человека существом сострадательным и чувствительным, в том примере, который он по этому случаю приводит, изменяет своему изысканному и холодному стилю и представляет нам волнующий образ человека, находящегося взаперти, который видит, как за окном дикий зверь вырывает дитя из объятий матери, крошит смертоносными своими

\* «Им приносит больше пользы незнание пороков, чем другим — знание добродетелей»<sup>92</sup> (лат.). Ю с т и н. История, II, 15.

зубами его слабые члены и разрывает когтями трепещущие внутренности этого дитяти. Какое страшное волнение должен испытать свидетель подобной сцены, которая никак не касается его самого! какие муки должен он испытывать при этом зрелище от того, что не может он оказать никакой помощи ни лишившейся чувств матери, ни умирающему ребенку.

Таков чисто естественный порыв, предшествующий всякому размышлению, такова сила естественного сострадания, которое самым развращенным нравам еще так трудно уничтожить, ибо видим же мы ежедневно, как на наших спектаклях умиляется и льет слезы над злоключениями какого-нибудь несчастливца тот, кто, оказавшись он на месте тирана, еще более отягчил бы муки врага своего, подобно кровожадному Сулле<sup>93</sup>, столь чувствительному к несчастьям, если не он был их причиною, или этому Александру Ферскому<sup>94</sup>, который не решался присутствовать на представлении какой бы то ни было трагедии, опасаясь, как бы не увидели, как стонет он вместе с Андромахой и Приамом<sup>95</sup>, что не мешало ему без волнения слушать вопли стольких граждан, которых убивали ежедневно по его же приказаниям.

*Mollissima corda  
Humano generi dare se natura fatetur,  
Quae lacrimas dedit\**

Мандевилль хорошо понимал, что, несмотря, на все свои моральные принципы, люди навсегда остались бы ничем иным, как чудовищами, если бы природа не дала им сострадания в помощь разуму; но он не увидел, что уже из этого одного качества возникают все общественные добродетели, в которых хочет он отказать людям. В самом деле, что такое великодушие, милосердие и человечность, как не сострадание к слабым, к виновным или к человеческому роду вообще? Благожелательность и даже дружба суть, если взглянуть на это как следует, результат постоянного сострадания, направленного на определенный предмет; ибо желать, чтобы кто-нибудь не страдал — разве это не значит желать, чтобы он был счастлив? Если верно, что сострадание есть всего лишь такое чувство, которое

---

\* Нежнейшее сердце  
Дать роду людскому, видно, желала природа,  
Коль наделила слезами<sup>96</sup> (лат.).

ставит нас на место того, кто страдает<sup>97</sup>, — чувство безотчетное и сильное у человека дикого, развитое, но слабое у человека в гражданском состоянии, — то истинность моих слов получает новое подтверждение. В самом деле, сострадание будет тем сильнее, чем теснее отождествит себя животное-зритель с животным страдающим. Ведь очевидно, что отождествление это должно было бы быть несравненно более полным в естественном состоянии, чем в таком состоянии, когда люди уже рассуждают. Разум порождает самолюбие, а размышление его укрепляет; именно размышление отделяет человека от всего, что стесняет его и удручает. Философия изолирует человека; именно из-за нее говорит он втихомолку при виде страждущего: «Гибни, если хочешь, я в безопасности». Только опасности, угрожающие всему обществу, могут нарушить спокойный сон философа и поднять его с постели. Можно безнаказанно зарезать ближнего под его окном, а ему стоит только закрыть себе руками уши и несколько успокоить себя несложными доводами, чтобы не дать восстающей в нем природе отождествить себя с тем, которого убивают<sup>98</sup>. Дикий человек полностью лишен этого восхитительного таланта; и, по недостатку благоразумия и ума, он всегда без рассуждений отдается первому порыву человеколюбия. Во время бунтов, во время уличных драк сбегается чернь, а человек благоразумный старается держаться подальше; сброд, рыночные торговки разнимают дерущихся и мешают почтенным людям перебить друг друга.

Итак, совершенно очевидно, что сострадание — это естественное чувство, которое, умеряя в каждом индивидууме действие себялюбия, способствует взаимному сохранению всего рода. Оно-то и заставляет нас, не рассуждая, спешить на помощь всем, кто страдает у нас на глазах; оно-то и занимает в естественном состоянии место законов, нравственности и добродетели, обладая тем преимуществом, что никто и не пытается послушаться его кроткого голоса; именно оно не позволит какому бы то ни было сильному дикарю отнять у слабого ребенка или у немощного старика с трудом добытую пищу, если сам он надеется найти ее для себя в другом месте; именно оно внушает всем людям вместо этого возвышенного предписания: *Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобою*<sup>99</sup>, то другое предписание доброты естественной,

которое куда менее совершенно, но, быть может, более полезно, чем предыдущее: *Забиться о благе твоём, причиняя как можно меньше зла другому*. Словом, именно в этом естественном чувстве скорее, чем в каких-либо хитроумных соображениях, следует видеть причину того отвращения к содеянию зла, которое всякий человек испытывает, даже независимо от тех или иных принципов воспитания. Хотя Сократу и умам его закала, возможно, и удавалось силою своего разума приобщиться добродетели, но человеческий род давно бы уже не существовал, если бы его сохранение зависело только от рассуждений тех, которые его составляют.

Обладая страстями столь мало деятельными, и уздою, столь спасительною, эти люди, скорее неистовые, чем злые, более озабоченные тем, чтобы оградить себя от зла, чем подверженные искушению причинить зло другому, не вступали в слишком опасные распри между собою; так как не было между ними сношений какого-либо рода, и они, следовательно, не знали ни тщеславия, ни преклонения, ни уважения, ни презрения; так как они не имели ни малейшего понятия о «твоем» и «моем», как и какого-либо действительного понятия о справедливости; так как считали насилия, которым могли подвергнуться, злом легко исправимым, а не обидою, требующею наказания, и так как они даже не помышляли о мести, — разве только, что осуществляли ее машинально и немедленно, как собака, что кусает брошенный в нее камень, — то их споры редко приводили к кровавым последствиям, если только не имели они своим предметом чего-нибудь более существенное, нежели пища. Но я вижу здесь еще один предмет, более опасный, о котором мне и остается поговорить.

Среди страстей, которые волнуют сердце человека, есть одна, пылкая, неукротимая, которая делает один пол необходимым другому; страсть ужасная, презирающая опасности, опрокидывающая все препятствия; в своем неистовстве она, кажется, способна уничтожить человеческий род, который она предназначена сохранять. Во что превратятся люди, став добычею этой необузданной грубой страсти, не знающей ни стыда, ни удержу, и оспаривающие повседневно друг у друга предметы своей любви ценою своей крови.

Надо прежде всего признать, что чем более неистовы страсти, тем более необходимы законы, чтобы их сдержи-

вать. Но, помимо того, что беспорядки и преступления, которые ежедневно вызывают среди нас эти страсти, довольно хорошо показывают недостаточность законов в этом отношении, было бы еще неплохо исследовать, не родились ли вообще эти беспорядки вместе с самими законами, ибо в том случае, если бы они были способны бороться с беспорядками, то самое малое, чего от них следовало бы потребовать, это чтобы они покончили с тем злом, которого без них вообще бы не существовало.

Начнем с того, что отделим в чувстве любви духовное от физического. Физическое — это вообще желание, влекущее один пол к соединению с другим. Духовное — это то, что определяет это желание и направляет его исключительно на один только предмет, или, по меньшей мере, сообщает этому желанию, направленному на этот предпочитаемый предмет, высшую степень напряжения. Таким образом, нетрудно увидеть, что духовная сторона любви — это чувство искусственное, порожденное жизнью в обществе и превозносимое женщинами с великою ловкостью и старанием, чтобы укрепить свою власть и сделать господствующим тот пол, который должен был бы подчиняться<sup>100</sup>. Чувство это, основывающееся на определенных понятиях о достоинствах и красоте, понятиях, которых у дикаря вообще не может быть, и на сравнениях, которые он вообще не в состоянии делать, должно быть ему почти незнакомо. Ибо, так как в уме его не могло еще сложиться отвлеченных понятий о правильности и соразмерности, то душа его также неспособна чувствовать восхищение и любовь, которые, хотя и безотчетно, рождаются из применения этих понятий. Он послушен только своему темпераменту, который получил от природы, а не вкусу, которого он не мог еще приобрести, и любая женщина хороша для него.

Эти люди ограничены знанием одной только физической стороны любви и счастливы, не ведая тех индивидуальных предпочтений, что разжигают это чувство и умножают его трудности; они должны поэтому не так часто и не так живо чувствовать приступы любовного неистовства; а раз так, то и столкновения между ними должны быть более редки и менее жестоки. Воображение, которое среди нас творит столько бед, ничего не говорит сердцу дикаря; каждый спокойно ждет внушения природы, отдается ему,

не выбирая, более с удовольствием, чем со страстью, и, как только удовлетворена потребность, желание угасает все целиком.

Бесспорно поэтому, что и сама любовь, как и все прочие страсти, приобрела лишь в обществе тот неукротимый пыл, который делает ее столь часто губительною для людей; и представлять диких людей беспрестанно истребляющими друг друга ради удовлетворения своих зверских инстинктов тем более смехотворно, что мнение это противоречит фактам и что, например, караибы — народ, который менее, чем какие-либо из ныне существующих народов, отделился от естественного своего состояния, — как раз миролюбивее всех в своих любовных делах и менее всех подвержены ревности<sup>101</sup>, хотя они и живут в знойном климате, который, казалось бы, должен сообщать страстям этим еще бóльшую деятельность.

Что же до выводов, которые можно было бы сделать из наблюдения над различными видами животных, из схваток самцов, которые повседневно орошают кровью наши птичники или оглашают весною своими криками наши леса, оспаривая друг у друга самку, то здесь надо прежде всего исключить все те виды, внутри которых природа, самым очевидным образом, установила иные соотношения между полами, чем у нас. Таким образом, петушиные бои вовсе не дают основания для каких-либо заключений относительно человеческого рода. У тех видов животных, у которых пропорция соблюдается более строго, бои эти могут иметь причину только немногочисленность самок по сравнению с числом самцов, либо наличие таких промежутков времени, в течение которых самки вообще не подпускают к себе самцов, а это возвращает нас к первой же причине, — ибо если каждая самка допускает к себе самца только два месяца в году, то в результате число самок как бы уменьшается на пять шестых. Однако ни один из этих двух случаев не применим к человеческому роду, где число самок обычно превосходит число самцов и где никогда не приходилось наблюдать, даже у дикарей, чтобы самки, как это имеет место у других видов, периодически то искали самцов, то не подпускали их к себе. Кроме того, поскольку у многих из этих животных период течки наступает одновременно для всего вида, то настает ужасный момент всеобщего возбуждения, сумятицы и боев за

самку, момент, который вообще никогда не наступает среди людей, потому что в человеческом роде любовь никогда не бывает связанною с теми или иными периодами. Поэтому из боев некоторых животных за обладание самкой нельзя заключать, что то же самое, вероятно, происходило и с человеком в естественном состоянии, а если бы и можно было сделать такой вывод, то потому как раздоры эти все не уничтожают другие виды животных, следует, по меньшей мере, думать, что они не были бы более пагубными для нашего рода и, весьма очевидно, произвели бы в естественном состоянии еще меньше опустошений, чем производят они в обществе, особенно же в тех странах, где нравственность еще чего-то стоит и где ревность любовников и месть супругов вызывают ежедневно поединки, убийства и еще худшее; где долг вечной верности служит лишь к тому, чтобы вызывать прелюбодеяния, и где сами законы воздержания и чести неизбежно увеличивают разврат и множат число искусственных выкидышей.

Сделаем выводы: дикий человек, который, блуждая в лесах, не обладал трудолюбием, не знал речи, не имел жилища, не вел ни с кем войны и ни с кем не общался, не нуждался в себе подобных, как и не чувствовал никакого желанья им вредить, даже, может быть, не знал никого из них в отдельности, был подвержен лишь немногим страстям, и, довольствуясь самим собою, обладал лишь теми чувствами и познаниями, которые соответствовали такому его состоянию, ощущал только действительные свои потребности, смотрел лишь на то, что, как он думал, представляло для него интерес, и его интеллект делал не большие успехи, чем его тщеславие. Если случайно делал он какое-нибудь открытие, то тем менее мог он кому-нибудь о нем сообщить, что не знал даже собственных детей. Искусство погибало вместе с изобретателем. Не было ни образования, ни прогресса, бесполезно множились поколения, и, так как каждое из них отправлялось от той же точки, то целые столетия протекали в той же первобытной грубости: род был уже стар, а человек все еще оставался ребенком.

Если я столь долго распространялся об этом предполагаемом первобытном состоянии человека, то это потому, что мне нужно уничтожить старые заблуждения и укоренившиеся предрассудки, и я счел себя обязанным докопаться до корня и показать на картине действительно есте-

ственного состояния, что неравенство, пусть даже естественное, имело в этом состоянии далеко не такие размеры и значение, как это утверждают наши писатели.

В самом деле, нетрудно увидеть, что среди тех особенностей, которые составляют различие между людьми, многие считаются естественными, тогда как они являются лишь порождением привычек и различий в образе жизни, которые становятся свойственными людям в обществе. Так, крепость или хилость телосложения и зависящие от этого сила или слабость часто определяются в большей мере тем, закалили или изнежили человека воспитанием, чем первоначальным строением его тела. Так же обстоит дело и с силами ума; и притом воспитание не только создает различия между умами образованными и необразованными, но оно увеличивает еще и различия между первыми соответственно их образованности, ибо если пойдут по одной дороге великан и карлик, то каждый шаг и первого, и второго даст новое преимущество великану. И вот, если мы сравним огромное разнообразие в способах воспитания и в образе жизни у людей различных разрядов в гражданском обществе с простотою и единообразием жизни животной и дикой, когда все питаются одною и тою же пищею, ведут одинаковый образ жизни и делают в точности одно и то же, мы поймем, насколько менее значительными должны быть различия между людьми в естественном состоянии, чем в общественном состоянии, и насколько должно увеличиться естественное неравенство внутри человеческого рода в результате неравенства, порождаемого общественными установлениями.

Но если бы природа и была столь пристрастна в распределении своих даров, как это утверждают, то какое преимущество перед остальными получили бы те, к которым она бы оказалась более всего благосклонна, при таком положении вещей, которое делало почти невозможными сношения между ними? Там, где нет никакой любви, к чему там красота? Какой прок от ума людям, которые вообще не умеют говорить, и от хитрости — тем, у которых нет никаких дел. Мне постоянно повторяют, что более сильные будут угнетать слабых. Но пусть мне объяснят, что понимают под этим словом «угнетение». Одни будут господствовать с помощью насилия, другие будут изнемогать, будучи вынуждены подчиняться всем прихотям первых. Вот как раз то, что наблюдаю я среди нас, но я не

вижу, как можно говорить это же о дикарях, которым было бы совсем даже нелегко втолковать, что такое порабощение и господство. Человек, конечно, может завладеть плодами, которые собрал другой, дичью, которую тот убил, пещерою, что служила ему убежищем, но как сможет он достигнуть того, чтобы заставить другого повиноваться себе? и какие могут быть узы зависимости между людьми, которые ничем не обладают? Если меня прогонят с одного дерева, то мне достаточно перейти на другое; если меня будут тревожить в одном месте, кто помешает мне пойти в другое? Если найдется человек, столь превосходящий меня силою и, сверх того, столь развращенный, столь ленивый и столь жестокий, чтобы заставить меня добывать для него пищу, тогда как он будет пребывать в праздности? ему придется поставить себе задачей ни на один миг не терять меня из виду и, ложась спать, с превеликою тщательностью связывать меня из страха, чтобы я не убежал и не убил его, т. е. ему придется добровольно обречь себя на труд гораздо более тяжкий, чем тот труд, которого он захотел бы избежать и чем тот труд, который он взвалил бы на меня. Если же, несмотря на все это, бдительность его ослабеет хоть на минуту? если внезапный шум заставит его повернуть голову? я пробегу двадцать шагов по лесу, — и вот уже оковы мои разбиты, и он не увидит меня больше никогда в жизни.

Даже если не вдаваться более в эти ненужные подробности, каждому должно быть ясно, что узы рабства образуются лишь из взаимной зависимости людей и объединяющих их потребностей друг в друге, и потому невозможно поработить какого-либо человека, не поставив его предварительно в такое положение, чтобы он не мог обойтись без другого: положение это не имеет места в естественном состоянии, и потому каждый свободен в этом состоянии от ярма, а закон более сильного там не действителен.

После того, как я доказал, что неравенство едва ощущается в естественном состоянии и что влияние его в этом состоянии почти равно нулю, мне остается показать его происхождение и развитие в ходе последующего развития человеческого ума. После того, как я показал, что *способность к совершенствованию*, общественные добродетели и другие способности, которые естественный человек получил в потенции, никогда не могли развиться сами собою, что для этого было необходимо случайное сочетание мно-

гих внешних причин, которое могло никогда и не возникнуть, и без чего человек навсегда остался бы в своем изначальном состоянии, мне остается еще рассмотреть и сопоставить различные случайности, которые могли способствовать совершенствованию человеческого разума, вызывая одновременно вырождение человеческого рода, превращая человека в существо злое, делая его одновременно способным к общежитию, и от эпохи столь далекой дойти, в конце концов, до той поры, когда человек и мир стали такими, какими мы их видим.

Я признаюсь, что события, которые предстоит мне описать, могли происходить по-разному, и поэтому, делая свой выбор, я могу руководиться лишь теми или иными предположениями. Но кроме того, что догадки эти превращаются в доводы, если они суть наиболее вероятные из тех, которые можно вывести из природы вещей, представляют собою единственно возможные средства, чтобы открыть истину, — следствия, которые собираюсь я вывести из этих догадок, вовсе не будут из-за этого предположительными, так как, основываясь на только что установленных мною принципах, нельзя построить никакой иной системы, которая не доставила бы мне тех же результатов и из которой я не мог бы вывести тех же заключений.

Это избавит меня от необходимости развивать мои соображения о том, каким образом удаление во времени от этих событий восполняет для нас недостаточную их правдоподобность; о поразительной силе причин весьма незначительных, ежели они действуют непрерывно; о невозможности, с одной стороны, опровергнуть некоторые гипотезы, если, с другой, мы оказываемся не в состоянии придать им значение достоверных фактов; о том, что если нам даны два факта как достоверные и их нужно связать цепью фактов промежуточных, неизвестных или рассматриваемых как таковые, то это — дело истории, если она у нас есть, доставить нам факты, их соединяющие; это — дело философии, если фактов не хватает, установить сходные факты, которые могут связать первые между собою; наконец, судить о том, насколько сходство различных фактов сводит их к гораздо меньшему числу различных категорий, чем нам это представляется. Мне достаточно представить эти предметы рассмотрению моих судей; мне достаточно поступить таким образом, чтобы обычным читателям уже не было нужды их рассматривать.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Первый, кто, огородив участок земли<sup>102</sup>, придумал заявить: «Это мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли — для всех, а сама она — ничья!» Но очень похоже на то, что дела пришли уже тогда в такое состояние, что не могли больше оставаться в том же положении. Ибо это понятие — «собственность», зависящее от многих понятий, ему предшествовавших, которые могли возникать лишь постепенно, не сразу сложилось в человеческом уме. Нужно было достигнуть немалых успехов, приобрести множество навыков и познаний, передавать и увеличивать их из поколения в поколение, прежде чем был достигнут этот последний предел естественного состояния. Начнем поэтому с более ранней поры и попытаемся охватить взглядом с одной только точки зрения это медленное развитие событий и знаний в самой естественной их последовательности.

Первым чувством человека было ощущение его бытия; первой его заботой — самосохранение. Плоды земли доставляли ему все необходимые средства к жизни; инстинкт научил его ими пользоваться. Голод и другие влечения заставляли его поочередно испытать то один, то другой способ существования, и среди этих влечений было одно, звавшее его продолжать свой род — эта слепая страсть, лишенная всякого сердечного чувства, влекла за собою только акт чисто животный. Удовлетворив потребность, оба пола уже больше не узнавали друг друга, и даже ребенок ничего уже больше не значил для матери, как только он мог обойтись без нее.

Таково было положение нарождающегося человека; такова была жизнь животного, которому сначала были доступны лишь ощущения в чистом виде и которое едва пользовалось дарами, преподносимыми ему природою, еще не помышляя о том, чтобы что-нибудь у нее отвоевать. Но вскоре он столкнулся с трудностями; нужно было научиться их преодолевать. Высота деревьев, мешавшая человеку добираться до плодов; соперничество животных, которые хотели питаться этими же плодами; свирепость тех из них, которые угрожали его собственной жизни, — все заставляло его настойчиво упражнять свое тело; надо было стать ловким, быстрым в беге, сильным в борьбе. Естественные орудия — ветки деревьев и камни — вскоре попали ему под руку. Он научился преодолевать естественные препятствия, сражаться в случае необходимости с другими животными, оспаривать свою пищу даже у других людей или находить себе новую пищу взамен той, которую приходилось уступать более сильному.

По мере того, как разрастался человеческий род, трудности множились, как и люди. Различия почв, климата, времен года должны были заставить людей вносить различия и в свой образ жизни. Неурожайные годы, долгие и суровые зимы, палящий зной летом, уничтожающий всю растительность, требовали от них новой изобретательности<sup>103</sup>. На берегах морей и рек люди изобретают лесу и крючок, становятся рыболовами и начинают питаться рыбой. В лесах они себе делают луки и стрелы и становятся охотниками и воинами. Гроза, извержение вулкана или какой-нибудь другой счастливый случай знакомит их с огнем — новым средством борьбы с суровостью зимы; они научаются сохранять огонь, затем — воспроизводить его и, наконец, готовить на нем мясо, которое они прежде пожирали сырым.

Это постоянно повторяющееся сопоставление различных живых существ с собою и одних с другими естественно должно было породить в уме человека представления о некоторых соотношениях. Эти отношения, которые мы выражаем словами: большой, маленький, сильный, слабый, быстрый, медленный, боязливый, смелый, и другие подобные понятия, сравниваемые в случае необходимости и притом почти бессознательно, породили в конце концов у него что-то вроде размышления, или, скорее, какое-то

машинальное благоразумие, которое подсказывало ему предосторожности, наиболее необходимые для его безопасности.

Новые знания, которые появились в результате этого развития, увеличили превосходство его над другими животными и заставили его осознать это превосходство. Он научился ставить животным ловушки, он старался перехитрить их тысячью способов; и хотя многие из тех животных, которые могли быть для него полезны или опасны, превосходили его силою в схватке или быстротою в беге, он стал со временем господином первых и грозю вторых. И поэтому первый взгляд, брошенный человеком на себя самого, вызвал в нем первое движение гордости; и поэтому, едва научившись различать положение различных существ по отношению друг к другу и признав себя первым, как представителя своего вида, он уже исподволь готовился притязать на это первое место и как индивидуум.

Хотя ему подобные и не были для него тем же, чем являются они для нас, хотя он навряд ли имел больше общения с ними, чем с другими животными, все же и они не были забыты им в его наблюдениях. Сходные черты, которые мог он со временем подметить между ними, между своею самкою и самим собою, заставили его предполагать существование еще и других сходных черт, которые не были им замечены; и видя, что все они ведут себя так же, как и он вел бы себя при подобных обстоятельствах, он пришел к заключению, что они думают и чувствуют совершенно так же, как и он; и эта важная истина, прочно утвердившись в его уме, благодаря предчувствию столь же верному, но более быстрому, чем логическая операция, заставила его следовать наилучшим правилам поведения, которых ему надлежало с ними придерживаться, чтобы обеспечить себе преимущества и безопасность.

Наученный опытом, что стремление к благополучию — это единственная движущая сила человеческих поступков<sup>104</sup>, он стал способен отличать те редкие случаи, когда общие интересы позволяли ему рассчитывать на содействие ему подобных, и те случаи, еще более редкие, когда соперничество заставляло его их остерегаться. В первом случае он объединялся с ними в одном стаде<sup>105</sup> или, самое большее, в некоторого рода свободной ассоциации, которая ни на кого не налагала никаких обязательств и кото-

рая существовала лишь до тех пор, пока существовала кратковременная потребность, ее вызвавшая. Во втором случае, каждый стремился поставить себя в более выгодное положение, либо открыто применяя силу, если он считал это для себя возможным, либо с помощью ловкости и изворотливости, если он чувствовал себя более слабым.

Вот каким образом люди могли незаметно для самих себя приобрести некоторое грубое понятие о взаимных обязательствах и о том, сколь выгодно их исполнять, но лишь постольку, поскольку этого могли требовать интересы настоящие и ощутимые, ибо они не знали, что такое предусмотрительность, и они не только не думали о далеком будущем, но не помышляли даже о завтрашнем дне. Если охотились на оленя, то каждый хорошо понимал, что для этого он обязан оставаться на своем посту, но если вблизи кого-либо из них пробегал заяц, то не приходится сомневаться, что он без зазрения совести пускался за ним вдогонку и, настигнув свою добычу, весьма мало сокрушался о том, что таким образом лишил добычи своих товарищей.

Легко понять, что для подобных сношений нужен был язык, не многим более утонченный, чем язык ворон или обезьян, которые собираются в стаи примерно по той же причине. Нечленораздельные крики, много жестов и несколько звукоподражательных шумов должны были долгое время составлять всеобщий язык; путем добавления в каждой местности нескольких членораздельных и условных звуков, возникновение которых, как я уже говорил, совсем нелегко объяснить, получились языки особые, но грубые и несовершенные, такие, примерно, какие и теперь еще встречаются у различных диких народов.

Я проношу стрелю через множество веков, подгоняемый быстротекущим временем, обширностью того, о чем нужно мне рассказать, и тем, что вначале развитие почти не приметно, ибо чем медленнее сменяли друг друга события, тем быстрее можно их описывать.

Эти первые успехи дали, в конце концов, человеку возможность делать успехи более быстро. Чем больше просвещался ум, тем более совершенствовались изобретательность и навыки<sup>106</sup>. Вскоре люди перестали устраиваться на ночлег под первым попавшимся деревом или укрываться в пещерах; у них появилось нечто вроде топоров из твердых и острых камней для того, чтобы рубить дерево,

копать землю и строить хижины из ветвей, которые они впоследствии додумались обмазывать глиною и грязью. Это была эпоха первого переворота, который привел к установлению и выделению семей и к появлению своего рода собственности<sup>107</sup>; уже тогда из-за нее возникало, быть может, немало споров и схваток. Но так как самые сильные были, по всей вероятности, первыми, которые построили себе жилища и чувствовали себя способными их защищать, то следует полагать, что слабые сочли делом более быстрым и надежным последовать их примеру, чем пытаться выгнать их из этих жилищ; а что до тех, у которых уже были хижины, то каждый из них не слишком пытался завладеть хижинкою своего соседа, не столько потому, что она принадлежала не ему, сколько потому, что она не была ему нужна и что он не мог бы ее захватить, не вступив в весьма ожесточенную схватку с семьею, ее занимавшей.

Первые душевные движения явились результатом нового положения, когда в одном общем жилище оказывались вместе мужа и жены, отцы и дети. Привычка к совместной жизни породила самые нежные из известных людям чувств — любовь супружескую и любовь родительскую. Каждая семья превращалась в маленькое общество<sup>108</sup>, сплоченное тем более тесно, что единственными узами в нем были взаимная привязанность и свобода; и тогда именно установились первые различия в образе жизни людей разного пола, которые до этого вели одинаковый образ жизни. Женщины стали чаще оставаться дома и приучились охранять хижину и детей, тогда как мужчина отправлялся добывать пищу для всех. Оба пола начали также, ведя жизнь несколько менее суровую, понемногу утрачивать свою дикость и силу. Но если каждый из них в одиночку стал менее способен сражаться с хищными зверями, зато уже оказалось, что легче защищаться от них общими силами.

В этом новом состоянии, когда жизнь была простою и уединенною, а потребности очень умеренными и люди уже изобрели орудия, чтобы эти потребности удовлетворять, у них оставалось весьма много досуга и они использовали этот досуг для того, чтобы доставлять себе разнообразные жизненные удобства, которые отцам их были неизвестны; и это было первое ярмо, которое они надели на себя, сами того не подозревая, и первый источник тех бедствий, кото-

рые они уготовили своим потомкам. Ибо, кроме того, что люди продолжали таким образом изнеживаться и телом и духом, удобства эти потеряли, благодаря привычке к ним, почти всю свою прелесть и выродились в настоящие потребности: не столь приятно было обладать этими удобствами, сколь мучительно — их лишиться, и люди чувствовали себя несчастными, потеряв их, хотя они и не чувствовали себя счастливыми, обладая ими<sup>109</sup>.

Теперь немного более понятно, как входила в употребление речь или как она незаметно совершенствовалась в кругу каждой семьи, и уже можно сделать некоторые предположения о том, как различные частные причины могли содействовать распространению речи и ускорить ее развитие, делая ее более необходимою. Большие наводнения или землетрясения окружали населенные местности водою или пропастями; совершающиеся на земном шаре перевороты отрывали от материка отдельные части и разбивали их на острова<sup>110</sup>. Понятно, что у людей, которые таким образом оказались сближенными и принужденными жить вместе, скорее должен был образоваться общий язык, чем у тех людей, которые еще вольно блуждали в лесах на материке. Весьма возможно, что после первых попыток мореплавания островитяне и принесли нам умение пользоваться речью; по меньшей мере, весьма вероятно, что общество и языки возникли на островах и достигли там совершенства прежде, чем они стали известны на материке.

Все начинает принимать иной вид. Люди, блуждавшие до сих пор в лесах, теперь уже ведут более оседлый образ жизни и понемногу сближаются, соединяются в разные стада и, наконец, образуют в каждой стране отдельный народ, объединенный нравами и обычаями, не какими-либо уставами и законами, а одинаковым образом жизни, одинаковым питанием и общим влиянием климата. Постоянное соседство не может, в конце концов, не породить некоторой близости между различными семьями. Молодежь обоего пола живет в соседних хижинах. Кратковременная связь, которой требует природа, приводит вскоре, в результате взаимных посещений, к связи не менее приятной, но более постоянной. Люди привыкают присматриваться к различным предметам и сравнивать; незаметно для самих себя они приобретают понятия о достоинствах

и красоте, которые заставляют их оказывать предпочтение тому или другому. Привыкшие видеть друг друга, люди не могут обойтись без того, чтобы не видеть друг друга еще и еще. В душу закрадывается нежное и сладкое чувство, но, встретив хоть малейшее сопротивление, оно превращается уже в неукротимую страсть. Вместе с любовью просыпается ревность; раздор торжествует, и нежнейшей из страстей приносится в жертву человеческая кровь.

По мере того, как понятия и чувства возникают одно за другим, по мере того, как развиваются ум и сердце, род человеческий постепенно выходит из состояния дикости, связи расширяются, а узы становятся все более тесными. Люди привыкают собираться вместе перед хижинами или вокруг большого дерева; пение и пляски — истинные детища любви и досуга стали развлечением, или скорее занятием для праздных мужчин и женщин, объединенных в том или другом скопище. Каждый начал присматриваться к другим и стремиться обратить внимание на себя самого, и некоторую цену приобрело общественное уважение. Тот, кто лучше всех пел или плясал, самый сильный, самый красивый, самый ловкий, самый красноречивый становился наиболее уважаемым, — и это было первым шагом одновременно и к неравенству и к пороку. Из этих первых предпочтений родились, с одной стороны, тщеславие и презрение, а с другой — стыд и зависть; и брожение, вызванное этою новой закваскою, дало в конце концов соединения гибельные для счастья и невинности.

Как только люди начали взаимно оценивать друг друга и как только в их уме сложилось понятие об уважении, каждый начал на него предъявлять права, и стало уже невозможно безнаказанно отказывать в нем кому бы то ни было. Отсюда возникли первые правила обхождения, даже среди дикарей, и поэтому всякая умышленная обида превращается в оскорбление, ибо наряду с причиненным обидою злом каждый видел в ней и презрение к его личности, часто более непереносимое, чем само зло. А так как каждый платил за презрение, ему оказанное, сообразно тому, насколько значительным он считал себя, то месть стала ужасною, а люди — кровожадными и жестокими. Это — именно та ступень развития, которой достигло большинство диких народов, нам известных; а так как многие не делали достаточного различия между понятиями и не

заметили, что эти народы уже далеки от первоначального естественного состояния, то они и поспешили сделать заключение, что человек от природы жесток<sup>111</sup> и что он нуждается для смягчения его нравов в наличии внутреннего управления; между тем нет ничего более кроткого, чем человек в первоначальном состоянии, когда поставленный природою равно далеко от неразумия животных и от губительных познаний человека в гражданском состоянии, побуждаемый равно инстинктом и разумом<sup>112</sup> лишь к тому, чтобы ограждать себя от зла, ему угрожающего, он удерживается естественною сострадательностью от того, чтобы самому кому-либо причинять зло, и притом ничто не влечет его к этому, хотя бы даже ему и содейли какое-нибудь зло. Ибо, согласно аксиоме мудрого Локка<sup>113</sup>, *не может быть причинен ущерб там, где полностью отсутствует собственность.*

Следует, однако, отметить, что складывающееся общество и отношения, уже установившиеся между людьми, потребовали от них качеств, отличных от тех, которыми они обладали по изначальной своей природе: в человеческих поступках начинает проявляться понятие о морали, а так как до появления законов каждый был единственным судьей полученных им обид и единственным мстителем за них, то доброта, уместная в чисто естественном состоянии, была уже неуместна в условиях образующегося общества; необходимо было, чтобы наказания становились более суровыми, по мере того как учащались случаи нанесения обид, и страху мести надлежало заменить собою узду законов. Таким образом, хотя люди и стали менее выносливы и естественная сострадательность подверглась уже некоторому ослаблению, все же этот период развития человеческих способностей, лежащий как раз посредине<sup>114</sup> между безразличием изначального состояния и бурною деятельностью нашего самолюбия, должен был быть эпохой самой счастливою и самой продолжительною. Чем больше размышляешь об этом состоянии, тем более убеждаешься, что оно было менее всех подвержено переворотам, что оно было наилучшим для человека и ему пришлось выйти из этого состояния лишь вследствие какой-нибудь губительной случайности, которой, для общей пользы, никогда не должно было бы быть. Пример дикарей, которых почти всех застали на этой ступени развития,

кажется, доказывает, что человеческий род был создан для того, чтобы оставаться таким вечно, что это состояние является настоящею юностью мира, и все его дальнейшее развитие представляет собою по видимости шаги к совершенствованию индивидуума, а на деле — к одряхлению рода.

До тех пор, пока люди довольствовались своими убогими хижинами, пока они ограничивались тем, что шили себе одежды из звериных шкур с помощью древесных шипов или рыбьих костей, украшали себя перьями и раковинами, расписывали свое тело в различные цвета, совершенствовали или украшали свои луки и стрелы, выдалбливали с помощью острых камней какие-нибудь рыбацьи лодки или грубые музыкальные инструменты, словом, пока они были заняты лишь таким трудом, который под силу одному человеку, и только такими промыслами, которые не требовали участия многих рук, они жили, свободные, здоровые, добрые и счастливые, насколько они могли быть такими по своей природе, и продолжали в отношениях между собою наслаждаться всеми радостями общения, не нарушавшими их независимость<sup>115</sup>. Но с той минуты, как один человек стал нуждаться в помощи другого, как только люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи на двоих<sup>116</sup>, — исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью, и обширные леса превратились в радующие глаз нивы, которые надо было орошать человеческим потом и на которых вскоре были посеяны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета.

Искусство добывания и обработки металлов и земледелие<sup>117</sup> явились теми двумя искусствами, изобретение которых произвело этот огромный переворот<sup>118</sup>. Золото и серебро — на взгляд поэта, железо и хлеб — на взгляд философа — вот что цивилизовало людей и погубило человеческий род. Ведь ни то, ни другое не были известны дикарям Америки, которые потому-то и остались навсегда дикарями; а другие народы, по-видимому, оставались в состоянии варварства и тогда, когда они уже применяли одно из этих искусств без другого. И, быть может, одно из лучших объяснений тому, что Европа оказалась, если не раньше, то, по меньшей мере, прочнее и лучше цивилизованною<sup>119</sup>, чем другие части света, состоит в том, что она одновременно и богаче всех железом и родит больше всех хлеба.

Трудно догадаться, как люди пришли к знакомству с железом и научились им пользоваться, ибо невероятно, чтобы они сами додумались добывать это вещество из рудников и подвергать его необходимой предварительной обработке, чтобы расплавить, не зная еще, что из этого получится. С другой стороны, в еще меньшей степени можно приписать это открытие какому-нибудь случайному пожару, так как залежи руды образуются только в бесплодных местах<sup>120</sup>, лишенных деревьев и растительности, и можно сказать, что природа позаботилась о том, чтобы скрыть от нас эту роковую тайну. Остается, таким образом, предположить лишь такого рода чрезвычайное обстоятельство, как то, что какой-нибудь вулкан, извергающий расплавленные металлы, внушил людям, наблюдавшим это, мысль воспроизвести эту деятельность природы. И нужно еще предположить, что обладали эти люди немалым мужеством и немалую предусмотрительностью, чтобы взяться за столь трудную работу и в такой мере предвидеть те выгоды, которые они смогут из этого извлечь; ведь это доступно лишь умам уже более развитым, чем должны были быть их умы в то время.

Что до земледелия, то принцип его был известен задолго до того, как оно стало для людей привычным занятием, и почти невозможно, чтобы у людей, непрерывно занятых добыванием себе пищи — плодов деревьев и растений, не появилось в достаточном скором времени понятие о том, — какими путями природа осуществляет размножение растений. Но их изобретательность, вероятно, обратилась в эту сторону лишь очень поздно — потому ли, что деревья, которые наряду с охотой и рыбной ловлей доставляли им пищу, не нуждались в их заботах, либо потому, что не знали они употребления хлебных злаков, либо потому, что у них не было орудий, чтобы эти злаки возделывать, либо потому, что не обладали они способностью предвидеть свои будущие потребности, либо, наконец, потому, что у них не было средств помешать другим завладеть плодами их труда. Когда люди стали более изобретательными, можно полагать, что они начали с помощью острых камней или заостренных палок сажать вокруг своих хижин кое-какие овощи и корни<sup>121</sup>, еще задолго до того, как научились готовить открытое поле и приобрели орудия, необходимые для земледелия в больших размерах. Но

тогда пришлось бы оставить без внимания то обстоятельство, что, отдавая свои силы этому занятию и засевая землю, люди должны были решиться сначала кое-чем пожертвовать, чтобы затем приобрести многое. Однако такая предусмотрительность плохо вяжется со складом ума дикаря, которому очень трудно, как я говорил, подумать поутру о том, что понадобится ему вечером.

Таким образом, необходимо было изобретение других искусств, чтобы приобщить человеческий род к искусству земледелия. Как только появилась нужда в том, чтобы одни люди плавил и ковали железо, необходимо было, чтобы другие люди их кормили. Чем больше умножалось число рабочих, тем меньше оказывалось руке, чтобы добывать пищу для всех, но ртов, которые требовали пищи, не становилось меньше; а так как одним нужны были продукты питания в обмен на их железо, то другие открыли, в конце концов, секрет, как использовать это железо, чтобы умножать съестные припасы. Отсюда возникли, с одной стороны, земледелие и сельское хозяйство, а с другой — искусство обрабатывать металлы и расширять область их применения<sup>122</sup>.

Неизбежным следствием обработки земли был ее раздел, а как только была признана собственность, должны были появиться первые уставы правосудия. Ибо, чтобы определить каждому — *его*, нужно, чтобы каждый мог чем-нибудь обладать; кроме того, когда люди стали заглядывать в будущее и увидели, что все они могут кое-что потерять, среди них уже не оказалось ни одного, кому не приходилось бы страшиться возмездия за тот ущерб, который он мог нанести другому. Так объяснить происхождение собственности тем более естественно, что невозможно себе представить, чтобы это понятие — собственность — возникло иначе, как из трудовой деятельности, ибо мы не видим, что, кроме своего труда, человек мог внести в что-либо не им созданное, чтобы себе это присвоить. Один только труд, давая земледельцу право на продукты земли, им обработанной, дает ему, следовательно, право и на землю, по меньшей мере, до сбора урожая, — и так из года в год, что, делая обладание непрерывным, легко превращается в собственность. Когда древние, говорит Гроций, прозвали Цереру законодательницей<sup>123</sup>, а праздник, справлявшийся в ее честь, назвали фесмофориями<sup>124</sup>, то они желали

этим дать понять, что раздел земли привел к возникновению нового вида права, а именно права собственности, отличного от права, которое вытекает из естественного закона.

При таком положении вещей равенство могло бы сохраниться, если бы люди обладали одинаковыми дарованиями и если бы, к примеру, использование железа и потребление продуктов питания постоянно находились в точном равновесии. Но соответствие, ничем не поддерживаемое, было вскоре нарушено: самый сильный производил своим трудом больше, чем другие, самый искусный извлекал большие выгоды из своей работы, самый изобретательный находил способы сократить затраты труда, землелепашец мог больше нуждаться в железе, или кузнец — в хлебе, и при одинаковой затрате труда один зарабатывал много, а другой едва существовал. Так незаметно обнаруживает свое возрастающее значение естественное неравенство наряду со складывающимся неравенством<sup>125</sup>, и различия между людьми, углубляясь в силу различия внешних обстоятельств, делаются более ощутимыми, более постоянными в своих проявлениях и начинают в той же мере влиять на судьбы отдельных лиц.

Когда дела уже пришли в такое состояние, то легко представить себе все остальное. Я не стану задерживаться здесь на описании того, как, одно за другим, изобретались другие искусства, как развивались языки, как проверялись на деле и находили себе применения дарования, как возрастало неравенство состояний, как использовались и какие злоупотребления порождали богатства, не буду приводить все те подробности, которые с этим связаны и которые каждый может легко восполнить. Я ограничусь лишь тем, что окину взглядом весь род человеческий при этом новом положении вещей.

И вот уже все наши способности получили полное развитие, действуют память и воображение, настороже — самолюбие, становится деятельным разум, и ум уже почти достиг доступного ему предела совершенства. Вот уже наши естественные свойства приведены в действие, положение и участь каждого человека определяются не только размерами его имущества и его способностью приносить пользу или наносить вред, но его умом, красотой, силою или ловкостью, заслугами или дарованиями, а так как

одни только эти качества могли принести уважение, то вскоре потребовалось иметь эти качества или делать вид, что ими обладаешь; стало выгоднее притворяться не таким, каков ты есть на самом деле. Быть и казаться — это, отныне, две вещи совершенно различные<sup>126</sup>, и следствием этого различия явились и внушающий почтение блеск, и прикрытая обманом хитрость, и все те пороки, что составляют их свиту. С другой стороны, из свободного и независимого, каким был человек прежде, он стал, таким образом, в результате появления множества новых потребностей, подвластен, так сказать, всей природе и, в особенности, себе подобным; он становится, в некотором смысле, их рабом, даже становясь их господином<sup>127</sup>, если он богат — он нуждается в их службе, если он беден — он нуждается в их помощи, и, даже занимая среднее положение между тем и другим, он не в состоянии обойтись без других людей. Поэтому ему приходится беспрестанно стараться заинтересовать себе подобных в своей судьбе и заставить их находить действительную или кажущуюся выгоду в том, чтобы трудиться для его пользы: это делает его лукавым и изворотливым с одними, непреклонным и жестоким с другими и приводит его к необходимости обманывать всех тех, в ком он нуждается, если он не может их заставить себя бояться и если он не видит свою выгоду в том, чтобы служить им с пользою для себя. Наконец, ненасытное честолюбие, страсть к увеличению относительных размеров своего состояния, не так в силу действительной потребности, как для того, чтобы поставить себя выше других, внушает всем людям низкую склонность взаимно вредить друг другу, тайную зависть, тем более опасную, что, желая вернее нанести удар, она часто рядится в личину благожелательности; словом, состязание и соперничество, с одной стороны, противоположность интересов — с другой, и повсюду — скрытое желание выгадать за счет других. Все эти бедствия — первое действие собственности и неотделимая свита нарождающегося неравенства.

До тех пор, пока не были изобретены знаки, представляющие богатства, эти последние могли состоять разве что из земель и скота — единственного вещного имущества, каким могут обладать люди. Но когда владения, переходящие по наследству, возросли в числе и размерах на-

столько, что покрыли собою всю землю и стали все соприкасаться друг с другом, то одни владения могли расти уже только за счет других, и остальные люди, оставшиеся ни с чем, так как слабость или беспечность помешали им, в свою очередь, приобрести земельные участки, стали бедняками, ничего не потеряв<sup>128</sup>; все изменилось вокруг них, но сами они не изменились и оказались вынужденными получать или похищать средства к существованию из рук богатых; и отсюда начали возникать, в зависимости от различий в характерных особенностях тех и других, господство и порабощение или насилие и грабежи. Богатые, со своей стороны, едва успев познать наслаждение властью, стали вскоре презирать всех остальных и, используя своих прежних рабов, чтобы подчинить себе новых, они только и помышляли о покорении и о порабощении своих соседей, подобно тем голодным волкам, которые, раз отведав человеческого мяса, отвергают всякую другую пищу и бросаются только на людей.

Таким образом, самые могущественные или самые бедствующие обратили свою силу или свои нужды в своего рода право на чужое имущество, равносильное в их глазах праву собственности, и за уничтожением равенства последовали ужаснейшие смуты: так несправедливые захваты богатых, разбои бедных и разнузданные страсти и тех и других, заглушая естественную сострадательность и еще слабый голос справедливости, сделали людей скупыми, честолюбивыми и злыми. Начались постоянные столкновения права сильного с правом того, кто пришел первым, которые могли заканчиваться лишь сражениями и убийствами<sup>(IX)</sup>. Нарождающееся общество пришло в состояние самой страшной войны: человеческий род, погрязший в пороках и отчаявшийся, не мог уже ни вернуться назад, ни отказаться от злосчастных приобретений, им сделанных; он только позорил себя, употребляя во зло способности, делающие ему честь, и сам привел себя на край гибели.

*Attonitus novitate mali, divesque, miserque,  
Effugere optat opes, et quæ modo voverat odit\*.*

Люди не могли в конце концов не задуматься над этим столь бедственным положением и над несчастиями, на них

---

\* Зла новизной поражен и богач, и бедняк в то же время, Рад бы бежать он теперь от богатств, столь недавно желанных.  
*Овидий. Метаморфозы, XI, 127—128 (лат.)*<sup>129</sup>.

обрушившимися. Богатые в особенности должны были вскоре почувствовать, насколько невыгодна для них эта постоянная война, все издержки которой падали на них и в коей опасность для жизни была общей, а для имущества — односторонней. Впрочем, какой благовидный вид они ни придавали бы своим захватам, они понимали достаточно хорошо, что последние основываются лишь на шатком и ложном праве; и раз то, что было ими захвачено, они приобрели лишь с помощью силы, то силою же можно было это у них отнять, причем у них не было никаких оснований на это жаловаться. Даже те, которых обогатило одно трудолюбие, едва ли могли лучше обосновать право на свою собственность. Напрасно бы они говорили: «Ведь это я построил эту стену, я приобрел этот участок земли своим трудом». «Но кто определил границы ваших владений? — могли бы им ответить, — и на каком основании притязаете вы на то, чтобы вам за наш счет уплатили за тот труд, который мы на вас вовсе не возлагали? Разве вам неизвестно, что множество ваших братьев погибает или страдает от недостатка того, чего у вас слишком много, и что вам нужно категорическое и единодушное согласие человеческого рода, чтобы присвоить себе из общих средств существования то, что превышает вашу потребность?» Не имея веских доводов, чтобы оправдаться, и достаточных сил, чтобы защищаться, легко одолевая отдельного человека, но сам одолеваемый разбойничьими шайками, один против всех, ибо, по причине взаимной зависти, он не мог объединиться с равными ему, чтобы бороться с врагами, объединенными общею надеждою на удачный грабеж, — богатый составил, наконец, под давлением необходимости наиболее обдуманной из всех планов, которые когда-либо зарождались в человеческом уме: обратит себе на пользу самые силы тех, кто на него напал, превратит своих противников в своих защитников, внушит им иные принципы и дать им иные установления, которые были бы для него настолько же благоприятны, сколь противоречило его интересам естественное право<sup>130</sup>.

С этой целью, показав предварительно своим соседям все ужасы такого состояния, которое вооружало их всех друг против друга, делало для них обладание имуществом столь же затруднительным, как и удовлетворение потребностей; состояния, при котором никто не чувствовал себя

в безопасности, будь он беден или богат, — он легко нашел доводы, на первый взгляд убедительные, чтобы склонить их к тому, к чему он сам стремился. «Давайте объединимся, — сказал он им, — чтобы оградить от угнетения слабых, сдерживать честолюбивых и обеспечить каждому обладание тем, что ему принадлежит; давайте установим судебные уставы и мировые суды, с которыми все обязаны будут сообразоваться, которые будут нелицеприятны и будут в некотором роде исправлять превратности судьбы, подчиняя в равной степени могущественного и слабого взаимным обязательствам. Словом, вместо того, чтобы обрабатывать наши силы против себя самих, давайте соединим их в одну высшую власть, которая будет править нами, согласно мудрым законам, власть, которая будет оказывать покровительство и защиту всем членам ассоциации, отражать натиск врагов и поддерживать среди нас вечное согласие».

Даже и подобной речи не понадобилось, чтобы увлечь грубых и легковверных людей, которым к тому же нужно было разрешить слишком много споров между собою, чтобы они могли обойтись без арбитров, и которые были слишком скупы и честолюбивы, чтобы они могли долго обходиться без повелителей. Все бросились прямо в оковы, веря, что этим они обеспечат себе свободу, ибо, будучи достаточно умны, чтобы постигнуть преимущества политического устройства, они не были достаточно искушенными, чтобы предвидеть связанные с этим опасности. Предугадать, что это приведет к злоупотреблениям, скорее всего способны были как раз те, кто рассчитывал из этих злоупотреблений извлечь пользу, и даже мудрецы увидели, что надо решиться пожертвовать частью своей свободы, чтобы сохранить остальную, подобно тому, как раненый дает себе отрезать руку, чтобы спасти все тело.

Таково было или должно было быть происхождение общества и законов, которые наложили новые путы на слабого и придали новые силы богатому<sup>(X)</sup>, безвозвратно уничтожили естественную свободу, навсегда установили закон собственности и неравенства<sup>131</sup>, превратили ловкую узурпацию в незыблемое право и ради выгоды нескольких честолюбцев обрекли с тех пор весь человеческий род на труд, рабство и нищету. Легко видеть, почему образование одного только общества сделало неизбежным образование

всех остальных и почему, чтобы противостоять силам соединенным, в свою очередь, нужно было соединиться. Быстро умножаясь в числе или распространяясь, общества вскоре покрыли всю поверхность земли; и уже невозможно было найти во всем мире хотя бы один уголок, где бы можно было сбросить с себя ярмо и отвести голову от меча, который часто направлялся неуверенною рукою, но был постоянно занесен над головой каждого человека. После того, как гражданское право стало таким образом законом, общим для всех граждан, естественный закон применялся уже только в области отношений между различными обществами, где под названием международного права он был смягчен некоторыми молчаливыми соглашениями, чтобы сделать возможным общение и чтобы создать некоторую замену естественной сострадательности: она теряет в отношениях между обществами почти всю ту силу, которой она обладала в отношениях между людьми, и продолжает жить лишь в великих душах немногих граждан мира<sup>132</sup>, которые переносятся через воображаемые преграды между народами и, по примеру всевышнего Существа, их создавшего, распространяют свою благожелательность на весь человеческий род.

Политические организмы, оставаясь, таким образом, в отношениях между собой в естественном состоянии<sup>133</sup>, уже скоро испытали на себе те же неудобства, которые, ранее, заставили отдельных людей выйти из этого состояния; и состояние это стало еще более пагубным для отношений между этими большими Организмами, чем оно было ранее для отношений между индивидуумами, их составляющими. Отсюда произошли войны между народами, сражения, убийства, насилия, которые приводят в содрогание природу и возмущают разум, и все те ужасные предрассудки, которые возводят в ранг добродетелей почет, приобретаемый кровопролитием. Самые почтенные мужи научились считать одной из своих обязанностей — уничтожать себе подобных; в конце концов, люди стали убивать друг друга тысячами, сами не ведая из-за чего, и за один день сражения совершалось больше убийств, и при взятии одного города — больше гнусных дел, чем совершилось их в естественном состоянии на протяжении целых веков на всей земле. Таковы первые открывающиеся нам последствия разделения человеческого рода на различные общества. Обратимся к тому, как сие совершилось.

Я знаю, что многие объясняют возникновение политических обществ другими причинами, как, например, завоеваниями более могущественного<sup>134</sup> или объединением слабых<sup>135</sup>; впрочем, остановимся ли мы на той или иной из этих причин не имеет никакого значения для того, что я хочу установить. Однако причина, только что мною указанная, представляется мне самой естественною в силу следующих соображений. В первом случае право завоевания, не будучи вообще правом, не может служить основанием для какого-либо другого права, ибо завоеватель и завоеванные народы всегда остаются в состоянии войны между собою, если только нация, вновь обретя полную свободу, не избрет добровольно своим главой своего победителя. До этого, какие бы неравноправные договоры ни имели место — все они основываются лишь на насилии и, следовательно, в силу одного этого факта, недействительны; принимая эту гипотезу, мы не увидим здесь ни подлинного общества, ни Политического организма, ни иного закона, кроме закона более сильного<sup>136</sup>. Во втором случае, слова *сильный* и *слабый* — двусмысленны; для того промежутка времени, который отделяет установление права собственности или первой заимки от установления политических Правлений, смысл этих терминов лучше передается терминами *бедный* и *богатый*, потому что до появления законов богатый и в самом деле не имел никакого другого средства подчинить равных себе, как посягнуть на их имущество или уделить им часть своего. В-третьих, так как бедным нечего было терять, кроме своей свободы, то с их стороны было бы величайшим безумием, если бы они добровольно лишили себя единственного оставшегося у них достояния, ничего не приобретая взамен; напротив, богатые были, так сказать, уязвимы во всех частях их достояний и поэтому причинить им ущерб было гораздо легче, следовательно, им приходилось принимать гораздо больше предосторожностей, чтобы оградить себя от этого; наконец, разумно предположить, что скорее нечто было изобретено теми, кому это было полезно, чем теми, кому это приносит вред.

Нарождающееся Правление не имело никакой постоянной и регулярной формы. При отсутствии философии и опыта можно было увидеть только уже представившиеся неудобства, а об исправлении остальных начинали думать

лишь по мере того, как они обнаруживались. Несмотря на все труды мудрейших Законодателей, политическое устройство оставалось все же несовершенным, потому что оно было почти всецело делом случая, а так как это устройство было плохим с самого начала, то с течением времени могли быть обнаружены его недостатки, найдены средства их устранения, но никак не исправлены пороки, лежащие в его основе: без конца чинили, тогда как нужно было сначала расчистить место для постройки и убрать старые материалы, как это сделал Ликург в Спарте<sup>137</sup>, чтобы затем уже воздвигнуть добротное здание. Общественное состояние сначала заключалось лишь в том, что были приняты несколько соглашений общего характера, которые все частные лица обязывались соблюдать, а за соблюдение этих соглашений перед каждым из них ручалась община. Нужно было, чтобы опыт показал, насколько слабым было подобное устройство и как легко было нарушителям соглашений избежать изобличения или наказания за провинности, свидетелем и судьей которых должно было быть лишь само общество; нужно было, чтобы закон стали обходить тысячью способов, нужно было, чтобы неудобства и беспорядки продолжали беспрестанно умножаться, чтобы людям в конце концов пришла мысль верить отдельным лицам опасную вещь — публичную власть и возложить на магистратов заботу надзирать за соблюдением решений народа. Ибо утверждать, что правители были избраны до того, как была образована конфедерация, и что служители законов существовали ранее самих законов, — это такое предположение, которое даже нельзя всерьез опровергать.

Не более разумно было бы полагать, что народы с самого начала бросились в объятия неограниченного властителя без всяких условий и безвозвратно, и что первое средство обеспечить общую безопасность, до которого додумались люди, гордые и не знавшие порабощения, состояло в том, чтобы как можно скорее отдать себя в рабство<sup>138</sup>. В самом деле, для чего поставили они над собою начальников, как не для того, чтобы защищать себя от угнетения и охранять свое имущество, свою свободу и свою жизнь, которые суть, так сказать, составные элементы их бытия? Таким образом, если, с точки зрения отношений между людьми, с человеком не может случиться ничего худшего, как видеть себя отданным на милость другого человека, то разве не

было бы противно здравому смыслу, если бы люди с самого начала лишили себя, отдав их в руки правителя, тех единственных благ, для сохранения которых им нужна была его помощь? Что мог он им предложить взамен за уступку столь прекрасного права? и если бы он осмелился все же потребовать этой уступки под тем предлогом, что это необходимо для их защиты, то разве не услышал бы он тотчас в ответ слова из басни<sup>139</sup>: «А что же, еще худшее, может причинить нам враг?» Стало быть, бесспорно — и это основное положение конституционного права в целом, — что народы поставили над собою правителей, чтобы защищать свою свободу, а не для того, чтобы обратить себя в рабов. *На то у нас и есть государь*, говорил Плиний Траяну<sup>140</sup>, *чтобы предохранить нас от появления повелителя.*

Наши политики изрекают о любви к свободе такие же софизмы, какие наши философы изрекали о естественном состоянии. На основании того, что они видят, они судят о совершенно других вещах, которые они никогда не видели, и приписывают людям естественную склонность к рабству, потому что люди, которых видят они перед собою, терпеливо сносят это свое рабское состояние; они не задумываются над тем, что со свободой дело обстоит так же как с невинностью и добродетелью, цену которым ощущаешь лишь до тех пор, пока ими обладаешь, и вкус к которым утрачиваешь, едва только их потеряешь. «Я знаю утехи твоей страны, — говорил Брасид<sup>141</sup> одному сатрапу, который сравнил уклад жизни в Спарте с укладом жизни в Персеполисе<sup>142</sup>, — но отрады моего отечества не могут быть тебе известны».

Как не знавший узды дикий скакун вздымает гриву, бьет копытами о землю и яростно отбивается, как только к нему приближаются с удилами, тогда как выезженная лошадь терпеливо сносит и хлыст и шпоры, так и дикарь не может склонить голову под ярмо, которое человек цивилизованный несет безропотно, и предпочитает свободу полную тревог спокойствию порабощения. Не по глубокому падению порабощенных народов нужно судить о естественном предрасположении человека к рабству или против рабства, но по тем чудесам, которые совершили все свободные народы, чтобы оградить себя от угнетения. Я знаю, что первые не устают превозносить мир и спокойствие, которыми они наслаждаются в своих оковах, и что они

miserrimam servitutem pacem appellant\*. Но когда я вижу, что вторые жертвуют удовольствиями, покоем, богатством, властью и даже самую жизнь, чтобы сохранить только это достояние, к которому с таким пренебрежением относятся те, кто его потеряли, когда я вижу, как животные, которые рождены свободными и ненавидят неволю, разбивают голову о прутья своей тюрьмы, когда я вижу, как толпы совершенно нагих дикарей презируют наслаждения европейцев и не обращают внимания на голод, огонь, железо и смерть, чтобы сохранить свою независимость, я понимаю, что не рабам пристало рассуждать о свободе.

Что до власти отцовской, из которой многие<sup>143</sup> выводили происхождение власти неограниченного правителя Государства и вообще общества, то, не прибегая даже к тем доказательствам противного, которые уже дали Локк<sup>144</sup> и Сидней<sup>145</sup>, достаточно будет указать, что нет ничего более далекого от жестокого духа деспотизма, чем мягкость этой власти<sup>146</sup>, поскольку она больше заботится о выгоде того, который повинуется, чем о пользе того, который приказывает; что по закону природы отец является повелителем ребенка лишь до тех пор, пока тому необходима его помощь, а после окончания этого срока они становятся равными и тогда сын, полностью независимый от отца, обязан почитать его, но не повиноваться, ибо признательность, конечно, является долгом, который нужно выполнять, но не правом, которого можно для себя требовать. Вместо того, чтобы утверждать, что гражданское общество происходит из отцовской власти, следовало бы говорить, напротив, что именно от общества эта власть получает свою главную силу. Какой-либо индивидуум был признаваем отцом многих лишь пока они оставались собранными вокруг него. Узами, удерживающими детей в подчинении отцу, является лично принадлежащее ему его имущество: и он может оставить им в наследство часть, пропорциональную тому, что они заслужат у него постоянным соблюдением его воли. Однако подданные отнюдь не могут ожидать подобной милости от своего деспота, так как они сами и все то, чем они обладают, представляет собой его собственность, или по крайней мере он притязает на это:

---

\* Жалкое рабство называют миром (лат.). Тацит. История, кн. IV, гл. XVII<sup>147</sup>.

они вынуждены получать как милость то, что он оставляет им из их собственного имущества. Он отправляет правосудие, когда их обирает, он милует их, оставляя им жизнь.

Если бы мы продолжали таким образом рассматривать факты с точки зрения права<sup>148</sup>, то нашли бы, что предположение о добровольном установлении тирании имеет столь же мало основательности, как и истинности, и было бы трудно объяснить, как может иметь силу какой-либо договор, налагающий обязательства только на одну из сторон, в котором все возлагается только на нее и который оборачивался бы во вред тому, кто по этому договору берет на себя обязательства. Эта отвратительная система рассуждений очень далека от того, чтобы применяться даже в наши дни мудрыми и добрыми монархами, особенно же королями Франции, как это можно видеть из различных мест их эдиктов и в частности из следующего известного сочинения<sup>149</sup>, обнародованного в 1667 году от имени и по приказанию Людовика XIV: *«Пусть же не смеют говорить, что суверен не подвластен законам его Государства, потому что положение обратное — это истина международного права, которую льстецы иногда оспаривали, но которую добрые государи всегда почитали как божество — покровительницу их государств. Насколько справедливее сказать вместе с Платоном, что для полного благополучия королевства нужно, чтобы подданные повиновались государю, чтобы государь повиновался Закону и чтобы Закон был справедлив и всегда был направлен к общественному благу»*. Я не стану вовсе останавливаться на исследовании вопроса о том, что, если свобода является благороднейшей из способностей человека, то не унижает ли он свое естество, не низводит ли он себя до уровня животных — рабов инстинкта — и не оскорбляет ли он своего создателя, если отказывается безоговорочно от этого драгоценнейшего из всех его даров, если он позволяет совершаться всем тем преступлениям, которые тот запрещает совершать нам, для того чтобы угодить свирепому или безумному господину, и не бóльшим ли должно быть возмущение сего блистательного работника, если он увидит прекраснейшее свое создание обесщеченным, чем если увидит он его уничтоженным. Я пренебрегу, если угодно, авторитетным мнением Барбейрака, который ясно заявляет, следуя Локку<sup>150</sup>, что никто не может настолько продать

свою свободу, чтобы подчиниться самовластной силе, которая обходилась бы с ним по своей прихоти: *«Ибо, — добавляет он, — это означало бы продать свою собственную жизнь, которая нам не принадлежит»*. Я спрошу только, по какому праву те, которые не побоялись унижить самих себя до такой степени, смогли подвергнуть такому же бесчестию свое потомство и отказаться за него от тех благ, которыми оно обязано отнюдь не их щедротам и без которых сама жизнь становится в тягость для всех тех, кто ее достоин.

Пуфендорф говорит<sup>151</sup>, что точно так же, как мы передаем другим свое имущество посредством соглашений и договоров, мы можем лишить себя свободы в чью-либо пользу. Это кажется мне совершенно неправильным рассуждением. Ибо, во-первых, имущество, мною отчуждаемое, превращается в нечто совершенно для меня чуждое, и мне безразлично, будут ли употреблять его во зло или нет; но весьма важно для меня, чтобы никоим образом не злоупотребляли моей свободой; и я не могу, не становясь виновным в том зле, которое меня заставят совершать, подвергать себя опасности превратиться в орудие преступления. Кроме того, так как право собственности является лишь результатом соглашений между людьми и людьми же установлено, то всякий человек по своему желанию может распоряжаться тем, что ему принадлежит. Но не так обстоит дело с основными дарами природы, такими, как жизнь и свобода, пользоваться коими разрешено каждому; и, по меньшей мере, сомнительно, чтобы люди были вправе лишить себя этих даров природы: лишая себя одного их этих даров, мы унижаем свое естество, отнимая у себя другой — мы свое естество уничтожаем, поскольку оно в этом и заключается, и так как никакое земное благо не может вознаградить нас за утрату обоих этих даров, то отказываться от них за какую бы то ни было цену значило бы нанести оскорбление одновременно и природе, и разуму. Но если бы и можно было отчуждать свою свободу, как свое имущество, то разница была бы все же очень велика для детей, которые пользуются имуществом отца лишь вследствие передачи им его прав, тогда как свобода — это дар, который они получают от природы как люди, и поэтому у их родителей нет никакого права лишать их этого дара. Следовательно, подобно тому, как, чтобы

установить рабство, пришлось совершить насилие над природой, так и для того, чтобы увековечить право рабовладения, нужно было изменить природу; и юрисконсулты, которые с важностью провозгласили<sup>152</sup>, что дитя рабыни рождается рабом, постановили иными словами, что человек не рождается человеком.

Мне, стало быть, представляется бесспорным не только то, что различные виды Правления вовсе не имели своим источником неограниченную власть, которая есть лишь извращение Правления, крайний его предел и приводит его в конце концов к тому же закону более сильного, средством преодоления которого и были различные виды Правления; но, кроме того, что если бы даже они с этого и начинались, то такая власть, будучи по своей природе незаконной, не могла служить основанием ни прав общества, ни, следовательно, неравенства, вводимого установлениями.

Не вдаваясь сейчас в разыскания по вопросу о природе первоначального соглашения, лежащего в основе всякой Власти, я ограничусь тем, что, следуя общепринятому мнению<sup>153</sup>, буду здесь рассматривать создание Политического организма как подлинный договор между народом и правителями, которых он себе выбирает<sup>154</sup>, договор, по которому обе стороны обязуются соблюдать законы, в нем обусловленные и образующие связи их союза. Так как народ, в том, что касается до отношений внутри общества, соединил все свои желания в одну волю, то все статьи, в которых эта воля выражается, становятся основными законами, налагающими определенные обязательства на всех членов Государства без исключения<sup>155</sup>, а один из этих законов определяет порядок избрания и власть магистратов<sup>156</sup>, уполномоченных наблюдать за исполнением остальных статей договора. Эта власть простирается на все, что может служить для сохранения установленного государственного устройства, но она не может изменить это устройство. К этому добавляются и определенные почести, которые внушают почтение к законам и их служителям, а для личности служителей законов — прерогативы, вознаграждающие их за нелегкие труды — плату за хорошее управление. Магистрат, со своей стороны, обязуется использовать вверенную ему власть лишь соответственно намерениям своих доверителей, обеспечить каждому возможность мирно

пользоваться тем, что ему принадлежит, и неизменно предпочитать общественную пользу своим собственным интересам.

Прежде чем опыт показал, что знание человеческой души заставило предвидеть неизбежные при подобном употреблении, оно должно было казаться тем более прекрасным, что те лица, на которых было возложено следить за его сохранением, сами были более всего в этом заинтересованы. Ибо магистратура и ее права покоятся лишь на основных законах, поэтому с уничтожением этих последних магистраты тотчас перестали бы быть законными, народ больше не был бы обязан им повиноваться, а так как не магистраты, а Закон составлял бы сущность Государства, то каждый по праву вновь обрел бы свою естественную свободу.

Стоит только подумать об этом повнимательнее, чтобы все это подтвердилось еще и другими соображениями, а из природы договора мы увидим, что он не может быть расторгимым. Ибо если бы вообще не было более высокой власти, которая могла бы быть порукою за верность вступающих в договорные отношения их взаимным обязательствам и заставить их выполнять эти обязательства, то стороны остались бы единственными судьями в своем собственном деле, и каждая из них всегда имела бы право отказаться от договора, лишь только она обнаружила бы, что другая сторона нарушает его условия или что эти условия перестали ее удовлетворять. Кажется, на этом именно принципе может быть основано право одностороннего отречения. К тому же, — если рассматривать, как мы это и делаем, лишь то, что установлено людьми, — если магистрат, держащий в своих руках всю полноту власти и присваивающий себе все выгоды договора, имеет все же право отказаться от власти, то народ, который расплачивается за все ошибки правителей, тем более должен иметь право отказаться от зависимости. Но ужасные раздоры и бесконечные неурядицы, которые неизбежно повлекла бы за собою эта опасная возможность, лучше, чем что-либо иное, показывают, насколько Правительства, людьми установленные, нуждаются в основе более прочной, чем один только разум, и насколько необходимо было для мира в обществе, чтобы божественная воля вмешалась, дабы придать верховной власти характер священный и неприкосно-

венный, что отняло у подданных пагубное право ею распоряжаться<sup>157</sup>. Если бы религия принесла людям лишь только это благо, то и этого было бы достаточно, чтобы люди должны были дорожить ею и принять ее, даже с присущими ей злоупотреблениями, так как она сберегает больше крови, чем фанатизм заставляет ее проливать<sup>158</sup>. Но будем следовать за основной нитью нашей гипотезы.

Различные виды Правлений ведут свое происхождение лишь из более или менее значительных различий между отдельными лицами в момент первоначального установления. Если один человек выделялся среди всех могуществом, доблестью, богатством или влиянием, то его одного избирали магистратом, и Государство становилось монархическим. Если несколько человек, будучи примерно равны между собою, брали верх над остальными, то этих людей избирали магистратами, и получалась аристократия. Те люди, чьи богатства или дарования не слишком отличались, и которые меньше других отошли от естественного состояния, сохранили сообща в своих руках высшее управление и образовали демократию. Время показало, какая из этих форм была более выгодною для людей. Одни по-прежнему подчинялись только лишь законам; другие вскоре стали повиноваться господам. Граждане хотели сохранить свою свободу, подданные помышляли лишь о том, как бы отнять свободу у своих соседей, так как они не могли примириться с тем, что другие наслаждаются благом, которым они сами уже больше не пользуются. Словом, на одной стороне оказались богатства и завоевания, а на другой — счастье и добродетель.

При этих различных видах Правления все магистратуры были поначалу выборными, и если богатство не влекло за собой предпочтения, то последнее отдавалось достоинству, определяющим естественное превосходство, и возрасту, приносящему опытность в делах и хладнокровие при вынесении решений. Старейшины у древних евреев, геронты в Спарте, сенат в Риме и даже сама этимология нашего слова *сеньор*<sup>159</sup> показывают, как некогда почиталась старость. Чем чаще выбор падал на мужей преклонного возраста, тем чаще должны были происходить выборы и тем больше ощущались связанные с проведением выборов затруднения: появляются интриги, образуются группировки, ожесточается борьба партий, вспыхивают гражданские

войны, наконец, кровь граждан начинают приносить в жертву так называемому счастью Государства, и остается сделать еще один только шаг, чтобы впасть в анархию предшествующей эпохи. Честолюбивые начальники воспользовались этими обстоятельствами, чтобы сохранить навсегда свои должности за своими семьями; народ, привыкший к зависимости, покою и жизненным удобствам и уже не способный разбить свои оковы, согласился, чтобы порабощение его усилилось, дабы его спокойствие упрочилось. И, таким образом, правители, став наследственными, привыкли рассматривать свою магистратуру как семейное имущество, а самих себя — как собственников Государства, которого они первоначально были лишь должностными лицами, называть сограждан своих своими рабами, причислять их, как скот, к вещам, им принадлежащим, и называть самих себя богоравными и царями царей<sup>160</sup>.

Если мы проследим поступательное развитие неравенства во время этих разнообразных переворотов, то обнаружим, что установление Закона и права собственности было здесь первой ступенью, установление магистратуры — второю, третью же и последнюю было превращение власти, основанной на законах<sup>161</sup>, во власть неограниченную. Так что богатство и бедность были узаконены первой эпохою, могущество и беззащитность — второю, третью же — господство и порабощение, — а это уже последняя ступень неравенства и тот предел, к которому приводят в конце концов все остальные его ступени до тех пор, пока новые перевороты не уничтожат Власть совершенно или же не приближат ее к законному установлению.

Чтобы понять необходимость такого развития, нужно иметь в виду не столько побудительные причины установления Политического организма, сколько ту форму, которую он принимает при своем претворении в действительность, и те неудобства, которые его установление влечет за собою. Ибо пороки, которые делают необходимыми общественные установления, сами по себе делают неизбежными и те злоупотребления, которым они открывают дорогу. И так как, за исключением одной только Спарты, где Закон заботился главным образом о воспитании детей и где Ликург утвердил такие нравы, которые почти избавили его от необходимости присоединять к ним законы, — законы, в общем, менее сильные, чем страсти, сдерживают

людей, их не изменяя, и легко было бы показать, что всякую Власть, которая, не извращаясь и не изменяясь, следовала бы в точности своей первоначальной цели, не было бы необходимости и устанавливать, и что та страна, в которой никто не обходил бы законов и не злоупотреблял бы властью магистрата, не нуждалась бы ни в магистратах, ни в законах<sup>162</sup>.

Различия в политическом положении неизбежно влекут за собою различия в положении гражданском. Когда возрастает неравенство между народом и его правителями, это вскоре дает себя знать и в отношениях между частными лицами, и оно видоизменяется тысячью способов в зависимости от страстей, дарований и случайных обстоятельств. Магистрат не мог бы захватить незаконную власть, не создав своих креатур, которым он, однако, вынужден уступить некоторую долю этой власти. К тому же граждане позволяют себя угнетать лишь постольку, поскольку, увлекаемые слепым честолюбием и вглядываясь больше в то, что у них под ногами, чем в то, что у них над головою, они начинают больше дорожить господством, чем независимостью, и соглашаются носить оковы, чтобы иметь возможность, в свою очередь, налагать цепи на других. Очень трудно привести к повиновению того, кто сам отнюдь не стремится повелевать, и самому ловкому политику не удастся поработить людей, которые не желают ничего другого, как быть свободными. Но неравенство легко распространяется среди людей с душой честолюбивою и низкою, которые всегда готовы испытывать судьбу и господствовать или повиноваться почти с одинаковою охотой, в зависимости от того, благосклонна к ним судьба или нет. Таким образом, должно было наступить время, когда народ оказался настолько ослеплен, что его предводителям стоило лишь сказать ничтожнейшему из людей: «Будь великим и ты и весь твой род» — и он сразу же всем начинал казаться великим и становился великим в своих собственных глазах, а его потомки еще более возвышались по мере того, как они от него удалялись. Чем более давней и неопределенной была причина, тем более увеличивалось ее действие; чем больше тунеядцев можно было насчитать в семье, тем более знаменитой эта семья становилась.

Если бы здесь уместно было входить в подробности, я бы легко объяснил, как среди частных лиц, даже без вме-

шательства Правительства, неизбежным становится неравенство влияния и авторитета<sup>(XII)</sup>, лишь только они, объединившись в одном обществе, оказываются вынуждены сравнивать себя друг с другом и считаться с различиями между собою, которые они обнаруживают при постоянном общении, в котором должны находиться. Эти различия многообразны, но так как вообще богатство, знатность или ранг, могущество и личные достоинства — это главные различия, на основании которых судят о месте человека в обществе, то я мог бы доказать, что согласие или борьба между этими различными силами — это и есть самый верный показатель того, хорошо или дурно устроено Государство. Я показал бы, что хотя из этих четырех видов неравенства личные качества являются причиною появления всех остальных, все эти виды, однако, сводятся, в конце концов, к богатству, ибо оно самым непосредственным образом определяет благосостояние, его легче всего передавать и поэтому с его помощью можно легко купить все остальное; наблюдение это дает возможность довольно точно судить о степени удаленности народа от его изначального устройства и о том, далеко ли он ушел по пути к крайнему пределу разложения. Я отметил бы, как это всеобщее стремление к славе, почестям и отличиям, всех нас снедающее, заставляет развивать и сравнивать дарования и силы, как это стремление возбуждает и умножает страсти и как, делая всех людей конкурентами, соперниками или даже врагами, оно совершает ежедневно перемены в их судьбе, делается причиною всякого рода успехов и катастроф, заставляя сталкиваться на одном и том же поприще стольких соискателей. Я показал бы, что именно этому страстному стремлению заставить говорить о себе<sup>163</sup>, этой страсти отличиться, которая почти всегда заставляет нас быть вне себя, мы обязаны тем лучшим и тем худшим, что есть в людях: нашими добродетелями и пороками, нашими науками и заблуждениями, нашими завоевателями и нашими философами, т. е. многим дурным и лишь немногим хорошим. Я доказал бы, наконец, что если горсть могущественных и богатых находится на вершине величия и счастья, тогда как толпа пресмыкается в безвестности и нищете, то это происходит от того, что первые ценят блага, которыми они пользуются, лишь постольку, поскольку другие этих благ лишены и, оставаясь в том же положении, они

перестали бы быть счастливыми, если бы народ перестал быть несчастным.

Но одни только эти подробности могли бы составить материал для обширного сочинения, в котором можно было бы взвесить преимущества и неудобства всякого Правления сравнительно с правами естественного состояния, разоблачить все те разнообразные виды, в которых неравенство проявлялось вплоть до сего дня и в которых может оно проявиться в грядущие века, сообразно природе этих Правлений и тем переворотам, которые неизбежно произойдут в них со временем. Мы увидели бы массу, угнетаемую внутри Государства в результате именно тех мер предосторожности, которые были приняты ею, чтобы противостоять внешней угрозе; мы увидели бы, как постоянно растет угнетение, причем угнетенным никогда не дано знать, каков будет его предел и какие у них останутся законные средства, чтобы остановить его рост; мы увидели бы, как теряют свою силу и угасают мало-помалу гражданские права и национальные вольности и как протесты слабых начинают рассматриваться как мятежный ропот; мы увидели бы политику ограничения какой-то группой наемников числа тех лиц, которые удостоиваются чести защищать общие интересы государства<sup>164</sup>; мы увидели бы, как из этого возникает необходимость налогов, как павший духом земледелец даже в мирное время покидает свои поля и бросает плуг, чтобы опоясаться мечом; мы увидели бы рождение гибельных и диковинных принципов понимания чести; мы увидели бы как защитники отечества рано или поздно превращаются во врагов его, постоянно держащих кинжал занесенным над головами своих сограждан, и как неизбежно приходит время, когда они скажут угнетателю их отечества:

*Pectore si fratris gladium juguloque parentis  
Condere me jubeas, gravidaeque in viscera partu  
Conjugis, invita peragam tamen omnia dextra\*.*

Из крайнего неравенства положений и состояний, из разнообразия дарований и страстей, из искусств бесполезных, искусств вредных, из знаний поверхностных и неглу-

\* Если мечом поразить повелишь мне любимого брата,  
Иль дорогого отца, иль супругу с младенцем в утробе,  
Сердце сожмется в груди, но исполнит рука приказанье.  
*Л у к а н. Фарсалия, или О гражданской войне, I, II, 376-378 (лат.)<sup>165</sup>.*

боких появились бы сонмы предрассудков, равно противных разуму, счастью и добродетели. Мы увидели бы, как правители ревностно поддерживают все то, что может ослабить объединившихся людей, разъединяя их: все, что может придать обществу видимость согласия и посеять в нем семена подлинного раздора, все, что может внушить различным сословиям недоверие и взаимную ненависть, противопоставляя их права и их интересы и, следовательно, усилить власть, всех их сдерживающую<sup>166</sup>.

И среди всей этой безурядицы и переворотов постепенно поднимет свою отвратительную голову деспотизм; пожирая все, что увидит он хорошего и здорового во всех частях Государства, в конце концов, он начнет попирать ногами и законы, и народ и утвердится на развалинах Республики. Времена, предшествующие этой последней перемене, будут временами смут и бедствий, но, в конце концов, чудовище поглотит все, и у народов больше не будет ни правителей, ни законов, но одни только тираны. С этой минуты не может быть больше речи ни о нравственности, ни о добродетели. Ибо повсюду, где царит деспотизм, *cui ex honesto nulla est spes\**, он не терпит, наряду с собою, никакого иного повелителя; как только он заговорит, не приходится уже считаться ни с честью, ни с долгом, и слепое повиновение — вот единственная добродетель, которая оставлена рабам.

Это — последний предел неравенства и крайняя точка, которая замыкает круг и смыкается с нашею отправною точкою. Здесь отдельные лица вновь становятся равными, ибо они суть ничто; а так как у подданных нет иного закона, кроме воли их господина, а у него нет другого правила, кроме его страстей, то понятие о добре и принципы справедливости вновь исчезают; здесь все сводится к одному только закону более сильного и следовательно к новому естественному состоянию, отличающемуся от того состояния, с которого мы начали, тем, что первое было естественным состоянием в его чистом виде, а это последнее — плод крайнего разложения. Впрочем оба эти состояния столь мало отличаются друг от друга, а договор об установлении Власти настолько расшатан деспотизмом, что деспот остается повелителем лишь до тех пор, пока он сильнее

\* Которому не свойственно ничто порядочное (*лат.*)<sup>167</sup>.

всех, но как только люди оказываются в силах его изгнать, у него нет оснований жаловаться на насилие. Восстание, которое приводит к убийству или к свержению с престола какого-нибудь султана, это акт столь же закономерный, как и те акты, посредством которых он только что распоряжался жизнью и имуществом своих подданных. Одной только силой он держался, одна только сила его и низвергает<sup>168</sup>. Все, таким образом, идет своим естественным путем, и какова бы ни была развязка сих быстрых и частых переворотов, никто не может жаловаться на несправедливость других, но только на собственное свое неблагоприятное или на свое несчастье.

Открывая и прослеживая, таким образом, забытые и затерянные пути, которые должны были привести человека из состояния естественного в состояние гражданское, восстанавливая с помощью намеченных мною выше промежуточных этапов те, которые я должен был опустить из-за недостатка времени или которые вообще не были подсказаны мне моим воображением, всякий внимательный читатель может быть лишь поражен огромностью того пространства, которое разделяет оба эти состояния. В этом медленном общем развитии он увидит решение бесконечного множества проблем моральных и политических, которые не могут разрешить наши философы. Он поймет, что человеческий род в одну эпоху — это не род человеческий в другую эпоху, и потому причина, по которой Диоген никак не мог найти человека<sup>169</sup>, заключена в том, что он искал среди своих современников человека времен уже минувших. «Катон, — скажет этот читатель, — погиб вместе с Римом<sup>170</sup> и со свободой, потому что не было ему места в его веке; и величайший из людей лишь удивлял тот мир, которым он правил бы пятью столетиями ранее». Словом, он объяснит, как душа и страсти человеческие, незаметно подвергаясь порче, изменяют, так сказать, и свою природу; вот почему с течением времени изменяются предметы наших потребностей и удовольствий; вот почему изначальное в человеке постепенно исчезает, и общество открывает тогда глазам мудреца лишь скопище искусственных людей и притворных страстей, которые суть продукт этих новых отношений и не имеют никакого действительного основания в природе. То, что мы узнаем здесь с помощью размышления, полностью подтверждается и наблюдениями:

дикарь и человек цивилизованный настолько отличаются друг от друга по душевному складу и склонностям, что высшее счастье одного повергло бы другого в отчаянье. Первый жаждет лишь покоя и свободы, он хочет лишь жить и оставаться праздным, и даже спокойствие духа стойка не сравнится с его глубоким безразличием ко всему остальному. Напротив, гражданин, всегда деятельный, работающий в поте лица, беспрестанно терзает самого себя, стремясь найти занятия, еще более многотрудные; он работает до самой смерти, он даже идет на смерть, чтобы иметь возможность жить, или отказывается от жизни, чтобы обрести бессмертие. Он заискивает перед знатными, которых ненавидит, и перед богачами, которых презирает; он не жалеет ничего, чтобы добиться чести служить им; он с гордостью похвалится своей низостью и их покровительством и, гордый рабским своим состоянием, он с пренебрежением говорит о тех, которые не имеют чести разделять с ним это его состояние. Какое зрелище представили бы для караиба тягостные и вызывающие зависть труды какого-нибудь европейского министра! Какую мучительную смерть не предпочел бы этот беспечный дикарь ужасам подобной жизни, которые часто даже не скрашивает отрадное сознание того, что правильно поступаешь! Но, чтобы он увидел, какова цель стольких страданий, нужно, чтобы слова *могущество* и *репутация* приобрели смысл в его уме; нужно, чтобы он понял, что существуют люди, которые придают значение тому, как на них смотрит остальной мир, которые считают себя счастливыми и довольными самими собой скорее потому, что так полагают другие, чем потому, что они сами так считают. Такова и в самом деле действительная причина всех этих различий: дикарь живет в себе самом, а человек, привыкший к жизни в обществе, всегда — вне самого себя; он может жить только во мнении других, и, так сказать, из одного только их мнения он получает ощущение собственного своего существования. В мою тему не входит показывать, как из подобного предрасположения возникает такое безразличие к добру и злу наряду со столь прекрасными рассуждениями о морали; как все сводится к внешней стороне вещей и как поэтому все становится притворным и наигранным — честь, дружба, добродетель и часто даже сами пороки, так как люди, в конце концов, открыли секрет, как с их помо-

щью прославиться, — словом, как, приучившись постоянно вопрошать других о том, что мы собою представляем, и никогда не решаясь спросить об этом самих себя, мы обладаем теперь, несмотря на такое обилие философии, гуманности, вежливости и высоких принципов, одною только внешностью, обманчивою и пустою: честью без добродетели, разумом без мудрости и наслаждениями без счастья. Мне достаточно было доказать, что не таково изначальное состояние человека и что один только дух общества и неравенство, им порождаемое, так изменяют и портят наши естественные наклонности.

Я старался показать происхождение и развитие неравенства, установление политических обществ и то дурное применение, которое они нашли, насколько все это может быть выведено из природы человека, с помощью одного лишь светоча разума и независимо от священных догматов, дающих верховной власти санкцию божественного права. Из сказанного выше следует, что неравенство, почти ничтожное в естественном состоянии, усиливается и растет за счет развития наших способностей и успехов человеческого ума и становится, наконец, прочным и узаконенным в результате установления собственности и законов. Отсюда также следует, что неравенство личностей, вводимое только одним положительным правом, вступает в противоречие с правом естественным всякий раз, когда этот вид неравенства не соединяется в таком же отношении с неравенством физическим: различие это достаточно ясно показывает, что должны мы думать в этой связи о том виде неравенства, которое царит среди всех цивилизованных народов, ибо явно противоречит естественному закону, каким бы образом мы его ни определяли, — чтобы дитя повелевало старцем, глупец руководил человеком мудрым и чтобы горстка людей утопала в излишествах, тогда как голодная масса лишена необходимого.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>(1)</sup> Геродот рассказывает, что после убийства Лже-Смердиса<sup>171</sup>, когда семь освободителей Персии собрались вместе, чтобы решить, какую им установить в Государстве форму правления, Отанес решительно высказался в пользу Республики; предложе-

ние в устах сатрапа тем более удивительное, что, если даже не говорить о тех личных притязаниях на власть, которые могли у него быть, вельможи вообще больше смерти боятся такого Правления, которое заставляет их уважать людей. Отанеса, как легко поверить, никто не послушался, и он, увидев, что все остальные собираются приступать к избранию монарха и не желая ни повиноваться, ни повелевать, добровольно уступил соперникам свое право на престол, потребовав вместо всякого вознаграждения только свободы и независимости для себя и для своих потомков, что и было ему предоставлено. Если бы Геродот и не сообщал нам ничего об ограничениях, которыми была обставлена эта привилегия, все же непременно следовало бы предположить, что такие ограничения были сделаны, иначе Отанес, не признавая никаких законов и не будучи обязан ни перед кем отчитываться, оказался бы всемогущим в Государстве и был бы даже еще могущественнее, чем сам царь. Но почти невероятно, чтобы человек, способный при подобных обстоятельствах удовольствоваться подобною привилегией, был способен ею злоупотреблять. И действительно, мы не видим, чтобы это право вызывало в царстве когда-либо хоть малейшую смуту, ни по вине мудрого Отанеса, ни по вине кого-либо из его потомков.

<sup>(11)</sup> С самого же начала я с уверенностью ссылаюсь на одно из тех авторитетных мнений, которые должны пользоваться полным признанием у философов, поскольку они исходят от ума основательного и возвышенного, такого, какие одни лишь философы умеют находить и понимать.

«Как бы мы ни были заинтересованы в том, чтобы познать самих себя, я не уверен, не знаем ли мы лучше все то, что не есть «мы». Природа наделила нас органами, предназначенными единственно для того, чтобы служить для нашего самосохранения, мы же пользуемся ими лишь для восприятия внешних впечатлений; мы стремимся лишь распространиться вовне и существовать вне себя. Слишком занятые умножением функций наших чувств и увеличением области внешнего распространения нашего существа, мы редко пользуемся тем внутренним чувством, которое возвращает нас к нашим истинным измерениям и которое отдаляет от нас все, что к этому не относится. А между тем именно этим чувством должны мы пользоваться, ежели мы желаем себя познать, это единственное чувство, с помощью которого мы можем о себе судить. Но как придать этому чувству всю его действительность и силу? как освободить нашу душу, в которой оно заключается, от всех неверных представлений нашего ума? Мы утратили привычку пользоваться этим чувством; эта привычка не получила никакого развития в бурях наших телесных ощущений, она иссушена огнем наших страстей: сердце, ум, чувства — все ей противодействовало» («Естественная история»<sup>172</sup>, IV, стр. 151; «О природе человека», т. II, 1749, стр. 430). [...]

<sup>(111)</sup> Все знания, которые требуют размышления, все знания, которые приобретаются лишь путем развития понятий и совершенствуются лишь постепенно, по-видимому, совершенно недоступны для дикого человека, потому что он не общается с ему

подобными, потому что, другими словами, он не располагает орудием, служащим для этого общения, и потребностями, делающими такое общение необходимым. Его знания и навыки ограничиваются умением прыгать, бегать, драться, метать камни и влезать на деревья. Но если он умеет делать лишь это, зато умеет он это делать гораздо лучше, чем мы, не обладающие теми же потребностями. А так как все его навыки зависят единственно от телесных упражнений и не могут по этой причине передаваться от одного индивидуума к другому и развиваться, то первый человек мог быть в них столь же искусен, как и самые далекие его потомки. [...]

<sup>(IV)</sup> Один знаменитый автор<sup>173</sup>, исчисляя блага и несчастья человеческой жизни и сравнивая оба итога, нашел, что последний намного превышает первый и что, в общем, жизнь для человека — довольно скверный подарок. Я несколько не удивляюсь его выводу: он исходил во всех своих рассуждениях из состояния человека в гражданском обществе. Если бы восходил он до человека естественного, то можно полагать, что пришел бы к результатам весьма отличным: он заметил бы, что у человека почти нет иных несчастий, кроме тех, которые он сам для себя создал, и природа была бы оправдана. Не без усилий удалось нам сделать себя столь несчастными. Когда, с одной стороны, смотришь на безмерные труды людей, на такое множество наук, ими разработанных, искусств, ими изобретенных, на такое множество сил, ими приложенных, засыпанных пропастей, срытых гор, снесенных скал, рек, превращенных в судоходные, распаханых земель, вырытых озер, осушенных болот, огромных зданий, воздвигнутых на суше, на море, покрытое кораблями и матросами, и когда, с другой стороны, исследуешь, немного поразмыслив, какие подлинные блага принесло все это для счастья рода человеческого, то можно лишь поразиться удивительному несоответствию между первыми и вторыми итогами и пожалеть об ослеплении человека, которое, дабы насытить его гордыню и не знаю уж какое тщеславное восхищение самим собой, заставляет его с жаром гоняться за тем, что может его сделать несчастным и что благодетельная природа позаботилась от него отвратить.

Люди — злы; печальный и долгий опыт избавляет нас от необходимости это доказывать. Между тем человек от природы добр, — полагаю, это я доказал<sup>174</sup>. Что же могло испортить его до такой степени, если не изменения, которые совершились в его телосложении, не те успехи, которых добился он, и не те знания, которые он приобрел. Вы можете сколько угодно восхищаться человеческим обществом, все же остается не менее верным, что оно неизбежно побуждает людей ненавидеть друг друга в той мере, как сталкиваются их интересы, взаимно оказывать друг другу мнимые услуги, а на деле причинять друг другу всевозможные несчастья. Что можем мы подумать о таком общении, когда интересы каждого отдельного человека внушают ему принципы, прямо противоположные тем, которые общая польза внушает обществу в целом, и когда каждый видит свою выгоду в несчастье другого? Нет, быть может, ни одного состоя-

тельного человека, которому алчные наследники, а часто и собственные его дети, не желали бы втайне смерти; нет ни одного корабля в море, крушение которого не было бы доброй вестью для какого-нибудь торговца; нет ни одного дома, пожара которого вместе со всеми бумагами, в нем находящимися, не желал бы увидеть какой-нибудь недобросовестный должник; нет ни одного народа, который не радовался бы бедствиям своих соседей. И мы, таким образом, извлекаем пользу из невзгод наших ближних, и проигрыш одного почти всегда становится причиной благополучия другого. Но еще опаснее то, что общественные бедствия составляют предмет ожиданий и надежд множества частных лиц, одним нужны болезни, другим — мор, третьим — война, четвертым — голод. Я видел отвратительных людей, которые плакали от горя, когда год обещал быть урожайным, а огромный и страшный лондонский пожар<sup>175</sup>, который стоил жизни и имущества стольким беднякам, принес состояние, быть может, десяти тысячам человек. Я знаю, что Монтень порицает афинянина Демада<sup>176</sup> за то, что тот добился наказания работника, который продавал гробы слишком дорого и наживался на смерти своих сограждан, но так как исходит Монтень при этом из того соображения, что в таком случае пришлось бы наказывать всех людей, то, очевидно, что оно только подтверждает мои соображения. Проникните же сквозь все наши пустые знаки благожелательности в то, что творится в глубине душ, подумайте над тем, каким должно быть положение вещей, когда люди вынуждены расточать друг другу ласки и в то же время готовить друг другу погибель, когда они рождаются врагами по долгу и плутами по расчету. Если ответят мне: общество так устроено, что каждому человеку выгодно служить другим, — я отвечу, что это было бы очень хорошо, если бы ему не было еще более выгодно вредить им. Нет такой законной выгоды, чтобы ее не превысила выгода, которую можно получить незаконно; и вред, причиняемый ближнему, всегда приносит больше дохода, чем услуги. Вопрос, следовательно, только в том, чтобы найти способы обеспечить себе безнаказанность, и именно для достижения этого могущественные используют все свои силы, а слабые — всю свою хитрость.

Дикарь, когда ему удалось пообедать, — в мире со всей природой и друг всем ему подобным. Если порою ему приходится оспаривать свою пищу у другого, то он никогда не вступает в драку, не сравнив предварительно трудности победы с тем, насколько ему трудно отыскать себе пищу в другом месте, и так как гордость не играет никакой роли в этой битве, то дело ограничивается несколькими ударами кулака; победитель ест, побежденный отправляется искать счастья — и вот мир уже восстановлен. Но с человеком в обществе дело обстоит совсем не так — ему нужно сначала позаботиться о том, что необходимо, потом уже об избыточном: приходят наслаждения, огромные богатства, появляются подданные, затем рабы, и нет у него ни минуты передышки. Еще более странно, что, чем менее естественны и настоятельны потребности, тем более разгораются страсти и, что еще хуже, — тем больше есть возможностей их

удовлетворять; так что после долгого ряда счастливых событий, поглотив множество сокровищ и обездолив множество людей, мой герой кончит тем, что станет все истреблять, пока не останется единственным господином всего мира. Такова, в общих чертах, поучительная картина, если не жизни человеческой, то, по меньшей мере, тайных душевных устремлений всякого цивилизованного человека<sup>177</sup>.

Сравните, без предвзятости, состояние человека гражданского общества и человека дикого и определите, если сможете, сколько новых дверей растворил первый из них страданию и смерти, — если даже не говорить о его злости, о его нуждах, о его несчастиях. Если вы примете во внимание терзающие нас душевные муки, изнуряющие и приводящие в отчаяние бурные страсти, чрезмерные труды, коими обременены бедняки, и еще более опасную негу, которой предаются богачи, что заставляет одних умирать от нужды, а других — от излишеств; если вы подумаете о чудовищной смеси различных продуктов, составляющих нашу пищу, о вредных приправах к ним, об испорченных продуктах питания, о фальсифицированных лекарствах, о плутнях тех, кто ими торгует, об ошибках тех, которые их назначают, о ядовитых свойствах сосудов, в которых их готовят; если вы обратите внимание на эпидемические болезни, порождаемые дурным воздухом там, где скученно живут огромные скопления людей, на болезни, вызываемые изнеженностью нашего образа жизни, постоянными переходами из домов, в которых мы живем, на открытый воздух и обратно, привычкой надевать или снимать платье без достаточных предосторожностей, на все заботы, которые вследствие чрезмерной нашей чувствительности превратились в необходимые привычки, и на то, что пренебрежение этими заботами или их отсутствие стоит нам затем жизни или здоровья; если присоедините вы к этому итогу пожары и землетрясения, которые, поглощая или разрушая целые города, тысячами губят их жителей<sup>178</sup>, — словом, окиньте взором все опасности, кои в силу всех этих причин беспрестанно нагромождаются над нашей головою, — и вы поймете, как дорого природа заставляет нас расплачиваться за то презрение, с каким отнеслись мы к ее урокам.

Я не стану здесь повторять о войне то, что сказал я о ней в другом месте, но я хотел бы, чтобы люди осведомленные пожелали или отважились хоть раз сообщить публике подробности тех ужасных злодеяний, которые совершаются в армиях поставщиками продовольствия и содержателями госпиталей: мы увидели бы, что их не слишком хорошо скрытые злоухищрения, в результате которых самые блестящие армии молниеносно тают, губят больше солдат, чем косит их оружие неприятеля. Итог не менее удивительный получился бы, если подсчитаем мы число людей, ежегодно погибающих на море либо от голода, либо от цинги, либо от пиратов, либо от пожаров, либо от кораблекрушений. Ясно, что следует также отнести за счет установленного права собственности<sup>179</sup> и, стало быть, за счет общества, убийства, отравления, грабежи на больших дорогах и самые наказания за эти преступления, необходимые, чтобы предупредить несчастия еще ббльшие; но так как за убийство одного человека лиша-

ются жизни два человека и более, то неизбежно получается, что эти наказания удваивают потери человеческого рода. Сколько есть постыдных средств помешать рождению человека и обмануть природу либо из-за склонностей грубых и извращенных, которые оскорбляют прекраснейшее ее творение, — склонностей, которых никогда не ведали ни дикари, ни животные и которые порождены в цивилизованных странах лишь развращенным воображением, либо посредством этих тайных выкидышей, достойных плодов разврата и порочных понятий о чести, либо из-за того, что множество детей остается без помощи или убивается, — это жертвы нищеты их родителей или дикого страха их матерей, наконец из-за того, что изувечиваются несчастные, частично само бытие которых и все их потомство приносятся в жертву суетным песнопениям<sup>180</sup>, или, что еще хуже, дикой ревности некоторых мужчин: изувечение это в последнем случае вдвойне оскорбляет природу и по тому, как теперь обращаются с этими изувеченными, и по тому применению, для которого они теперь предназначаются!

Но не имеют ли место тысячи случаев еще более частых и еще более опасных, когда отцовские права открыто оскорбляют требования человечности?<sup>181</sup> Сколько дарований загублено и сколько стремлений подавлено безрассудным принуждением со стороны отцов! Сколько людей, которые отличились бы на подходящем для них поприще, умирают несчастными и лишенными славы, занимаясь другим делом, к которому их совсем не влекло! Сколько счастливых, хоть и неравных браков было расторгнуто или расстроено и сколько целомудренных супругов было опозорено в результате существования сословного строя, постоянно противоречащего естественному порядку! Сколько других нелепых союзов заключено по расчету вопреки требованиям любви и разума! Сколько честных и добродетельных супругов отравляют себе жизнь, потому что они друг другу не подходят! Сколько юных и несчастных жертв скупости своих родителей бросаются в объятия порока или коротают печальные свои дни в нерасторжимых узах, отвергаемых сердцем, в узах, которые создало одно только золото! Счастливы порою те, кто столь мужественны или, можно даже сказать, добродетельны, чтобы лишить себя жизни<sup>182</sup>, прежде чем дикое насилие заставит их провести ее в преступлениях и отчаянии! Просигте мне, навеки безутешные отцы и матери, я невольно растравляю ваши раны, но пусть послужат они вечным и страшным примером всякому, кто осмеливается, даже во имя природы, совершать насилие над священнейшим из ее прав!

Если я говорил лишь о тех неудачно заключенных связях, которые суть плод установленных в нашем обществе порядков, то не думаете ли вы, что те союзы, в заключении коих решающую роль играли любовь и симпатия, ничем не стеснены?

Что, если бы вздумал я показать, что задет самый источник рода человеческого и даже священнейшие его узы, когда люди смеют прислушаться к голосу природы лишь после того, как предварительно подумают об имущественном положении и когда, вследствие беспорядочности гражданских отношений, добродетели и пороки перемешались так, что воздержание стали пола-

гать преступною предосторожностью, а отказ дать жизнь себе подобному — актом человеколюбия! Но не будем разрывать завесу, скрывающую столько ужасов, ограничимся тем, что назовем зло по имени и предоставим другим найти средства, чтобы это зло исцелить.

Прибавьте ко всему этому ряд вредных занятий, которые сокращают жизнь или разрушают здоровье, таких, как работа в рудниках, различные виды обработки металлов, минералов, в особенности же свинца, меди, ртути, кобальта, мышьяка, релльгара<sup>183</sup>, иные опасные ремесла, которые ежедневно стоят жизни многим работникам: то ли кровельщикам, то ли плотникам, то ли каменотесам и тем, кто работает в каменоломнях; соедините, говорю я, все это вместе, и вы увидите, что установление и усовершенствование обществ послужили причинами того уменьшения численности человеческого рода, которое уже было отмечено не одним философом<sup>184</sup>.

Роскошь, коей не может быть там, где люди гонятся за жизненными удобствами и почестями, уже скоро довершает то зло, которое началось с возникновения обществ; под тем предлогом, что роскошь доставляет средства к жизни бедным<sup>185</sup>, которых она не должна была бы плодить, она разоряет всех остальных и рано или поздно лишает Государство населения.

Роскошь — это лекарство, что горше той болезни, которую оно якобы исцеляет, или, скорее, она сама по себе — худшее из всех зол, которые могут существовать в Государстве, будь оно большим или малым; чтобы кормить толпы слуг и нищих, ею же порождаемых, она притесняет и разоряет земледельца и гражданина, подобно тем палящим южным ветрам, что, покрывая траву и деревья прожорливыми насекомыми, лишают пищи полезных животных и несут с собою голод и смерть повсюду, где слышится их дыхание.

Из общества и из роскоши, им порождаемой, возникают свободные и механические искусства, торговля и промышленность, науки, и все те излишества, что содействуют расцвету ремесел, обогащают и губят Государства. Эта гибель вызывается очень просто причиной. Легко видеть, что земледелие по своей природе должно быть наименее прибыльным из всех занятий, ибо продукты его более всего необходимы людям, и поэтому цены на них должны соответствовать возможности самых бедных. Из этого принципа можно вывести то правило, что доходность занятий, в общем, обратно пропорциональна их полезности и что наиболее необходимые из них, в конце концов, окажутся в полнейшем пренебрежении. Отсюда видно, что следует думать о подлинных выгодах, которые несет с собою промышленность, и о практических результатах ее успехов.

Таковы ощутимые причины всех тех бедствий, в которые изобилие ввергает, в конце концов, самые прославленные народы. В то время как развиваются и достигают процветания промышленность и ремесла, землепашец, презираемый, обремененный налогами, необходимыми для поддержания роскоши, и принужденный коротать свои дни между трудом и голодом, покидает свои поля и отправляется в города искать хлеб, который он должен был бы туда доставлять. Чем больше ослепляют

столицы бессмысленные взоры народа, тем больше следовало бы скорбеть душою при виде покинутых деревень, невозделанных полей и больших дорог, наводненных несчастными гражданами, превратившимися в нищих или воров и обреченных кончать жалкую свою жизнь на колесе или на куче навоза. Так Государство, обогащаясь, в то же время ослабляет себя и лишается населения, и самые могущественные монархии, положив немало трудов, чтобы стать богатыми и безлюдными, становятся в конце концов добычею бедных народов, которые поддаются пагубному искушению их завоевать и, в свою очередь, обогащаются и ослабляют себя до тех пор, пока и их не завоюют и не уничтожат другие народы.

Пусть хоть однажды соблаговолят объяснить нам, что могло породить эти полчища варваров, которые в течение стольких веков наводняли Европу, Азию и Африку. Совершенство ли их ремесел, мудрость ли их законов, выдающиеся ли достоинства их внутренних порядков были причиною этой чудовищной их численности? Пусть соблаговолят сказать нам наши ученые, почему, вместо того, чтобы до такой степени размножаться, эти свирепые и грубые люди, которым не было дано ни знаний, ни сдерживающих сил, ни образованности, не истребляли друг друга, ежеминутно оспаривая друг у друга пищу или место для охоты. Пусть объяснят они нам, как только у этих презренных хватило смелости взглянуть в лицо людям столь искусным и ловким, как мы, обладавшим в то время столь прекрасною воинскою дисциплиной, столь прекрасными кодексами и столь мудрыми законами. Наконец, почему с тех пор, как в северных странах общество стало более совершенным и было затрачено столько трудов, чтобы растолковать людям их взаимные обязанности и искусство жить сообща приятно и мирно, мы не видим, чтобы с севера надвигалось что-либо подобное тем несметным ордам человечьим, которые скоплялись там в былые времена. Я очень боюсь, что кто-нибудь додумается, в конце концов, мне ответить, что все эти великие вещи, а именно: искусства, науки и законы, были весьма мудро изобретены людьми как моровая язва, чтобы предупредить чрезмерное размножение человеческого рода, из опасения, как бы тот мир, который отведен нам для жизни, не оказался, в конце концов, слишком тесным для его обитателей.

Так что же! нужно разрушить общество, уничтожить «твое» и «мое», вернуться в леса, жить там вместе с медведями? — такой вывод вполне в духе моих противников, но я предпочитаю их опередить и тем извинить от позора. О вы, до слуха которых не долетел голос неба и кто не видит для рода своего иного предназначения, как окончить в мире краткую земную жизнь, вы, которые можете оставить внутри городских стен ваши пагубные приобретения, спокойный ваш ум, вашу развращенную душу и необузданные ваши желания, верните себе, ибо то в вашей власти, вашу былую, изначальную невинность, идите в леса, чтобы не видеть и не вспоминать о преступлениях ваших современников, и не бойтесь унизить ваш род, отказываясь от его познаний, чтобы отказаться от его пороков. Что же до людей, мне подобных, в которых страсти уничтожили навсегда

первоначальную простоту, которые не могут больше ни питаться травами и желудями, ни обходиться без законов и без правителей, тех, которые в лице своего родоначальника удостоились услышать наставления свыше, тех, которые в этом моем стремлении найти в человеческих поступках изначальную, а не приобретенную с течением времени нравственность, увидят единственное оправдание заповеди<sup>186</sup>, которая сама по себе безразлична и не объяснима в любой иной системе понятий, словом, тех, кто убежден, что божественный голос призвал весь род человеческий к просвещению и ко блаженству небесного познания, — то все они будут стараться, укрепляясь в добродетелях, заслужить вечную награду, которой следует им за это ожидать. Они будут уважать священные узы обществ, членами коих они являются; они будут любить себе подобных и будут служить им всеми своими силами; они будут неукоснительно подчиняться законам и людям, которые являются их творцами и их служителями; они будут особенно почитать добрых и мудрых государей, которые умеют предупредить, исцелить или сделать менее ощутимыми множество злоупотреблений и бедствий, постоянно угрожающих подавить нас своею тяжестью; они будут возбуждать рвение этих достойных правителей, указывая им без страха и без лести на величие их задачи и на суровость их долга; но не меньше будут они презирать такой строй, который может держаться лишь при помощи стольких достойных всякого уважения людей, — при помощи, чаще желаемой, чем получаемой, — строй, который, несмотря на все заботы этих людей, приносит с собою больше действительных бедствий, чем мнимых выгод. [...]

(V) Мне кажется, что это совершенно очевидно, и я не могу постигнуть, откуда, по мнению наших философов, берутся все те страсти, которые они приписывают человеку в естественном состоянии. За исключением одной только физически необходимой, которой требует сама природа, все остальные наши потребности являются таковыми либо лишь вследствие привычки, — а до появления этой привычки они вовсе не были потребностями, — либо вследствие наших желаний, — а мы не можем желать того, что не в состоянии мы познать. Отсюда следует, что так как дикарь желает лишь того, что ему известно, а известно ему лишь то, чем он владеет или чем он без труда может овладеть, ничто не может быть столь спокойным, как его душа, и столь ограниченным, как его ум. [...]

(VI) Я решительно остерегусь вдаваться в философские размышления, вызываемые преимуществами и недостатками такого объяснения установления языков. Ведь мне не позволено нападать на общераспространенные заблуждения, а ученая публика относится к предрассудкам своим со слишком большим уважением, чтобы сносить мои так называемые парадоксы. Предоставим, поэтому, говорить тем людям, которым не вменяли в преступление того, что они осмеливались иногда принимать сторону разума наперекор суждению толпы. «Nec quidquam felicitati humani generis decederet, si, pulsa tot linguarum peste et confusione, unam artem callerent mortales, et signis, motibus, gestibusque licitum foret quidvis explicare. Nunc vero ita comparatum est, ut animalium quae vulgo bruta creduntur melior longe quam nostra

hac in parte videatur conditio, utpote quae promptius, et forsан felicius, sensus et cogitationes suis sine interprete significant, quam ulli queant mortales, praesertim si peregrino utantur sermone». Is. V o s s i u s. *De Poemat. cant. et viribus rhythmi*, p. 66\* [*De Poematum cantu et viribus rythmi*. Oxford, 1673, p. 65—66].

(VII) Платон, показывая, насколько необходимы понятия о дискретных величинах и об их соотношениях даже в самых простых искусствах, справедливо издевается над авторами его времени, которые утверждали, что Паламед изобрел числа во время осады Трои<sup>187</sup>, как будто, говорит этот философ<sup>188</sup>, Агамемнону<sup>189</sup> могло быть до того времени неизвестно, сколько у него ног. В самом деле, понятно, что общество и искусства не могли достичь той ступени развития, какой достигли они ко времени осады Трои, если бы не знали чисел и счета, но все же необходимость знакомства с числами до приобретения других познаний не позволяет еще представить себе с большею ясностью, как они были изобретены. Когда уже изобретены имена числительные, то легко объяснить их смысл и представить себе те понятия, которые такие имена обозначают, но, чтобы их изобрести, нужно было прежде, чем усвоить эти понятия, приобрести навыки, так сказать, философского размышления, научиться рассматривать творения единственно в их сущности и независимо от того, как мы их воспринимаем: абстракция эта очень трудна, очень метафизична, очень мало естественна, а между тем без этой абстракции нельзя было бы переносить понятия с одного вида и рода на другой, а понятие числа не могло бы стать общепринятым. Дикарь мог представлять себе свою правую и свою левую ногу в отдельности или смотреть на обе свои ноги как на неделимое понятие «пары», никогда не задумываясь над тем, что ног у него две, ибо одно дело — понятие представляющее, которое изображает нам предмет, а другое — понятие числа, которое предмет определяет. Еще менее был он в состоянии сосчитать до пяти, и хотя, прикладывая одну ладонь к другой, он мог заметить, что пальцы их в точности соответствуют, он все же был весьма далек от того, чтобы решить, что на обеих руках число пальцев у него одинаково; о том, сколько у него пальцев, он знал не больше, чем о том, сколько у него волос, и если бы кто-нибудь, объяснив ему предварительно, что такое числа, сказал ему, что пальцев на ногах у него столько же, сколько и на руках, то он был бы, возможно, очень удивлен, если бы, сличив их, обнаружил, что это действительно так.

\* «И не менее счастлив был бы человеческий род, если бы, избавившись от столь пагубного смешения языков, смертные знали бы лишь одно искусство речи, и если бы можно было передавать все, о чем можно подумать, знаками, движениями и жестами. Теперь же дело обстоит так, что животные, которые обыкновенно считаются неразумными, оказываются в значительно лучшем положении, чем мы, так как они выражают свои ощущения и мысли значительно быстрее, а может быть и лучше, чем это в состоянии делать какие бы то ни были люди, особенно если им приходится говорить на чужом языке». Ис. Ф о с с и у с. О пении стихов и об особенностях ритма<sup>190</sup>. Оксфорд, 1673, стр. 65—66 (*лат.*).

(VII) Не следует смешивать самолюбие и любовь к самому себе — две страсти, весьма различные по своей природе и по действию, которое они производят. Любовь к самому себе — это чувство естественное, побуждающее каждое животное заботиться о самосохранении, а у человека это чувство направляется разумом и умеряется сострадательностью, порождая гуманность и добродетель. Самолюбие — это производное, искусственное чувство, возникшее лишь в обществе, заставляющее каждого индивидуума придавать самому себе больше значения, чем всему остальному, побуждающее людей причинять друг другу всевозможное зло и являющееся подлинным источником понятия о чести.

Так как это вполне понятно, то я заявляю, что в нашем первобытном состоянии, когда состояние было действительно естественное, самолюбия не существует, ибо так как каждый человек в отдельности смотрит на самого себя как на единственное во всей вселенной существо, им интересующееся, как на единственного, кто в состоянии судить о собственных его достоинствах, то невозможно, чтобы в душе его могло зародиться чувство, которое имеет своим источником сравнения, для человека в этом состоянии недоступные. В силу той же причины человек этот не мог бы испытывать ни ненависти, ни жажды мести — страстей, которые могут возникнуть лишь из представления о какой-нибудь нанесенной ему обиде; но так как обиду вызывают презрение или намерение причинить вред, а не зло, то люди, не умеющие ни оценивать друг друга, ни сравнивать себя друг с другом, могут учинить один по отношению к другому много действий насильственных, когда им от этого бывает какая-либо польза, не вызывая друг у друга обиды. Словом, так как каждый человек смотрит на себе подобных почти так же, как если бы перед ним были животные другого вида, то он может отнимать добычу у более слабого и уступать свою добычу более сильному, и смотреть на эти грабежи лишь как на естественные происшествия, не испытывая ни малейшего ощущения гордыни или досады и не ведая никакого иного чувства, кроме радости за успехи или боли за неудачу. [...]

(IX) Мне могли бы возразить, что при такого рода раздорах люди, вместо того, чтобы упорно истреблять друг друга, рассеялись бы по всей земле, если бы этому рассеянию не препятствовали никакие границы. Но, во-первых, границами этими по меньшей мере должны бы быть границы мира, и если мы подумаем о чрезвычайно быстром росте населения, который является результатом естественного состояния, то мы поймем, что земля при этом положении вскоре оказалась бы заполненной людьми, принужденными таким образом жить друг подле друга. К тому же, они бы рассеялись по земле, если бы беда возникла сразу и если бы изменение это свершилось в течение одних суток. Но они рождались под ярмом, они уже привыкли носить его, когда почувствовали его тяжесть, и потому довольствовались тем, что ожидали случая его сбросить. В конце концов, они привыкли уже ко множеству удобств, которые вынуждали их жить друг подле друга, и в силу этого им было уже не так легко рассеяться

по земле, как в первобытные времена, когда каждый нуждался лишь в себе самом и принимал решение, не дожидаясь согласия другого.

(X) Маршал де Виллар<sup>191</sup> рассказывает, что когда во время одной из его кампаний из-за колоссального мошенничества одного из поставщиков продовольствия в его армии поднялся ропот недовольства, он сделал этому поставщику суровое внушение и пригрозил, что прикажет его повесить. «Эта угроза не может ко мне относиться, — дерзко ответил ему мошенник, — я смею Вас уверить, что нельзя повесить человека, который располагает сотней тысяч эку». «Я не знаю как получилось, — наивно продолжает маршал, — но он и в самом деле не был повешен, хотя сто раз заслуживал виселицы».

(XI) Полная равномерность в распределении была бы противна даже тому строгому равенству, что присуще естественному состоянию, если бы эта равномерность и была осуществима в гражданском обществе; и поскольку все члены Государства обязаны служить ему сообразно своим дарованиям и силам своим, то, в свою очередь, граждан следует отличать и возвышать соответственно их служению. Именно в этом смысле нужно понимать то место у Исократ<sup>192</sup>, где он хвалит первых афинян за то, что сумели они отличить, который из двух видов равенства более всего полезен: тот ли, что состоит в предоставлении одинаковых преимуществ всем гражданам без различия, либо тот, что состоит в распределении преимуществ соответственно заслугам каждого. Эти искусные политики, добавляет оратор, отвергнув то несправедливое равенство, которое не делает никаких различий между злодеями и людьми добродетельными, неуклонно стремились к такому равенству, которое вознаграждает и наказывает каждого соответственно его заслугам. Но, во-первых, никогда не существовало такого общества, как бы низко оно ни пало, где бы не делали никакого различия между злодеями и добродетельными людьми, и в вопросах нравственности, где Закон не может достаточно точно установить такое мерило, которое могло бы служить руководящим принципом для магистрата, весьма мудрым является такой порядок, когда для того, чтобы судьба или положение граждан в обществе не зависели исключительно от воли магистрата, Закон запрещает ему судить людей как личности, и ему остается судить лишь поступки. Только столь чистые нравы, как у древних римлян, делали возможным существование цензоров, у нас же подобные должности через короткое время перевернули бы все вверх дном. Общественное уважение должно отличать злодеев от людей добродетельных. Магистрат — это судья лишь в строго правовых вопросах; народ — вот настоящий судья нравов — судья неподкупный и, в этом отношении, даже просвещенный; судья, которого иногда обманывают, но которого никак нельзя подкупить. Ранг граждан должен, следовательно, определяться не личными их достоинствами, что означало бы дать магистратам возможность применять Закон почти произвольно, но на основании той службы, которую они фактически несут Государству и которая поддается более точной оценке.

***О ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЭКОНОМИИ***

Слово «экономия», или «ойкономия» происходит от «οἶκος», *дом* и от «νόμος», *закон* и по своему первоначальному смыслу означает лишь благоразумное и законное управление домом<sup>1</sup> для общего блага всей семьи. Значение этого термина впоследствии распространилось и на управление большой семьей, что есть Государство. Для того, чтобы различать сии два значения, в этом последнем случае экономию называют *общей*, или *политической экономией*<sup>2</sup>, а в другом — *домашней*<sup>3</sup>, или *частной экономией*. В этой статье речь идет только о первой.

Если бы между Государством<sup>4</sup> и семьей и существовало такое сходство, как это утверждают многие авторы, то даже из этого не следовало бы еще, что правила поведения, принятые в одном из этих двух обществ, были бы приемлемы в другом. Эти общества слишком различаются по своей величине, чтобы быть управляемы одинаковым образом, и всегда будет огромное различие между управлением домашним, когда отец может увидеть все сам, и гражданским управлением, когда правитель почти все видит лишь чужими глазами. Для того, чтобы положение дел здесь стало одинаковым, нужно было бы, чтобы дарования, сила и все способности отца возрастали пропорционально величине семьи и чтобы душа могущественного монарха относилась к душе обычного человека так, как размеры его владений относятся к достоянию одного частного лица.

Но как может управление Государством походить на управление семьей, которая имеет столь отличное от него основание? Отец физически сильнее, чем дети, и поэтому до тех пор, пока им нужна его поддержка, отцовскую власть можно по справедливости считать установленною самою природой<sup>5</sup>. В большой семье, члены которой от природы равны между собою, политическая власть, устанавливаемая

часто произвольно, может быть основана только на соглашениях, а магистрат может приказывать другим только в силу законов. Власть отца над детьми установлена для их же собственной пользы и потому не может, по самому смыслу вещей, включать право жизни и смерти; верховная власть, однако, у которой нет иной цели, кроме как общее благо, не может иметь иных пределов, как правильно понимаемая общественная польза: это различие я поясню в своем месте. Обязанности отца продиктованы ему естественными чувствами и таким тоном, который редко позволяет ему не повиноваться. У правителей нет ничего похожего на это правило, и они в своих отношениях с народом на деле связаны только теми обещаниями, которые они ему дали, и исполнения коих он вправе требовать. Другое различие, еще более важное, состоит в том, что у детей нет ничего, что бы они не получили от отца, и поэтому очевидно, что все права собственности принадлежат ему или же от него исходят. Совершенно противоположным образом обстоит дело в большой семье, где общее управление устанавливается лишь для того, чтобы обеспечить собственность частных лиц, появление которой предшествует ему. Главная цель трудов всего дома состоит в том, чтобы сохранить и умножить отцовское достояние, дабы отец мог когда-нибудь разделить его между детьми, не уменьшая их доли, тогда как богатство казны<sup>6</sup> — это лишь средство, часто весьма дурно понимаемое, для того, чтобы сохранить частным лицам мир и изобилие. Одним словом, малая семья обречена на то, чтобы угаснуть и распасться однажды на ряд других подобных семейств, большая же семья создана для того, чтобы длительно существовать в одном и том же состоянии, и поэтому для роста малой семьи нужно, чтобы она увеличивалась, тогда как для большой семьи достаточно, чтобы она сохранялась, и даже, более того, можно легко доказать, что всякое увеличение для нее скорее вредно, чем полезно.

По многим причинам, вытекающим из самой сути дела, в семье должен приказывать отец. Во-первых, власть не должна распределяться поровну между отцом и матерью, но следует, чтобы управление было единым и чтобы, при расхождении во мнениях, один голос был преобладающим и решающим. Во-вторых, сколь легкими мы бы ни захотели признать недомогания, свойственные женщине, они все же создают для нее некоторый период бездеятельности: это

достаточное основание, чтобы не отдавать ей в данном деле первенства, ибо при совершенном равновесии достаточно соломинки, чтобы склонить весы в ту или иную сторону. Кроме того, муж должен иметь право надзора за поведением своей жены, потому что для него важно быть уверенным в том, что дети, которых он вынужден признавать и кормить, не принадлежат кому-нибудь другому. Женщина, которой не нужно опасаться ничего подобного, не имеет таких же прав по отношению к своему мужу. В-третьих, дети должны повиноваться отцу сначала по необходимости, затем из благодарности<sup>7</sup>: получая от него все, в чем они нуждаются, на протяжении первой половины своей жизни, они должны посвятить вторую половину жизни тому, чтобы доставлять отцу все ему необходимое. В-четвертых, что до слуг, то они также обязаны ему служить за то содержание, которое он им дает, исключая тот случай, когда условия найма перестают их удовлетворять и они расторгают договор. Я ничего не говорю о рабстве<sup>8</sup>, потому что оно противно природе, и никакое право не может его узаконить.

Ничего подобного нет в обществе политическом. Правитель не только не имеет естественного интереса в счастье частных лиц, но нередко даже пытается найти свою собственную пользу в том, чтобы они были несчастны. Если магистратура наследственна, тогда нередко ребенок повелевает взрослыми, если магистратура выборна, тогда при проведении выборов дают себя чувствовать тысячи неудобств: и в том, и в другом случае утрачиваются все преимущества отцовского авторитета. Если у вас только один правитель, то вы отданы на милость господина, у которого нет никаких оснований вас любить; если у вас правителей несколько, то приходится терпеть одновременно и их тиранию, и их раздоры. Одним словом, злоупотребления неизбежны, а последствия их пагубны во всяком обществе, где общественный интерес и законы не имеют никакой естественной силы и беспрестанно ущемляются личным интересом и страстями правителя и членов.

Хотя деятельность отца семейства и деятельность первого магистрата должны быть направлены к одной и той же цели, пути их столь различны, долг и права их настолько не совпадают, что смешать их можно, только создав себе ложные представления о первоначальных законах общества и впад в заблуждения, роковые для человеческого рода. В

самом деле, если голос природы — это лучший совет, к которому хороший отец должен прислушиваться, чтобы хорошо исполнять свои обязанности, то для магистрата голос природы — только ложный наставник, который беспрестанно действует, увлекая этого последнего в сторону от выполнения его обязанностей, и рано или поздно приводит к его гибели или к гибели Государства, если магистрата не удержит от этого самая возвышенная добродетель. Единственная предосторожность, необходимая отцу семейства, это — оградить себя от пороков и помешать извращению своих естественных наклонностей, но эти-то естественные наклонности и развращают магистрата. Для того, чтобы поступать хорошо, первому из них нужно лишь прислушиваться к голосу своего сердца, второй же становится предателем в тот самый миг, когда слушается голоса сердца: самый его разум должен быть для него подозрителен, и он должен руководиться только общественным разумом, который есть Закон. Вот почему природа создала множество хороших отцов семейств, но с тех пор, как существует мир, человеческая мудрость создала лишь очень немного хороших магистратов<sup>9</sup>.

Из всего того, что я только что изложил, следует, что различие между *общественной экономией* и *частной экономией* было сделано с полным основанием, и, поскольку Гражданская община и семья не имеют ничего общего между собою, кроме обязательства их правителей сделать и первую и вторую счастливыми, ни права их не могут возникнуть из одного и того же источника, ни одни и те же правила поведения подходить для них обеих. Я полагал, что этих немногих строк достаточно, чтобы опровергнуть ту отвратительную теорию, которую кавалер Филмер<sup>10</sup> пытался утвердить в сочинении под заглавием *Patriarcha*\* и которому два выдающихся человека<sup>11</sup> оказали слишком много чести, написав в ответ на него по книге. Впрочем, это — заблуждение весьма древнее, так как даже Аристотель, который в некоторых местах своей «*Политики*»<sup>12</sup> сам к нему склоняется, считает уместным нападать на это заблуждение в других местах.

Я прошу моих читателей отчетливо различать, кроме того, *общественную экономию*, о которой я буду говорить

\* «Патриарх» (лат.).

и которую я называю *Правлением*, от высшей власти, которую я называю *Суверенитетом*. Различие это состоит в том, что одной из них принадлежит право законодательства, и она в некоторых случаях налагает обязательства даже на саму Nation в целом, тогда как другой принадлежит только власть исполнительная<sup>13</sup>, и она может налагать обязательства лишь на частных лиц.

Да будет мне позволено<sup>14</sup> воспользоваться на миг сравнением обычным и во многих отношениях неточным, которое, однако, поможет лучше меня понять.

Политический организм, взятый в отдельности, может рассматриваться как членосоставленный живой организм, подобный организму человека. Верховная власть — это его голова; законы и обычаи — мозг, основа нервов и вместительница рассудка, воли и чувства, органами которых являются его судьи и магистраты; торговля, промышленность и сельское хозяйство — его рот и желудок, которые готовят пищу для всего этого организма; общественные финансы — это кровь, которую мудрая *экономика*, выполняющая функции сердца, гонит, чтобы она по всему телу разносила пищу и жизнь; граждане — тело и члены, которые дают этой машине<sup>15</sup> движение, жизнь и приводят ее в действие, и их нельзя ранить ни в какой отдельной их части так, чтобы ощущение боли не дошло сразу же до мозга, если животное находится в здоровом состоянии<sup>16</sup>.

Жизнь и первого, и второго — это *я*, общее для целого, взаимная чувствительность и внутреннее соответствие всех частей. Если это сообщество прекращается, если единство формы распадается и смежные части перестают принадлежать друг другу иначе, как при наложении, — человек мертв или Государство распалось.

Политический организм — это, следовательно, условное общество, обладающее волей, и эта общая воля, которая всегда направлена на сохранение и на обеспечение благополучия целого и каждой его части, и которая есть источник законов, является для всех членов Государства, по отношению к этим членам и к Государству, мерилom справедливого и несправедливого: истина эта, скажу между прочим, показывает, насколько основательно столь многие авторы рассматривали как кражу те ухищрения, к которым предписано было прибегать детям в Лакедемоне, чтобы заслужить свой скудный обед<sup>17</sup>; как будто бы все то, что велит Закон,

могло не быть законным. Смотрите в статье «Право»<sup>18</sup> источник того великого и ясного принципа, развитием которого является эта статья.

Важно отметить, что это мерило справедливости, надежное по отношению ко всем гражданам, может быть ошибочным в применении к чужестранцам, и причина тому очевидна: ибо тогда воля Государства, хотя и является общею по отношению к его членам, не является уже таковою по отношению к другим Государствам и их членам, но становится для них волей частною и индивидуальною, мерилом справедливости которой является естественный закон; это равным образом сводится к установленному нами принципу. Ибо тогда мир — как один большой город<sup>19</sup> — превращается в Политический организм, естественным законом которого является всегда общая воля, входящие же в него Государства и различные народы являются лишь индивидуальными членами этого организма.

Из этих именно различий в применении к каждому политическому обществу и к его членам и возникают мерила самые всеобщие и самые надежные, на основании которых можно судить о том, хорошо или дурно Правление, и вообще о нравственности всех поступков человеческих.

Всякое политическое общество состоит из других меньших обществ различного рода, из которых каждое имеет свои интересы и свои правила. Но эти общества, которые видны каждому, так как они имеют форму внешнюю и узаконенную, не являются единственными на деле существующими в Государстве обществами; все те частные лица, которых объединяет общий интерес, образуют такое же число постоянных или недолговечных сообществ, сколько этих общих интересов. Сила этих сообществ менее очевидна, но не менее действительна, и лишь исправное соблюдение различных соотношений между ними дает подлинное знание нравов. Все эти молчаливо созданные или оформленные ассоциации и видоизменяют самими различными способами вид воли общественной влиянием своей собственной. Воля этих частных обществ выступает всегда в двух отношениях: для членов ассоциации — это общая воля; для большого общества — это воля частная, которая весьма часто оказывается правой с одной стороны и порочною с другой. Иной может быть благочестивым священником или храбрым солдатом, или ревностным патрицием, но плохим

гражданином. Иное решение может быть выгодным для малой общины людей и очень опасным для большой. Правда, поскольку частные общества всегда подчинены обществам, в состав которых они входят, то повиноваться должно скорее этим последним, чем другим; обязанности гражданина важнее, чем обязанности сенатора, а обязанности человека важнее, чем обязанности гражданина. Но, к несчастью, личный интерес всегда оказывается в обратном отношении к долгу и увеличивается по мере того, как ассоциация становится все более узкой, а обязательства — менее священными: это — неоспоримое доказательство того, что воля наиболее общая всегда также и самая справедливая и что голос народа есть и в самом деле глас Божий.

Из этого не следует, что решения, принятые обществом, всегда справедливы; они могут не быть таковыми, когда речь идет об иностранных делах, я уже указал по какой причине. Таким образом не исключено, чтобы хорошо управляемая Республика вела несправедливую войну. Также не исключено, чтобы Совет какой-нибудь демократии издал плохие декреты и осудил невинных, но это никогда не случится, если народ не будет введен в соблазн частными интересами, которыми несколько ловких людей сумеют, в силу своего влияния и красноречия, подменить его интересы. Тогда иное дело — решение, принятое обществом, и иное дело — общая воля. Пусть же мне не возражают, ссылаясь на демократию Афин, потому что Афины не были в действительности демократией, но весьма тиранической аристократией, управляемой учеными и ораторами. Рассмотрите тщательно, что происходит при вынесении какого-нибудь решения, и вы увидите, что общая воля всегда защищает общее благо; но весьма часто возникает тайный раскол, молчаливый сговор тех, кто умеет, в своих частных интересах, отклонить собрание от решений, к коим оно склонно по природе своей. Тогда Общественный организм практически разделяется на несколько других организмов, члены которых выражают общую волю, хорошую и справедливую по отношению к этим новым организациям, но несправедливую и дурную по отношению к целому, от которого каждый из таких организмов отъединяется.

Отсюда видно, как легко можно объяснить с помощью этих принципов те явные противоречия, которые замечаем мы в поведении стольких людей, вполне добросовестных

и честных в некоторых отношениях, в других же отношениях — обманщиков и плутов, попирающих ногами самые священные обязанности и до самой смерти верных обязательствам часто незаконным. Так, самые испорченные люди все же оказывают своего рода уважение тому, во что верит общество; например, — это было отмечено в статье «Право», — даже разбойники, враги добродетели в большом обществе, поклоняются ее изображению в своих пещерах<sup>20</sup>.

Утверждая общую волю в качестве первого принципа общественной *экономии* и главной основы всякого Правления, я не считал нужным всерьез рассматривать вопрос о том, принадлежат ли магистраты к народу или народ — магистратам, и о том, следует ли в общественных делах сообразоваться с благом Государства или с благом правителей. С давних пор этот вопрос был разрешен в одном смысле практикою, а в другом — разумом; и вообще было бы большой глупостью надеяться, чтобы те, которые на деле являются господами, предпочли иные интересы своим собственным. Поэтому было бы удобно разделить общественную *экономия*, кроме того, на народную и тираническую. Первая из них — это экономия всякого Государства, в котором между народом и правителями царит единство интересов и воли; вторая будет существовать неизбежно повсюду, где у Правительства и у народа будут различные интересы и, следовательно, когда стремления каждого из них будут противоположны. Основные правила этой последней экономии пространно записаны в архивах истории и в сатирах Макиавелли<sup>21</sup>. Другие правила можно найти лишь в писаниях тех философов, кои осмеливаются требовать прав человечности.

I. Итак, первый и самый важный принцип Правления, основанного на законах или народного, т. е. такого, которое имеет своею целью благо народа, состоит, как я уже говорил, в том, чтобы во всем следовать общей воле. Но, чтобы ей следовать, нужно ее знать и, в особенности, уметь хорошо отличать ее от частной воли, начиная с самого себя: такое различие всегда очень трудно сделать, и просветить нас в этом отношении может лишь возвышеннейшая добродетель. Для того, чтобы хотеть, надо быть свободным, и поэтому другая едва ли меньшая трудность — это обеспечить одновременно и общественную свободу, и авторитет Правительства. Если вы поищете те причины, которые по-

будили людей, объединившихся в большое общество<sup>22</sup> во имя их взаимных интересов, объединиться более тесно в гражданских обществах, вы не найдете никакой иной причины, кроме потребности обеспечить имущество, жизнь и свободу каждого члена общему защите<sup>23</sup>. Иначе как можно заставить людей защищать свободу одного из них, не ущемляя свободы других? и как удовлетворить общественные нужды, не вредя собственности тех частных лиц, которых принуждают способствовать этому? Какими бы софизмами мы ни пытались это скрасить, все же несомненно, что если мою волю можно стеснять, то я уже более не свободен, и я уже не хозяин моего имущества, если кто-либо другой может к нему прикоснуться. Эта трудность, которая должна была казаться неодолимою, была устранена вместе с первой при помощи самого возвышенного из человеческих установлений или, скорее, небесным вдохновением, которое научило человека подражать в этом мире непреложным наказаниям Божества. С помощью какого непостижимого искусства удалось найти средство подчинить людей, чтобы сделать их свободными? использовать для служения Государству имущество, руки и самую жизнь всех его членов, не принуждая их и не спрашивая их мнения? сковать их волю с их собственного согласия? придавать решающее значение их согласию вопреки их отказу и принуждать их самим себя наказывать, когда они делают то, чего не хотели? Как может оказаться, что они повинуются, а никто не повелевает; что они служат и не имеют господина; когда в действительности они тем более свободны, что при кажущемся подчинении никто не теряет из своей свободы ничего, кроме того, что может вредить свободе другого? Эти чудеса творит Закон. Одному только Закону люди обязаны справедливостью и свободой; этот спасительный орган воли всех восстанавливает в праве естественное равенство между людьми; этот небесный голос внушает каждому гражданину предписания разума общественного и научает его, поступая соответственно правилам собственного своего разума, не быть при этом в противоречии с самим собою. И только Закон правители должны заставить говорить, когда они повелевают, ибо как только один человек пытается независимо от законов подчинить своей частной воле другого человека, он тотчас же выходит из гражданского состояния и ставит себя по отношению к этому другому человеку в со-

стояние чисто естественное, когда повиновение никогда не предписывается иначе, как силой необходимости.

Самый настоящий интерес правителя так же, как и самый необходимый его долг, состоит, стало быть, в том, чтобы заботиться о соблюдении законов, служителем которых он является и на которых основывается весь его авторитет. Если он должен заставить других соблюдать законы, то с еще большим основанием должен соблюдать их он сам<sup>24</sup>, раз он пользуется всем их покровительством, ибо его пример имеет такую силу, что если бы народ и согласился потерпеть, чтобы правитель освободил себя от ярма Закона, ему следовало бы остерегаться пользоваться этой столь опасной прерогативой, которую вскоре пытались бы, в свою очередь, узурпировать другие и часть ему во вред. В сущности, так как все обстоятельства, налагаемые обществом, по своей природе взаимны, то нельзя поставить себя выше Закона, не отказываясь от преимуществ, которые дает общество; и никто не обязан ничем тому, кто считает, что он ничем никому не обязан. По той же причине при правильно устроенном Правлении никакое изъятие из действия Закона никогда не будет дароваться ни на каком основании. Граждане же, которые имеют заслуги перед отечеством, должны получать в вознаграждение за них те или иные почести, но никак не привилегии, ибо Республика уже накануне гибели, если кто-нибудь может подумать, что это хорошо — не повиноваться законам. Но если бы когда-либо знать или военные, или какое-либо другое сословие в Государстве усвоили себе такое правило, то все погибло бы безвозвратно.

Сила законов зависит еще больше от собственной их мудрости, чем от суровости их исполнителей, а общественная воля получает наибольший свой вес от разума, которым она продиктована; потому-то Платон и рассматривает<sup>25</sup> как весьма важную предосторожность — необходимость в начале эдиктов всегда помещать преамбулу, которая показывала бы их справедливость и пользу. В самом деле, первый из законов — это уважение законов; суровость наказаний<sup>26</sup> — это лишь бесполезное средство, придуманное неглубокими умами, чтобы заменить страхом то уважение, которого они не могут добиться иным путем. Всегда замечали, что в тех странах, где пытки всего ужаснее, — их применяют чаще всего; так что жестокость наказаний говорит лишь о много-

численности правонарушителей, а наказывая за все с одинаковою строгостью, мы вынуждаем виновных совершать проступления, чтобы избежать наказания за свои проступки.

Но хотя Правительство и не властно над Законом, и то уже много значит, что оно выступает как поручитель за него и имеет тысячу средств заставить его любить. Только в этом и состоит талант управления. Когда имеешь в руках силу, не требуется искусства, чтобы повергнуть всех в трепет; точно так же немного надо искусства и для того, чтобы завоевать сердца, ибо опыт давно уже приучил народ быть благодарным своим правителям за то, что они ему не причинили всего того зла, какое они могли ему причинить, и обожать своих правителей, когда народ им не ненавистен. Глупец, которому повинуются, может, как и всякий другой, карать преступления — настоящий государственный деятель умеет их предупреждать; он утверждает свою достойную уважения власть не столько над поступками, сколько, в большей еще мере, над волею людей. Если бы он мог добиться того, чтобы все поступали хорошо, ему самому уже не оставалось бы ничего делать, и вершиною его трудов была бы возможность самому оставаться бездеятельным. Достоверно, по меньшей мере, что самый большой талант правителей состоит в том, чтобы скрывать свою власть, дабы сделать ее менее отталкивающей и управлять Государством столь мягко, чтобы казалось, что оно и не нуждается в руководителях.

Я заключаю, таким образом, что так же, как первый долг Законодателя состоит в том, чтобы привести законы в соответствие с общей волей, так и первое правило общественной *экономии* состоит в том, чтобы управление соответствовало законам. Для того, чтобы Государство не было дурно управляемо, достаточно даже того, чтобы Законодатель предусмотрел, — как он это и должен был сделать, — все, чего требуют условия местности, климата, почвы, нравов, соседства и все внутренние отношения в народе, которому он должен был дать установления<sup>27</sup>. Это не означает, что не остается еще множества частных внутренних управления и *экономии*, которые предоставляются мудрому попечению Правительства. Но всегда есть два непогрешимых правителя, которые укажут, как правильно поступать в этих случаях: одно из них — дух Закона (этим надлежит руководиться, принимая решения в тех случаях, которые

Закон не мог предусмотреть); второе — это общая воля, источник и естественное дополнение всех законов, и ее всегда следует вопрошать при отсутствии прямых указаний закона. Как, скажут мне, узнать общую волю в тех случаях, когда она никак не высказывалась? нужно ли будет собирать всю нацию при каждом непредвиденном событии? Оснований собирать нацию тем меньше<sup>28</sup>, что вовсе не обязательно, чтобы ее решение представляло собою выражение общей воли; этот способ неосуществим, когда мы имеем дело с многочисленным народом, и в нем редко возникает необходимость, когда Правительство имеет добрые намерения. Ибо правители хорошо знают, что общая воля всегда принимает сторону самую справедливую, так что нужно лишь быть справедливым, чтобы быть уверенным в том, что следуешь общей воле. Часто, когда ее слишком открыто попирают, она все же проявляет себя, несмотря на все страшные стеснения со стороны публичной власти. Я пытаюсь найти как можно ближе примеры, которым надлежит следовать в подобном случае. В Китае<sup>29</sup> государь, как правило, всегда и неизменно делает своих чиновников виновными во всех разногласиях, которые возникают между ними и народом. Если в какой-нибудь провинции вздорожает хлеб, интенданта сажают в тюрьму<sup>30</sup>. Если в другой провинции возникает мятеж, то губернатора отрешают от должности, и каждый мандарин отвечает головою за всякую беду, что случится в его округе. Это не значит, что потом дело не расследуется по всем правилам в суде, но долгий опыт научил опережать таким образом его приговор. Здесь редко приходится исправлять какую-либо несправедливость; и император, убежденный в том, что народное недовольство никогда не бывает беспричинным, всегда различает среди мятежных криков, за которые он карает, справедливые жалобы, кои он удовлетворяет.

Это уже много — установить во всех частях Республики порядок и мир; это уже много, если в Государстве царит спокойствие и уважается Закон. Но если не делается ничего больше, то во всем этом будет больше видимости, чем реальности, и Правительство с трудом добьется повиновения, если оно будет требовать одного только повиновения. Если это хорошо — уметь использовать людей такими, каковы они, — то еще много лучше — сделать их такими, какими нужно, чтобы они были; самая неограниченная власть —

это та, которая проникает в самое нутро человека и оказывает не меньшее влияние на его волю, чем на его поступки. Несомненно, что люди, в конце концов, то, во что превращает их Правительство: воины, граждане, мужи, когда оно этого желает; чернь и сброд, когда ему это угодно; и всякий государь, который презирает своих подданных, сам себя позорит, когда обнаруживается, что он не смог сделать их достойными уважения. Создавайте же мужей, если хотите вы повелевать мужами; если хотите вы, чтобы законам повиновались, сделайте так, чтобы их любили и чтобы достаточно было подумать о том, что должно сделать, чтобы то было исполнено. В этом-то и заключалось великое искусство Правительств древних в те отдаленные времена, когда философы давали законы народам и использовали свое влияние лишь для того, чтобы делать народы мудрыми и счастливыми. Отсюда столько законов против роскоши, столько уложений о нравах, столько провозглашенных обществом правил, которые с величайшею разборчивостью принимались или отвергались. Даже тираны не забывали об этой важной части управления, и они уделяли столько же внимания развращению нравов своих рабов, сколько магистраты — заботам об исправлении нравов своих сограждан. Но наши новые Правительства, которые считают, что они все делают, когда извлекают деньги, даже не представляют себе, что необходимо или возможно прийти к этому.

II. Второй существенный принцип общественной *экономики* не менее важен, чем первый. Вы желаете, чтобы осуществилась общая воля? сделайте так, чтобы все изъявления воли отдельных людей с нею сообразовались, а так как добродетель есть лишь соответствие воли отдельного человека общей воле, то, дабы выразить это в немногих словах, установите царство добродетели.

Если бы политики были меньше ослеплены своим тщеславием, они бы увидели, насколько невозможно, чтобы какое-либо установление действовало в соответствии со своим назначением, если его развитие не направлять в соответствии с законом долга, они бы поняли, что самая важная движущая сила публичной власти заключена в сердцах граждан, и ничто не может заменить добрые нравы как опору Правительства. Мало того, что лишь люди честные могут исполнять законы; в сущности лишь люди порядоч-

ные умеют им повиноваться. Тот, кто не боится угрызений совести, не убоится и пыток — кары менее страшной, менее длительной и такой, которую, по крайней мере, можно надеяться избежать; и какие бы предосторожности ни были приняты, — те, кому, чтобы творить зло, нужна лишь безнаказанность, едва ли не найдут способов обойти Закон и уйти от наказания. Тогда, поскольку все частные интересы объединяются против общего интереса, который не является больше интересом кого-либо в отдельности, все пороки общества, чтобы ослабить законы, приобретают силу бóльшую, чем законы, чтобы уничтожить пороки, и разложение народа и правителей захватывает, в конце концов, и Правительство, сколь мудрым оно бы ни было. Худшее из всех состоит в том, что законам подчиняются по видимости, лишь для того, чтобы на деле с большей уверенностью их нарушать. Вскоре самые лучшие законы превращаются в самые пагубные; было бы во сто раз лучше, если бы их вообще не существовало — оставалось бы еще это последнее средство, когда других средств уже нет. В подобном положении тщетно нагромождают эдикты на эдикты, постановления на постановления: все это приводит лишь к появлению новых злоупотреблений, не исправляя прежних. Чем больше умножаете вы число законов, тем большее презрение вы к ним вызываете, и все надзиратели, которых вы ставите, — это лишь новые нарушители, которые поставлены делиться с прежними или грабительствовать отдельно. Вскоре наградю венчают не добродетели, а разбой; самые подлые люди пользуются наибольшим доверием; чем выше они поднимаются, тем большее презрение к себе вызывают; самые их почетные звания кричат об их подлости, и их позорят сами эти почести. Если они покупают одобрение правителей или покровительство женщин, так только для того, чтобы торговать, в свою очередь, правосудием, своею должностью и Государством, а народ, который не видит, что их пороки — это первая причина его несчастий, ропщет и восклицает со стоном: «Все мои беды лишь от тех, которым я плачú, чтобы они меня от этих бед оградили».

Вот тогда-то голос долга, который уже замолк в сердцах граждан, правители вынуждены заменить криком ужаса или приманкою какой-либо кажущейся выгоды, которой они завлекают своих ставленников. Вот тогда-то и приходится прибегать ко всем тем мелким и презренным хитрос-

тям, которые они называют *государственными принципами* и *тайнами кабинета*. Все, что остается от силы Правительства, используется его членами, чтобы губить и вытеснять друг друга, а дела оказываются заброшенными или же ведутся лишь в той мере, в какой того требует личная выгода, и сообразно тому, как она их направляет. Наконец, все искусство этих великих политиков состоит в том, чтобы так затуманить глаза людям, в которых они нуждаются, чтобы каждый считал, что он трудится в своих интересах, действуя в их интересах; я говорю в *их* интересах, как будто подлинный интерес правителей в самом деле требует уничтожать своих подданных, чтобы их подчинить и разорить, дабы обеспечить себе обладание их имуществом.

Но когда граждане любят свои обязанности, а бюрократы публичной власти искренне стараются поощрять эту любовь своим примером и заботами, все трудности исчезают, управление приобретает легкость, избавляющую правителей от необходимости прибегать к тому малопонятному искусству, мерзость которого и составляет всю его тайну. Никто уже не сожалеет об этих необъятных умах, столь опасных и столь обожаемых, о всех этих великих министрах, чья слава неотделима от бедствий народа; добрые нравы общества заменяют гений правителей, и чем более царит добродетель, тем меньше нужны дарования. Даже честолюбивым замыслам лучше служит исполнение долга, чем узурпация. Народ, убежденный в том, что его правители трудятся лишь для того, чтобы составить его счастье, своим уважением освобождает их от трудов по укреплению их власти, и история показывает нам в тысячах случаев, что если народ предоставляет власть тем, кого он любит и кто его любит, то такая власть во сто раз неограниченнее, чем всякая тирания узурпаторов. Это не значит, что Правительство должно бояться пользоваться своею властью, но что оно должно использовать ее только в соответствии с законами. Вы найдете в истории тысячу примеров правителей честолюбивых или боязливых, которых погубили уступчивость или гордыня, — но ни одного примера правителя, которому пришлось плохо лишь потому, что он был справедлив. Однако нельзя смешивать пренебрежение с умеренностью и мягкость со слабостью. Нужно быть суровым, чтобы быть справедливым. Допустить злодеяние, которое мы вправе и в силах уничтожить, значит стать самому злодеем. *Sicuti*

*enim est aliquando misericordia puniens, ita est crudelitas parcens\**.

Недостаточно сказать гражданам: «*Будьте добрыми!*» — надо научить их быть таковыми; и даже пример, который в этом отношении должен служить первым уроком, не есть единственное необходимое здесь средство. Любовь к отечеству всего действеннее, ибо, как я уже говорил, всякий человек добродетелен, когда его частная воля во всем соответствует общей воле, и мы с охотою желаем того же, чего желают любимые нами люди.

Похоже на то, что чувство человечности выдыхается и ослабевает, если оно должно охватить все на свете, и что бедствия в центре и на севере Азии<sup>31</sup> или в Японии не могут нас волновать в такой мере, как бедствия какого-нибудь европейского народа. Надо каким-то образом сосредоточить интерес и сострадание, чтобы придать им бóльшую действенность. Однако, если уже такая наша склонность может принести пользу только тем, с кем нам приходится жить, то хорошо, по крайней мере, что человечность, сконцентрированная в кругу сограждан, обретает в них же новую силу, укрепляемую привычкою постоянно видеть друг друга и общими интересами, их объединяющими. Несомненно, величайшие чудеса доблести были вызваны любовью к отечеству; это чувство сладкое и пылкое, сочетающее силу самолюбия со всей красотой добродетели, придает ей энергию, которая, не искажая сего чувства, делает его самою героическою из всех страстей. Любовь к отечеству — вот что породило столько бессмертных деяний, чей блеск ослепляет слабые наши глаза, и столько великих людей, чьи давние добродетели стали почитаться за басни с тех пор, как любовь к отечеству стала предметом насмешек. Не будем тому удивляться: порывы чувствительных сердец кажутся химерами всякому, кто их не испытывал; и любовь к отечеству, во сто крат более пылкая и более сладостная, чем любовь к возлюбленной, познается только тогда, когда ее испытываешь; но легко заметить во всех сердцах, кои она согревает, во всех поступках, кои она внушает, тот пылающий и возвышенный жар, каким не светится самая чистая добродетель, если отделена она от любви к отечеству. Осмелимся противопоставить самогó Сократа Катону<sup>32</sup>: один из них

\* «Ибо, как иногда милосердие наказывает, так и жестокость иногда щадит» (лат.). А в г у с т и н<sup>33</sup>. Послания. CLII.

был более философом, а другой — более гражданином. Афины уже погибли, и только весь мир мог быть Сократу отечеством; Катон же всегда носил свое отечество в глубине своего сердца, он жил лишь ради него и не мог его пережить. Добродетель Сократа — это добродетель мудрейшего из людей, но рядом с Цезарем и Помпеем<sup>34</sup> Катон кажется богом среди смертных. Один из них наставляет несколько человек, воюет с софистами<sup>35</sup> и умирает за истину; другой — защищает Государство, свободу, законы от завоевателей мира<sup>36</sup> и, наконец, покидает землю<sup>37</sup>, когда больше не видит на ней отечества, которому он мог бы служить. Достойный ученик Сократа был бы добродетельнейшим из своих современников; достойный соперник Катона был бы из них величайшим. Добродетель первого составила бы его счастье; второй искал бы свое счастье в счастье всех. Мы получили бы наставления от первого и пошли бы за вторым; и уже это одно решает, кому оказать предпочтение, ибо никогда не был создан народ, состоящий из мудрецов, — сделать же народ счастливым возможно.

Мы желаем, чтобы народы были добродетельны? так научим же их прежде всего любить свое отечество. Но как им его полюбить, если оно значит для них не больше, чем для чужеземцев, и дает лишь то, в чем не может отказать никому?<sup>38</sup> Было бы намного хуже, если бы в своем отечестве они не имели даже гражданской безопасности, и их имущество, жизнь или свобода зависели бы от милости людей могущественных, причем им невозможно было бы или не разрешено было бы сметь требовать установления законов. Тогда, подчиненные обязанностям гражданского состояния, и не пользуясь даже правами, даваемыми состоянием естественным, не будучи в состоянии использовать свои собственные силы, чтобы себя защитить, они оказались бы, следовательно, в худшем из состояний, в котором могли только оказаться свободные люди, и слово *отечество* могло бы иметь для них только смысл отвратительный или смешной. Не следует полагать, что можно повредить или порезать руку так, чтобы боль не отдалась в голове; и не более вероятно, чтобы общая воля согласилась на то, чтобы один член Государства, каков бы он ни был, ранил или уничтожил другого<sup>39</sup>, за исключением того случая, когда такой человек в здравом уме тычет пальцами ему прямо в глаза. Безопасность частных лиц так связана с общественной конфедера-

цией, что если не учитывать должным образом людской слабости, такое соглашение должно было бы по праву расторгаться, если в Государстве погиб один-единственный гражданин, которого можно было спасти, если несправедливо содержали в тюрьме хотя бы одного гражданина или если был проигран хоть один судебный процесс вследствие явного неправосудия. Ибо, коль разорваны основные соглашения<sup>40</sup>, непонятно, какое право или какие интересы могли бы удерживать народ в общественном союзе, если только он не будет удержан в этом союзе одною лишь силой, которая неизбежно вызывает распад гражданского состояния.

В самом деле, разве обязательство Нации в целом не состоит в том, чтобы заботиться о сохранении жизни последнего из ее членов столь же старательно, как и о всех остальных? и разве благо одного гражданина — это в меньшей степени общее дело, чем благоденствие всего Государства? Если нам скажут, что справедливо, чтобы один погиб ради всех, я восхищусь таким изречением в устах достойного и добродетельного патриота, который обрекает себя на смерть добровольно и подчиняясь долгу ради спасения своей страны. Но если под этим понимают, что Правительству дозволено принести в жертву невинного ради безопасности многих, то я нахожу, что этот принцип — один из самых отвратительных, какие когда-либо изобретала тирания, самый ложный из всех, какие можно выдвинуть, самый опасный из всех, какие можно принять, и наиболее открыто противоречащий основным законам общества. Не только не должен один-единственный погибать ради всех, но, более того, все обязуются своим имуществом<sup>41</sup> и своей жизнью защищать каждого из них так, чтобы слабость отдельного человека всегда была защищена общественною силою, а каждый член Государства — всем Государством. Мысленно отторгните от народа одного индивидуума за другим, а затем заставьте сторонников этого принципа лучше объяснить, что они понимают под *Организмом Государства*, и вы увидите, что, в конце концов, они сведут Государство к небольшому числу людей, которые не суть народ, но служители народа и которые, обязавшись особою клятвою погибнуть сами ради его безопасности, пытаются этим доказать, что он должен погибать во имя их безопасности.

Хотите найти примеры той защиты, которую Государство обязано оказывать своим членам, и того уважения, кото-

рое оно обязано оказывать их личности? лишь у знаменитейших и храбрейших наций земли следует искать эти примеры, и только свободные народы знают, что стбит человек. В Спарте — известно в каком замешательстве пребывала вся Республика, когда вопрос шел о том, чтобы наказать одного виновного гражданина. В Македонии — казнь человека была делом столь важным, что, при всем величии Александра<sup>42</sup>, этот могущественный монарх не решался хладнокровно приказать умертвить преступника македонца до тех пор, пока обвиняемый не предстал перед своими согражданами, чтобы себя защитить, и не был ими осужден. Но римляне превосходили все другие народы в уважении, которое у них Правительство оказывало отдельным людям, и в скрупулезном внимании к соблюдению неприкосновенных прав всех членов Государства. Не было у них ничего столь священного, как жизнь простых граждан; требовалось собрание всего народа, не менее, чтобы осудить одного из них. Даже сам Сенат и Консулы при всем их огромном значении не имели на это права; и у могущественнейшего народа в мире преступление и наказание гражданина было общественным несчастьем. Может быть, именно потому, что римлянам казалось столь жестоким проливать кровь за какое бы то ни было преступление, по закону *Porcia*\* смертная казнь была заменена изгнанием для всех тех, кто согласился бы пережить потерю столь сладостного отечества. Все дышало в Риме и в армиях этою любовью сограждан друг к другу и этим уважением к имени римлянина, которое поднимало дух и возбуждало доблесть у каждого, кто имел честь носить это имя. Шапка гражданина, освобожденного из рабства, гражданский венок того, кто спас жизнь другому, — вот на что взирали с наибольшим удовлетворением среди всего великолепия триумфов<sup>43</sup>; и следует отметить, что из венцов, которыми награждали на войне за прекрасные деяния, лишь гражданский венок и венок триумфаторов были из травы и листьев: все остальные были только золотыми. Так Рим стал добродетельным, и так он стал владыкою мира. Честолюбивые правители! Пастух управляется со своими собаками и стадами, а ведь он лишь последний из людей. Если повелевать — это прекрасно, то лишь при условии, что те, кто нам повинуются, могут сде-

\* Порция (Порций)<sup>44</sup> (лат.).

лать нам честь. Уважайте же ваших сограждан, и вы сами сделаетесь достойными уважения; уважайте свободу, и ваше могущество будет с каждым днем возрастать; не превышайте никогда своих прав, и вскоре они станут безграничны.

Пусть же родина явит себя общей матерью граждан; пусть выгоды, коими пользуются они в своей отчизне, делает ее для них дорогою; пусть Правительство оставит им в общественном управлении долю, достаточную для того, чтобы они чувствовали, что они у себя дома; и пусть законы будут в их глазах лишь поручительством за общую свободу. Эти права, сколь они ни прекрасны, принадлежат всем людям, но злая воля правителей легко сводит на нет их действие даже тогда, когда она, казалось бы, не посягает на них открыто. Закон, которым злоупотребляют, служит могущественному одновременно и наступательным оружием, и щитом против слабого; предлог «общественное благо» — это всегда самый опасный бич для народа. Самое необходимое и, быть может, самое трудное в Правлении это — строгая неподкупность, чтобы всем оказать справедливость и в особенности, чтобы бедный был защищен от тирании богатого. Самое большое зло уже свершилось, когда есть бедные, которых нужно защищать, и богатые, которых необходимо сдерживать. Только в отношении людей со средним достатком законы действуют со всей своей силой. Они в равной мере бессильны и против сокровищ богача и против нищеты бедняка: первый их обходит, второй от них ускользает; один рвет паутину, а другой сквозь нее проходит.

Вот почему одно из самых важных дел правительства — предупреждать чрезмерное неравенство состояний, не отнимая при этом богатств у их владельцев, но лишая всех остальных возможности накапливать богатства, не воздвигая приютов для бедных, но ограждая граждан от возможности превращения в бедняков. Люди неравномерно расселяются по территории Государства и скопляются в одном месте, в то время как другие места безлюдуют; искусства увеселительные и прямо мошеннические поощряются за счет ремесел полезных и трудных<sup>45</sup>, земледелие приносится в жертву торговле; откупщик становится необходимой фигурой лишь вследствие того, что Государство плохо управляет своими финансами; наконец, продажность доходит до та-

ких крайностей, что уважение определяется числом пистолет и даже доблести продаются за деньги — таковы самые ощутимые причины изобилия и нищеты, подмены частною выгодой выгоды общественной, взаимной ненависти граждан, их безразличия к общему интересу, развращения народа и ослабления всех пружин Правления. Таковы, следовательно, беды, которые трудно облегчить, когда они дают себя чувствовать, но которые должно предупреждать мудрое управление, дабы сохранять наряду с добрыми нравами уважение к законам, любовь к отечеству и непреложность общей воли.

Все эти предосторожности будут, однако, недостаточны, если не взяты за них еще более заблаговременно. Я кончаю эту часть общественной *экономии* тем, с чего я должен был начать. Родина не может существовать без свободы, свобода без добродетели, добродетель без граждан. У вас будет всё, если вы воспитаετε граждан; без этого у вас все начиная с правителей Государства, будут лишь жалкими рабами. Однако воспитать граждан — это дело не одного дня, и, чтобы иметь граждан-мужей, нужно наставлять их с детского возраста. Пусть не говорят мне, что тот, кто должен управлять людьми, не может добиваться от них совершенства, которое им несвойственно от природы и им недоступно, что он не должен и пытаться уничтожить в них страсти, и что выполнение подобного замысла было бы скорее желательно, чем возможно. Я соглашусь со всем этим тем более, что человек, вовсе лишенный страстей, был бы, конечно, очень дурным гражданином<sup>46</sup>. Но следует также согласиться с тем, что если только не учить людей вообще ничего не любить, то возможно научить их любить одно больше, чем другое, и любить то, что действительно прекрасно, а не то, что безобразно. Если, к примеру, учить граждан с достаточно раннего возраста всегда рассматривать свою собственную личность не иначе, как с точки зрения ее отношений с Государством в целом, и смотреть на свое собственное существование лишь, так сказать, как на часть существования Государства<sup>47</sup>, то они смогут в конце концов прийти к своего рода отождествлению себя с этим большим целым, почувствовать себя членами отечества, возлюбить его тем утонченно-сильным чувством, которое всякий отдельный человек испытывает лишь по отношению к самому себе; они смогут возвышать постоянно свою душу

до этой великой цели и превратить, таким образом, в возвышенную добродетель сию опасную склонность, из которой рождаются все наши пороки. Не одна только философия доказывает возможность воспитания этих новых наклонностей, но и история приводит тому тысячи ярких примеров; если они среди нас столь редки, то потому лишь, что никто не заботится о том, чтобы у нас были настоящие граждане, и потому, что еще меньше беспокоятся о том, чтобы взяться достаточно рано за их воспитание. Уже не время изменять наши естественные наклонности, когда они начали развиваться и когда привычка соединяется с самолюбием; уже не время спасать нас от самих себя, когда *человеческое я*, однажды поселившись в наших сердцах, начало там эту достойную презрения деятельность, которая поглощает всю добродетель и составляет всю жизнь людей с мелкой душою. Как могла бы зародиться любовь к отечеству среди стольких иных страстей, которые ее заглушают? и что остается для сограждан от сердца, поделенного между скупостью, любовницей и тщеславием?

С первой минуты жизни надо учиться быть достойными жить, и подобно тому, как рождаясь, мы уже тем самым приобретаем права граждан, так миг нашего рождения должен быть и началом отправления наших обязанностей. Если есть законы для зрелого возраста, должны быть законы для детства, которые должны учить ребенка повиноваться другим<sup>48</sup>, и, если мы не делаем разум каждого отдельного человека единственным судьей его обязанностей, тем менее можно предоставить познаниям и предрассудкам отцов воспитание их детей, так как это для Государства еще важнее, чем для отцов. Ибо, по естественному ходу вещей, смерть отца часто скрывает от него последние плоды воспитания, отечество же рано или поздно почувствует результат воспитания<sup>49</sup>: Государство остается, а семья распадается. Если же публичная власть, занимая место отцов и возлагая на себя эту важную обязанность, получает их права, выполняет их обязанности, то у отцов остается тем менее поводов на это жаловаться, что в этом отношении они только изменяют свое название; и они будут иметь, называясь все вместе *гражданами*, такую же власть над своими детьми, какую они имели каждый в отдельности, называясь *отцами*, и когда они будут говорить от имени Закона, дети окажут им не меньшее повиновение, чем тогда, когда они говорили

с ними от имени самой природы. Общественное воспитание в правилах, предписываемых Правительством, и под надзором магистратов, поставленных сувереном, есть, таким образом, один из основных принципов Правления народного или осуществляемого посредством законов<sup>50</sup>. Если дети воспитываются вместе в условиях равенства, если они впитали в себя уважение к законам Государства и к принципам общей воли, если они научены уважать эти законы и принципы превыше всего; если окружены они примерами и предметами, кои беспрестанно говорят им о нежной матери, их питающей, о любви, которую она к ним испытывает, о бесценных благах, кои они от нее получают, и о том, чем они ей обязаны со своей стороны, то не будем сомневаться в том, что так они научатся нежно любить друг друга, как братья, желать всегда только того, чего хочет общество, научатся вместо бесплодной и пустой болтовни софистов совершать деяния, достойные мужей и граждан, и станут со временем защитниками и отцами того отечества, коего детьми они столь долго были.

Я не буду вовсе говорить о магистратах, призванных руководить этим воспитанием, которое, несомненно, есть важнейшее дело Государства. Понятно, что если бы такие знаки общественного доверия давались без разбора, если бы эта возвышенная обязанность не была для тех, которые достойно исполнили бы все прочие обязанности, наградою за их честные труды, сладостной утехою их старости и вершиною<sup>51</sup> всех оказанных им почестей, — все предприятие было бы бесполезным, а воспитание — безуспешным, ибо повсюду, где урок не подкрепляется авторитетом, а предписание — примером, образование остается бесплодным, и сама добродетель теряет свой вес в устах того, кто не поступает добродетельно. Но пусть прославленные воины, склоняясь под бременем своих лавровых венков, проповедуют мужество, пусть неподкупные магистраты, поседевшие в своих пурпурных мантиях и в трибуналах, научают справедливости, таким образом и те, и другие воспитают себе добродетельных преемников и будут передавать из века в век грядущим поколениям опыт и таланты правителей, мужество и добродетель граждан и общее всем соревнование в умении жить и умереть во имя отечества.

Я знаю лишь три народа, которые прежде осуществляли общественное воспитание, именно: критяне, лакедемоняне

и древние персы<sup>52</sup>; у всех трех оно имело величайший успех, а у двух последних совершило чудеса<sup>53</sup>. Когда мир оказался разделенным на нации, слишком многочисленные, чтобы ими можно было хорошо управлять, это средство стало уже неосуществимым, и еще иные причины, которые читатель сам легко может увидеть, помешали сделать попытку осуществить такое воспитание у какого-либо народа новых времен. Весьма примечательно, что римляне смогли обойтись без общественного воспитания, но Рим в течение пятисот лет непрерывно был таким чудом, какое мир не должен надеяться увидеть еще раз. Добродетель римлян, порожденная отвращением к тирании и к преступлениям тиранов и врожденною любовью к отечеству, превратила все их дома в школы граждан, а безграничная власть отцов над своими детьми внесла такую строгость нравов в распорядок жизни частных лиц, что отец, внушающий еще больший страх, чем магистраты, был в своем домашнем суде цензором нравов и стражем законов.

Так Правительство, внимательное и имеющее добрые намерения, непрестанно следящее за тем, чтобы поддерживать и оживлять у народа любовь к отечеству и добрые нравы, задолго предупреждает те беды, которые наступают рано или поздно как следствие безразличия граждан к судьбе Республики, и удерживает в тесных пределах те личные интересы, которые настолько разобщают отдельных людей, что Государство, в конце концов, ослабляется из-за их могущества, и ему нечего ждать от их доброй воли. Повсюду, где народ любит свою страну, уважает законы и живет просто, остается сделать совсем немного, чтобы составить его счастье; и в общественном управлении, где слепой случай играет меньшую роль, чем в судьбе отдельных людей, мудрость столь близка к счастью, что эти две вещи сливаются.

III. Недостаточно иметь граждан и защищать их, нужно подумать еще о их пропитании; и удовлетворение общественных нужд, очевидным образом связанное с общей волей, — это третья существенная обязанность Правительства. Сия обязанность состоит, как это легко можно понять, не в том, чтобы наполнять амбары частных лиц и избавлять их от труда, но в том, чтобы сделать для них изобилие настолько доступным, что труд для этого будет всегда необхо-

дим и никогда не бесполезен<sup>54</sup>. Эта обязанность распространяется также на все действия, кои касаются до содержания фиска в порядке и до расходов общественного управления. Вот почему, после того как мы сказали об общей *экономии* по отношению к руководству людьми, нам остается рассмотреть сию экономию по отношению к управлению имуществом<sup>55</sup>.

Эта часть представляет не менее трудностей для разрешения и не менее противоречий для устранения, нежели предыдущая. Несомненно, что право собственности — это самое священное из прав граждан и даже более важное в некоторых отношениях, чем свобода: потому ли, что оно теснее всего связано с сохранением жизни; потому ли, что имущество легче захватить и труднее защищать, чем личность, и в силу этого следует больше уважать то, что легче похитить; либо, наконец, потому, что собственность — это истинное основание гражданского общества и истинная порука в обязательствах граждан, ибо если бы имущество не было залогом за людей, то не было бы ничего легче, как уклониться от своих обязанностей и насмеяться над законами. С другой стороны, не менее бесспорно, что содержание Государства и Правительства требует расходов и издержек, и так как всякий, кто приемлет цель, не может отказаться от средств ее достижения, то отсюда следует, что члены общества должны из своих средств участвовать в расходах по его содержанию. К тому же, с одной стороны, трудно обеспечивать безопасность собственности частных лиц, не затрагивая ее с другой, и невозможно, чтобы все регламенты, определяющие порядок наследований, завещаний, контрактов, не стесняли граждан в некоторых отношениях в распоряжении их собственным имуществом и, следовательно, в их праве собственности.

Но кроме того, что я сказал выше о согласии, которое царит между силою Закона и свободою гражданина, надо, в отношении распоряжения имуществом граждан, сделать одно важное замечание, которое сразу разрешает многие трудные вопросы. Оно состоит в том, как показал Пуффендорф<sup>56</sup>, что по своей природе право собственности не распространяется за пределы жизни собственника, и в тот момент, когда человек умер, его имущество уже более ему не принадлежит. Таким образом предписывать ему условия, на которых он может им распоряжаться, означает, в сущно-

сти, не столько изменить его право по видимости, сколько расширить его в действительности.

В общем, хотя установление законов, определяющих права частных лиц в распоряжении их собственным имуществом, принадлежит лишь суверену, дух этих законов, коему Правительство должно следовать в их применении, состоит в том, что, переходя от отца к сыну и от одного родственника к другому, имущество должно сколь можно менее уходить из семьи и отчуждаться из нее. Тому есть ощутимое основание в пользу детей: для них право собственности было бы весьма бесполезно, если бы отец им не оставлял ничего; кроме того, дети нередко сами содействовали своим трудом приобретению имущества отца и, стало быть, сами приобщились к его праву. Но есть и другое соображение, более отдаленное и не менее важное: ничего нет более губельного для нравов и для Республики, чем постоянные изменения положения и состоятельности граждан; изменения эти суть подтверждение и источник тысячи беспорядков, которые все опрокидывают и смешивают; в итоге те, которые воспитываются для одного, оказываются предназначенными для другого<sup>57</sup>, и ни те, которые возвышаются, ни те, которые падают, не могут усвоить ни правил, ни познаний, подобающих их новому состоянию, и еще гораздо менее того способны выполнять обязанности этого состояния. Теперь я перехожу к предмету общественных финансов.

Если бы народ сам собою управлял и если бы не было ничего посредствующего между управлением Государством и гражданами, им оставалось бы лишь устраивать складчину в случае необходимости, в соответствии с общественными нуждами и возможностями отдельных лиц, и так как каждый никогда не терял бы из виду ни то, как собираются, ни то, как используются собранные средства, то не оставалось бы здесь места для обманов и злоупотреблений; Государство никогда не было бы обременено долгами, а народ — налогами, или, по крайней мере, уверенность в правильности пользования средств примиряла бы с суровостью обложения. Но дела не могли бы идти таким образом, и каким бы ограниченным в своих размерах ни было Государство, гражданское общество в нем всегда слишком многочисленно, чтобы им могли править все его члены<sup>58</sup>. Совершенно необходимо, чтобы общественные средства проходи-

ли через руки управителей, которые, кроме государственного интереса, имеют и свой частный интерес, к которому они прислушиваются не в последнюю очередь. Народ, который, со своей стороны, замечает не столько общественные нужды, сколько жадность начальников и безумные их траты, ропщет, видя себя лишенным необходимого ради того, чтобы доставить другим излишнее, и когда эти злоухищрения ожесточат его однажды до определенной степени, самое неподкупное управление не сможет восстановить к себе доверия. Тогда, если отчисления добровольны, они не дают ничего, если они вынуждены, они незаконны; и в этой жестокой альтернативе: дать погибнуть Государству или посягнуть на священное право собственности, которое есть опора Государства, состоит трудность справедливой и мудрой *экономи*<sup>59</sup>.

Первое, что должен сделать после установления законов *основатель учреждений Республики*<sup>60</sup>, это — найти фонды, достаточные для содержания магистратов и прочих чиновников и для покрытия всех общественных расходов. Эти фонды называются *эрариум* или *фиск*, если они в деньгах, *общественный домен*, если они в землях; и эти последние намного предпочтительнее первых по причинам, которые нетрудно увидеть. Всякий, кто достаточно поразмыслит над этим вопросом, вряд ли сможет в этом отношении разойтись в мнениях с Бодэном<sup>61</sup>, который рассматривает общественный домен как наиболее основательное и наиболее надежное из средств обеспечения нужд Государства, и следует отметить, что первую заботу Ромула<sup>62</sup> при разделе земель было — выделить треть из них для этой цели. Я признаю возможность того, чтобы продукт домена, которым плохо управляют, свелся к нулю, но сама сущность домена вовсе не такова, что он должен плохо управляться.

До того, как такие фонды получают то или иное употребление, они должны быть ассигнованы или утверждены собранием народа или Штатов страны; это собрание должно затем определить, как они будут употреблены. После этой торжественной процедуры, которая делает эти фонды неотчуждаемыми, они, так сказать, изменяют свою природу, и доходы от них становятся столь священные, что отвлечь хоть малейшую часть их во вред их назначению — это не только самое позорное из всех хищений, но и преступление оскорбления величества. Великий позор для Рима, что не-

подкупность квестора Катона<sup>63</sup> могла быть там особо отмечена и что император, вознаграждая несколькими монетами талант певца, счел необходимым добавить, что это деньги из имущества его семьи, а не из государственного имущества. Но если мало находится Гальб<sup>64</sup>, где искать нам Катонов? И когда порок уже не позорит, — найдутся ли правители столь щепетильные, чтобы не позволить себе прикоснуться к общественным доходам, предоставленным их попечению, такие правители, которые не стали бы уже вскоре обманывать самих себя, притворяясь, что они в самом деле смешивают свои пустые и скандальные раздоры со славой Государства, а средства для распространения своей власти со средствами увеличения его мощи. Вот в этой-то щекотливой части управления и является единственным действительным орудием добродетель, а неподкупность магистрата — единственною уздою, способною сдерживать его алчность. Книги и все счета управителей служат не столько для выявления их недобросовестности, сколько для ее сокрытия; предусмотрительность же никогда не бывает столь же находчивою в изобретении новых предосторожностей, сколь изобретательно плутовство в том, чтобы их обойти. Оставьте же все реестры и бумаги и передайте финансы в верные руки: это — единственное средство для того, чтобы ими верно управляли.

Когда общегосударственные фонды уже созданы в установленном порядке, правители Государства — это по праву их распорядители, ибо распоряжение средствами составляет часть управления, часть существенную всегда, хотя и не всегда в равной степени. Влияние этой части увеличивается по мере того, как уменьшается влияние прочих движущих сил, и можно сказать, что Правительство достигло последней степени разложения, когда у него нет другого движителя, кроме денег. А так как всякое Правление непрестанно стремится к расслаблению, то уже это основание само по себе объясняет, почему ни одно Государство не может существовать, если его доходы не увеличиваются непрестанно.

Как только появляется ощущение необходимости такого увеличения, — это уже и первый признак внутреннего беспорядка в Государстве. И мудрый управитель, думая о том, как добыть денег, чтобы удовлетворить насущную нужду, не пренебрегает поисками отдаленной причины этой новой нужды, как моряк, который, видя, что вода заливает его

корабль, приказывая пустить в ход помпы, не забывает приказать найти и заделать пробойну.

Из этого правила вытекает самый важный принцип управления финансами, именно: гораздо более усердно трудиться над тем, чтобы предупреждать нужды, чем над тем, чтобы увеличивать доходы. Какие бы старания ни прилагались, помощь, которая приходит лишь после беды и медленнее, чем беда, всегда заставляет страдать Государство: пока думают о том, как бороться с одним злом, уже дает себя знать другое, и вновь изысканные средства уже сами вызывают новые затруднения, так что, в конце концов, нация обременяется долгами, народ угнетается, Правительство теряет всю свою силу и делает уже лишь немного, тратя много денег. Я полагаю, что из этого великого принципа Правлений, которые делали больше своею бережливостью, чем наши Правления с помощью всех своих богатств, и, быть может, отсюда произошло народное понимание слова *экономия*, которое подразумевает скорее разумное, бережное обращение с тем, что имеется, чем средства приобрести то, чего нет.

Оставляя в стороне общественный домен, который приносит Государству доходы в размере, определяющемся честностью тех, кто им управляет, мы были бы поражены, если бы сумели оценить в достаточной мере силы общего государственного управления, особенно тогда, когда оно пользуется только законными средствами, увидев, как много могут сделать правители для обеспечения общественных нужд, не посягая на имущество частных лиц. Так как правители — хозяева всей торговли в Государстве, то ничего нет для них легче, как направлять торговлю таким образом, чтобы обеспечить все, часто даже, по видимости, ни во что не вмешиваясь. Распределение продуктов питания, денег и товаров в правильных соотношениях, сообразно времени и месту — вот подлинный секрет управления финансами и источник богатства, если только те, которые управляют финансами, умеют глядеть достаточно далеко и допускать в случае надобности кажущиеся убытки в ближайшее время, чтобы получить на деле огромные прибыли в отдаленном будущем. Когда видишь, что какое-нибудь Правительство, вместо того, чтобы взимать пошлины, платит премии за вывоз хлеба в урожайные годы и за поставку хлеба в го-

ды неурожайные<sup>65</sup>, то поверить истинности этих фактов можно лишь тогда, когда убеждаешься в этом своими собственными глазами; эти же факты отнесли бы к романам, если бы они произошли в древности. Предположим, что для предупреждения голода в неурожайные годы было бы предложено устроить общественные склады<sup>66</sup>: в скольких странах содержание учреждения столь полезного послужило бы предлогом для введения новых податей! В Женеве эти амбары, устроенные и содержащиеся мудрою администрацией, составляют общественные запасы в голодные годы и основной доход Государства во все времена. *Alit et ditat\** — эту прекрасную и справедливую надпись можно прочесть на фасаде здания. Чтобы изложить здесь экономическую систему хорошего Правления, часто обращал я взор к Правлению этой Республики: я счастлив, что нахожу в моем отечестве пример такой мудрости и такого преуспеяния, царство которых я желал бы видеть во всех странах!

Если мы рассмотрим, как возрастают потребности Государства, мы увидим, что происходит это почти так же, как у отдельных людей: не столько в результате подлинной необходимости, сколько в результате роста бесполезных желаний; и часто расходы увеличивают лишь для того, чтобы иметь предлог увеличить сборы, так что Государство иногда выиграло бы, если бы обходилось без богатства, и это кажущееся богатство для него по сути более обременительно, чем сама бедность. Можно, правда, надеяться сделать подданных более зависимыми, давая им одной рукою то, что взято у них другою, и это была бы политика, которую Иосиф<sup>67</sup> применял по отношению к египтянам. Но этот пустой софизм тем более пагубен для Государства, что деньги не возвращаются в те же руки, из которых они вышли, и, исходя из подобных принципов, мы обогащаем лишь бездельников тем, что отбираем у людей полезных<sup>68</sup>.

Вкус к завоеваниям — это одна из наиболее наглядных и наиболее опасных причин такого увеличения расходов. Сей вкус, порожденный нередко честолюбием совсем иного рода, чем то, о котором он, казалось бы, возвещает, не всегда таков, каким он кажется, и подлинная побудительная причина здесь — не столько мнимое желание возвеличить нацию, сколько тайное желание увеличить внутри

\* Питает и насыщает (лат.).

страны власть правителей посредством умножения численности войск и отвлечения умов граждан от других забот к военным делам.

И только то, по меньшей мере, вполне достоверно, что нет на свете ничего столь попираемого и столь несчастного и ничтожного, как народы-завоеватели, и даже сами их успехи лишь увеличивают их несчастья. Если б даже не учила нас тому история, сам разум наш подсказал бы нам, что чем обширнее Государство, тем больше, в полном соответствии с этим, и обременительнее расходы такого Государства, ибо нужно, чтобы все провинции внесли свою долю на расходы по содержанию общего государственного управления, и чтобы каждая провинция, кроме того, расходовала на содержание своего особого управления такую же сумму, как если бы она была самостоятельной. Добавьте к тому, что все состояния создаются в одном месте, а потребляются в другом — это вскоре нарушает равновесие между производством и потреблением и истощает многие области ради обогащения одного-единственного города.

И вот другая причина увеличения потребностей общества, которая тесно связана с предыдущею. Может наступить время, когда граждане, уже не считая себя больше людьми, заинтересованными в общем деле, перестанут быть защитниками отечества, и когда магистраты предпочтут командовать наемниками, а не свободными людьми, пусть даже только для того, чтобы при случае использовать первых, дабы лучше подчинить себе вторых. Таково было положение Рима к концу Республики и при императорах, ибо все победы первых римлян так же, как и победы Александра<sup>69</sup>, были одержаны храбрыми гражданами, которые умели в случае необходимости проливать свою кровь за отечество, но которые никогда ее не продавали. Лишь при осаде Вей начали платить римской пехоте<sup>70</sup>, и Марий был первым, кто во время Югуртинской войны<sup>71</sup> обесчестил легионы, введя в них вольноотпущенников, бродяг и прочих наемников. Став врагами тех народов, которые они брались сделать счастливыми, тираны расположили здесь свои регулярные войска якобы для того, чтобы сдерживать чужеземцев, а на самом деле, дабы угнетать жителей. Для создания таких войск нужно было оторвать от земли землепашцев; нехватка этих последних вызвала уменьшение количества съестных припасов, а содержание таких войск вызвало введение

налогов, которые увеличивали стоимость сих припасов. Это первое неустройство вызвало ропот народов. Для того, чтобы подавить это сопротивление, надо было увеличить численность войск и, следовательно, нищету; и чем больше возрастало отчаяние, тем больше приходилось его еще усугублять, дабы предупредить его последствия. С другой стороны, эти наемники, коих можно было оценивать по той цене, за которую они сами себя продавали, гордые своим унижением, презирали законы, их защищавшие, и своих братьев, чей хлеб они ели, они почли для себя за большую честь быть телохранителями Цезаря<sup>72</sup>, чем защитниками Рима, и они-то, обреченные на слепое повиновение, держали, по самому своему положению в Государстве, кинжал занесенным над своими согражданами и были готовы уничтожить всех по первому знаку. Нетрудно было бы показать, что вот это и было одною из главных причин разрушения Римской империи.

Изобретение артиллерии и укреплений заставило в наши дни властителей Европы восстановить применение регулярных войск для защиты своих городов, но, при наличии более законных оснований, приходится все же опасаться, чтобы результат не оказался в такой же степени губительным. Не меньше придется обезлюдить деревни, чтобы сформировать армии и гарнизоны: чтобы их содержать, придется не меньше попираť народы, и эти опасные нововведения вырастают с некоторого времени с такою быстротою во всех наших странах, что можно предвидеть лишь грядущее запустение Европы и, рано или поздно, разорение тех народов, которые ее населяют.

Как бы то ни было, нельзя не увидеть, что подобные установления неизбежно опрокидывают ту правильную экономическую систему, которая извлекает главный доход Государства из общественного домена, и оставляют лишь столь пагубные средства, как субсидии и налоги, о которых мне и остается теперь сказать.

Здесь следует вновь вспомнить, что основанием общественного соглашения является собственность, и его первое условие состоит в том, чтобы каждому обеспечивалось мирное пользование тем, что ему принадлежит<sup>73</sup>. Правда, по тому же договору каждый, хотя бы и молчаливо, обязуется вносить свою долю на общие нужды. Но это обязательство не должно ущемлять основной закон, и если даже предпо-

жить, что сами вносящие средства признали очевидную необходимость расходов, — ясно, что складчина, для того чтобы она была законною, должна быть добровольной. Добровольной не в соответствии с частной волей, — как если бы было необходимо иметь согласие каждого гражданина и каждый должен был вносить лишь столько, сколько ему угодно, что открыто противоречило бы самому духу конфедерации, — но в соответствии с общей волей, с большинством голосом и при соблюдении такой пропорциональной раскладки, которая не оставляла бы места для произвола при обложении<sup>74</sup>.

Эта истина, что налоги не могут быть установлены законным образом иначе, как с согласия народа или его представителей<sup>75</sup>, была признана всеми без исключения философами и законоведами, приобретшими какой-либо авторитет в вопросах государственного права, не исключая самого Бодэна<sup>76</sup>. Если некоторые установили принципы, по внешности противоположные, то помимо того, что нетрудно увидеть частные причины, которые их к тому побудили, — они вносят сюда столько условий и ограничений, что, в сущности, дело сводится к тому же самому. Ибо, то — может ли народ отказывать, либо должен ли государь требовать — безразлично для права; если же речь идет лишь о силе, то делом самым бесполезным было бы рассматривать, что законно, а что нет.

Обложения, которым подвергается народ, бывают двух видов: одно — вещественное, которое взимается с имущества, другое — личное, которое вносится с головы. И тем, и другим дается название *налогов* или *субсидий*: когда народ устанавливает сумму, которую он предоставляет, она называется *субсидией*; когда он предоставляет всю сумму обложения, тогда — это *налог*. Мы читаем в книге *О духе законов*<sup>77</sup>, что обложение с головы более свойственно состоянию рабства, а обложение вещей более подобает состоянию свободы. Это было бы неоспоримо, если бы размер сборов с головы был одинаков, ибо не было бы ничего более непропорционального, чем подобное обложение, а дух свободы как раз и состоит в точном соблюдении пропорций. Но если поголовное обложение в точности пропорционально средствам отдельных лиц, — каким могло быть обложение, которое во Франции носит название *подушного* и которое, таким образом, падает одновременно на вещи и на людей, — то

оно является самым справедливым и, следовательно, самым подходящим для свободных людей<sup>78</sup>. Эти пропорции, как может показаться сначала, легко соблюдать, так как они соответствуют положению, которое каждый занимает в обществе, а каково это положение, всем известно. Но мало того, что скупость, влияние и обман способны исказить все вплоть до очевидного, — при этих расчетах редко учитывают все составные части, которые должны в них входить. Во-первых, следует учитывать соотношение количеств, в соответствии с которым, при всех равных условиях, тот, у кого в десять раз больше имущества, чем у другого, должен платить в десять раз больше. Во-вторых, соотношение в потреблении, т. е. различие между необходимым и избыточным<sup>79</sup>. Тот, у кого есть лишь самое необходимое, не должен вообще ничего платить; обложение имеющего избыток может составлять в случае необходимости все то, что есть у него сверх необходимого<sup>80</sup>. На это он скажет, что при его положении то, что было бы излишним для человека, ниже его стоящего, для него необходимо. Но это — ложь, ибо у вельможи две ноги, как и у волопаса, и так же, как у того, только один желудок. Более того, это так называемое необходимое столь мало необходимо для его положения, что если бы он сумел от него отказаться ради какого-нибудь похвального дела, то заслужил бы только еще большее уважение. Народ пал бы ниц перед министром, который идет в Совет пешком, потому что он продал свои кареты, когда Государство испытывало крайнюю нужду. В конце концов Закон не предписывает никому роскошествовать, а то, что благопристойно, никогда не бывает доводом против права.

Третье соотношение, которого никогда не учитывают, а оно должно было бы считаться первым — это соотношение пользы, которую вусьма каждый извлекает из общественной конфедерации, вьсьма усердно защищающей огромные владения богача и едва позволяющей несчастному бедняку пользоваться хижинкою, которую он построил своими руками. Все выгоды общества — разве они не для могущественных и богатых? разве не они одни занимают все доходные должности? разве не им одним предоставлены все милости, все льготы? и разве не в их пользу действует вся публичная власть? Если влиятельный человек обкрадывает своих кредиторов или совершет иные мошенничества, разве не уверен он всегда в своей безнаказанности? Палочные удары, кото-

рые он раздаёт, насилия, которые он совершает, сами смерти и убийства, коих он виновник — разве такие дела не стараются замять, так что уже через шесть месяцев о них нет и речи? Если же обворовали такого человека, всю полицию сразу же ставят на ноги, и горе невинным, на которых бросит он подозрение! Проезжает он через опасное место — уже готовы эскорты; сломается его экипаж — все летят к нему на помощь; послышится шум у его дверей, он скажет лишь слово — и все умолкает; беспокоит его чем-нибудь толпа, он делает знак — и все успокаивается; окажется на его пути возчик — его люди готовы убить этого возчика; и скорее будет раздавлено пятьдесят почтенных людей, идущих пешком по своим делам, чем будет задержан один какой-нибудь наглый бездельник, едущий в своем экипаже. Все эти знаки уважения не стоят ему ни одного су, они — право богатого человека, а не оплачиваются им своим богатством. И как меняется картина, когда речь идет о бедняке! чем больше обязано ему человечество, тем в большем отказывает ему общество. Для него закрыты все двери, даже когда он вправе потребовать их открыть, и если иногда он добивается справедливости, то с большим трудом, чем другой получил бы милость. Если нужно выполнять повинности, набирать ополчение, — именно ему отдают предпочтение; он всегда несет, кроме своего бремени, еще и то бремя, от которого его более богатый сосед в состоянии себя освободить. При малейшем несчастии, которое с ним случается, все от него отворачиваются; если жалкая его тележка опрокидывается, то мало того, что никто не приходит ему на помощь, я считаю его счастливым, если он при этом избежит оскорблений со стороны скорой на руку челяди какого-нибудь молодого герцога. Одним словом, всякая безвозмездная подмога бежит его, когда он в нужде, именно потому, что ему нечем за нее платить, но я могу считать его человеком погибшим, если, на его счастье, у него честная душа, миленькая дочь и могущественный сосед.

Не менее важно обратить внимание еще на одно обстоятельство, а именно: убытки бедняков гораздо труднее возместить, чем убытки богача, и трудность приобретения всегда возрастает по мере того, как растет потребность. Ничто не творится из ничего — это верно в делах, как и в физике: деньги — это семена денег, и иногда труднее заработать

первый пистоль, чем второй миллион. Более того: то, что платит бедный, навсегда для него потеряно и остается в руках богача или к нему возвращается, а так как одним только людям, которые принимают участие в Управлении, или тем, которые к нему приближены, идет рано или поздно вся сумма налогов, то они, даже платя свою долю, весьма заинтересованы в том, чтобы налоги увеличивались.

Резюмируем в нескольких словах сущность общественного договора людей двух состояний: *«Вы во мне нуждаетесь, ибо я богат, а вы бедны; заключим же между собой соглашение: я позволю, чтобы вы имели честь мне служить при условии, что вы отдадите мне то небольшое, что вам остается, за то, что я возьму на себя труд призывать вас»*<sup>81</sup>.

Если все это тщательно собрать воедино, то мы обнаружим, что для того, чтобы обложение было справедливым и действительно пропорциональным, оно должно производиться не только в соответствии с размером имущества плательщиков, а на основе сложного соотношения различий в их положении и излишков их имуществ. Эта операция весьма важна и весьма затруднительна, а совершают ее повседневно толпы чиновников, почтенных людей, сведущих только в арифметике, тогда как Платоны и Монтескье не решились бы за нее взяться иначе, как с содроганием и только испросив предварительно у неба ниспослать им необходимые для того познания и беспристрастность.

Другое неудобство обложения людей состоит в том, что оно слишком ощутимо и что сбор взимается с чрезмерной строгостью. Это не означает, однако, что оно не оставляет места для значительных недоборов, так как легче скрыть от податного списка и от преследований свою голову, чем имущество.

Из всех прочих видов обложения цензива, или поземельная талья<sup>82</sup>, всегда считалась наиболее выгодною в тех странах, где больше придают значения сумме сбора и надежности взимания, нежели степени стеснения народа<sup>83</sup>. Осмеливались даже говорить, что нужно возложить на крестьянина большее бремя, чтобы пробудить его от лени, и что он ничего не делал бы, если бы ему не нужно было ничего платить. Но опыт опровергает в отношении всех народов этот смехотворный принцип во всех случаях: в Голландии, в Англии, где землепашец платит очень мало, и особенно в Китае,

где он не платит ничего, — там и земля лучше всего возделывается. Напротив, всюду, где землепашец оказывается обложенным пропорционально тому, сколько родит его поле<sup>84</sup>, он забрасывает его или берет с него лишь ровно столько, сколько ему необходимо для жизни. Ибо для того, кто теряет плоды своего труда, не делать ничего означает оказаться в выигрыше, штрафовать же за труд — это весьма странный способ изгонять лень.

Из налога на землю или на зерно, особенно, когда он чрезмерен, проистекают два расстройства столь ужасные, что они должны в конечном счете непременно обезлюдить и разорить все страны, где он установлен.

Первое вытекает из недостатка денег в обращении, ибо торговля и промышленность притягивают в столицы все деньги деревни, а так как налог уничтожает ту соразмерность, которая могла бы еще иметь место между нуждами земледельца и ценою его зерна, деньги беспрестанно уходят и никогда не возвращаются: чем богаче город, тем беднее страна. То, что приносит обложение, переходит из рук государя или финансиста в руки тех, кто занимается ремеслом и торговлей, и земледelec, который всегда получает из этого лишь наименьшую часть, истощает, в конце концов, свои силы, платя все время столько же, а получая все меньше. Как жить человеку, если у него есть вены и нет никаких артерий, или если его артерии несут кровь лишь на расстояние в четыре пальца от сердца? Шардэн говорит, что в Персии взимаемые царем налоги с продуктов питания выплачиваются также продуктами питания. Сей обычай, о существовании которого в этой стране в прошлом, до Дария<sup>85</sup>, свидетельствует Геродот, может предупредить то зло, о котором я только что сказал. Но, если только в Персии интенданты, директора, чиновники и сторожа складов — люди не какого-то иного рода, чем повсюду в других местах, мне трудно поверить, что хоть малейшая часть этих продуктов доходит до царя, что хлеб не портится во всех амбарах и что большинство складов не уничтожается пожарами.

Второе расстройство возникает из того, что кажется преимуществом, а на деле только усугубляет бедствия еще до того, как они станут заметными. Оно состоит в том, что хлеб — это продукт, который налоги нисколько не удорожают в стране, производящей хлеб, и несмотря на его безусловную необходимость, количество его уменьшается, тогда

как цена не увеличивается. Это приводит к тому, что люди умирают от голода, хотя хлеб не дорожает, и только земледелец остается обремененным таким налогом, который он не мог для себя уменьшить за счет цены хлеба при продаже. Нужно обратить внимание на то, что о поземельной талье нельзя судить так же, как об обложении всех товаров, потому что такое обложение повышает их цену и оно оплачивается, таким образом, не столько торговцами, сколько покупателями. Ибо такое обложение, сколь значительным оно бы ни было, все же устанавливается добровольно и оплачивается торговцем лишь в соответствии с купленными у него товарами, а так как этот последний покупает лишь столько, сколько он может продать, то он и диктует цену покупателю. Земледелец же, независимо от того, продает он или нет, вынужденный в определенные сроки платить за возделываемый им участок земли, никак не может ждать, пока за его продукт дадут желательную для него цену. И если бы он не продавал своего продукта, чтобы содержать самого себя, он был бы вынужден продавать этот продукт для того, чтобы уплатить талью, так что иногда именно непомерность обложения и поддерживает низкие цены на хлеб.

Заметьте, кроме того, что помощь со стороны торговли и промышленности не только не может сделать талью более терпимой, создавая изобилие денег, но делают ее еще более обременительной. Я не стану настаивать на том, что вполне очевидно, а именно: если большее или меньшее количество денег в Государстве может дать ему больше или меньше кредита вовне, это никоим образом не меняет действительного достояния граждан и не делает их ни более, ни менее состоятельными<sup>86</sup>. Но я сделаю следующие два важные замечания: первое — если только у Государства нет избытка продуктов питания и если изобилие денег не возникает от продажи этих продуктов за границей, то лишь те города, в которых идет торговля, ощущают такое изобилие, крестьянин же станвится от этого лишь относительно беднее; второе — поскольку цены на всё повышаются с увеличением количества денег в обращении, то приходится соответственно повышать налоги, так что земледелец оказывается более обремененным налогами, хотя у него не больше средств.

Должно видеть, что поземельная талья — это в действительности налог на произведения земли. Между тем каж-

дый согласится, что нет ничего столь опасного, как налог на хлеб, если его платит покупатель; как же не видеть, что зло во сто раз горше, когда этот налог платит сам земледелец. Разве это не значит посягать на самую основу Государства до его истоков? разве это не значит действовать самым непосредственным образом так, чтобы страна обезлюдела и, следовательно, в конце концов, была совершенно разорена? Ибо для нации нет худшего голода, чем голод на людей.

Только подлинному государственному мужу дано в распределении налогов видеть нечто более важное, чем вопрос финансов: превратить обременительные повинности в полезные уставы управления и позволить народу надеяться, что такие установления имели своею целью скорее благо нации, нежели доход от обложения.

Пошлины на ввоз чужеземных товаров, до которых очень падки жители, хотя страна не имеет в них нужды; пошлины на вывоз товаров, производимых из местного сырья, из страны, которая не имеет их в избытке, но без которых не могут обойтись чужеземцы; пошлины на изделия ремесел и художеств бесполезных и слишком доходных; пошлины на ввоз в города вещей, служащих лишь целям украшения, и вообще на все предметы роскоши, отвечают этой двойной цели. А посредством таких налогов, которые облегчали бы положение бедного и ложились бы всей своею тяжестью на богатство, только и можно предупреждать постоянное увеличение неравенства состояний, порабощение богатыми массы работников и бесполезных слуг, умножение числа праздных людей в городах и бегство из деревень.

Важно установить между ценою вещей и пошлинами, которыми они облагаются, такое соотношение, чтобы, вследствие огромных размеров прибыли, отдельные люди в своей алчности не доходили до занятия контрабандою. Надо, кроме того, предупреждать легкость контрабанды, отдавая предпочтение таким товарам, которые труднее всего спрятать. Наконец, следует, чтобы налог платил скорее тот, кто использует вещь, облагаемую пошлиною, нежели тот, кто такую вещь продает; этого последнего размеры пошлины, которую он должен внести, ввели бы только в большее искушение и заставили стараться провезти такие вещи контрабандой. Таков неизменный обычай в Китае, в

той стране мира, где налоги выше всего и где они лучше всего уплачиваются: торговец не платит там ничего, пошлину вносит только покупатель, и это не приводит ни к ропоту, ни к мятежам, так как продукты, необходимые для жизни, такие, как рис и хлеб, совершенно не облагаются и, следовательно, народ не притеснен, налог же падает лишь на людей состоятельных. Впрочем, все эти предосторожности должны диктоваться не столько боязнью контрабанды, сколько той заботой, которую Правительство должно уделять тому, чтобы оградить отдельных людей от соблазна незаконных прибылей, каковой соблазн, превратив их в плохих граждан, не замедлит превратить их в людей бесчестных.

Пусть установят большие налоги на содержание ливрейных слуг, на экипажи, зеркала, люстры и гарнитур мебели, на дорогие материи и на золотое шитье, на дворы и сады при особняках, на всякого рода зрелища, на профессии таких бездельников, как шуты, певцы, скоморохи, одним словом, на всю эту массу предметов роскоши, забавы и праздности, которые всем бросаются в глаза и тем менее могут быть скрыты от нас, что единственное их назначение в том и состоит, чтобы себя показывать, и которые были бы бесполезны, если бы не были на виду. И пусть не страшатся того, что подобный доход носил бы произвольный характер, поскольку он относится к предметам не первой необходимости. Полагать, что люди, единожды соблазнившись роскошью, смогут когда-либо от нее отказаться, значит плохо знать людей: они скорее сто раз откажутся от необходимого и предпочтут умереть от голода, чем от стыда. Увеличение трат будет лишь новым основанием к тому, чтобы продолжать эти траты, когда тщеславное желание казаться богатым обратит на пользу себе и цену вещи, и расходы на уплату налога. До тех пор, пока будут на свете богатые, они захотят отличаться от бедных, и Государство сможет создать себе доход менее всего обременяющий и более всего надежный, только лишь основываясь на этом различии.

По той же причине промышленности никак не придется страдать от такого экономического порядка, который обогатил бы финансы, оживил сельское хозяйство, облегчив бремя земледельца, и привел бы незаметно все состояния к тому среднему достатку, который составляет подлинную

силу Государства. Могло бы случиться, я это признаю, что налоги способствовали бы более скорому исчезновению некоторых мод, но это означало бы только, что они заменяются другими, и от этого работник бы выиграл, а казна ничего бы не потеряла. Одним словом, предположим, что дух Правления состоит в том, чтобы подати всегда имели основой избыток богатств — тогда произойдет одно из двух: либо богатые откажутся от своих избыточных трат и будут совершать траты лишь полезные, которые вновь обратятся в пользу Государства, и тогда распределение налогов сделает то, к чему приводят лучшие законы против роскоши — расходы Государства неизбежно уменьшатся вместе с расходами частных лиц, и казна, таким образом, не потеряет от того, что получит меньше, так как расходование денег уменьшится еще значительнее; либо, если богатые несколько не уменьшат свою расточительность, то казна получит из суммы налогов те средства, которые она искала, чтобы удовлетворить подлинные нужды Государства. В первом случае казна обогащается настолько, насколько уменьшаются ее расходы, во втором — она опять-таки обогащается за счет расходов частных лиц не на необходимое.

Добавим ко всему этому еще одно важное различие из области государственного права, которому Правительства, желающие всё делать сами, должны были бы уделить большое внимание. Я говорил, что обложение людей и налоги на вещи самой первой необходимости, прямо посягающие на право собственности и, следовательно, на истинное основание политического общества, всегда влекут за собою опасные последствия, если они не устанавливаются с прямого согласия народа или его представителей. Ибо тогда человек вовсе не принужден платить, и его взнос может быть сочтен добровольным, так что особое согласие каждого из плательщиков дополняет общее согласие и даже, в некотором роде, предполагает такое согласие, ибо с какой стати народ будет противиться всякому обложению, которое ложится лишь на тех, кто согласен его платить? Это представляется мне несомненным: все, что не запрещается законами и не противоречит нравам, и может быть запрещено Правительством, — все это Правительством должно быть разрешено путем установления сбора. Если, к примеру, Правительство может запретить пользование каретами, оно может, с еще большим основанием, ввести налог на кареты: средство муд-

рое и полезное для того, чтобы осудить пользование ими, не приказывая, однако, сие прекратить. Тогда можно смотреть на налог, как на своего рода штраф, доход от которого возмещает то зло, которое этим штрафом наказуется.

Кто-нибудь мне возразит, быть может, что так как те, которых Бодэн называет *наглецами*<sup>87</sup>, т. е. те, кто налагают или выдумывают налоги, принадлежат к классу богатых, то они и не подумают освободить остальных от тягот за свой счет и возложить на самих себя это бремя, чтобы облегчить бремя бедняков. Но следует отбросить подобные мысли. Если бы в каждой нации те, кому суверен поручает управление подданными, были по своему положению их врагами, то не стоило бы вообще исследовать, что они должны делать, чтобы сделать их счастливыми.

**ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ  
ДОГОВОРЕ,  
ИЛИ ПРИНЦИПЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРАВА**

Foederis aequas  
Dicamus leges  
Virg.[illi u s]. Aeneid, XI\*.

## ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

*Этот небольшой трактат извлечен мною из более обширного труда<sup>1</sup>, который я некогда предпринял, не рассчитав своих сил, и давно уже оставил. Из различных отрывков, которые можно было извлечь из того, что было написано, предлагаемый ниже — наиболее значителен, и, как показалось мне, наименее недостойн внимания публики. Остальное уже более не существует.*

## КНИГА 1

Я хочу исследовать, возможен ли в гражданском состоянии какой-либо принцип управления, основанного на законах и надежного, если принимать людей такими, каковы они, а законы — такими, какими они могут быть<sup>2</sup>. В этом исследовании я все время буду стараться сочетать то, что разрешает право, с тем, что предписывает выгода, так, чтобы не оказалось никакого расхождения между справедливостью и пользою<sup>3</sup>.

Я приступаю к делу, не доказывая важности моей темы. Меня могут спросить: разве я государь или законодатель, что пишу о политике. Будь я государь или законодатель, я не стал бы терять время на разговоры о том, что нужно делать, — я либо делал бы это, либо молчал.

Поскольку я рожден гражданином свободного Государства и членом суверена<sup>4</sup>, то, как бы мало ни значил мой голос в общественных делах, права подавать его при обсуж-

---

\* Мы расскажем о справедливых законах, основанных на договоре. В е р г. [и л и й]. Энеида, XI, [321] (лат.).]

дении этих дел достаточно, чтобы обязать меня уяснить себе их сущность, и я счастлив, что всякий раз, рассуждая о формах Правления, нахожу в моих розысканиях все новые причины любить образ Правления моей страны.

## Г л а в а I ПРЕДМЕТ ЭТОЙ ПЕРВОЙ КНИГИ

Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах<sup>5</sup>. Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они<sup>6</sup>. Как совершилась эта перемена? Не знаю. Что может придать ей законность? Полагаю, что этот вопрос я смогу разрешить.

Если бы я рассматривал лишь вопрос о силе и результатах ее действия, я бы сказал: пока народ принужден повиноваться и повинуетя, он поступает хорошо; но если народ, как только получает возможность сбросить с себя ярмо, сбрасывает его, — он поступает еще лучше; ибо, возвращая себе свободу по тому же праву, по какому ее у него похитили, он либо имеет все основания вернуть ее, либо же вовсе не было оснований ее у него отнимать. Но общественное состояние — это священное право, которое служит основанием для всех остальных прав. Это право, однако, не является естественным; следовательно, оно основывается на соглашениях. Надо выяснить, каковы эти соглашения. Прежде чем приступить к этому, я должен обосновать те положения, которые я только что выдвинул.

## Г л а в а II О ПЕРВЫХ ОБЩЕСТВАХ

Самое древнее из всех обществ и единственное естественное — это семья<sup>7</sup>. Но ведь и в семье дети связаны с отцом лишь до тех пор, пока нуждаются в нем. Как только нужна эта пропадает, естественная связь рвется. Дети, избавленные от необходимости повиноваться отцу, и отец, свободный от обязанности заботиться о детях, вновь становятся равно независимыми. Если они и остаются вместе, то уже не в силу естественной необходимости, а добровольно; сама же семья держится лишь на соглашениях.

Эта общая свобода есть следствие природы человека. Первый ее закон — самоохранение, ее первые заботы — те, которыми человек обязан самому себе, и как только он вступает в пору зрелости, он уже только сам должен судить о том, какие средства пригодны для его самосохранения, и так он становится сам себе хозяином.

Таким образом, семья — это, если угодно, прообраз политических обществ, правитель — это подобие отца, народ — детей, и все, рожденные равными и свободными, если отчуждают свою свободу, то лишь для своей же пользы. Вся разница в том, что в семье любовь отца к детям вознаграждает его за те заботы, которыми он их окружает, — в Государстве же наслаждение властью заменяет любовь, которой нет у правителя к своим подданным.

Гроций отрицает, что у людей всякая власть устанавливается для пользы управляемых<sup>8</sup>: в качестве примера он приводит рабство\*. Чаще всего в своих рассуждениях он видит основание права в существовании соответствующего факта. Можно было бы применить методу более последовательную, но никак не более благоприятную для тиранов.

По мнению Гроция, стало быть, неясно, принадлежит ли человеческий род какой-нибудь сотне людей или, наоборот, эта сотня людей принадлежит человеческому роду и на протяжении всей своей книги он, как будто, склоняется к первому мнению. Так же полагает и Гоббс<sup>9</sup>. Таким образом человеческий род оказывается разделенным на стада скота, каждое из которых имеет своего вожака берегущего оное с тем, чтобы его пожирать.

Подобно тому, как пастух — существо высшей природы по сравнению с его стадом, так и пастыри людские, кои суть вожаки людей, — существа природы высшей по отношению к их народам. Так рассуждал, по сообщению Филонна<sup>10</sup>, император Калигула, делая из такой аналогии тот довольно естественный вывод, что короли — это боги, или что подданные — это скот.

Рассуждение такого Калигулы возвращает нас к рассуждениям Гоббса и Гроция. Аристотель прежде, чем все они<sup>11</sup>,

\* «Ученые розыскания о публичном праве часто представляют собою лишь историю давних злоупотреблений, и люди совершенно напрасно давали себе труд слишком подробно их изучать». — (Трактат<sup>12</sup> о выгодах Фр[анции] в сношениях с ее соседями г-на маркиза д'А[ржансона], напечатанный у Рея в Амстердаме). Именно это и сделал Гроций.

говорил также, что люди вовсе не равны от природы, но что одни рождаются, чтобы быть рабами, а другие — господами.

Аристотель был прав; но он принимал следствие за причину. Всякий человек, рожденный в рабстве, рождается для рабства; ничто не может быть вернее этого. В оковах рабы теряют все, вплоть до желанья от них освободиться<sup>13</sup>, они начинают любить рабство, подобно тому, как спутники Улисса<sup>14</sup> полюбили свое скотское состояние\*.

Итак, если существуют рабы по природе, так только потому, что существовали рабы вопреки природе. Сила создала первых рабов, их трусость сделала их навсегда рабами.

Я ничего не сказал ни о короле Адаме, ни об императоре Ное<sup>15</sup>, отце трех великих монархов, разделивших между собою весь мир, как это сделали дети Сатурна<sup>16</sup>, в которых иногда видели этих же монархов. Я надеюсь, что мне будут благодарны за такую мою скромность; ибо, поскольку я происхожу непосредственно от одного из этих государей и, быть может, даже от старшей ветви, то, как знать, не оказался бы я после проверки грамот вовсе даже законным королем человеческого рода? Как бы там ни было, никто не станет отрицать, что Адам был властелином мира, подобно тому, как Робинзон<sup>17</sup> — властелином своего острова, пока он оставался единственным его обитателем, и было в этом безраздельном обладании то удобство, что монарху, прочно сидевшему на своем троне, не доводилось страшиться ни мятежей, ни войн, ни заговорщиков.

### Г л а в а III О ПРАВЕ СИЛЬНОГО

Самый сильный никогда не бывает настолько силен, чтобы оставаться постоянно повелителем, если он не превращает своей силы в право, а повиновения ему — в обязанность. Отсюда — право сильнейшего; оно называется правом как будто в ироническом смысле, а в действительности его возводят в принцип. Но разве нам никогда не объяснят смысл этих слов? Сила — это физическая мощь, и я никак не вижу, какая мораль может быть результатом ее действия.

\* См. Небольшой трактат Плутарха, озаглавленный: *О разуме бессловесных*.

Уступать силе — это акт необходимости, а не воли; в крайнем случае, это — акт благоразумия. В каком смысле может это быть обязанностью?

Предположим на минуту, что так называемое право сильнейшего существует. Я утверждаю, что в результате подобного предположения получится только необъяснимая галиматья; ибо, если это сила создает право, то результат меняется с причиной, то есть всякая сила, превосходящая первую, приобретает и права первой. Если только возможно не повиноваться безнаказанно, значит возможно это делать на законном основании, а так как всегда прав самый сильный, то и нужно лишь действовать таким образом, чтобы стать сильнейшим. Но что же это за право, которое исчезает, как только прекращается действие силы? Если нужно повиноваться, подчиняясь силе, то нет необходимости повиноваться, следуя долгу; и если человек больше не принуждается к повиновению, то он уже и не обязан это делать. Отсюда видно, что слово *право* ничего не прибавляет к силе. Оно здесь просто ничего не значит.

Подчиняйтесь властям. Если это означает — уступайте силе, то заповедь хороша, но излишняя; я ручаюсь, что она никогда не будет нарушена. Всякая власть — от Бога<sup>18</sup>, я это признаю; но и всякая болезнь от Него же: значит ли это, что запрещено звать врача? Если на меня в лесу нападает разбойник, значит, мало того, что я должен, подчиняясь силе, отдать ему свой кошелек; но, даже будь я в состоянии его спрятать, то разве я не обязан по совести отдать ему этот кошелек? Ибо, в конце концов, пистолет, который он держит в руке, — это тоже власть.

Согласимся же, что сила не творит право и что люди обязаны повиноваться только властям законным. Так перед нами снова возникает вопрос, поставленный мною в самом начале.

#### Г л а в а IV О РАБСТВЕ<sup>19</sup>

Раз ни один человек не имеет естественной власти над себе подобными и поскольку сила не создает никакого права, то выходит, что основой любой законной власти среди людей могут быть только соглашения.

Если отдельный человек, говорит Гроций<sup>20</sup>, может, отчуждая свою свободу, стать рабом какого-либо господина,

то почему же не может и целый народ, отчуждая свою свободу, стать подданным какого-либо короля? Здесь много есть двусмысленных слов, значение которых следовало бы пояснить; ограничимся только одним из них — *отчуждать*. Отчуждать — это значит отдавать или продавать<sup>21</sup>. Но человек, становящийся рабом другого, не отдает себя; он, в крайнем случае, себя продает, чтобы получить средства к существованию. Но народу — для чего себя продавать? Король не только не предоставляет своим подданным средства к существованию, более того, он сам существует только за их счет, а королю, как говорит Рабле<sup>22</sup>, немало надо для жизни. Итак, подданные отдают самих себя с условием, что у них заберут также их имущество? Я не вижу, что у них останется после этого.

Скажут, что деспот обеспечивает своим подданным гражданский мир. Пусть так, но что же они от этого выигрывают, если войны, которые им навязывает его честолюбие, если его ненасытная алчность, притеснения его правления разоряют их больше, чем это сделали бы их раздоры? Что же они от этого выигрывают, если самый этот мир становится одним из их бедствий? Спокойно жить и в темницах, но разве этого достаточно, чтобы чувствовать себя там хорошо? Греки, запертые в пещере Циклопа<sup>23</sup>, спокойно жили в ней, ожидая своей очереди быть съеденными.

Утверждать, что человек отдает себя даром, значит — утверждать нечто бессмысленное и непостижимое: подобный акт незаконен и недействителен уже по одному тому, что тот, кто его совершает, находится не в здравом уме. Утверждать то же самое о целом народе — это значит считать, что весь он состоит из безумцев: безумие не творит право<sup>24</sup>.

Если бы каждый и мог совершить отчуждение самого себя, то он не может этого сделать за своих детей; они рождаются людьми и свободными; их свобода принадлежит им, и никто, кроме них, не вправе ею распоряжаться. До того, как они достигнут зрелости, отец может для сохранения их жизни и для их благополучия принять от их имени те или иные условия, но он не может отдать детей безвозвратно и без условий, ибо подобный дар противен целям природы и превышает отцовские права. Поэтому, дабы какое-либо самовластное Правление стало законным, надо, чтобы народ в каждом своем поколении мог сам решать

вопрос о том, принять ли такое Правление или отвергнуть его; но тогда это Правление не было бы уже самовластным.

Отказаться от своей свободы — это значит отречься от своего человеческого достоинства, от прав человеческой природы, даже от ее обязанностей. Невозможно никакое возмещение для того, кто от всего отказывается. Подобный отказ несовместим с природою человека; лишить человека свободы воли — это значит лишить его действия какой бы то ни было нравственности. Наконец, бесполезно и противоречиво такое соглашение, когда, с одной стороны, выговаривается неограниченная власть, а с другой — безграничное повиновение. Разве не ясно, что у нас нет никаких обязанностей по отношению к тому, от кого мы вправе все потребовать? И разве уже это единственное условие, не предполагающее ни какого-либо равноценного возмещения, ни чего-либо взамен, не влечет за собою недействительности такого акта? Ибо какое может быть у моего раба право, обращенное против меня, если все, что он имеет, принадлежит мне, а если его право — мое, то разве не лишены какого бы то ни было смысла слова: мое право, обращенное против меня же?

Гроций и другие видят происхождение так называемого права рабовладения еще и в войнах<sup>25</sup>. Поскольку победитель, по их мнению, вправе убить побежденного, этот последний может выкупить свою жизнь ценою собственной свободы, — соглашение тем более законное, что оно оборачивается на пользу обоим.

Ясно, однако, что это так называемое право убивать побежденных ни в коей мере не вытекает из состояния войны. Уже хотя бы потому, что люди, пребывающие в состоянии изначальной независимости, не имеют столь постоянных сношений между собою, чтобы создалось состояние войны или мира; от природы люди вовсе не враги друг другу<sup>26</sup>. Войну вызывают не отношения между людьми, а отношения вещей, и поскольку состояние войны может возникнуть не из простых отношений между людьми, но из отношений вещных, постольку не может существовать войны частной<sup>27</sup>, или войны человека с человеком, как в естественном состоянии, где вообще нет постоянной собственности, так и в состоянии общественном, где все подвластно законам.

Стычки между отдельными лицами, дуэли, поединки суть акты, не создающие никакого состояния войны; что

же до частных войн, узаконенных Установлениями Людовика IX<sup>28</sup>, короля Франции, войн, что прекращались Божьим миром<sup>29</sup>, — это злоупотребления феодального Правления, системы самой бессмысленной<sup>30</sup> из всех, какие существовали, противной принципам естественного права и всякой доброй *политии*.

Итак, война — это отношение отнюдь не человека к человеку, но Государства к Государству, когда частные лица становятся врагами лишь случайно и совсем не как люди и даже не как граждане\*, но как солдаты; не как члены общества, но только защитники его.

Наконец, врагами всякого Государства могут быть лишь другие Государства, а не люди, если принять в соображение, что между вещами различной природы нельзя установить никакого подлинного отношения.

Этот принцип соответствует также и положениям, установленным во все времена, и постоянной практике всех цивилизованных народов. Объявление войны служит предупреждением не столько Державам, сколько их подданным. Чужой, будь то король, частный человек или народ, который грабит, убивает или держит в неволе подданных, не объявляя войны государю, — это не враг, а разбойник. Даже в разгаре войны справедливый государь, захватывая во вражеской стране все, что принадлежит народу в целом, при этом уважает личность и имущество частных лиц; он уважает права, на которых основаны его собственные. Если целью войны является разрушение вражеского Государства, то победитель вправе убивать его защитников, пока у них в руках оружие; но как только они бросают оружие и сдаются, переставая таким образом быть врагами или орудия-

---

\* Римляне, которые знали и соблюдали право войны более, чем какой бы то ни было народ в мире, были в этом отношении столь щепетильны, что гражданину разрешалось служить в войске добровольцем лишь в том случае, когда он обязывался сражаться против врага и именно против определенного врага. Когда легион, в котором Катон-сын<sup>31</sup> начинал свою военную службу под командованием Попилия, был переформирован, Катон-отец написал Попилию<sup>32</sup>, что, если тот согласен, чтобы его сын продолжал служить под его началом, то Катона-младшего следует еще раз привести к воинской присяге, так как первая уже недействительна, и он не может более сражаться против врага. И тот же Катон писал своему сыну, чтобы он остерегся принимать участие в сражении, не принеся этой новой присяги. Я знаю, что мне могут противопоставить в этом случае осаду Клузиума<sup>33</sup> и некоторые другие отдельные факты, но я здесь говорю о законах, обычаях. Римляне реже всех нарушали свои законы, и у них одних были законы столь прекрасные.

ми врага, они вновь становятся просто людьми, и победитель не имеет более никакого права на их жизнь<sup>34</sup>. Иногда можно уничтожить Государство, не убивая ни одного из его членов. Война, следовательно, не дает никаких прав, которые не были бы необходимы для ее целей. Это — не принципы Гроция, они не основываются на авторитете поэтов, но вытекают из самой природы вещей и основаны на разуме.

Что до права завоевания, то оно основывается лишь на законе сильного. Если война не дает победителю никакого права истреблять побежденных людей, то это право, которого у него нет, не может служить и основанием права на их порабощение. Врага можно убить только в том случае, когда его нельзя сделать рабом, следовательно: право поработить врага не вытекает из права его убить<sup>35</sup>; значит, это несправедливый обмен — заставлять его покупать ценою свободы свою жизнь, на которую у победителя нет никаких прав. Ибо разве не ясно, что если мы будем основывать право жизни и смерти на праве рабовладения, а право рабовладения на праве жизни и смерти, то попадем в порочный круг?

Даже если предположить, что это ужасное право всех убивать существует, я утверждаю, что раб, который стал таковым во время войны, или завоеванный народ ничем другим не обязан своему повелителю, кроме как повиновением до тех пор, пока его к этому принуждают. Взяв эквивалент его жизни, победитель вовсе его не помиловал: вместо того, чтобы убить побежденного без всякой выгоды, он убил его с пользой для себя. Он вовсе не получил над ним никакой власти, соединенной с силою; состояние войны между ними продолжается, как прежде, сами их отношения являются следствием этого состояния, а применение права войны не предполагает никакого мирного договора. Они заключили соглашение, пусть так; но это соглашение никак не приводит к уничтожению состояния войны<sup>36</sup>, а, наоборот, предполагает его продолжение.

Итак, с какой бы стороны мы ни рассматривали этот вопрос, право рабовладения действительно не только потому, что оно незаконно, но также и потому, что оно бессмысленно и ничего не значит. Слова *рабство* и *право* противоречат друг другу; они взаимно исключают друг друга. Такая речь: *Я с тобой заключаю соглашение полностью за твой*

*счет и полностью в мою пользу, соглашение, которое я буду соблюдать, пока это мне будет угодно, и которое ты будешь соблюдать, пока мне это будет угодно* — будет всегда равно лишена смысла независимо от того, имеются ли в виду отношения человека к человеку или человека к народу.

## Г л а в а V

### О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ВСЕГДА ВОСХОДИТЬ К ПЕРВОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Если бы я даже и согласился с тем, что до сих пор отвергал, то сторонники деспотизма не много бы от этого выиграли. Всегда будет существовать большое различие между тем, чтобы подчинить себе толпу, и тем, чтобы управлять обществом. Если отдельные люди порознь один за другим поработаются одним человеком, то, каково бы ни было их число, я вижу здесь только господина и рабов, а никак не народ и его главу. Это, если угодно, — скопление людей, а не ассоциация; здесь нет ни общего блага, ни Организма политического. Такой человек, пусть бы даже он и поработил полмира, всегда будет лишь частное лицо; его интерес, отделенный от интересов других людей, это всегда только частный интерес. Если только этот человек погибает, то его держава распадается, как рассыпается и превращается в кучу пепла дуб, сожженный огнем.

Народ, говорит Гроций, может поставить над собою короля. По мнению Гроция, стало быть, народ является таковым и до того, как он подчиняет себя королю. Но такое действие представляет собою гражданский акт; оно предполагает решение, принятое народом. Таким образом, прежде чем рассматривать акт, посредством которого народ избирает короля, было бы неплохо рассмотреть тот акт, в силу которого народ становится народом, ибо этот акт, непременно предшествующий первому, представляет собой истинное основание общества<sup>37</sup>.

В самом деле, не будь никакого предшествующего соглашения, откуда бы взялось — если только избрание не единодушно — обязательство для меньшинства подчиняться выбору большинства? и почему сто человек, желающих господина, вправе подавать голос за десять человек, того совер-

шенно не желающих? Закон большинства голосов сам по себе устанавливается в результате соглашения и предполагает, по меньшей мере единожды, — единодушие.

## Г л а в а VI ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОГЛАШЕНИИ

Я предполагаю, что люди достигли того предела, когда силы, препятствующие им оставаться в естественном состоянии, превосходят в своем противодействии силы, которые каждый индивидуум может пустить в ход, чтобы удержаться в этом состоянии. Тогда это изначальное состояние не может более продолжаться, и человеческий род погиб бы, не измени он своего образа жизни.

Однако, поскольку люди не могут создавать новых сил<sup>38</sup>, а могут лишь объединять и направлять силы, уже существующие, то у них нет иного средства самосохранения, как, объединившись с другими людьми, образовать сумму сил, способную преодолеть противодействие, подчинить эти силы одному движителю и заставить их действовать согласно.

Эта сумма сил может возникнуть лишь при совместных действиях многих людей; но — поскольку сила и свобода каждого человека — суть первые орудия его самосохранения — как может он их отдать, не причиняя себе вреда и не пренебрегая теми заботами, которые есть его долг по отношению к самому себе? Эта трудность, если вернуться к предмету этого исследования, может быть выражена в следующих положениях:

«Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всю общую силу личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде». Такова основная задача, которую разрешает Общественный договор<sup>39</sup>.

Статьи этого Договора определены самой природой акта так, что малейшее видоизменение этих статей лишило бы их действенности и полезности; поэтому, хотя они пожалуй, и не были никогда точно сформулированы, они повсюду одни и те же, повсюду молчаливо принимаются и признаются до тех пор, пока в результате нарушения общественного

соглашения каждый не обретает вновь свои первоначальные права и свою естественную свободу, теряя свободу, полученную по соглашению, ради которой он отказался от естественной.

Эти статьи, если их правильно понимать, сводятся к одной-единственной, именно: полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины; ибо, во-первых, если каждый отдает себя всецело, то создаются условия, равные для всех; а раз условия равны для всех, то никто не заинтересован в том, чтобы делать их обременительными для других.

Далее, поскольку отчуждение совершается без каких-либо изъятий, то единение столь полно, сколь только возможно, и ни одному из членов ассоциации нечего больше требовать. Ибо, если бы у частных лиц оставались какие-либо права, то, поскольку теперь не было бы такого старшего над всеми, который был бы вправе разрешать споры между ними и всем народом, каждый, будучи судьей самому себе в некотором отношении, начал бы вскоре притязать на то, чтобы стать таковым во всех отношениях; естественное состояние продолжало бы существовать, и ассоциация неизбежно стала бы тиранической или бесполезной.

Наконец, каждый, подчиняя себя всем, не подчиняет себя никому в отдельности. И так как нет ни одного члена ассоциации, в отношении которого остальные не приобретали бы тех же прав, которые они уступили ему по отношению к себе, то каждый приобретает эквивалент того, что теряет, и получает больше силы для сохранения того, что имеет.

Итак, если мы устраним из общественного соглашения то, что не составляет его сущности, то мы найдем, что оно сводится к следующим положениям: *Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого*<sup>40</sup>.

Немедленно вместо отдельных лиц, вступающих в договорные отношения, этот акт ассоциации создает условное коллективное Целое, состоящее из стольких членов, сколько голосов насчитывает общее собрание. Это Целое получает в результате такого акта свое единство, свое общее я, свою

жизнь и волю. Это лицо юридическое, образующееся следовательно в результате объединения всех других, некогда именовалось *Гражданскою общиною\**, ныне же именуется *Республикою*, или *Политическим организмом*: его члены называют этот Политический организм *Государством*, когда он пассивен, *Сувереном*, когда он активен, *Державою* — при сопоставлении его с ему подобными. Что до членов ассоциации, то они в совокупности получают имя *народа*, а в отдельности называются *гражданами* как участвующие в верховной власти, и *подданными* как подчиняющиеся законам Государства. Но эти термины часто смешиваются и их принимают один за другой; достаточно уметь их различать, когда они употребляются во всем их точном смысле.

## Г л а в а VII О СУВЕРЕНЕ

Из этой формулы видно, что акт ассоциации<sup>41</sup> содержит взаимные обязательства всего народа и частных лиц и что каждый индивидуум, вступая, так сказать, в договор с самим собой, оказывается принявшим двойное обязательство, именно: как член суверена в отношении частных лиц и как член Государства по отношению к суверену<sup>42</sup>. Но здесь нельзя применить то положение гражданского права, что никто не обязан выполнять обязательства, взятые перед

---

\* Истинный смысл этого слова почти совсем стерся для людей новых времен: большинство принимает город за Гражданскую общину, а горожанина — за гражданина<sup>43</sup>. Они не знают, что город составляют дома, а Гражданскую общину — граждане. Эта же ошибка в древности дорого обошлась карфагенянам. Я не читал, чтобы подданному какого-либо государя давали титул *civis* (*гражданин* — *лат.*), ни даже в древности — македонцам или в наши дни — англичанам, хотя эти последние ближе к свободе, чем все остальные. Одни французы совершенно запросто называют себя *гражданами*, потому что у них нет, как это видно из их словарей, никакого представления о действительном смысле этого слова; не будь этого, они, незаконно присваивая себе это имя, были бы повинны в оскорблении величества. У них это слово означает добродетель, а не право. Когда Бодэн собрался говорить о наших Гражданах и Горожанах<sup>44</sup>, он совершил грубую ошибку, приняв одних за других. Г-н д'Аламбер не совершил этой ошибки, и в своей статье *Женева*<sup>45</sup> хорошо показал различия между всеми четырьмя (даже пятью, если считать простых иностранцев) разрядами людей в нашем городе, из которых лишь два входят в состав Республики. Ни один из известных мне французских авторов не понял истинного смысла слова *гражданин*.

самим собой, ибо велико различие между обязательствами, взятыми перед самим собою, и обязательствами, взятыми по отношению к целому, часть которого ты составляешь.

Следует еще заметить, что, поскольку каждый выступает в двойном качестве, решение, принятое всем народом, может иметь обязательную силу в области отношений всех подданных к суверену, но не может, по противоположной причине, наложить на суверена обязательства по отношению к себе самому, и что, следовательно, если бы суверен предписал сам себе такой закон, от которого он не мог бы себя освободить, — это противоречило бы самой природе Политического организма. Поскольку суверен может рассматривать себя лишь в одном-единственном отношении, то он попадает в положение частного человека, вступающего в соглашение с самим собою<sup>46</sup>; раз так, нет и не может быть никакого основного закона, обязательного для Народа в целом, для него не обязателен даже Общественный договор<sup>47</sup>. Это, однако, не означает, что Народ, как целое, не может взять на себя таких обязательств по отношению к другим, которые не нарушают условий этого Договора, ибо по отношению к чужеземцу он выступает как обычное существо, как индивидуум.

Но Политический организм или суверен, который обязан своим существованием лишь святости Договора<sup>48</sup>, ни в коем случае не может брать на себя таких обязательств, даже по отношению к другим, которые сколько-нибудь противоречили бы этому первоначальному акту, как, например, отчуждение какой-либо части самого себя или подчинение себя другому суверену. Нарушить акт, благодаря которому он существует, значило бы уничтожить самого себя, а ничто ничего и не порождает.

Как только эта масса людей объединяется таким путем в одно целое, уже невозможно причинить вред ни одному из его членов, не задевая целое, и тем более нельзя причинить вред целому так, чтобы члены его этого не почувствовали. Стало быть и долг, и выгода в равной мере обязывают обе договаривающиеся стороны взаимно помогать друг другу; и одни и те же люди должны стремиться использовать в этом двойном отношении все преимущества, которые дает им объединение.

Итак, поскольку суверен образуется лишь из частных лиц, у него нет и не может быть таких интересов, которые

противоречили бы интересам этих лиц; следовательно, верховная власть суверена нисколько не нуждается в поручителе перед подданными, ибо невозможно, чтобы организм захотел вредить всем своим членам; и мы увидим далее, что он не может причинять вред никому из них в отдельности<sup>49</sup>. Суверен уже в силу того, что он существует, является всегда тем, чем он должен быть.

Но не так обстоит дело с отношениями подданных к суверену; несмотря на общий интерес, ничто не могло бы служить для суверена порукою в выполнении подданными своих обязательств, если бы он не нашел средств обеспечить их верность себе.

В самом деле, каждый индивидуум может, как человек, иметь особую волю, противоположную общей или несходную с этой общей волей, которой он обладает как гражданин. Его частный интерес может внушать ему иное, чем то, чего требует интерес общий. Само его естественно независимое существование может заставить его рассматривать то, что он должен уделять общему делу, лишь как безвозмездное приношение, потеря которого будет не столь ощутима для других, сколь уплата этого приношения обременительна для него, и если бы он рассматривал то юридическое лицо, которое составляет Государство, как отвлеченное существо, поскольку это — не человек, он пользовался бы правами гражданина, не желая исполнять обязанностей подданного; и эта несправедливость, усугубляясь, привела бы к разрушению Политического организма.

Итак, чтобы общественное соглашение не стало пустою формальностью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим обязательствам: если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным. Ибо таково условие, которое, подчиняя каждого гражданина отечеству, одновременно тем самым ограждает его от всякой личной зависимости: условие это составляет секрет и двигательную силу политической машины, и оно одно только делает законными обязательства в гражданском обществе, которые без этого были бы бессмысленными, тираническими и открывали бы путь чудовищнейшим злоупотреблениям.

## Г л а в а VIII О ГРАЖДАНСКОМ СОСТОЯНИИ

Этот переход от состояния естественного к состоянию гражданскому производит в человеке весьма приметную перемену, заменяя в его поведении инстинкт справедливостью и придавая его действиям тот нравственный характер, которого они ранее были лишены. Только тогда, когда голос долга сменяет плотские побуждения, а право — желание, человек, который до сих пор считался только с самим собою, оказывается вынужденным действовать сообразно другим принципам и советоваться с разумом, прежде чем следовать своим склонностям. Хотя он и лишает себя в этом состоянии многих преимуществ, полученных им от природы, он вознаграждается весьма значительными другими преимуществами; его способности упражняются и развиваются, его представления расширяются, его чувства облагораживаются и вся его душа возвышается до такой степени, что если бы заблуждения этого нового состояния не низводили часто человека до состояния еще более низкого чем то, из которого он вышел, то он должен был бы непрестанно благословлять тот счастливый миг, который навсегда вырвал его оттуда и который из тупого и ограниченного животного создал разумное существо — человека.

Сведем весь этот итог к легко сравнимым между собой положениям. По Общественному договору человек теряет свою естественную свободу и неограниченное право на то, что его прельщает и чем он может завладеть; приобретает же он свободу гражданскую и право собственности на все то, чем обладает. Чтобы не ошибиться в определении этого возмещения, надо точно различать естественную свободу, границами которой является лишь физическая сила индивидуума, и свободу гражданскую, которая ограничена общей волей, а также различать обладание, представляющее собой лишь результат применения силы или право того, кто пришел первым, и собственность, которая может основываться лишь на законном документе.

К тому, что уже сказано о приобретениях человека в гражданском состоянии, можно было бы добавить моральную свободу, которая одна делает человека действительным хозяином самому себе; ибо поступать лишь под воздействием своего желания есть рабство, а подчиняться закону, кото-

рый ты сам для себя установил, есть свобода. Но я уже и так сказал по этому вопросу более, чем достаточно, а определение философского смысла слова *свобода* не входит в данном случае в мою задачу.

## Г л а в а IX О ВЛАДЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ

Каждый член общины подчиняет себя ей в тот момент, когда она образуется, таким, каков он есть в это время, подчиняет ей самого себя и все свои силы, составной частью которых является и принадлежащее ему имущество. Это не означает, что вследствие такого акта владение, переходя из рук в руки, изменяет свою природу и становится собственностью в руках суверена. Но так как силы Гражданской общины несравненно больше, чем силы отдельного человека, то и ее владение фактически более прочно и неоспоримо, хотя и не становится более законным, по крайней мере, в глазах чужеземцев. Ибо государство является в отношении своих членов хозяином всего их имущества в силу Общественного договора, который в Государстве служит основой всех прав; но для других Держав Государство является таковым лишь по праву первой заимки, перешедшему к нему от отдельных лиц.

Право первой заимки, хотя оно и в большей степени является таковым, нежели право сильного, превращается в подлинное право лишь после того, как установлено право собственности. Каждый человек от природы имеет право на все, что ему необходимо; но акт положительного права, делающий его собственником какого-либо имущества, лишает его тем самым прав на все остальное. Получив свою часть, он должен ограничиться ею и не имеет больше никакого права на то, что принадлежит общине. Вот почему право первой заимки, столь непрочное в естественном состоянии, безоговорочно уважается всяким человеком, принадлежащим к гражданскому обществу. В понимании этого права уважается не столько чужое, сколько то, что не принадлежит тебе.

Вообще же, для того чтобы узаконить право первой заимки на какой-либо участок земли, необходимы следующие условия: во-первых, чтобы на этой земле еще никто не

жил; во-вторых, чтобы занято было лишь столько, сколько необходимо, чтобы прокормиться; в-третьих, чтобы вступали во владение землею не в силу какой-либо пустой формальности, но в результате расчистки и обработки ее — этого единственного признака собственности, который при отсутствии юридических документов должен быть признаваем другими.

В самом деле, признать право первой заимки за потребностями и трудом<sup>50</sup> — не значит ли это распространить это право настолько, насколько оно может простираться? Можно ли не ставить границ этому праву? Достаточно ступить ногою на общий участок земли, чтобы провозгласить себя тотчас же его хозяином? Достаточно ли иметь силу, необходимую для того, чтобы прогнать оттуда на некоторое время других людей, чтобы отнять у них право когда-либо вернуться на этот участок? Как может человек или народ завладеть огромною территорией, лишив человеческий род этой территории, иначе, как не в результате наказуемого захвата, поскольку этот акт лишает других людей мест обитания и источников существования, которые природа дает им всем в общее пользование? Когда Нуньес Бальбоа<sup>51</sup>, став на берегу, объявил от имени Кастильской короны, что он вступает во владение Южным морем и всей Южной Америкой, было ли этого достаточно, чтобы лишить всех жителей этих стран их владений и преградить доступ в них всем государям мира? Такого рода формальные акты повторялись впоследствии неоднократно и довольно безуспешно; и католический король мог бы сразу завладеть из кабинета всем миром, но ему пришлось бы затем исключить из своих владений все то, чем ранее еще завладели другие государи.

Теперь понятно, каким образом соединенные и смежные земли частных лиц превращаются в территорию, подвластную всему народу, и каким образом право суверенитета, распространяясь с подданных на занимаемые ими участки земли, становится одновременно вещным и личным, что ставит их владельцев в большую зависимость, и самые их силы делает залогом их верности. Монархи древности, видимо, не понимали как следует этого преимущества и, называя себя лишь царями персов, скифов, македонян, считали себя не столько господами стран, сколько повелителями людей. Государи нашего времени именуют себя более хитро

королями Франции, Испании, Англии и т. д. Владея таким образом землей, они могут быть вполне уверены в том, что ее обитатели у них в руках.

Примечательно в этом отчуждении то, что община, принимая земли частных лиц, вовсе не отбирает у них эти земли, — она лишь обеспечивает этим лицам законное владение ими, превращая захват в подлинное право, а пользование в собственность. Теперь уже владельцы рассматриваются как хранители общего достояния<sup>52</sup>, их права признаются всеми членами Государства и защищаются всеми силами этого Государства от чужеземца, и эти частные лица, в результате уступки, выгодной для всего общества, а еще более для них самих, приобретают, так сказать, все то, что отдали: парадокс этот как мы это увидим далее, очень легко объясняется различием прав, которые имеют суверен и собственник на одну и ту же землю.

Может также случиться, что люди начинают объединяться раньше, чем они стали чем-либо обладать, и, захватив затем участок земли, достаточный для всех, пользуются им сообща или разделяют его между собой либо поровну, либо в определенных соотношениях, устанавливаемых сувереном. Каким бы путем ни происходило это приобретение, право, которое каждое частное лицо имеет на свою собственную землю, всегда подчинено тому праву, которое община имеет на все земли, без чего не было бы ни прочности в общественных связях, ни действительной силы в осуществлении суверенитета<sup>53</sup>.

Я закончу эту главу и эту книгу замечанием, которое должно служить основой всей системы отношений в обществе. Первоначальное соглашение не только не уничтожает естественное равенство людей, а, напротив, заменяет равенством как личностей и перед законом все то неравенство, которое внесла природа в их физическое естество; и хотя люди могут быть неравны по силе или способностям, они становятся все равными в результате соглашения и по праву\*.

---

\* При дурных Правлениях это равенство лишь кажущееся и обманчивое; оно служит лишь для того чтобы бедняка удерживать в его нищете, а за богачом сохранять все то, что он присвоил. На деле законы всегда приносят пользу имущим и причиняют вред тем, у кого нет ничего: отсюда следует, что общественное состояние выгодно для людей лишь поскольку они все чем-либо обладают и поскольку ни у кого из них нет ничего лишнего.

## КНИГА 2

### Глава I

#### О ТОМ, ЧТО СУВЕРЕНИТЕТ НЕОТЧУЖДАЕМ

Первым и самым важным следствием из установленных выше принципов является то, что одна только общая воля может управлять силами Государства в соответствии с целью его установления, каковая есть общее благо. Ибо, если противоположность частных интересов сделала необходимым установление обществ, то именно согласие этих интересов и сделала сие возможным. Общественную связь образует как раз то, что есть общего в этих различных интересах; и не будь такого пункта, в котором согласны все интересы, никакое общество не могло бы существовать. Итак, обществом должно править, руководясь единственно этим общим интересом.

Я утверждаю, следовательно, что суверенитет, который есть только осуществление общей воли, не может никогда отчуждаться и что суверен, который есть не что иное, как коллективное существо, может быть представляем только самим собою. Передаваться может власть, но никак не воля.

В самом деле, если возможно, что воля отдельного человека в некоем пункте согласуется с общей волей, то уж никак не возможно, чтобы это согласие было длительным и постоянным, ибо воля отдельного человека по своей природе стремится к преимуществам, а общая воля — к равенству. Еще менее возможно, чтобы кто-либо поручился за такого рода согласие, хотя такой поручитель и должен был бы всегда существовать; это было бы делом не искусства, а случая. Суверен вполне может заявить: «Сегодня я хочу того же, чего хочет или, по крайней мере, говорит, что хочет, такой-то человек». Но он не может сказать: «Я захочу также и того, чего захочется этому человеку завтра» —

потому что нелепо, чтобы воля сковывала себя на будущее время и потому что ни от какой воли не зависит соглашаться на что-либо противное благу существа, обладающего волею. Если, таким образом, народ просто обещает повиноваться, то этим актом он себя уничтожает; он перестает быть народом. В тот самый миг, когда появляется господин, — нет более суверена; и с этого времени Политический организм уничтожен.

Это вовсе не означает, что приказания правителей не могут считаться изъявлениями общей воли в том случае, когда суверен, будучи свободен противиться им, этого не делает. В подобном случае всеобщее молчание следует считать знаком согласия народа. Это будет объяснено ниже более пространно\*.

## Г л а в а II

### О ТОМ, ЧТО СУВЕРЕНИТЕТ НЕДЕЛИМ

В силу той же причины, по которой суверенитет неотчуждаем, он неделим, ибо воля либо является общею, либо ею не является; она являет собою волю народа как целого, либо — только одной его части. В первом случае это провозглашенная воля есть акт суверенитета и создает закон. Во втором случае — это лишь частная воля или акт магистратуры; это, самое большее, — декрет.

Но наши политики<sup>54</sup>, не будучи в состоянии разделить суверенитет в принципе его, разделяют суверенитет в его проявлениях. Они разделяют его на силу и на волю, на власть законодательную и на власть исполнительную; на право облагать налогами, отправлять правосудие, вести войну; на управление внутренними делами и на полномочия вести внешние сношения; они то смешивают все эти части, то отделяют их друг от друга; они делают из суверена какое-то фантастическое существо, сложенное из частей, взятых из разных мест. Это похоже на то, как если бы составили человека из нескольких тел, из которых у одного были бы только глаза, у другого — руки, у третьего — ноги и ничего более. Говорят, японские фокусники на глазах у зрителей

---

\* Для того чтобы воля была общею, не всегда необходимо, чтобы она была единодушна; но необходимо, чтобы были подсчитаны все голоса; любое изъятие нарушает общий характер воли.

рассекают на части ребенка, затем бросают в воздух один за другим все его члены — и ребенок падает на землю вновь живой и целый. Таковы, приблизительно, приемы и наших политиков: расчленив Общественный организм с помощью достойного ярмарки фокуса, они затем, не зная уже как, вновь собирают его из кусков.

Заблуждение это проистекает из того, что они не составили себе точных представлений о верховной власти и приняли за ее части лишь ее проявления. Так, например, акт объявления войны и акт заключения мира рассматривали как акты суверенитета, что неверно, так как каждый из этих актов вовсе не является законом, а лишь применением закона, актом частного характера, определяющим случай применения закона, как мы это ясно увидим, когда будет точно установлено понятие, связанное со словом *законом*.

Прослеживая таким же образом другие примеры подобного разделения суверенитета, мы обнаружим, что всякий раз когда нам кажется, что мы наблюдаем, как суверенитет разделен, мы совершаем ошибку; что те права, которые мы принимаем за части этого суверенитета, все ему подчинены и всегда предполагают наличие высшей воли, которой они только открывают путь к осуществлению.

Невозможно и выразить, каким туманом облеклись в результате столь неточных представлений о верховной власти выводы авторов, писавших о политическом праве, когда те пытались на основании установленных ими принципов судить о соответственных правах королей и подданных. Каждый может увидеть в третьей и четвертой главах первой книги Гроция<sup>55</sup>, как этот ученый муж и его переводчик Барбейрак путаются и сбиваются в своих софизмах, боясь слишком полно высказать свои мысли или же сказать о них недостаточно и столкнуть интересы, которые они должны были бы примирить. Гроций, бежавший во Францию, недовольный своим отечеством и желая угодить Людовику XIII, которому посвящена его книга, ничего не жалеет, чтобы отнять у народов все их права и сколь возможно искуснее облечь этими правами королей. К этому же, очевидно стремился и Барбейрак, посвятивший свой перевод королю Англии Георгу I<sup>56</sup>. Но, к сожалению, изгнание Якова II<sup>57</sup>, которое он называет отречением, принуждало его сдерживаться, прибегать к различным передержкам и уверткам, чтобы не выставить Вильгельма узурпатором<sup>58</sup>. Если бы оба

эти автора следовали истинным принципам, все трудности были бы устранены, и они оставались бы все время последовательными, но тогда они, увы, сказали бы правду и угодили бы этим только народу. Но истина никогда не ведет к богатству и народ не дает ни поста посланника, ни кафедр, ни пенсий.

### Г л а в а III

## МОЖЕТ ЛИ ОБЩАЯ ВОЛЯ ЗАБЛУЖДАТЬСЯ<sup>59</sup>

Из предыдущего следует, что общая воля неизменно направлена прямо к одной цели и стремится всегда к пользе общества, но из этого не следует, что решения народа имеют всегда такое же верное направление. Люди всегда стремятся к своему благу, но не всегда видят, в чем оно. Народ не подкупишь, но часто его обманывают и притом лишь тогда, когда кажется, что он желает дурного<sup>60</sup>.

Часто существует немалое различие между волею всех и общею волею. Эта вторая блудет только общие интересы; первая — интересы частные и представляет собою лишь сумму изъявлений воли частных лиц. Но отбросьте из этих изъявлений воли взаимно уничтожающиеся крайности\*; в результате сложения оставшихся расхождений получится общая воля.

Когда в достаточной мере осведомленный народ выносит решение, то, если граждане не вступают между собою ни в какие сношения, из множества незначительных различий вытекает всегда общая воля и решение всякий раз оказывается правильным. Но когда в ущерб основной ассоциации образуются сговоры, частичные ассоциации<sup>61</sup>, то воля каждой из этих ассоциаций становится общею по отношению к ее членам и частною по отношению к Государству; тогда можно сказать, что голосующих не столько же, сколько людей, но лишь столько, сколько ассоциаций. Различия

\* «Каждый интерес, — говорит м[аркиз] д'А[ржансон], — основывается на другом начале. Согласие интересов двух частных лиц возникает вследствие противоположности их интересу третьего<sup>62</sup>. Он мог бы добавить, что согласие всех интересов возникает вследствие противоположности их интересу каждого. Не будь различны интересы, едва ли можно был бы понять, что такое интерес общий, который тогда не встречал бы никакого противодействия; все шло бы само собой и политика не была бы более искусством.

становятся менее многочисленными и дают менее общий результат. Наконец, когда одна из этих ассоциаций настолько велика, что берет верх над всеми остальными, в результате получится уже не сумма незначительных расхождений, но одно-единственное расхождение. Тогда нет уже больше общей воли, и мнение, которое берет верх, есть уже не что иное, как мнение частное.

Важно, следовательно, дабы получить выражение именно общей воли, чтобы в Государстве не было ни одного частичного сообщества и чтобы каждый гражданин высказывал только свое собственное мнение\*; таково было единственное в своем роде и прекрасное устройство, данное великим Ликургом. Если же имеются частичные сообщества, то следует увеличить их число и тем предупредить неравенство между ними, как это сделали Солон, Нума<sup>63</sup>, Сервий<sup>64</sup>. Единственно эти предосторожности пригодны для того, чтобы просветить общую волю, дабы народ никогда не ошибался.

#### Г л а в а IV

### О ГРАНИЦАХ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ СУВЕРЕНА

Если Государство или Гражданская община — это не что иное, как условная личность, жизнь которой заключается в союзе ее членов, и если самой важной из забот ее является забота о самосохранении, то ей нужна сила всеобщая и побудительная, дабы двигать и управлять каждой частью наиболее удобным для целого способом. Подобно тому, как природа наделяет каждого человека неограниченной властью над всеми членами его тела, общественное соглашение дает Политическому организму неограниченную власть над

\* «Vera cosa è, — говорит Макиавелли, — che alcune divisioni nucono alle repubbliche, e alcune giovano: che sono dalle sette e da partigiani accompagnate; quelle giovano, che senza sette, senza partigiani, si mantengono. Non potendo adunque provedere un fondatore d'una repubblica che non siano nimicizie in quella, ha da proveder almeno che non vi siano sette» *Hist. Florent.*, lib. VII. («Верно, — говорит Макиавелли, — что некоторые разделения причиняют вред республикам, а некоторые приносят пользу: те, что причиняют вред, связаны с наличием сект и партий; те же, что приносят пользу, существуют без партий, без сект. Следовательно, поскольку основатель республики не может предусмотреть, что в ней не будет проявлений вражды, он должен, по крайней мере, обеспечить, чтобы в ней не было сект». «Ист[ория] Флоренц[ии]», кн. VII<sup>65</sup> (итал.)).

всеми его членами, и вот эта власть, направляемая общею волей, носит, как я сказал, имя суверенитета.

Но, кроме общества как лица юридического, мы должны принимать в соображение и составляющих его частных лиц, чья жизнь и свобода, естественно, от него независимы. Итак, речь идет о том, чтобы четко различать соответственно права граждан и суверена\*; а также обязанности, которые первые должны нести в качестве подданных, и естественное право, которым они должны пользоваться как люди.

Все согласны<sup>66</sup> с тем, что все то, что каждый человек отчуждает по общественному соглашению из своей силы, своего имущества и своей свободы, составляет лишь часть всего того, что имеет существенное значение для общины. С этим все согласны; но надо также согласиться с тем, что один только суверен может судить о том, насколько это значение велико.

Все то, чем гражданин может служить Государству, он должен сделать тотчас же, как только суверен этого требует, но суверен, со своей стороны, не может налагать на подданных узы, бесполезные для общины; он не может даже желать этого, ибо как в силу закона разума, так и в силу закона естественного ничто не совершается без причины.

Обязательства, связывающие нас с Общественным организмом, непреложны лишь потому, что они взаимны и природа их такова, что, выполняя их, нельзя действовать на пользу другим, не действуя также на пользу себе. Почему общая воля всегда направлена прямо к одной цели и почему все люди постоянно желают счастья каждого из них, если не потому, что нет никого, кто не относил бы этого слова *каждый* на свой счет и кто не думал бы о себе, голосуя в интересах всех? Это доказывает, что равенство в правах и порождаемое им представление о справедливости вытекает из предпочтения, которое каждый оказывает самому себе и, следовательно, из самой природы человека; что общая воля, для того, чтобы она была поистине таковой, должна быть общей как по своей цели, так и по своей сущности; что она должна исходить от всех, чтобы относиться ко всем, и что она теряет присущее ей от природы верное направление, если устремлена к какой-либо индивидуальной

---

\* Внимательные читатели, не спешите, пожалуйста, обвинять меня здесь в противоречии. Я не мог избежать его в выражениях вследствие бедности языка; но подождите.

и строго ограниченной цели, ибо тогда, поскольку мы выносим решение о том, что является для нас посторонним, нами уже не руководит никакой истинный принцип равенства.

В самом деле, как только речь заходит о каком-либо факте или частном праве на что-либо, не предусмотренном общим и предшествующим соглашением, то дело становится спорным. Это — процесс, в котором заинтересованные люди составляют одну из сторон, а весь народ — другую, но в котором я не вижу ни закона, коему надлежит следовать, ни судьи, который должен вынести решение. Смешно было бы тогда ссылаться на особо по этому поводу принятое решение общей воли, которое может представлять собою лишь решение, принятое одной из сторон и которое, следовательно, для другой стороны является только волею постороннею, частною, доведенною в этом случае до несправедливости и подверженной заблуждениям. Поэтому, подобно тому, как частная воля не может представлять волю общую, так и общая воля, в свою очередь, изменяет свою природу, если она направлена к частной цели, и не может, как общая, выносить решение ни в отношении какого-нибудь человека, ни в отношении какого-нибудь факта. Когда народ Афин, например, нарицал или смецал своих правителей, воздавал почести одному, налагал наказания на другого и посредством множества частных декретов осуществлял все без исключения действия Правительства, народ не имел уже тогда общей воли в собственном смысле этих слов; он действовал уже не как суверен, но как магистрат. Это покажется противным общепринятым представлениям, но дайте мне время изложить мои собственные.

Исходя из этого, надо признать, что волю делает общемою не столько число голосов, сколько общий интерес, объединяющий голосующих, ибо при такого рода устройении каждый по необходимости подчиняется условиям, которые он делает обязательными для других: тут замечательно согласуются выгода и справедливость, что придает решениям по делам, касающимся всех, черты равенства, которое тотчас же исчезает при разбирательстве любого частного дела, ввиду отсутствия здесь того общего интереса, который объединил и отождествлял бы правила судьи с правилами тяжущейся стороны.

С какой бы стороны мы ни восходили к основному принципу, мы всегда придем к одному и тому же заключению, именно: общественное соглашение устанавливает между гражданами такого рода равенство, при котором все они принимают на себя обязательства на одних и тех же условиях и все должны пользоваться одинаковыми правами. Таким образом, по самой природе этого соглашения, всякий акт суверенитета, т. е. всякий подлинный акт общей воли, налагает обязательства на всех граждан или дает преимущества всем в равной мере; так что суверен знает лишь Nation как целое, и не различает ни одного из тех, кто ее составляет. Что же, собственно, такое акт суверенитета? Это не соглашение высшего с низшим, но соглашение Целого с каждым из его членов; соглашение законное, ибо оно имеет основою Общественный договор; справедливое, ибо оно общее для всех; полезное, так как оно не может иметь иной цели, кроме общего блага; и прочное, так как поручителем за него выступает вся сила общества и высшая власть. До тех пор, пока подданные подчиняются только такого рода соглашениям, они не подчиняются никому, кроме своей собственной воли; и спрашивать, каковы пределы прав соответственно суверена и граждан, это значит спрашивать, до какого предела могут брать обязательства, которые эти последние могут брать по отношению к самим себе — каждый в отношении всех и все в отношении каждого из них.

Из этого следует, что верховная власть, какой бы неограниченной, священной, неприкосновенной она ни была, не переступает и не может переступать границ общих соглашений, и что каждый человек может всецело распоряжаться тем, что ему эти соглашения предоставили из его имущества и его свободы; так что суверен никак не вправе наложить на одного из подданных большее бремя, чем на другого. Ибо тогда спор между ними приобретает частный характер и поэтому власть суверена здесь более не компетентна.

Раз мы допустили эти различия, в высшей степени неверно было бы утверждать, что Общественный договор требует в действительности от частных лиц отказа от чего-либо; положение последних в результате действия этого договора становится на деле более предпочтительным, чем то, в котором они находились ранее, так как они не отчуждают что-либо, но совершают лишь выгодный для них об-

мен образа жизни неопределенного и подверженного случайности на другой — лучший и более надежный; естественной независимости — на свободу; возможности вредить другим — на собственную безопасность; и своей силы, которую другие могли бы превзойти, на право, которое объединение в обществе делает неодолимым. Сама их жизнь, которую они доверили Государству, постоянно им защищается, и если они рискуют ею во имя его защиты, то разве делают они этим что-либо иное, как не отдают ему то, что от него получили? Что же они делают такого, чего не делали еще чаще и притом с большей опасностью, в естественном состоянии, если, вступая в неизбежные схватки, будут защищать с опасностью для своей жизни то, что служит им для ее сохранения? Верно, что все должны сражаться за самого себя. И разве мы не выигрываем, подвергаясь ради того, что обеспечивает нам безопасность, части того риска, которому на обязательно пришлось бы подвергнуться ради нас самих, как только мы лишились бы этой безопасности?

## Г л а в а V

### О ПРАВЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Спрашивают: как частные лица<sup>67</sup>, отнюдь не имея права распоряжаться своею собственной жизнью, могут передавать суверену именно то право, которого у них нет<sup>68</sup>. Этот вопрос кажется трудноразрешимым лишь потому, что он неверно поставлен. Всякий человек вправе рисковать своею собственной жизнью, чтобы ее сохранить. Разве когда-либо считали, что тот, кто выбрасывается из окна, чтобы спастись от пожара, виновен в покушении на самоубийство? Разве обвиняют когда-либо в этом преступлении того, кто погибает в бурю, хотя при выходе в море он уже знал об опасности ее приближения?

Общественный договор имеет своей целью сохранение договаривающихся. Кто хочет достичь цели, тот принимает и средства ее достижения, а эти средства неотделимы от некоторого риска, даже связаны с некоторыми потерями. Тот, кто хочет сохранить свою жизнь за счет других, должен, в свою очередь, быть готов отдать за них жизнь, если это будет необходимо. Итак, гражданину уже не приходится судить об опасности, которой Закону угодно его подверг-

нуть, и когда государь говорит ему: «Государству необходимо, чтобы ты умер», — то он должен умереть, потому что только при этом условии он жил до сих пор в безопасности и потому что его жизнь не только благодеяние природы, но и дар, полученный им на определенных условиях от Государства.

Смертная казнь, применяемая к преступникам, может рассматриваться приблизительно с такой же точки зрения: человек, чтобы не стать жертвой убийцы, соглашается умереть в том случае, если сам станет убийцей. Согласно этому договору, далекие от права распоряжаться своей собственной жизнью люди стремятся к тому, чтобы ее обезопасить; и не должно предполагать, что кто-либо из договаривающихся заранее решил дать себя повесить.

Впрочем, всякий преступник, посягающий на законы общественного состояния, становится по причине своих преступлений мятежником и предателем отечества; он перестает быть его членом, если нарушил его законы; и даже он ведет против него войну. Тогда сохранение Государства несовместимо с сохранением его жизни; нужно, чтобы один из двух погиб, а когда убивают виновного, то его уничтожают не столько как гражданина, сколько как врага. Судебная процедура, приговор — это доказательство и признание того, что он нарушил общественный договор и, следовательно, не является более членом Государства. Но поскольку он признал себя таковым, по крайней мере своим пребыванием в нем, то он должен быть исключен из государства путем либо изгнания как нарушитель соглашения, либо же путем смертной казни как враг общества. Ибо такой враг — это не условная личность, это — человек; а в таком случае по праву войны побежденного можно убить.

Но, скажут мне, осуждение преступника есть акт частного характера. Согласен: потому право осуждения вовсе не принадлежит суверену; это — право, которое он может передать, не будучи в состоянии осуществлять его сам. Все мои мысли связаны одна с другою, но я не могу изложить их все сразу.

Кроме того, частые казни — это всегда признак слабости или нерадивости Правительства. Нет злодея, которого нельзя было бы сделать на что-нибудь годным. Мы вправе умертвить, даже в назидание другим, лишь того, кого опасно оставлять в живых<sup>69</sup>.

Что до права помилования или освобождения виновного от наказания, положенного по Закону и определенного судьей, то оно принадлежит лишь тому, кто стоит выше и судьи и Закона, т. е. суверену; но это его право еще не вполне ясно, да и случаи применения его очень редки. В хорошо управляемом Государстве казней мало не потому, что часто даруют помилование, а потому, что здесь мало преступников; в Государстве, клонящемся к упадку, многочисленность преступлений делает их безнаказанными. В Римской Республике ни Сенат, ни консулы никогда не пытались применять право помилования; не делал этого и народ, хотя он иногда и отменял свои собственные решения. Частые помилования предвещают, что вскоре преступники перестанут в них нуждаться, а всякому ясно, к чему это ведет. Но я чувствую, что сердце мое ропщет и удерживает мое перо; предоставим обсуждение этих вопросов человеку справедливому, который никогда не оступался и сам никогда не нуждался в прощении.

## Г л а в а VI О ЗАКОНЕ

Общественным соглашением мы дали Политическому организму существование и жизнь; сейчас речь идет о том, чтобы при помощи законодательства сообщить ему движение и наделить волей. Ибо первоначальный акт, посредством которого этот организм образуется и становится единым, не определяет еще ничего из того, что он должен делать, чтобы себя сохранить.

То, что есть благо и что соответствует порядку<sup>70</sup>, является таковым по природе вещей и не зависит от соглашений между людьми. Всякая справедливость — от Бога, Он один — ее источник; но если бы мы умели получать ее с такой высоты, мы бы не нуждались ни в правительстве, ни в законах. Несомненно, существует всеобщая справедливость, исходящая лишь от разума, но эта справедливость, чтобы быть принятой нами, должна быть взаимной. Если рассматривать вещи с человеческой точки зрения, то при отсутствии естественной санкции законы справедливости бессильны между людьми; они приносят благо лишь бесчестному и несчастью — праведному, если этот последний со-

блюдают их в отношениях со всеми, а никто не соблюдает их в своих отношениях с ним. Необходимы, следовательно, соглашения и законы, чтобы объединить права и обязанности и вернуть справедливость к ее предмету. В естественном состоянии, где все общее, я ничем не обязан тем, кому я ничего не обещал; я признаю чужим лишь то, что мне не нужно. Совсем не так в гражданском состоянии, где все права определены Законом.

Но что же такое, в конце концов, закон? До тех пор, пока люди не перестанут вкладывать в это слово лишь метафизические понятия<sup>71</sup>, мы в наших рассуждениях будем, по-прежнему, уж не понимать друг друга; и даже если объяснят нам, что такое закон природы, это еще не значит, что благодаря этому мы лучше поймем, что такое закон Государства.

Я уже сказал, что общая воля не может высказаться по поводу предмета частного. В самом деле, этот частный предмет находится либо в Государстве, либо вне его. Если он вне Государства, то посторонняя ему воля вовсе не является общей по отношению к нему; а если этот предмет находится в Государстве, то он составляет часть Государства: тогда между целыми и частью устанавливается такое отношение, которое превращает их в два отдельных существа; одно — это часть, а целое без части — другое. Но целое минус часть вовсе не есть целое; и пока такое отношение существует, нет более целого, а есть две неравные части; из чего следует, что воля одной из них вовсе не является общею по отношению к другой.

Но когда весь народ выносит решение, касающееся всего народа, он рассматривает лишь самого себя, и если тогда образуется отношение, то это — отношение целого предмета, рассматриваемого с одной точки зрения, к целому же предмету, рассматриваемому с другой точки зрения, — без какого-либо разделения этого целого. Тогда сущность того, о чем выносится решение, имеет общий характер так же, как и воля, выносящая это решение. Этот именно акт я и называю законом.

Когда я говорю, что предмет законов всегда имеет общий характер, я разумею под этим, что Закон рассматривает подданных как целое, а действия — как отвлечение, но никогда не рассматривает человека как индивидуум или отдельный поступок. Таким образом, Закон вполне может

установить, что будут существовать привилегии, но он не может предоставить таковые никакому определенному лицу; Закон может создать несколько классов граждан, может даже установить те качества, которые дадут право принадлежать к каждому из этих классов; но он не может конкретно указать, что такие-то и такие-то лица будут включены в тот или иной из этих классов; он может установить королевское Правление и сделать корону наследственной; но он не может ни избирать короля, ни провозглашать какую-либо семью царствующей, — словом, всякое действие, объект которого носит индивидуальный характер, не относится к законодательной власти.

Уяснив себе это, мы сразу же поймем, что теперь излишне спрашивать о том, кому надлежит создавать законы, ибо они суть акты общей воли; и о том, стоит ли государь выше законов, ибо он член Государства; и о том, может ли Закон быть несправедливым, ибо никто не бывает несправедлив по отношению к самому себе; и о том, как можно быть свободным и подчиняться законам, ибо они суть лишь записи изъявлений нашей воли.

И еще из этого видно, что раз в Законе должны сочетаться всеобщий характер воли и таковой же ее предмета, то все распоряжения, которые самовластно делает какой-либо частный человек, кем бы он ни был, никоим образом законами не являются. Даже то, что приказывает суверен по частному поводу, — это тоже не закон, а декрет; и не акт суверенитета, а акт магистратуры.

Таким образом, я называю Республикою всякое Государство, управляемое посредством законов<sup>72</sup>, каков бы ни был при этом образ управления им; ибо только тогда интерес общий правит Государством и общее благо означает нечто. Всякое Правление\* посредством законов, есть республиканское: что такое Правление, я разъясню ниже.

Законы, собственно — это лишь условия гражданской ассоциации. Народ, повинующийся законам, должен быть их творцом: лишь тем, кто вступает в ассоциацию, положено определять условия общежития. Но как они их определяют? Сделают это с общего согласия, следуя внезапному

---

\* Под этим словом я разумею не только Аристократию или Демократию, но вообще всякое Правление, руководимое общей волей, каковая есть Закон. Чтобы Правительство было законосообразным, надо, чтобы оно не смешивало себя с сувереном, но чтобы оно было его служителем: тогда даже Монархия есть Республика. Это станет ясным из следующей книги.

вдохновению? Есть ли у Политического организма орган для выражения его воли? Кто сообщит ему предусмотрительность, необходимую, чтобы проявления его воли превратить в акты и заранее их обнародовать? Как иначе провозгласит он их в нужный момент? Как может слепая толпа, которая часто не знает, чего она хочет, ибо она редко знает, что ей на пользу, сама совершить столь великое и столь трудное дело, как создание системы законов? Сам по себе народ всегда хочет блага, но сам он не всегда видит, в чем оно. Общая воля всегда направлена верно и прямо, но решение, которое ею руководит, не всегда бывает просвещенным. Ей следует показать вещи такими, какие они есть, иногда — такими, какими они должны ей представляться; надо показать ей тот верный путь, который она ищет; оградить от сводящей ее с этого пути воли частных лиц; раскрыть перед ней связь стран и эпох; уравновесить привлекательность близких и ощутимых выгод опасностью отдаленных и скрытых бед. Частные лица видят благо, которое отвергают; народ хочет блага, но не ведает в чем оно. Все в равной мере нуждаются в поводырях. Надо обязать первых согласовать свою волю с их разумом; надо научить второй знать то, чего он хочет. Тогда результатом просвещения народа явится союз разума и воли в Общественном организме; отсюда возникает точное взаимодействие частей и, в завершение всего, наибольшая сила целого. Вот что порождает нужду в Законодателе.

## Г л а в а VII О ЗАКОНОДАТЕЛЕ

Для того чтобы открыть наилучшие правила общежития, подобающие народам, нужен ум высокий, который видел бы все страсти людей и не испытывал ни одной из них; который не имел бы ничего общего с нашею природой, но знал ее в совершенстве; чье счастье не зависело бы от нас, но кто согласился бы все же заняться нашим счастьем; наконец, такой, который, уготовляя себе славу в отдаленном будущем, готов был бы трудиться в одном веке, а пожинать плоды в другом\*. Потребовались бы Боги, чтобы дать законы людям.

---

\* Народ становится знаменитым лишь когда его законодательство начинает клониться к упадку. Неизвестно, в течение скольких веков устройство,

Тот же вывод, который делал Калигула применительно к фактам, Платон возводил в принцип для определения свойств человека, призванного к гражданской деятельности или к тому, чтобы стать царем, принцип, поисками которого он занят в своей книге о Правлении<sup>73</sup>. Но если верно, что великие государи встречаются редко, то что же тогда говорить о великом Законодателе? Первому надлежит лишь следовать тому образцу, который должен предложить второй. Этот — механик, который изобретает машину; тот — лишь рабочий, который ее собирает и пускает в ход. При рождении обществ, — говорит Монтескье, — сначала правители Республик создают установления, а затем уже установления создают правителей Республик<sup>74</sup>.

Тот, кто берет на себя смелость дать установления какому-либо народу, должен чувствовать себя способным изменить, так сказать, человеческую природу, превратить каждого индивидуума, который сам по себе есть некое замкнутое и изолированное целое, в часть более крупного целого, от которого этот индивидуум в известном смысле получает свою жизнь и свое бытие; переиначить организм человека, дабы его укрепить; должен поставить на место физического и самостоятельного существования, которое нам всем дано природой, существование частичное и моральное. Одним словом, нужно, чтобы он отнял у человека его собственные силы и дал ему взамен другие, которые были бы для него чужими и которыми он не мог бы пользоваться без содействия других. Чем больше эти естественные силы иссякают и уничтожаются, а силы, вновь приобретенные, возрастают и укрепляются, тем более прочным и совершенным становится также и первоначальное устройство; так что, если каждый гражданин ничего собою не представляет и ничего не может сделать без всех остальных, а сила, приобретенная целым, равна сумме естественных сил всех индивидуумов или превышает эту сумму, то можно сказать, что законы достигли то самой высокой степени совершенства, какая только им доступна.

Законодатель — во всех отношениях человек необыкновенный в Государстве. Если он должен быть таковым по своим дарованиям, то не в меньшей мере должен он быть таковым по своей роли. Это — не магистратура; это — не

---

данное Ликургом, составляло счастье спартанцев, прежде чем о них заговорили в других частях Греции.

суверенитет. Эта роль учредителя Республики совершенно не входит в ее учреждение. Это — должность особая и высшая, не имеющая ничего общего с властью человеческой. Ибо если тот, кто повелевает людьми, не должен властвовать над законами, то и тот, кто властвует над законами, также не должен повелевать людьми. Иначе его законы, орудия его страстей, часто лишь увековечивали бы совершенные им несправедливости; он никогда не мог бы избежать того, чтобы частные интересы не искажали святости его создания.

Когда Ликург давал законы своему отечеству, он начал с того, что оторкся от царской власти<sup>75</sup>. В большинстве греческих городов существовал обычай поручать составление законов чужестранцам. Этому обычаю часто подражали итальянские Республики нового времени; также поступила Женевская Республика, и она не может пожаловаться на результаты\*. Рим в пору своего наибольшего расцвета увидел, как возродились в его недрах все преступления тирании, и видел себя уже на краю гибели, потому что соединил на головах одних и тех же людей знаки достоинства законодателя и власти царя.

Между тем даже Децемвиры никогда не присваивали себе<sup>76</sup> права вводить какой-либо закон своею собственною властью. *«Ничто из того, что мы вам предлагаем, — говорили они народу, — не может превратиться в закон без вашего согласия. Римляне, будьте сами творцами законов, которые должны составить ваше счастье».*

Вот почему тот, кто составляет законы, не имеет, следовательно, или не должен иметь какой-либо власти их вводить; народ же не может, даже при желании, лишить себя этого непередаваемого права, ибо согласно первоначальному соглашению, только общая воля налагает обязательства на частных лиц, и никогда нельзя быть уверенным в том, что воля какого-либо частного лица согласна с общею, пока она не станет предметом свободного голосования народа. Я уже это говорил, но не бесполезно это еще раз повторить.

---

\* Те, кто смотрят на Кальвина лишь как на богослова<sup>77</sup>, не понимают, по-видимому, всей широты его гения. Составление наших мудрых Эдиктов, в котором он принимал немалое участие, делает ему столько же чести, как и его «Наставление»<sup>78</sup>. Какие бы перевороты ни произошли со временем в нашей вере, — до тех пор пока не угаснет среди нас любовь к отечеству и свободе, — в нашей стране никогда не перестанут благословлять память этого великого человека.

Итак, мы обнаруживаем в деле создания законов одновременно две вещи, которые, казалось бы, исключают одна другую: предприятие, повышающее человеческие силы, и, для осуществления его, — власть, которая сама по себе ничего не значит.

И вот еще одна трудность, заслуживающая внимания. Мудрецы, которые хотят говорить с простым народом своим, а не его языком, никогда не смогут стать ему понятными. Однако есть множество разного рода понятий, которые невозможно перевести на язык народа. Очень широкие планы и слишком далекие предметы равно ему недоступны; поскольку каждому индивидууму по вкусу лишь такая цель управления, которая отвечает его частным интересам, он плохо представляет себе те преимущества, которые извлекает из постоянных лишений, налагаемых на него благими законами. Для того чтобы рождающийся народ мог одобрить здравые положения политики и следовать основным правилам пользы государственной, необходимо, чтобы следствие могло превратиться в причину, чтобы дух общежительности, который должен быть результатом первоначального устройства, руководил им, и чтобы люди до появления законов были тем, чем они должны стать благодаря этим законам. Так, Законодатель, не имея возможности воспользоваться ни силою, ни доводами, основанными на рассуждении, по необходимости прибегает к власти иного рода, которая может увлекать за собою, не прибегая к насилию, и склонять на свою сторону, не прибегая к убеждению.

Вот что во все времена вынуждало отцов наций призывать к себе на помощь небо и наделять своею собственной мудростью богов, дабы народы, покорные законам Государства как законам природы и усматривая одну и ту же силу в сотворении человека и в создании Гражданской общины, повиновались по своей воле и покорно несли бремя общественного благоденствия.

Решения этого высшего разума, недоступного простым людям, Законодатель и вкладывает в уста бессмертных, чтобы увлечь божественною властью тех, кого не смогло бы поколебать в их упорстве человеческое благоразумие\*.

---

\* *«E veramente, — говорит Макиавелли, — mai non fù alcuno ordinatore di leggi straordinarie in un popolo, che non ricorresse a Dio, perchè altrimenti non sarebbero accettate; perchè sono molti beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in se ragioni evidenti da potergli persuadere ad altrui».* —

Но не всякому человеку пристало возвестить глас богов и не всякому поверят, если он объявит себя истолкователем их воли. Великая душа Законодателя — это подлинное чудо<sup>79</sup>, которое должно оправдать его призвание. Любой человек может высечь таблицы на камне или приобрести треножник для предсказаний; или сделать вид, что вступил в тайные сношения с каким-нибудь божеством; или выучить птицу, чтобы она вещала ему что-либо на ухо; или найти другие грубые способы обманывать народ. Тому, кто умеет делать лишь это, пожалуй, удастся собрать толпу безумцев; но ему никогда не основать царства, и его нелепое создание вскоре погибнет вместе с ним. Пустые фокусы создают скоропреходящую связь, лишь мудрость делает ее долговременной. Все еще действующий иудейский закон и закон потомка Исмаила<sup>80</sup>, что вот уже десять веков управляет половиною мира, донныне возвещают о великих людях, которые их продиктовали, и в то же время как горделивая философия или слепой сектантский дух видят в них лишь удачливых обманщиков<sup>81</sup>, истинного политика восхищает в их установлениях тот великий и могучий гений, который дает жизнь долговечным творениям.

Не следует, однако, заключать из всего этого вместе с Уорбертоном<sup>82</sup>, что предмет политики и религии в наше время один и тот же; но что при становлении народов одна служит орудием другой<sup>83</sup>.

## Г л а в а VIII О НАРОДЕ

Подобно архитектору, который, прежде чем воздвигнуть большое здание, обследует и изучает почву, чтобы узнать сможет ли она выдержать его тяжесть, мудрый законодатель не начинает с сочинения законов, самых благих самих по себе, но испытует предварительно, способен ли народ, которому он их предназначает, их выдержать. Вот почему Платон отказался дать законы жителям Аркадии<sup>84</sup> и Кире-

---

*Discorsi sopra Tito Livio*, L. I. cap. XI. «В самом деле, не было ни одного учредителя чрезвычайных законов какого-либо народа, который бы не прибегнул к Богу, так как иначе они не были бы приняты; есть много благ, которые хорошо понятны мудрецам, но сами по себе недостаточно очевидны, чтобы можно было убедить в них других людей». — «Рассуждение на первую декаду Тита Ливия», кн. 1, гл. XI (итал.).

наики<sup>85</sup>, зная, что оба эти народа богаты и не потерпят равенства. Вот почему на Крите были хорошие законы и дурные люди, ибо Минос взялся устанавливать порядок<sup>86</sup> в народе, исполненном пороков.

Блистали на земле тысячи таких народов, которые никогда не вынесли бы благих законов; народы же, которые способны были к этому, имели на то лишь весьма краткий период времени во всей своей истории. Большинство народов как и людей, восприимчивы лишь в молодости; старея, они становятся неисправимыми. Когда обычаи уже установились и предрассудки укоренились, опасно и бесполезно было бы пытаться их преобразовать; народ даже не терпит, когда касаются его недугов, желая их излечить, подобно тем глупым и малодушным больным, которые дрожат при виде врача.

Это не значит, что подобно некоторым болезням, которые все переворачивают в головах людей и отнимают у них память о прошлом, и в истории Государств не бывает бурных времен, когда перевороты действуют на народы так же, как некоторые кризисы на индивидуумов; когда на смену забвению приходит ужас перед прошлым и когда Государство, пожираемое пламенем гражданских войн, так сказать, возрождается из пепла и вновь оказывается в расцвете молодости, освобождаясь из рук смерти. Так было со Спартой во времена Ликурга, с Римом после Тарквиниев, так было в наши времена в Голландии и в Швейцарии после изгнания тиранов<sup>87</sup>.

Но такие события редки: это — исключения, причина которых всегда лежит в особой природе такого Государства. Они даже не могли бы повториться дважды в жизни одного и того же народа; ибо он может сделаться свободным тогда, когда находится в состоянии варварства, но более на это не способен, когда движитель гражданский износился<sup>88</sup>. Тогда смуты могут такой народ уничтожить, переворотам же более его не возродить; и как только разбиты его оковы, он и сам распадается и уже больше не существует как народ. Отныне ему требуется уже повелитель, а никак не освободитель. Свободные народы, помните правило: «Можно завоевать свободу, но нельзя обрести ее вновь».

Юность — не детство<sup>89</sup>. У народов, как и людей, существует пора юности или, если хотите, зрелости, которой следует дожидаться, прежде чем подчинять их законам. Но

наступление зрелости у народа не всегда легко распознать; если же ввести законы преждевременно, то весь труд пропал. Один народ восприимчив уже от рождения, другой не становится таковым и по прошествии десяти веков. Русские никогда не станут истинно цивилизованными, так как они подверглись цивилизации чересчур рано. Петр обладал талантами подражательными, у него не было подлинного гения, того, что творит и создает все из ничего. Кое-что из сделанного им было хорошо, большая часть была не к месту. Он понимал, что его народ был диким, но совершенно не понял, что он еще не созрел для уставов гражданского общества<sup>90</sup>. Он хотел сразу просветить и благоустроить свой народ, в то время как его надо было еще приучать к трудностям этого. Он хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских. Он помешал своим подданным стать когда-нибудь тем, чем они могли бы стать, убедив их, что они были тем, чем они не являются. Так наставник-француз воспитывает своего питомца, чтобы тот блистал в детстве, а затем навсегда остался ничтожеством. Российская империя пожелает покорить Европу — и сама будет покорена. Татары, ее подданные или ее соседи, станут ее, как и нашими повелителями<sup>91</sup>. Переворот этот кажется мне неизбежным. Все короли Европы сообща способствуют его приближению.

## Г л а в а IX ПРОДОЛЖЕНИЕ

Подобно тому, как природа установила границы роста для хорошо сложенного человека, за пределами которых она создает уже лишь великанов или карликов, так и для наилучшего устройства Государства есть свои границы протяженности, которою оно может обладать и не быть при этом ни слишком велико, чтобы им можно было хорошо управлять, ни слишком мало, чтобы оно было в состоянии поддерживать свое существование собственными силами<sup>92</sup>. Для всякого Политического организма есть свой *максимум* силы, который он не может превышать и от которого он, увеличиваясь в размерах, часто отдаляется. Чем более растягивается связь общественная, тем более она слабеет; и вообще Государство малое относительно сильнее большого.

Тысячи доводов подтверждают это правило. Во-первых, управление становится более затруднительным при больших расстояниях, подобно тому, как груз становится более тяжелым на конце большого рычага. Управление становится также более обременительным по мере того, как умножаются его ступени. Ибо в каждом городе есть прежде всего свое управление, которое оплачивается народом; в каждом округе — свое, также оплачиваемое народом; то же — в каждой провинции; затем идут крупные губернаторства, наместничества и вице-королевства, содержание которых обходится все дороже по мере того, как мы поднимаемся выше, и притом все это за счет того же несчастного народа; наконец, наступает черед высшего управления, которое похищает все. Такие неумеренные поборы постоянно истощают подданных: они не только не управляются лучше всеми этими различными органами управления, они управляются хуже, чем если бы над ними был только один его орган. И уже почти не остается средств для чрезвычайных случаев; а когда приходится прибегать к этим средствам, Государство всегда оказывается на грани разорения.

Это еще не все: у Правительства оказывается не только меньше силы и быстроты действий, чтобы заставить соблюдать законы, не допускать притеснений, карать злоупотребления, предупреждать мятежи, которые могут вспыхнуть в отдаленных местах; но и народ уже в меньшей мере может испытывать привязанность к своим правителям, которых он никогда не видит; к отечеству, которое в его глазах столь же необъятно, как весь мир, и к согражданам своим, большинство из которых для него чужие люди. Одни и те же законы не могут быть пригодны для стольких разных провинций, в которых различные нравы, совершенно противоположные климатические условия и которые поэтому не допускают одной и той же формы правления. Различные законы порождают лишь смуты и неурядицы среди подданных: живя под властью одних и тех же правителей и в постоянном между собою общении, они переходят с места на место или вступают в браки с другими людьми, которые подчиняются уже другим обычаям, а в результате подданные никогда не знают, действительно ли им принадлежит их достояние. Таланты зарыты, добродетели неведомы, пороки безнаказанны среди этого множества людей, незнакомых друг другу, которых место нахождения высшего управ-

ления сосредотачивает в одном месте. Правители, обремененные делами, ничего не видят собственными глазами — Государством управляют чиновники. И вот уже необходимы особые меры для поддержания авторитета центральной власти, потому что столько ее представителей в отдаленных местах стремятся либо выйти из подчинения ей, либо ее обмануть; эти меры поглощают все заботы общества; уже нет сил заботиться о счастье народа; их едва хватает для защиты его в случае нужды; так организм, ставший непомерно большим, разлагается и погибает, раздавленный своею собственной тяжестью.

С другой стороны, Государство, чтобы обладать прочностью, должно создать для себя надежное основание, дабы оно успешно противостояло тем потрясениям, которые ему обязательно придется испытать, и выдержать те усилия, которые неизбежно потребуются для поддержания его существования. Ибо у всех народов есть некоторая центробежная сила, под влиянием которой они постоянно действуют друг против друга и стремятся увеличить свою территорию за счет соседей, как вихри Декарта. Таким образом слабые рискуют быть в скором времени поглощены, и едва ли кто-либо может уже сохраниться иначе, как приведя себя в некоторого рода равновесие со всеми, что сделало бы давление повсюду приблизительно одинаковым.

Из этого видно, что есть причины, заставляющие Государство расширяться, и причины, заставляющие его сжиматься; и талант политика не в последнюю очередь выражается в том, чтобы найти между теми и другими такое соотношение, которое было бы наиболее выгодным для сохранения Государства. Можно сказать, вообще, что первые причины, будучи лишь внешними и относительными, должны быть подчинены вторым, которые суть внутренние и абсолютные. Здоровое и прочное устройство — это первое, к чему следует стремиться; и должно больше рассчитывать на силу, порождаемую хорошим образом правления, нежели на средства, даваемые большой территорией.

Впрочем известны Государства, устроенные таким образом, что необходимость завоеваний была заложена уже в самом их устройстве: чтобы поддержать свое существование, они должны были непрестанно увеличиваться. Возможно, они и радовались немало этой счастливой необходимости, но она преуказывала им, однако, наряду с пределом их величины и срок неизбежного их падения<sup>93</sup>.

## Г л а в а X ПРОДОЛЖЕНИЕ

Политический организм можно измерять двумя способами, именно: протяженностью территории и численностью населения; и между первым и вторым из этих измерений существует соотношение, позволяющее определить для Государства подобающие ему размеры. Государство составляют люди, а людей кормит земля. Таким образом, отношение это должно быть таким, чтобы земли было достаточно для пропитания жителей Государства, а их должно быть столько, сколько земля может прокормить. Именно такое соотношение создает *максимум* силы данного количества населения. Ибо если земли слишком много, то охрана ее тягостна, обработка — недостаточна, продуктов — избыток; в этом причина будущих оборонительных войн. Если же земли недостаточно, то Государство, дабы сие восполнить, оказывается в полнейшей зависимости от своих соседей; в этом — причина будущих наступательных войн. Всякий народ, который по своему положению может выбирать лишь между торговлей и войною, сам по себе — слабый народ; он зависит от соседей, он зависит от событий; его существование не обеспечено и кратковременно. Он покоряет — и меняет свое положение, или же покоряется — и превращается в ничто. Он может сохранить свободу лишь благодаря незначительности своей или величию своему.

Нельзя выразить в числах постоянное отношение между протяженностью земли и числом людей, достаточным для ее заселения; это невозможно сделать как по причине различий в качествах почвы, степени ее плодородия, в свойствах производимых ею продуктов, во влиянии климатических условий, так и вследствие различий, которые представляет организм людей, населяющих эту землю, из которых одни потребляют мало в плодородном краю, а другие — много на неблагоприятной земле. Следует еще принять в расчет большую или меньшую плодовитость женщин; то, что в стране могут быть более или менее благоприятные условия для заселения, чему Законодатель может надеяться способствовать своими установлениями; но для того он должен основывать свои суждения не на том, что он видит, а на том, что предвидит, и должен исходить не столько из настоящего состояния населенности, сколько из того, каких размеров

она должна естественным образом достигнуть. Наконец, в тысячах случаев особые условия местности требуют или позволяют, чтобы люди занимали больше места, чем это кажется необходимым. Так, следует расселяться реже в гористой стране, где естественные уголья, именно: леса, пастбища, требуют меньшей затраты труда; где, как показывает опыт, женщины плодотворнее, чем на равнинах, и где большая поверхность склонов оставляет для обработки лишь малую горизонтальную площадь, которая одна только и может приниматься в расчет, когда речь идет об использовании плодородной земли. Напротив, можно селиться погуще вблизи берега моря, даже среди почти бесплодных скал и песков, потому что рыболовство может в значительной степени дополнить здесь то, что приносит земля, потому что люди здесь должны быть более сплоченными для отпора пиратам; потому что, кроме всего прочего, такую страну легче освободить от избыточного населения, создавая колонии.

Для того чтобы дать установления народу, к этим условиям следует добавить еще одно, которое, однако, не может заменить никакое другое, но без которого все другое условия бесполезны: народ должен пользоваться благами изобилия и мира. Ибо время, когда складывается Государство, подобно времени, когда строится батальон, — это момент, когда организм менее всего способен к сопротивлению и когда его легче всего уничтожить. Можно успешнее сопротивляться во время полного беспорядка, чем в момент брожения, когда каждый поглощен своим положением, а не общей опасностью. Пусть только война, голод или мятеж возникнут в этот критический момент, и Государство неминуемо падет.

Это не значит, что многие Правительства не возникали именно во время таких бурь; но тогда эти-то Правительства и разрушают Государство. Узурпаторы всегда вызывают или выбирают такие смутные времена, чтобы провести, пользуясь охватившим все общество страхом, разрушительные законы, которых народ никогда не принял бы в спокойном состоянии. Выбор момента для первоначального устройства — это один из самых несомненных признаков, по которым можно отличить творение Законодателя от дела тирана.

Какой же народ способен к восприятию законов? Тот, который будучи уже объединен в каком-либо союзе проис-

хождением, выгодой или соглашением, вообще еще не знал на себе подлинного ярма законов; у которого нет ни глубоко укоренившихся обычаев, ни глубоко укоренившихся пред-рассудков; который не боится подвергнуться внезапному нашествию; который, не вмешиваясь в споры своих соседей, может один противостоять каждому из них или воспользоваться помощью одного, чтобы отразить другого; тот народ, каждый член которого может быть известен всем и которому нет нужды возлагать на человека большее бремя, нежели то, какое он в состоянии нести; тот, который может обойтись без других народов и без которого может обойтись всякий другой народ\*; тот, который не богат и не беден и может обойтись собственными средствами<sup>94</sup>; наконец, тот, который сочетает устойчивость народа древнего с восприимчивостью народа молодого. Трудность создания законов определяется не столько тем, что нужно устанавливать, сколько тем, что необходимо разрушать. Причина же столь редкого успеха в этом деле — невозможность сочетать естественную простоту с потребностями общежития. Все эти условия, правда, трудно соединимы. Потому-то мы и видим так мало правильно устроенных Государств.

Есть еще в Европе страна, способная к восприятию законов: это остров Корсика. Мужеством и стойкостью, с каким этот славный народ вернул и отстоял свою свободу<sup>95</sup>, он, безусловно, заслужил, чтобы какой-нибудь мудрый муж научил его, как ее сохранить. У меня есть смутное предчувствие, что когда-нибудь этот островок еще удивит Европу<sup>96</sup>.

## Г л а в а XI

### О РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ

Если попытаться определить, в чем именно состоит то наибольшее благо всех, которое должно быть целью всякой

---

\* Если бы из двух соседних народов один не мог обойтись без другого, то создалось бы положение очень тяжелое для одного и очень опасное для другого. Всякий мудрый народ в подобном случае постарается поскорее освободить другой от этой зависимости. Тласкаланская республика<sup>97</sup>, лежащая внутри Мексиканской империи, предпочла обходиться без соли, чем покупать ее у мексиканцев или даже согласиться брать ее даром. Мудрые тласкаланцы увидели ловушку, скрытую под такой щедростью. Они сохранили свободу; и это малое Государство, заключенное внутри огромной империи, явилось в конце концов орудием ее гибели.

системы законов, то окажется, что оно сводится к двум главным вещам: *свободе и равенству*. К свободе — поскольку всякая зависимость от частного лица настолько же уменьшает силу Государства; к равенству, потому что свобода не может существовать без него.

Я уже сказал, что такое свобода гражданская. Что касается до равенства, то под этим словом не следует понимать, что все должны обладать властью и богатством в совершенно одинаковой мере; но, что касается до власти, — она должна быть такой, чтобы она не могла превратиться ни в какое насилие и всегда должна осуществляться по праву положения в обществе и в силу законов; а, что до богатства, — ни один гражданин не должен обладать столь значительным достатком, чтобы иметь возможность купить другого, и ни один — быть настолько бедным, чтобы быть вынужденным себя продавать:\* это предполагает в том, что касается до знатных и богатых, ограничение размеров их имущества и влияния, что же касается до людей малых — умерение скарденности и алчности.

Говорят, что такое равенство — химера, плод мудрствования, не могущие осуществиться на практике. Но если зло неизбежно, то разве из этого следует, что его не надо, по меньшей мере, ограничивать. Именно потому, что сила вещей всегда стремится уничтожить равенство, сила законов всегда и должна стремиться сохранять его.

Но эти общие цели всякого хорошего первоустройства должны видоизменяться в каждой стране в зависимости от тех отношений, которые порождаются как местными условиями, так и отличительными особенностями жителей; и на основе этих именно отношений и следует определять каждому народу особую систему первоначальных установлений, которая должна быть лучшей, пусть, быть может, не сама по себе, но для того Государства, для которого она предназначена. Если, к примеру, почва неблагодарна и бесплодна или земли слишком мало для жителей данной страны? обратитесь тогда к промышленности и ремеслам, произведения которых вы будете обменивать на съестные при-

---

\* Вы хотите сообщить Государству прочность? Тогда сблизьте крайние ступени, насколько то возможно; не терпите ни богачей, ни нищих. Эти два состояния, по самой природе своей неотделимые одно от другого, равно губительны для общего блага; из одного выходят пособники тирании, а из другого — тираны. Между ними и идет торг свободой народною, одни ее покупают, другие — продают.

пасы, которых вам недостает. Если же, напротив, вы занимаете богатые равнины и плодородные склоны? если вы живете на хорошей земле, и у вас недостает населения? тогда посвятите все ваши заботы земледелию, что умножает число людей, и изгоните ремесла, которые окончательно лишили бы край населения, сосредоточив в нескольких пунктах территории то небольшое число жителей, которое там есть\*. Если вы занимаете протяженные и удобные берега? тогда пустите в море корабли, развивайте торговлю и мореходство; это будет краткое, но блестящее существование. Если море омывает у ваших берегов лишь почти неприступные скалы? тогда оставайтесь варварами и питайтесь рыбой; так вы будете жить спокойнее, лучше, быть может, и, уж наверное, счастливее. Словом, кроме правил, общих для всех, каждый народ в себе самом заключает некое начало, которое располагает их особым образом и делает его законы пригодными для него одного. Так, некогда, для древних евреев, а недавно для арабов, главным была религия, для афинян — литература, для Карфагена и Тира — торговля, Родоса — мореходство, Спарты — война, а для Рима — добродетель<sup>98</sup>. Автор *Духа законов* показал на множестве примеров, каким путем Законодатель направляет первоустройство страны к каждой из этих целей.

Устройство Государства становится воистину прочным и долговечным, когда сложившиеся в нем обычаи соблюдаются настолько, что естественные отношения и законы всегда совпадают в одних и тех же пунктах, и последние, так сказать, лишь укрепляют, сопровождают, выправляют первые. Но если Законодатель, ошибаясь в определении своей цели, следует принципу, отличному от того, что вытекает из природы вещей; если один из принципов ведет к порабощению, а другой — к свободе; один — к накоплению богатств, другой — к увеличению населения; один — к миру, другой — к завоеваниям, — тогда законы незаметно теряют свою силу, внутреннее устройство испортится, и волнения в Государстве не утихнут до тех пор, пока оно не подвергнется разрушению или изменениям и пока неодолимая природа не вступит вновь в свои права.

---

\* «Любая из отраслей внешней торговли, — говорит м[аркиз] д'А[ржансон], — несет с собою лишь мнимую выгоду для королевства в целом; она может обогатить только нескольких частных лиц, даже несколько городов, но вся нация от этого ничего не выигрывает, и положение народа от этого не улучшается<sup>99</sup>».

## Глава XII РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОВ

Чтобы упорядочить целое, или придать наилучшую форму государству, следует принять во внимание различные отношения. Во-первых, действие всего Организма на самого себя, т. е. отношение целого к целому, или суверена к Государству. А это отношение слагается из отношения промежуточных членов, как мы увидим ниже.

Законы, управляющие этими отношениями, носят название политических законов<sup>100</sup> и именуются также основными законами — не без известных причин, если это законы мудрые. Ибо если в каждом Государстве существует лишь один правильный способ дать ему хорошее устройство, то народ, нашедший этот способ, должен его держаться. Но если установленный строй плох, то зачем принимать за основные те законы, которые не дают ему быть хорошим? Впрочем, при любом положении дел народ всегда властен изменить свои законы, даже наилучшие; ибо если ему угодно причинить зло самому себе, то кто же вправе помешать ему в этом?

Второе отношение — это отношение членов между собою или же ко всему Организму. Оно должно быть в первом случае сколь возможно малым, а во втором — сколь возможно большим, дабы каждый гражданин был совершенно независим от всех других и полностью зависим от Гражданской общины, что достигается всегда с помощью одних и тех же средств; ибо лишь сила Государства дает свободу его членам. Из этого-то второго отношения и возникают гражданские законы.

Можно рассмотреть и третий вид отношений между человеком и Законом, именно: между слушанием и наказанием. А это отношение ведет к установлению уголовных законов, которые в сущности не столько представляют собой особый вид законов, сколько придают силу другим законам.

К этим трем родам законов добавляется четвертый, наиболее важный из всех; эти законы запечатлены не в мраморе, не в бронзе, но в сердцах граждан; они-то и составляют подлинную сущность Государства; они изо дня в день приобретают новые силы; когда другие законы стареют или слабеют, они возвращают их к жизни или восполняют их, сохра-

няют народу дух его первых установлений и незаметно заменяют силою привычки силу власти. Я разумею нравы, обычаи и, особенно, мнение общественное. Это область неведома нашим политикам, но от нее зависит успех всего остального; в этой области великий Законодатель трудится незаметно — тогда, когда кажется, что он вводит лишь преобразования частного характера, — но это лишь дуга свода, неколебимый замочный камень которого в конце концов образуют гораздо медленнее складывающиеся нравы.

Из этих различных разрядов политические законы, составляющие форму Правления, есть единственный род законов, который относится к моей теме.

## КНИГА 3

Прежде чем говорить о различных формах Правления, попытаемся установить точный смысл этого слова, который до сих пор не был достаточно разъяснен<sup>101</sup>.

### Г л а в а I

#### О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВООБЩЕ

Я предупреждаю читателя, что эту главу должно читать не торопясь, со вниманием и что я не владею искусством быть ясным для того, кто не хочет быть внимательным.

Всякое свободное действие имеет две причины, которые сообща его производят: одна из них — моральная, именно: воля, определяющая акт, другая — физическая, именно: сила, его исполняющая. Когда я иду по направлению к какому-нибудь предмету, то нужно, во-первых, чтобы я хотел туда пойти, во-вторых, чтобы ноги мои меня туда доставили. Пусть паралитик захочет бежать, пусть не захочет того человек проворный — оба они останутся на месте. У Политического организма — те же движители; в нем также различают силу и волю: эту последнюю под названием *законодательной власти*, первую — под названием *власти исполнительной*. Ничто в нем не делается или не должно делаться без их участия.

Мы видели, что законодательная власть принадлежит народу и может принадлежать только ему. Легко можно увидеть, исходя из принципов, установленных выше, что исполнительная власть, напротив, не может принадлежать всей массе народа как законодательнице или суверену, так как эта власть выражается лишь в актах частного характера, который вообще не относится к области Закона, ни, следовательно, к компетенции суверена, все акты которого только и могут быть, что законами.

Сила народа нуждается, следовательно, для себя в таком доверенном лице, которое собирало бы ее и приводило в действие согласно указаниям общей воли, которое служило бы для связи между Государством и сувереном, и некоторым образом осуществляло в обществе как коллективной личности то же, что производит в человеке единение души и тела<sup>102</sup>. Вот каков в Государстве смысл Правительства, так неудачно смешиваемого с сувереном, коего оно является лишь служителем.

Что же такое Правительство? Посредствующий организм, установленный для сношений между подданным и сувереном, уполномоченный приводить в исполнение законы и поддерживать свободу как гражданскую, так и политическую.

Члены этого организма именуются магистратами или *королями*, т. е. *правителями*; а весь организм носит название *государя*\*. Таким образом совершенно правы те, кто утверждают, что акт, посредством которого народ подчиняет себя правителям, это вовсе не договор. Это, безусловно, не более как поручение, должность; исполняя это поручение, они, простые чиновники суверена, осуществляют его именем власть, блюстителями которых он их сделал, власть, которую он может ограничивать, видоизменять и отбирать, когда ему будет угодно; ибо отчуждение такого права несовместимо с природой Общественного организма и противно цели ассоциации.

Итак, я называю *Правительством* или верховным управлением осуществление исполнительной власти согласно законам, а государем или магистратом человека или корпус, на которые возложено это управление.

Именно в Правительстве заключены те посредствующие силы, соотношение которых и определяет отношение целого к целому, или суверена к Государству. Это последнее можно представить в виде отношения крайних членов непрерывной пропорции, среднее пропорциональное которой — Правительство<sup>103</sup>. Правительство получает от суверена приказания, которые оно отдает народу, и, дабы Государство находилось в устойчивом равновесии, нужно, чтобы, по приведении, получилось равенство между одним производением, или властью Правительства как такового, и дру-

---

\* Потому то в Венеции коллегию именуют *светлейший государь*<sup>104</sup>, даже когда дож в ней не присутствует.

гим произведением, или властью граждан, которые являются суверенными, с одной стороны, и подданными — с другой.

Более того, невозможно изменить ни один из трех членов, не нарушив сразу же пропорции. Если суверен захочет управлять или магистрат давать законы, или если подданные откажутся повиноваться, тогда на смену порядку приходит беспорядок, сила и воля перестают действовать согласо, и распавшееся Государство делается, таким образом, добычею деспотизма или анархии. Наконец, подобно тому как в каждом отношении есть только одно среднее пропорциональное, так и в Государстве возможен лишь один лучший для него род Правления. Но так как множество событий могут изменить те отношения, в которых выступает народ, то различные виды Правления могут быть хороши не только для различных народов, но и для одного и того же народа в различные времена.

Чтобы попытаться дать представление о различных отношениях, которые могут господствовать между этими двумя крайними, я возьму для примера численность народа как отношение, которое легче выразить.

Предположим, что Государство состоит из десяти тысяч граждан. Суверен может рассматриваться лишь как понятие собирательное и как нечто целое; но каждый отдельный человек в качестве подданного рассматривается как индивидуум. Таким образом, суверен относится к подданному, как десять тысяч к единице, т. е. каждый член Государства обладает лишь одной десятитысячной частью верховной власти суверена, хотя он и подчинен ей полностью. Пусть народ состоит из ста тысяч человек; положение подданных не изменяется, и каждый из них в равной мере испытывает всю силу законов, тогда как его голос, сведенный к одной стотысячной, имеет в десять раз меньше влияния на то, как эти законы будут составлены. В таком случае, хотя подданный все время представляет собою единицу, отношение суверена к гражданину увеличивается пропорционально увеличению числа граждан. Отсюда следует, что чем больше растет Государство, тем больше сокращается свобода.

Когда я говорю, что отношение увеличивается, я разумею под этим, что оно удаляется от равенства. Таким образом, чем отношение больше в понимании геометров<sup>105</sup>, тем меньше отношение в обычном понимании; в первом слу-

чае — отношение, рассматриваемое с точки зрения количества, измеряется его частным; во втором, — рассматриваемые с точки зрения тождества, отношения оцениваются подобием.

Итак, чем менее сходны изъявления воли отдельных лиц и общая воля, т. е. нравы и законы, тем более должна возрастать сила сдерживающая. Следовательно, Правительство, чтобы отвечать своему назначению, должно быть относительно сильнее, когда народ более многочисленен.

С другой стороны, поскольку увеличение Государства представляет блюстителям публичной власти больше соблазнов и средств злоупотреблять своей властью, то тем больше силою должно обладать Правительство, чтобы сдерживать народ, тем больше силы должен иметь в свою очередь и суверен, чтобы сдерживать Правительство. Я говорю здесь не о силе абсолютной, но об относительной силе разных частей Государства.

Из этого двойного отношения следует, что непрерывная пропорция между сувереном, государем и народом не есть вовсе произвольное представление, но необходимое следствие, вытекающее из самой природы Политического организма. Из этого следует еще, что, поскольку один из крайних членов, а именно, народ, как подданный, неизменен и представлен в виде единицы, то всякий раз, как удвоенное отношение увеличивается или уменьшается подобным же образом, и что, следовательно, средний член изменяется. Это показывает, что не может быть такого устройства Управления, которое было бы единственным и безотносительно лучшим, но что может существовать столько видов Правления, различных по своей природе, сколько есть Государств, различных по величине.

Для того чтобы выставить эту систему в смешном виде, скажут, пожалуй, что, по-моему, дабы найти это среднее пропорциональное и образовать Организм правительственный, нужно лишь извлечь квадратный корень из численности народа; я отвечаю, что беру здесь это число только для примера; что отношения, о которых я говорю, измеряются не только числом людей, но вообще количеством действия, складывающимся из множества причин; во всяком случае, если для того, чтобы высказать свою мысль покороче, я временно и прибегну к геометрическим понятиям, то я прекрасно знаю, что точность, свойственная геометрии, ни-

как не может иметь места в приложении к величинам из области отношений между людьми.

Правительство есть в малом то, что представляет собой заключающий его Политический организм — в большом. Это — условная личность, наделенная известными способностями, активная как суверен, пассивная как Государство; в Правительстве можно выделить некоторые другие сходные отношения, откуда возникает, следовательно, новая пропорция; в этой — еще одна, в зависимости от порядка ступеней власти, и так до тех пор, пока мы не достигнем среднего неделимого члена, т. е. единственного главы или высшего магистрата, который можно представить себе находящимся в середине этой прогрессии, как единицу между дробью и рядом целых чисел.

Чтобы не запутаться в этом обилии членов, удовольствуемся тем, что будем рассматривать Правительство как новый организм в Государстве, отличный от народа и от суверена и посредствующий между тем и другим.

Между этими двумя организмами есть то существенное различие, что Государство существует само по себе, а Правительство — только благодаря суверену. Таким образом, господствующая воля государя является или должна быть общей волей или законом; его сила — лишь сконцентрированная в нем сила всего народа. Как только он пожелает осуществить какой-нибудь акт самовластный и произвольный, связь всего Целого начинает ослабевать. Если бы, наконец, случилось, что государь возымел свою личную волю, более деятельную, чем воля суверена, и если бы он, чтобы следовать этой воле, использовал публичную силу, находящуюся в его руках, таким образом, что оказалось бы, так сказать, два суверена — один по праву, а другой — фактически, — то сразу же исчезло бы единство общества и Политический организм распался бы.

Между тем, для того чтобы Правительственный организм получил собственное существование, жил действительной жизнью, отличающей его от организма Государства, чтобы все его члены могли действовать согласнo и в соответствии с той целью, для которой он был учрежден, он должен обладать отдельным *я*, чувствительностью, общей его членам, силой, собственной волей, направленной к его сохранению. Это отдельное существование предполагает Ассамблеи, Советы, право обсуждать дела и принимать реше-

ния, всякого рода права, звания, привилегии, принадлежащие исключительно государю и делающие положение магистрата тем почетнее, чем оно тягостнее. Трудности заключаются в способе дать в целом такое устройство этому подчиненному целому, чтобы оно не повредило общему устройству, укрепляя свое собственное; чтобы оно всегда отличало свою особую силу, предназначенную, для собственного сохранения, от силы публичной, предназначенной для сохранения Государства; чтобы, одним словом, оно всегда было готово жертвовать Правительством для народа, а не народом для Правительства.

Впрочем, хотя искусственный организм Правительства есть творение другого искусственного организма и хотя оно обладает, в некотором роде, лишь жизнью заимствованною и подчиненною, — это не мешает ему действовать с большею или меньшею силою или быстротою, пользоваться, так сказать, более или менее крепким здоровьем. Наконец, не удаляясь прямо от цели, для которой он был установлен, он может отклоняться от нее в большей или меньшей мере в зависимости от того способа, коим он образован.

Из всех этих различий и возникают те соотношения, которые должны иметь место между Правительством и Государством, сообразно случайным и частным отношениям, которые видоизменяют само это Государство. Ибо часто Правительство, наилучшее само по себе, станет самым порочным, если эти отношения не изменятся сообразно недостаткам Политического организма, которому они принадлежат.

## Г л а в а П

### О ПРИНЦИПЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ

Чтобы установить общую причину этих различий, надо различать государя и Правительство, подобно тому как я выше разграничил Государство и суверен.

Магистрат может состоять из большего или меньшего числа членов. Мы указывали, что отношение между сувереном и подданными тем больше, чем многочисленнее народ; и, по очевидной аналогии, мы можем сказать то же об отношении между Правительством и магистратами.

Однако общая сила Правительства, будучи всегда силой

Государства, никогда не изменяется; из чего следует, что чем больше оно затрачивает этой силы, чтобы воздействовать на своих собственных членов, тем меньше остается ему силы, чтобы воздействовать на весь народ.

Итак, чем магистраты многочисленней, тем Правительство слабее. Поскольку это положение — основное, постараемся разъяснить его получше.

Мы можем различать в лице магистрата три существенно различных вида воли. Во-первых, собственную волю индивидуума, которая стремится лишь к своей частной выгоде; во-вторых, общую волю магистратов, которая совпадает единственно с выгодой государя и которую можно назвать корпоративной волей; она является общей по отношению к Правительству и частной — по отношению к Государству, в состав которого входит данное Правительство; в-третьих, волю народа или верховную волю, которая является общей как по отношению к Государству, рассматриваемому как целое, так и по отношению к Правительству, рассматриваемому как часть целого.

При совершенных законах воля частная или индивидуальная должна быть ничтожна; корпоративная воля, присутствующая Правительству, должна иметь весьма подчиненное значение; и следовательно, воля общая или верховная должна быть всегда преобладающей, быть единым правилом для всех остальных волеизъявлений.

Напротив, в силу естественного порядка вещей эти различные виды воли тем более активны, чем больше они сконцентрированы. Таким образом, общая воля всегда самая слабая, второе место занимает воля корпоративная, самое же первое из всех — воля каждого отдельного лица; таким образом, в Правительстве каждый член, во-первых, это он сам, затем магистрат и потом — гражданин; последовательность прямо противоположная той, какой требует общественное состояние.

Если это так, то когда вся власть оказывается в руках одного человека, тогда частная воля и воля корпоративная полностью соединены и, следовательно, последняя достигает той наивысшей степени силы, какую она только может иметь. Но так как от степени силы воли зависит и применение силы, а абсолютная сила Правительства совершенно не изменяется, то из этого следует, что наиболее активным из Правительств является Правление единоличное.

Напротив, объединим Управление и законодательную власть; сделаем государя из суверена, а каждого гражданина сделаем магистратом; тогда корпоративная воля, слившись с общею волею, не будет активнее последней и оставит за частной волей всю ее силу. Тогда Правительство, неизменно обладая все тою же абсолютною силою, в этом случае будет обладать *минимумом* относительной силы, или активности.

Эти отношения бесспорны и могут быть подтверждены еще и другими соображениями. Ясно, например, что каждый магистрат более активен в своей корпорации, чем каждый гражданин в своей, и что, следовательно, частная воля имеет гораздо больше влияния на действия Правительства, чем на действия суверена; ибо каждый магистрат почти всегда облечен какою-либо функцией Управления, между тем как каждый гражданин, взятый в отдельности, не исполняет никакой функции суверенитета. Впрочем, чем больше расширяется Государство, тем более фактически увеличивается и его сила, хотя она и не увеличивается пропорционально его расширению. Но если Государство остается тем же самым, то число магистратов может сколько угодно увеличиваться — Правительство фактически не приобретает от этого больше силы, потому что его сила — это сила Государства, мера которой всегда одинакова. Таким образом, относительная сила или действенность Правительства уменьшается без того, чтобы увеличивалась его абсолютная или практическая сила.

Несомненно еще, что отправление дел становится тем медлительнее, чем больше людей им занимается; что, возлагая слишком много надежд на благоразумие, недостаточно надеются на счастливый поворот судьбы; что упускают благоприятные случаи и так много обсуждают, что часто теряют плоды обсуждения.

Я только что доказал, что Правительство ослабляется по мере того, как возрастает число магистратов; а выше я доказал, что чем многочисленнее народ, тем более должна увеличиваться сила сдерживающая. Отсюда следует, что отношение между числом магистратов и Правительством должно быть обратным отношению между числом подданных и сувереном; т. е. чем больше расширяется Государство, тем больше должно Правительство сокращаться в своей

численности; так, чтобы правителей уменьшилось в той же мере, в какой численность народа возрастает.

Впрочем, я говорю лишь об относительной силе Правительства, а не о правильности его действий. Ибо, напротив, чем многочисленнее магистрат, тем больше воля корпоративная приближается к общей воле; тогда как при единственном магистрате эта же корпоративная воля есть, как я уже говорил, лишь воля отдельного лица. Таким образом, в одном отношении теряется то, что можно выиграть в другом, и искусство Законодателя как раз и состоит в умении определить ту точку, в которой сила и воля Правительства, находясь все время в обратной пропорции, сочетаются в отношении наиболее выгодном для Государства.

### Г л а в а III РАЗДЕЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЙ

В предыдущей главе мы видели, почему разные виды или формы Правительства различают по числу членов, которые их составляют; в этой главе остается показать, как производится это разделение.

Суверен может, во-первых, вручить Правление всему народу или большей его части, так чтобы стало больше граждан-магистратов, чем граждан — просто частных лиц. Этой форме Правления дают название *демократии*.

Или же он может сосредоточить Правление в руках малого числа, так чтобы было больше простых граждан, чем магистратов, и такая форма носит название *аристократии*.

Наконец, он может сконцентрировать все правление в руках единственного магистрата, от которого получают свою власть все остальные. Эта форма наиболее обычна и называется *монархией* или королевским Правлением.

Следует заметить, что все эти формы или, по меньшей мере, первые две из них могут быть более или менее широкими, причем соответствующие различия довольно значительны, ибо демократия может объять весь народ, либо охватить не более половины его. Аристократия в свою очередь может охватить от половины народа до неопределенно малого числа граждан. Даже королевская власть может быть подвержена известному разделению. В Спарте, по ее конституции, постоянно было два царя, а в Римской импе-

рии случалось, что бывало до восьми императоров одновременно<sup>106</sup>, причем нельзя было сказать, что империя разделена<sup>107</sup>. Таким образом, есть точка, где каждая форма Правления сливается со следующей, и мы видим, что при наличии лишь трех названий Правление способно в действительности принимать столько различных форм, сколько есть в Государстве граждан.

Более того: поскольку один и тот же род Правления может в некоторых отношениях подразделяться еще на другие части, в одной из которых управление осуществляется одним способом, а в другой — другим; то из сочетания этих трех форм может возникнуть множество форм смешанных, из которых каждая способна дать новые, сочетаясь с простыми формами.

Во все времена много спорили о том, которая из форм Правления наилучшая, — того не принимая во внимание, что каждая из них наилучшая в одних случаях и худшая в прочих.

Если в различных Государствах число высших магистратов должно находиться в обратном отношении к числу граждан, то отсюда следует, что, вообще говоря, демократическое Правление наиболее пригодно для малых Государств, аристократическое — для средних, а монархическое — для больших. Это правило выводится непосредственно из общего принципа. Но как учесть множество обстоятельств, которые могут вызвать исключения?

#### Г л а в а IV О ДЕМОКРАТИИ

Тот, кто создает Закон, знает лучше всех, как этот Закон должен приводиться в исполнение и истолковываться. Итак, казалось бы, не может быть лучшего государственного устройства, чем то, в котором власть исполнительная соединена с законодательной. Но именно это и делает такое Правление в некоторых отношениях непригодным, так как при этом вещи, которые должны быть разделяемы, не разделяются, и государь и суверен, будучи одним и тем же лицом, образуют, так сказать, Правление без Правительства.

Неправильно, чтобы тот, кто создает законы, их исполнял, или чтобы народ как целое отвлекал свое внимание

от общих целей, дабы обращать его на предметы частные. Ничего нет опаснее, как влияние частных интересов на общественные дела, и злоупотребления, допускаемые Правительством при применении законов, — это беда меньшая, нежели подкуп законодателя — это неизбежное последствие существования частных расчетов. Тогда, поскольку искажена сама сущность Государства, никакое преобразование уже невозможно. Народ, который никогда не употребляет во зло свою власть в Правлении, не сделает этого и в отношении своей самостоятельности; народ, который всегда хорошо правил бы, не нуждался бы в том, чтобы им управляли.

Если брать этот термин в точном его значении, то никогда не существовала подлинная демократия, и никогда таковой не будет. Противно естественному порядку вещей, чтобы большое число управляло, а малое было управляемым. Нельзя себе представить, чтобы народ все свое время проводил в собраниях, занимаясь общественными делами. И легко видеть, что он не мог бы учредить для этого какие-либо комиссии, чтобы не изменилась и форма управления.

В самом деле, я думаю, что могу принять за правило следующее: когда функции Правления разделены между несколькими коллегиями, то те из них, что насчитывают наименьшее число членов, приобретают рано или поздно наибольшие вес и значение, хотя бы уже по причине того, что у них, естественно, облегчается отправление дел.

Впрочем, каких только трудносоединимых вещей не предполагает эта форма Правления! Во-первых, для этого требуется Государство столь малое, чтобы там можно было без труда собирать народ, и где каждый гражданин легко мог бы знать всех остальных; во-вторых, — большая простота нравов, что предотвращало бы скопление дел и возникновение трудноразрешимых споров, затем — превеликое равенство в общественном и имущественном положении, без чего не смогло бы надолго сохраниться равенство в правах и в обладании властью; наконец, необходимо, чтобы роскоши было очень мало, или чтобы она полностью отсутствовала. Ибо роскошь либо создается богатствами, либо делает их необходимыми; она развращает одновременно и богача и бедняка, одного — обладанием, другого — вожделием; она предаёт отечество изнеженности и суетному тщеславию; она отымает у Государства всех его граждан, дабы превратить одних в рабов других, а всех — в рабов предубеждений.

Вот почему один знаменитый писатель<sup>108</sup> полагал главным принципом Республики добродетель, ибо все эти условия без нее не могли бы существовать. Но поскольку этот высокий ум не делал необходимых различий, то оказалось, что у него часто нет в суждениях правильности, иногда — ясности; и он не увидел того, что, поскольку верховная власть везде одинакова, — один и тот же принцип<sup>109</sup> должен лежать в основе всякого правильно устроенного Государства — в большей или меньшей степени, конечно, соответственно форме Правления.

Прибавим, что нет Правления, столь подверженного гражданским войнам и внутренним волнениям, как демократическое, или народное, потому что нет никакого другого Правления, которое столь сильно и постоянно стремилось бы к изменению формы или требовало больше бдительности и мужества, чтобы сохранять свою собственную. Более, чем при любом другом, при таком государственном устройстве должен гражданин вооружиться силою и твердостью и повторять всю свою жизнь ежедневно в глубине души то, что говорил один доблестный Воевода\* на Польском Сейме: «*Malo periculosam libertatem quam quietum servitium*»\*\*.

Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы собою демократически. Но Правление столь совершенное не подходит людям\*\*\*.

## Г л а в а V ОБ АРИСТОКРАТИИ

Здесь у нас есть две весьма различные условные личности, именно: Правительство и суверен; и, следовательно, две воли общие, одна — по отношению ко всем гражданам, другая — только к членам управления. Таким образом, хотя Правительство и может устанавливать внутренний порядок по своему усмотрению, оно никогда не может обращаться к народу иначе, как от имени суверена, т. е. от имени самого народа; этого никогда не следует забывать.

---

\* Познанский воевода, отец короля Польского<sup>110</sup>, герцога Лотарингского.

\*\* Предпочитаю волнения свободы покою рабства (*лат.*).

\*\*\* Ясно, что слово *optimates* у древних означает не «наилучшие», но «наиболее могущественные».

Первые общества управлялись аристократически<sup>111</sup>. Главы семейств обсуждали в своем кругу общественные дела. Молодые люди без труда склонялись перед авторитетом опыта. Отсюда — названия: *жрецы, старейшины, сенат, геронты*<sup>112</sup>. Дикари Северной Америки управляют собою так и в наши дни, и управляются очень хорошо.

Но по мере того, как неравенство, создаваемое первоначальным устройством, брало верх над неравенством естественным, богатство или могущество получали предпочтение перед возрастом, и аристократия стала выборной. Наконец, поскольку власть стала передаваться вместе с богатством от отца к детям, делая семьи патрицианскими, то и Правление сделалось наследственным, поэтому можно было увидеть двадцатилетних сенаторов.

Таким образом, есть три рода аристократии: природная, выборная и наследственная. Первая пригодна лишь для народов, находящихся в начале своего развития; третья представляет собою худшее из всех Правлений. Вторая — лучше всех; это — аристократия в собственном смысле слова.

Помимо того, что оба вида власти при этом разграничиваются, такой род аристократии обладает еще и тем преимуществом, что члены ее избираются. Ибо в народном Правлении все граждане рождаются магистратами; выборная же аристократия ограничивает количество должностных лиц малым числом, и они делаются таковыми лишь путем избрания\*: при таком порядке честность, просвещенность, опытность и все другие основания для предпочтения и уважения общественного суть каждое новый залог того, что управление будет мудрым.

Кроме того, собрания проходят более спокойно, дела обсуждаются лучше, отправляются более упорядоченно и без промедления; влияние Государства за его пределами лучше поддерживается почтенными сенаторами, чем толпою людей неизвестных или презираемых.

---

\* Очень важно установить законами форму избрания магистратов, ибо, предоставляя это делать по его воле государю, нельзя избежать превращения аристократии в наследственную, как это случилось в республиках *Венецианской и Бернской*<sup>113</sup>. Поэтому первая уже давно представляет собой разложившееся Государство; вторая же еще сохраняется благодаря чрезвычайной мудрости своего Сената: это — исключение, весьма почтенное и весьма опасное.

Словом, именно тот строй будет наилучшим и наиболее естественным, когда мудрейшие правят большинством, когда достоверно, что они правят им к его выгоде, а не к своей собственной. Вовсе не следует напрасно усложнять механизм, ни делать с помощью двадцати тысяч людей то, что сто человек выбранных могут сделать гораздо лучше. Следует, однако, заметить, что интересы целого здесь начинают менее направлять публичную силу на соблюдение правил общей воли, и что другое неизбежное отклонение лишает законы части их исполнительной силы.

Что до особых условий, то при аристократическом Правлении Государство вовсе не должно быть столь малым, а народ столь первобытным и прямодушным, чтобы исполнение законов следовало непосредственно за народной волею, как при доброй демократии. Народ не должен также быть столь многочисленным, чтобы начальники, разбросанные по разным местам для управления им, могли корчить из себя суверена, каждый в своем округе, и сделаться сначала независимыми, чтобы в конце концов стать повелителями.

Но если аристократия требует несколькими добродетелями менее, чем народное Правление, она требует зато других добродетелей, которые свойственны ей одной, — таких, как умеренность со стороны богатых и умение довольствоваться своим положением со стороны бедных; ибо строгое равенство было бы тут, по-видимому, неуместно; оно не соблюдалось даже в Спарте.

Впрочем, если эта форма предполагает вообще некоторое имущественное неравенство, то для того, чтобы управление общественными делами поручалось тем, кто больше всех других может посвятить этому все свое время; но не для того, как утверждает Аристотель, чтобы богатым всегда оказывалось предпочтение<sup>14</sup>. Напротив, важно, чтобы избрание бедного на начало иной раз народ, что достоинства людей суть более существенные основания к тому, чтобы предпочесть их, нежели богатство.

## Г л а в а VI О МОНАРХИИ

До сих пор мы рассматривали государя как условное собирательное лицо, объединенное в одно целое силой закона, и как блюстителя исполнительной власти в Государстве.

Теперь нам надлежит рассмотреть тот случай, когда эта власть сосредоточена в руках одного физического лица — реального человека, который один имеет право располагать ею в соответствии с законами. Это то, что называется монарх или король.

Совершенной противоположностью другим видам управления, при которых собирательное существо представляет индивидуум, является данный вид, при котором индивидуум представляет собирательное существо, так что то духовное единство, что образует государя, здесь является одновременно и физической единицей, в которой все способности, соединяемые Законом с такими усилиями при другом Правлении, оказываются объединенными сами собою.

Так воля народа и воля государя, и публичная сила Государства, и отдельная сила Правительства — все подчиняется одной и той же движущей силе; рычаги машины находятся в одних и тех же руках; все движется к одной и той же цели. Нет никаких направленных в противоположные стороны движений, которые уничтожались бы; и нельзя представить себе никакой другой вид государственного устройства, при котором меньшее усилие производило бы большее действие. Архимед<sup>115</sup>, спокойно сидящий на берегу и без труда спускающий на воду большой корабль, напоминает мне искусного монарха, который из кабинета управляет своими обширными Провинциями, приводит все в движение, а сам выглядит при этом неподвижным.

Но если нет никакого другого Правления, которое обладало бы большею силою, то нет и такого, при котором частная воля имела бы больше власти и легче достигала господства над всеми остальными. Правда, здесь все движется к одной и той же цели; но сия цель вовсе не есть благоденствие общества, и сама сила управления беспрестанно оборачивается во вред Государству<sup>116</sup>.

Короли хотя быт неограниченными; и издавна уже им твердили, что самое лучшее средство стать таковыми — это снискать любовь своих подданных. Это правило прекрасное и в некоторых отношениях даже весьма справедливое. К сожалению, при дворах оно всегда будет вызывать только насмешки. Власть, возникающая из любви подданных, несомненно, наибольшая; но она непрочна и условна; никогда не удовлетворяется ею государи. Наилучшие короли желают иметь возможность быть даже злыми, если им так

будет угодно, оставаясь при этом повелителями. Какой-либо увещатель от политики может сколько угодно говорить, что раз сила народа — это их сила, то им самим выгоднее всего, чтобы народ процветал, был многочисленным и грозным; они очень хорошо знают, что это не так. Их личный интерес прежде всего состоит в том, чтобы народ был слаб, бедствовал и никогда не мог им сопротивляться. Конечно, если предположить, что подданные всегда будут оставаться совершенно покорными, то государь был бы тогда заинтересован в том, чтобы народ был могущественен, дабы это могущество, будучи его собственным, сделало государя грозным для соседей. Но так как интерес народа имеет лишь второстепенное и подчиненное значение и так как оба предположения несовместимы, то естественно, что государи всегда предпочитают следовать тому правилу, которое для них непосредственно выгодно. Это как раз то, что настойчиво разъяснял древним евреям Самуил<sup>117</sup>: именно это с очевидностью показал Макиавелли<sup>118</sup>. Делая вид, что дает уроки королям, он преподавал великие уроки народам. «Государь» Макиавелли — это книга республиканцев\*.

Мы нашли, исходя из соотношений общего характера, что монархия подходит для больших Государств, и мы вновь убедимся в этом, когда рассмотрим монархию как таковую. Чем многочисленнее аппарат управления, тем становится меньше и ближе к равенству отношение между государем и подданными; это отношение при демократии представляет собой единицу или составляет равенство. Это же отношение увеличивается по мере того, как Правление сосредоточивается; и оно достигает своего *максимума*, когда Правление оказывается в руках одного лица. Тогда расстояние между государем и народом становится слишком велико, и Государству начинает не хватать внутренней связи. Чтобы образовалась эта связь, нужны, следовательно, посредствующие состояния, необходимы князья, вельможи,

---

\* Макиавелли был порядочным человеком и добрым гражданином; но, будучи связан с домом Медичи, он был вынужден, когда отечество его угнеталось, скрывать свою любовь к свободе. Один только выбор им его отвратительного героя<sup>119</sup> достаточно обнаруживает его тайное намерение; а сопоставление основных правил его книги *о Государе* с принципами его же *Рассуждения о Тите Ливии* и его *Истории Флоренции* доказывает, что этот глубокий политик имел до сих пор лишь читателей поверхностных или развращенных. Римская курия<sup>120</sup> наложила на его книгу строжайшее запрещение. Еще бы, ведь именно папский двор Макиавелли и изобразил наиболее прозрачно.

дворянство, чтобы они их заполнили собою. Но ничто из всего этого не подходит малому Государству, которому все эти промежуточные степени несут разорение.

Но если трудно сделать так, чтобы большое Государство управлялось хорошо, то еще гораздо труднее достигнуть того, чтобы оно управлялось хорошо одним человеком, а каждый знает, что получается, когда король назначает заместителей.

Существенный и неизбежный недостаток, который при всех условиях ставит монархическое Правление ниже республиканского, состоит в том, что при втором из них голос народа почти всегда выдвигает на первые места только людей просвещенных и способных, которые занимают их с честью; тогда как те, кто достигает успеха в монархиях, это чаще всего мелкие смутьяны, ничтожные плуты, мелочные интриганы, чьи жалкие талантики позволяют им достичь при дворе высоких должностей, но лишь для того, чтобы, едва их достигнув, обнаружить перед народом полную свою неспособность. Народ гораздо реже ошибается в выборе такого рода, чем государь, и человек, истинно достойный, оказывается на посту министра при монархии почти столь же редко, как глупец на посту главы Правительства при республике. Поэтому, если, по некоей счастливой случайности, один из этих людей, рожденных, чтобы править, берется за кормило управления в монархии, которую уже почти привела на край пропасти кучка столь славных правителей, то всех поражает, как он мог найти выход из этого положения — и это составляет эпоху в жизни страны.

Чтобы монархическое Государство могло быть хорошо управляемо, была бы необходима соразмерность величины или протяженности его со способностями того, кто правит. Легче завоевать, чем управлять. С помощью соответствующего рычага можно одним пальцем поколебать мир; но, чтобы поддерживать его, необходимы плечи Геркулеса. Если велико только Государство, то государь почти всегда слишком для него мал. Когда, напротив, случается, что Государство слишком мало для его главы, а это бывает очень редко, то оно все-таки плохо управляется, потому что глава, увлеченный обширностью своих замыслов, забывает об интересах подданных; и они оказываются не менее несчастными при правителе, злоупотребляющем избытком

своих талантов, чем при правителе, ограниченном отсутствием у него таковых. Было бы хорошо, если бы королевство могло, так сказать, расширяться или сокращаться при каждом царствовании сообразно со способностями государя; тогда как таланты какого-либо Сената представляют собой величину более постоянную, и при таком устройстве Государство может иметь неизменные границы, а управление при этом будет вестись несколько не хуже.

Самый ощутимый недостаток Правления одного человека — это отсутствие той непрерывной преемственности, которая при двух других формах Правления образует непрерывную связь. Раз король умер, нужен другой, выборы создают опасные перерывы; они проходят бурно; и если только граждане не обладают бескорыстием, неподкупностью, почти невозможными при этой форме Правления, то возникают всяческие происки и подкупы. Трудно, чтобы тот, кому Государство продалось, не продал его в свою очередь и не возместил себе за счет слабых деньги, которые у него исторгли люди могущественные. Рано или поздно все становится продажным при подобном управлении, и то спокойствие, которым пользуются под властью королей, горше смуты междуцарствий.

Что предпринимали, дабы предотвратить эти бедствия? Делали корону наследственной в некоторых семьях и установили порядок наследования, предупреждающий всякие споры после смерти короля. Другими словами, заменив неудобства регентств неудобства выборов, предпочли кажущееся спокойствие мудрому управлению и предпочли пойти на риск получить в качестве правителей детей, чудовищ, слабоумных, лишь бы избежать споров о том, как лучше выбирать хороших королей. Не приняли во внимание, что подвергая себя таким образом риску выбора, имеешь почти все шансы против себя. Весьма разумны были слова юного Дионисия, которому отец, упрекая его в каком-то позорном поступке, сказал: «Разве я тебе подавал когда-либо подобный пример?» «Ах! — отвечал сын. — Ваш отец не был королем».

Все способствует тому, чтобы лишить справедливости и разума человека, воспитываемого, дабы он повелевал другими. Много прилагается стараний, чтобы научить юных принцев тому, что называют искусством царствовать: не видно, однако, чтобы такое воспитание шло им на пользу.

Было бы лучше начать с обучения их искусству повиноваться. Самые великие короли, те, которых прославил историк, были воспитаны вовсе не для того, чтобы царствовать; это — наука, которую никак нельзя усвоить хуже, чем после слишком долгого обучения, и которую лучше усваивают повинаясь, чем повелевая. *Nam utilissimus idem ac brevissimus bonarum malarumque rerum delectus, cogitare quid aut noluerit sub alio principe, aut volueris\**.

Это отсутствие преемственности влечет за собою непостоянство в королевском Правлении. Приспосабливаясь то к одному, то к другому плану в зависимости от характера царствующего государя или людей, которые царствуют за него, такое Правительство не может иметь ни определенной цели, ни последовательного образа действий в течение долгого времени; изменчивость эта заставляет Государство все время колебаться между одним замыслом и другим, что не имеет места при других Правлениях, где государь всегда один и тот же. Поэтому ясно, что, если при дворе больше хитрости, то в Сенате больше мудрости, и что Республики идут к своим целям, руководясь более постоянными и последовательными планами; между тем, как каждый переворот в составе кабинета министров производит переворот в Государстве, поскольку правило, общее для всех министров и почти для всех королей, заключается в том, чтобы во всяком деле поступать прямо противоположно своему предшественнику.

В этом же отсутствии преемственности можно почерпнуть опровержение весьма обычного для монархических политиков ложного умозаключения, которое состоит не только в том, что Управление обществом сопоставляется с управлением домом, а государь — с отцом семейства (ошибка, уже опровергнутая), но и в щедром наделении этого магистрата всеми добродетелями, в которых он мог бы нуждаться, и в неизменном предположении, что государь есть то, что он должен собою представлять; вследствие этого предположения королевское Правление, конечно же, становится предпочтительнее всякого другого, потому что оно бесспорно самое сильное, и, чтобы быть также наилучшим, ему недостает лишь такой воли правительственного корпуса, которая более соответствовала бы общей воле.

---

\* «Ибо самое удобное и самое быстрое средство отличить добро от зла — это спросить тебя, чего ты хотел, а чего нет, если бы королем был не ты, а другой» (лат.). [Т а ц и т. История, кн. I, 16].

Но если, по словам Платона, человек, которому самой природой предназначено быть королем, есть существо настолько редкостное, то сколько же раз природе и случаю удастся возложить на него корону? И если воспитание человека, которому предназначено быть королем, непременно его портит, то чего следует ожидать от поколений людей, возвращенных, чтобы царствовать? Следовательно, смешивать королевское Правление с Правлением доброго короля — это значит вводить самого себя в заблуждение. Дабы увидеть, что представляет это Правление само по себе, нужно рассмотреть, каково оно при государях недалеких или злых; ибо они либо такими взойдут на трон, либо же трон сделает их такими.

Эти трудности не ускользнули от внимания наших авторов, но они нисколько этим не смутились. Спасение, говорят они, заключается в том, чтобы повиноваться безропотно<sup>121</sup>: Бог дает дурных королей во гневе, и их нужно терпеть как кару небесную. Рассуждение это весьма поучительно, что и говорить; но оно было бы, кажется, уместнее в слове с кафедры, нежели в книге о политике. Что сказать о таком враче, который обещает чудеса, а все его искусство в том, чтобы призывать больного к терпению? Хорошо известно, что нужно терпеть Правительство дурное, раз такова форма Правления; дело тогда заключалось бы в том, чтобы найти Правление хорошее.

## Г л а в а VII

### О ПРАВЛЕНИЯХ СМЕШАННЫХ<sup>122</sup>

Собственно говоря, отдельные виды Правления в чистом виде не существуют. Единоличному правителю нужны подчиненные ему магистраты; народное Правление должно иметь главу. Таким образом, при разделении исполнительной власти всегда существует постепенный переход от большего числа к меньшему с тою разницей, что большее число может зависеть от малого или — малое от большого.

Иногда налицо разделение власти поровну; либо когда составные части находятся во взаимной зависимости, как это наблюдается в Правительстве Англии; или же когда власть каждой части независима, но неполна, как в Польше<sup>123</sup>. Эта последняя форма — дурна, потому, что в таком

случае единства в Правлении нет и нет внутренней связи в Государстве.

Который из видов Правления лучше: чистый или смешанный?<sup>124</sup> Вопрос этот весьма занимает политиков; и на него нужно дать такой же ответ, какой я дал выше относительно всякой формы Правления.

Простое Правление — лучшее само по себе по одному тому, что оно простое. Но если исполнительная власть не зависит в достаточной мере от законодательной, т. е. когда существует больше отношений между государем и сувереном, чем между народом и государем, то такое отсутствие соразмерности необходимо исправить, разделяя Правительство. Ибо тогда власть всех его частей над подданными не уменьшается, а разделение делает их все вместе менее сильными по отношению к суверену.

Это же затруднение устраняют иногда при помощи посредствующих магистратов, которые, оставляя Правительство в целости, служат только для уравнивания обеих властей и для поддержания их взаимных прав. Но тогда Правление не будет смешанным, оно будет умеренным.

Подобными же путями можно устранить и противоположное затруднение и, если Правление чересчур слабо, учредить коллегии, чтобы его сосредоточить: это практикуется во всех демократиях. В первом случае Правление разделяют, чтобы его ослабить, а во втором — чтобы его усилить. Ибо *максимум* силы и слабости одинаково встречается при простых видах Правления, в то время как смешанные формы дают среднюю силу.

## Г л а в а VIII

### О ТОМ, ЧТО НЕ ВСЯКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ ПРИГОДНА ДЛЯ ВСЯКОЙ СТРАНЫ

Свобода — это не плод, созревающий под всеми небесами, поэтому она доступна и не всем народам. Чем больше обдумываешь этот принцип, установленный Монтескье, тем более убеждаешься в его истинности; чем больше его оспаривают, тем больше дают случаев подтвердить его с помощью новых доказательств.

При всех Правлениях в мире та собирательная личность, которую представляет собой общество, потребляет и ничего

не производит. Откуда же она получает то, что потребляет? Из труда ее членов. Излишек у частных лиц и создает то, что необходимо для удовлетворения нужд всего общества. Отсюда следует, что общественное состояние может существовать лишь тогда, когда труд людей приносит больше, чем необходимо для удовлетворения нужд их.

Однако этот излишек не одинаков во всех странах мира. В одних он значителен, в других — невелик, в иных — равен нулю, в иных — отрицательная величина. Это отношение зависит от того, насколько благодатен климат, от способа обработки, которого требует земля, от природных особенностей ее произведений, от силы ее обитателей, от того, нужно ли им потреблять больше или меньше и от многих других подобных отношений, из которых оно складывается.

С другой стороны, все роды Правления неодинаковы по своей природе; среди них есть более или менее прожорливые, и основой различий служит тот принцип, что чем больше взимаемые в обществе обложения отдаляются от своего источника, тем более они обременительны. Не величиной обложения следует измерять это бремя, но тем путем, который должны совершить суммы, чтобы вернуться в те руки, из которых они вышли. Когда это обращение совершается быстро и оно хорошо налажено, не имеет значения, много ли или мало платят, народ всегда богат и финансы всегда в хорошем состоянии. Напротив, как бы мало народ ни давал, если это небольшое ему не возвращается, он, непрерывно отдавая, вскоре оказывается истощенным; Государство никогда не бывает богато, а народ всегда нищ.

Отсюда следует, что чем больше увеличивается расстояние между народом и Правительством, тем более обременительным становится обложение. Так, при демократии народ облагается меньше всего; при аристократии он облагается уже больше; при монархии он несет наибольшие тяготы. Монархия, следовательно, пригодна только для богатых народов; аристократия — для Государств средних как по богатству, так и по величине; демократия — для Государств малых и бедных<sup>125</sup>.

В самом деле, чем больше размышляешь, тем лучше видишь, что в этом особенно сказывается разница между свободными и монархическими Государствами. В первых — все служит для общей пользы; в других — силы обществен-

ные и частные взаимно противоположны, и одна из них растет только за счет ослабления другой. И, в конечном счете, деспотизм правит подданными не для того, чтобы сделать их счастливыми, но разоряет их, чтобы ими править.

Вот, следовательно, каковы в каждой стране те естественные основания, по которым можно определить форму Правления, обуславливаемую особенностями климата, и даже сказать, какого рода жителей должна иметь такая страна.

Места неблагоприятные и бесплодные, где урожай не стоит труда затраченного, чтобы его получить, должны оставаться невозделанными и пустынными или заселенными разве только дикарями. Там, где труд людей приносит только самое необходимое, могут обитать лишь варварские народы: никакой гражданский порядок не был бы там возможен. Места, где урожай, по сравнению с затраченным трудом, имеет средние размеры, подходят для свободных народов. Те места, где обильная и плодородная почва дает большие урожаи при небольшой затрате труда, требуют монархического управления, чтобы роскошь государя поглощала чрезмерные излишки у подданных; ибо лучше, чтобы этот излишек был поглощен Правительством, чем растрочен частными людьми. Есть исключения, я это знаю: но самые эти исключения подтверждают правило тем, что рано или поздно они вызывают перевороты, восстанавливающие естественный порядок вещей.

Будем всегда отличать общие законы от тех частных причин, которые могут только видоизменять их действие. Если бы даже Юг был занят Республиками, а весь Север — деспотическими Государствами, все же не будет менее справедливым то, что в силу особенностей климата деспотизм пригоден для жарких стран, варварство — для холодных, а наилучшее правление — для областей, занимающих место между теми и другими. Я понимаю также, что, принимая принцип, можно спорить о его приложениях: могут сказать, что есть холодные страны, весьма плодородные, и южные — весьма бесплодные. Но это — трудность лишь для тех, кто не рассматривает сего вопроса во всех отношениях. Необходимо, как я уже сказал, принимать в расчет соотношения труда, сил, потребления и так далее.

Предположим, что из двух равных участков земли один приносит пять, а другой — десять. Если жители первого

потребляют четыре, а жители второго — девять, то излишек продукта в первом случае составит одну пятую, а во втором — одну десятую. Стало быть, поскольку отношение обоих этих излишков обратно отношению продуктов, то участок земли, производящий лишь пять, даст излишек вдвое больший, чем тот, что производит десять.

Но речь идет не о двойном количестве продукта; и я не думаю, что кто-либо решится вообще приравнять плодородие стран холодных к плодородию стран жарких. Тем не менее, допустим, что такое равенство существует; поставим, если угодно, на одну доску Англию и Сицилию, Польшу и Египет. Дальше к югу будут у нас Африка и Индия; дальше к северу не будет больше ничего. При таком равенстве в производительности, какое различие в обработке земли! В Сицилии нужно лишь поскрести землю; в Англии — сколько трудов нужно затратить на ее обработку! А там, где нужно больше рук, чтобы получить столько же продукта, излишек неизбежно должен быть меньше.

Учтите, кроме того, что одно и то же количество людей в жарких странах потребляет гораздо меньше. Климат там требует умеренности, чтобы люди чувствовали себя хорошо: европейцы, которые хотят там жить, как у себя дома, гибнут от дизентерии и несварения желудка. *Мы*, — говорит Шарден, — *хищные звери, волки в сравнении с азиатами. Некоторые приписывают умеренность персов тому, что их страна менее возделана; я же, напротив, полагаю, что их страна потому-то и не столь изобилует припасами, что жителям нужно меньше. Если бы их умеренность, —* продолжает он, — *была результатом недостатка в продуктах питания в стране, то мало ели бы только бедные, тогда как это относится вообще ко всем; и в каждой провинции ели бы больше или меньше в зависимости от плодородия края, между тем как по всему царству можно наблюдать одинаковую умеренность. Они весьма довольны своим образом жизни; они говорят, что стоит лишь взглянуть на их цвет лица, чтобы понять, насколько их образ жизни лучше того, что ведут христиане. В самом деле, цвет лица у персов матовый; кожа у них красивая, тонкая и гладкая; тогда как у их подданных — армян, что живут по-европейски, — кожа грубая, нечистая, а тела их жирны и грузны*<sup>126</sup>.

Чем ближе к экватору<sup>127</sup>, тем меньше надо людям для жизни. Они почти не едят мяса; рис, маис, кускус, сорго, хлеб из маниоковой муки<sup>128</sup> составляют обычную пищу. В Индии есть миллионы людей, прокормление которых не стоит и су в день. Даже в Европе мы видим заметную разницу, что до аппетита, между народами Севера и народами Юга. Испанец проживает неделю обедом немца. В странах, где люди более обжорливы, стремление к роскоши распространяется также на предметы питания. В Англии это проявляется за столом, ломящимся от мясных блюд; в Италии угощением служат сахар и цветы.

Роскошь в одежде представляет такие же различия. Там, где смены времен года быстры и резки, носят одежды лучшие и более простые; в странах, где одеваются лишь для украшения, в одеждах ищут больше блеска, чем пользы; сами одежды там — предмет роскоши. В Неаполе вы всегда увидите людей, прогуливающихся по Позилиппо<sup>129</sup> в расшитых золотом куртках, но без чулок. То же самое можно сказать о постройках, — когда не приходится бояться суровости погоды, все внимание уделяется внешнему великолепию. В Париже и Лондоне желают жить в тепле и с удобствами; в Мадриде есть великолепные салоны, но совсем нет окон, которые закрывались бы, а люди спят в крысиных норах.

Пицца значительно питательнее и сочнее в жарких странах; это третье отличие, которое не может не оказать влияния на второе. Почему в Италии едят столько овощей? Потому что они там хороши, питательны, отличны на вкус. Во Франции пищей овощам служит только вода, они совсем не питательны и за столом им не придают никакой цены; между тем они занимают не меньше земли и требуют, по меньшей мере, столько же труда для их выращивания. Опытом установлено, что хлеба берберийские, к тому же уступающие французским, дают гораздо больший выход муки, и что хлеба французские в свою очередь дают муки больше, чем на Севере. Из этого можно заключить, что подобный постепенный переход наблюдается вообще в этом же направлении от экватора к полюсу. А разве это не явный убыток — получать из равного количества продуктов меньше пищи?

Ко всем этим различным соображениям я могу прибавить еще одно, которое из них вытекает и их подкрепляет:

жаркие страны менее нуждаются в обитателях, чем холодные, а прокормить их могут больше; это вызывает двойной излишек, опять-таки к выгоде деспотизма. Чем больше пространства занимает одно и то же число жителей, тем затруднительнее для них становятся восстания, потому что нельзя сговориться ни быстро, ни тайно, и потому что Правительству всегда легко открыть замыслы и прервать сообщения. Но чем более скучивается многочисленный народ, тем менее может Правительство узурпировать права суверена: вождям совещаться у себя дома столь же безопасно, как государю в его Совете, и толпа столь же быстро собирается на площадях, как войско в местах своего расположения. Преимущество, следовательно, на стороне, тиранического Правительства тогда, когда оно может действовать на больших расстояниях. С помощью опорных точек, которые оно себе создает, сила такого Правительства увеличивается на расстоянии подобно силе рычагов\*. Сила же народа, напротив, действует лишь тогда, когда она сконцентрирована; она выдыхается и исчезает, распространяясь по поверхности, подобно действию рассыпанного по земле пороха, который загорается лишь крупица от крупы. Таким образом, страны, наименее населенные, наиболее подвержены тирании: хищные звери царят лишь в пустынях.

## Г л а в а IX

### О ПРИЗНАКАХ ХОРОШЕГО ПРАВЛЕНИЯ

Когда, стало быть, спрашивают в общей форме, которое из Правлений наилучшее, то задают вопрос неразрешимый, ибо сие есть вопрос неопределенный, или, если угодно, он имеет столько же верных решений, сколько есть возможных комбинаций в абсолютных и относительных положениях народов.

Но если бы спросили, по какому признаку можно узнать, хорошо или дурно управляется данный народ, то это было

---

\* Это не противоречит тому, что я говорил выше (кн. II, гл. IX) о неудобствах больших Государств, ибо там речь шла о власти Правительства над его членами, а здесь речь идет о его силе по отношению к подданным. Рассеянные повсюду члены Правительства служат ему точками опоры, чтобы воздействовать непосредственно на самих этих членов. Таким образом, в одном случае длина рычага составляет его слабость, а в другом — силу.

бы другое дело, и такой вопрос действительно может быть разрешен.

Однако его вовсе не разрешают, потому что каждый хочет сделать это на свой лад. Подданные превозносят покой в обществе, граждане — свободу частных лиц; один предпочитает безопасность владений, а другой — безопасность личности; один считает, что наилучшее Правление должно быть самым суровым, другой утверждает, что таким может быть только самое мягкое; этот хочет, чтобы преступления карались, а тот — чтобы они предупреждались; один считает, что хорошо держать соседей в страхе, другой предпочитает оставаться им неизвестным; один доволен, когда деньги обращаются, другой требует чтобы народ имел хлеб. Даже если бы мы и пришли к соглашению в этих и в других подобных пунктах, то разве подвинулись бы далеко? Раз нет точной меры для духовных свойств, то даже и придя к соглашению относительно признаков — как этого достичь в оценке?

Что до меня, то я всегда удивляюсь тому, что не обращают внимания на следующий столь простой признак или по недобросовестности не хотят его признавать. Какова цель политической ассоциации? Бережение и благоденствие ее членов. А каков наиболее верный признак, что они бережены и благоденствуют? Это их численность и ее рост. Не ищите же окрест сей признак — предмет столь многих споров. При прочих равных условиях такое Правление, когда без сторонних средств, без предоставления права гражданства, без колоний граждане плодятся и множатся, есть, несомненно, лучшее. Правление, при котором народ уменьшается в числе и оскудевает, есть худшее. Счетчики, теперь дело за вами: считайте, измеряйте, сравнивайте\*.

---

\* На основании того же принципа должно судить о веках, заслуживающих предпочтения с точки зрения благоденствия человеческого рода. Слишком много восхищались теми веками, когда наблюдался расцвет литературы и искусства, не проникая в сокрытые цели культуры этих веков, не принимая в соображение ее пагубные результаты: *Idque apud imperitos humanitas vocabatur, quum pars servitutis esset.* («Глупцы именуют образованностью то, что уже было началом порабощения» (*лат.*) — Т а ц и т. Агрикола<sup>130</sup>, ХХI). Неужели мы никогда не научимся видеть в принципах, которые находим мы в книгах, грубую корысть, говорящую устами их авторов. Нет, что бы о том они ни говорили, если, несмотря на внешний блеск, страна теряет население, неправда что все идет в ней хорошо, и еще недостаточно, если у одного поэта<sup>131</sup> сто тысяч ливров ренты, чтобы считать его век лучшим из всех. Нужно меньше обращать внимания на кажущееся спокойствие и на успокоенность правителей, чем на благосостояние подданных и в особенности наиболее многочисленных сословий.

## Г л а в а X

### О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ВЛАСТЬЮ И О ЕЕ СКЛОННОСТИ К ВЫРОЖДЕНИЮ

Как частная воля непрестанно действует против общей, так и Правительство постоянно направляет свои усилия против суверенитета. Чем больше эти усилия, тем больше портится государственное устройство; а так как здесь нет другой воли правительственного корпуса, которая, противостоя воле государя, уравновешивала бы ее, то рано или поздно должно случиться, что государь подавляет в конце коцов суверен и разрывает общественный договор. В этом и заключается исконный и непременный порок, который с самого рождения Политического организма беспрестанно стремится его разрушить, подобно тому как старость и смерть разрушают в конце концов тело человека.

Есть два общих пути, по которым всякое Правительство может перерождаться, именно: когда оно сосредоточивается или когда Государство распадается.

Правительство сосредоточивается, когда число его членов уменьшается, т. е. когда оно превращается из демократии в аристократию и из аристократии в монархию. Такая склонность заложена в нем от природы\*. Если бы оно обра-

Град разоряет несколько кантонов, но он редко приводит к голоду. Мятежи, гражданские войны весьма тревожат правителей, но они не составляют настоящих бедствий для подданных, которые могут даже получить передышку, пока идет спор о том, кому их тиранить. В действительности процветание или бедствия порождаются постоянным их состоянием, в котором обычно они находятся; когда все подавлено под игмом — вот тогда все приходит в упадок, вот тогда правители, безвозбранно разоряя подданных, *ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.* («Они превращают все в пустыню и называют это миром» (лат.) — Та ц и т. Агрикола, XXX.). Когда распри вельмож волновали французское королевство и когда парижский коадьютор<sup>132</sup> ходил в Парламент с кинжалом в кармане, это не мешало тому, чтобы французский народ жил, счастливый и многочисленный, в изрядном и свободном довольстве. Некогда Греция процветала в разгар самых жестоких войн: кровь лилась там потоками, а вся страна была заселена людьми. Казалось, говорит Макиавелли<sup>133</sup>, что среди убийств, изгнаний, гражданских войн, наша Республика стала в результате еще более могущественной; доблесть ее граждан, их нравы, их независимость более способствовали ее укреплению, чем все раздоры — ее ослаблению. Небольшое волнение возбуждает души, и процветание роду человеческому приносит не столько мир, сколько свобода.

\* Медленное образование и развитие Венецианской Республики на ее лагунах являют примечательный пример такой последовательности; и весьма удивительно, что по прошествии двенадцати веков венецианцы, по-ви-

щалось вспять, т. е. шло от меньшего числа членов к большему, то можно было бы сказать, что оно ослабляется, но такое обратное движение невозможно.

В самом деле, Правление изменяет форму только тогда, когда износившиеся пружины делают его столь слабым, что оно не может сохранить свою прежнюю. Так что, если бы оно продолжало еще ослабляться, расширяясь, то его сила стала бы совершенно ничтожной, и оно просуществовало бы еще меньший срок. Следовательно, необходимо возвращаться назад и заводить пружины по мере того, как они ослабевают; иначе поддерживаемое ими Государство разрушится.

димому, находятся только на второй ступени, которая началась при *Serrar di Consiglio* («Закрытие Совета» (*итал.*)<sup>134</sup>) в 1198 г. Что до герцогов, которые у них некогда были и которыми их попрекают, то, что бы ни гласило *Squittinio della liberta veneta* («Голос о свободе Венеции» (*итал.*)<sup>135</sup>), доказано, что они вовсе не были их государями.

Мне не преминут привести в качестве возражения Римскую Республику, которая, скажут, развивалась совершенно противоположным путем, переходя от монархии к аристократии и от аристократии к демократии. Я весьма далек от того, чтобы об этом думать таким образом.

Первые установления Ромул<sup>136</sup> были смешанным Правлением, которое быстро выродилось в деспотизм. В силу особых причин Государство погибло преждевременно, как умирает младенец до того, как достигнет зрелого возраста. Изгнание Тарквиниев явилось подлинной эпохой рождения Республики. Но она не приняла вначале постоянной формы, потому что была сделана лишь половина дела, так как не был уничтожен патрициат. Ибо поскольку при этом наследственная аристократия, которая является наихудшим из видов управления, основанных на законе, продолжая стлкаться с демократией, этой формой Правления, неустойчиво и колеблющейся, не была упрочена, как это доказывал Макиавелли<sup>137</sup> с появлением Трибуната: только тогда появились настоящее Правительство и подлинная демократия. В самом деле, тогда народ не был только сувереном, но также магистратом и судьей. Сенат был лишь подчиненною палатою, предназначенной ограничивать и концентрировать Власть: а сами Консулы, хотя и патриции, хотя и первые магистраты, хотя и военачальники с неограниченной властью на войне, были в Риме лишь выборными главами народа.

С тех пор Правление следует своей естественной склонности и явно тяготеет к аристократии. Поскольку патрициат уничтожился как бы сам собою, аристократия находилась уже не в корпорации патрициев, как это имеет место в Венеции и Генуе, а среди членов Сената, состоящего из патрициев и плебеев, и даже в корпорации Трибунов, когда они начали присваивать себе действительную власть. Ибо названия не изменяют сути вещей и если у народа появляются начальники, которые правят за него, то, как бы они не именовались, это всегда аристократия.

Злоупотребление властью при аристократическом правлении породило гражданские войны и триумвират. Сулла, Юлий Цезарь, Август<sup>138</sup> в действительности стали монархами, и, наконец, при деспотизме Тиберия<sup>139</sup>, Государство распалось. Следовательно, история Рима отнюдь не опровергает выдвинутое мною положение — она его подтверждает.

Распад Государства может произойти двумя путями.

Во-первых, когда государь больше не управляет Государством сообразно с законами и когда он узурпирует верховную власть. Тогда происходят примечательные изменения: не Правительство, а Государство сжимается; я хочу сказать, что большое Государство распадается и в нем образуется другое Государство, состоящее только из членов Правительства и являющееся по отношению к остальному народу лишь его господином и тираном. Так что в ту минуту, когда Правительство узурпирует суверенитет, общественное соглашение разорвано, и все простые граждане, по праву возвращаясь к своей естественной свободе, принуждены, а не обязаны повиноваться.

То же происходит и тогда, когда члены Правительства в отдельности присваивают себе власть, которую они должны осуществлять лишь сообща: это не меньшее нарушение законов и порождает еще большую смуту в Государстве: тогда получается, так сказать, столько же государей, сколько магистратов; и Государство, не менее разделенное, чем Правление, погибает или изменяет свою форму.

Когда Государство распадается, то злоупотребление Властью, какова бы она не была, получает общее название *анархии*. В частности, демократия вырождается в *охлократию*<sup>140</sup>, аристократия — в *олигархию*<sup>141</sup>. Я бы добавил, что монархия вырождается в *тиранию*, но это последнее слово имеет два смысла и требует пояснения.

В обычном смысле слова, тиран — это король, который правит с помощью насилия, не считаясь со справедливостью и законами. В точном смысле слова тиран — это частное лицо, которое присваивает себе королевскую власть, не имея на то права. Именно так понимали слово *тиран* греки; они так называли и хороших и дурных государей, если их власть не имела законного основания\*. Таким образом, *тиран* и *узурпатор* суть два слова совершенно синонимичные.

\* «*Omnes enim et habentur et dicuntur tyranni, qui potestate utuntur perpetua in ea civitate quae libertate usa est*». Corn. Nep. *In Miltiad* («Все те считались и назывались тиранами, кто пользовался постоянной властью в государстве, наслаждавшемся свободой». — К о р н е л и й Н е п о т. Мильтиад (*лат.*)<sup>142</sup>). Правда, Аристотель (*Eth. Nicom. Lib. VIII, с. X* (Ником[ахова] эт[ика], кн. VIII. гл. X.)) видит отличие тирана от короля в том, что первый правит для своей личной пользы, а второй лишь для пользы своих подданных, но обычно все греческие авторы употребляли слово *тиран* в ином смысле, как это видно, в особенности, из Ксенофонтова *Гигерона*<sup>143</sup>, кроме того, если следовать за Аристотелем, оказалось бы, что никогда еще с сотворения мира не существовало ни одного короля.

Чтобы дать различные наименования различным вещам, я именую *тираном* узурпатора королевской власти, а *деспотом* — узурпатора власти верховной. Тиран — это тот, кто противу законов провозглашает себя правителем, действующим согласно законам; деспот — тот, кто ставит себя выше самих законов. Таким образом, тиран может не быть деспотом, но деспот — всегда тиран.

## Г л а в а Х I

### О СМЕРТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА

Так, естественно и неизбежно склоняются к упадку наилучшим образом устроенные Правления. Если Спарта и Рим погибли, то какое Государство может надеяться существовать вечно?<sup>144</sup> Если мы хотим создать прочные установления, то не будем помышлять сделать их вечными. Чтобы достичь успеха, не следует ни пытаться свершить невозможное, ни льстить себя надеждою придать созданию людей прочность, на которую создания рук человеческих не позволяют рассчитывать.

Политический организм так же. Как и организм человека, начинает умирать с самого своего рождения и несет в себе самом причины своего разрушения. Но и тот и другой могут иметь сложение более или менее крепкое и способное сохранить этот организм на более или менее длительный срок. Организм человека — это произведение искусства<sup>145</sup>. От людей не зависит продление срока их жизни; от них зависит продлить жизнь Государства настолько, сколь сие возможно, дав ему наилучшее устройство, какое только оно может иметь. И самым лучшим образом устроенное Государство когда-нибудь перестанет существовать; но позже, чем другое, если никакой непредвиденный случай не приведет его к преждевременной гибели.

Первооснова политической жизни заключается в верховной власти суверена. Законодательная власть — это сердце Государства, исполнительная власть — его мозг, сообщающий движение всем частям. Мозг может быть парализован, а индивидуум будет еще жить. Человек остается идолом — и живет, но как только сердце перестанет сокращаться, животное умирает.

Не законами живо Государство, а законодательной властью. Закон, принятый вчера, не имеет обязательной силы

сегодня; но молчание подразумевает молчаливое согласие, и считается, что суверен непрерывно подтверждает законы, если он их не отменяет, имея возможность это сделать. То, что суверен единожды провозгласил как свое желание, остается его желанием, если только он сам от него не отказывается.

Почему же столь почитают древние законы? Именно поэтому. Надо полагать, что лишь превосходство волеизъявлений древних могло сохранить их в силе столь долго; если бы суверен не признавал их неизменно благотворными, он бы их тысячу раз отменил. Вот почему законы не только не теряют силу, но беспрестанно приобретают новую силу во всяком хорошо устроенном Государстве; уже одно то, что они древние, делает их с каждым днем все более почитаемыми; тогда как повсюду, где законы, старея, теряют силу, это доказывает, что нет там больше власти законодательной и что Государство перестает жить.

## Г л а в а XII

### КАК ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ СУВЕРЕНА

Суверен, не имея другой силы, кроме власти законодательной, действует только посредством законов; а так как законы суть лишь подлинные акты общей воли, то суверен может действовать лишь тогда, когда народ в собраньи. Народ в собраньи, скажут мне, — какая химера! Это химера сегодня, но не так было две тысячи лет тому назад. Изменилась ли природа людей?

Границы возможного в мире духовном менее узки, чем мы полагаем; их сужают наши слабости, наши пороки, наши предрассудки. Низкие души не верят в существование великих людей; подлые рабы с насмешливым видом улыбаются при слове *свобода*.

Основываясь на том, что совершилось, рассмотрим то, что может совершиться. Я не стану говорить о Республиках древней Греции; но Римская Республика была, как будто, большим Государством, а город Рим — большим городом. По данным последнего ценза<sup>146</sup>, в Риме оказалось четыреста тысяч граждан, способных носить оружие, а по последней переписи в империи было около четырех миллионов гражд-

дан, не считая подданных, иностранцев, женщин, детей, рабов.

Каких только затруднений не воображают себе, что связаны с необходимостью часто собирать огромное население этой столицы и ее окрестностей. А между тем немного недель проходило без того, чтобы римский народ не собирался и даже по нескольку раз. Он не только осуществлял права суверенитета, но даже часть прав по Управлению. Он решал некоторые дела, разбираал некоторые тяжбы, и весь этот народ столь же часто бывал на форуме магистратом, как и гражданином.

Восходя к начальным временам в истории народов, мы найдем, что большинство древних Правлений, даже монархических, таких как Правления македонян и франков, имели сходные Советы. Как бы там ни было, а уже один этот неоспоримый факт разрешает все трудности: заключать по существующему о возможном — это значит, мне кажется, делать верный вывод.

## Г л а в а XIII<sup>147</sup> ПРОДОЛЖЕНИЕ

Недостаточно, чтобы народ в собраньи единожды утвердил устройство Государства, одоблив свод законов; недостаточно, чтобы он установил постоянный образ Правления или преуказал раз навсегда порядок избрания магистратов. Кроме чрезвычайных собраний, созыва которых могут потребовать непредвиденные случаи, надо, чтобы были собрания регулярные, периодические, созыв которых ничто не могло бы ни отменить, ни отсрочить, так, чтобы в назначенный день народ на законном основании созывался в силу Закона, без того, чтобы для этого необходима была еще какая-нибудь процедура созыва.

Но, за исключением этих собраний, правомерных уже по одному тому, что они созываются в установленный Законом срок, всякое собрание народа, которое не будет создано магистратами, для того поставленными, и сообразно с предписанными формами, должно считаться незаконным и все там содеянное не имеющим силы, потому что даже само приказание собираться должно исходить от Закона.

Что до более или менее частой повторяемости законных собраний, то сие зависит от стольких различных соображений, что здесь невозможно преподать точные правила. Можно, в общем, сказать только одно, что чем больше силы у Правительства, тем чаще должен являть себя суверен.

Это, скажут мне, может быть хорошо для одного города; но что делать, когда их в Государстве несколько? Разделить ли верховную власть? Или же должно сконцентрировать ее в одном только городе, а все остальные подчинить ему?

Я отвечу, что не следует делать ни того, ни другого. Во-первых, верховная власть неделима и едина, и ее нельзя разделить, не уничтожив. Во-вторых, никакой город, так же как и никакой народ, не может быть на законном основании подчинен другому, потому что сущность Политического организма состоит в согласовании повиновения и свободы и потому, что слова эти — *подданный* и *суверен* указывают на такие же взаимоотношения, смысл которых соединяется в одном слове — *гражданин*.

Я отвечу еще, что это всегда зло — объединять несколько городов в одну Общину гражданскую — и что, желая совершить такое объединение, не должно льстить себя надеждою, что удастся избежать естественно связанных с этим затруднений. Вовсе не следует ссылаться на злоупотребления в больших Государствах тому, кто считает, что Государства должны обладать малыми размерами. Но как наделить малые Государства силой достаточной, чтобы противостоять большим? как некогда древнегреческие города противостояли великому царю<sup>148</sup>, и как в более близкое к нам время Голландия и Швейцария противостояли австрийскому дому<sup>149</sup>.

Все же, если невозможно свести размеры Государства до наилучшей для него величины, то остается еще одно средство: не допускать, чтобы оно имело столицу; сделать так, чтобы Правительство имело местопребывание попеременно в каждом городе и собирать там поочередно Штаты страны.

Заселите равномерно территорию, распространите на нее всю одни и те же права, создайте в ней повсюду изобилие и оживление, — именно таким образом Государство делается сразу и наиболее сильным и лучше всего управляемым. Помните, что стены городов возводятся из обломков домов деревень. При виде каждого дворца, возводимого в столице, я словно вижу, как разоряют целый край.

## Г л а в а XIV ПРОДОЛЖЕНИЕ

Как только весь народ на законном основании собрался в качестве суверена, всякая юрисдикция Правительства прерывается, исполнительная власть временно отрешается, и личность последнего гражданина становится столь же священной и неприкосновенной, как личность первого магистрата, ибо там, где находится представляемый, нет более представителей. Большая часть волнений, поднимавшихся в Риме в Комициях<sup>150</sup>, происходила от незнания этого правила или от пренебрежения им. Консулы были тогда лишь первоприсутствующими народа. Трибуны — простыми ораторами\*, Сенат — вообще ничем.

Эти промежутки времени, когда исполнительная власть временно отрешена и государь признает или должен признать того, кто в действительности его выше, всегда были для него опасны; и эти собрания народа — защита Политического организма и узда для Правительства во все времена вселяли ужас в сердца правителей; поэтому они, чтобы отвратить граждан от таких собраний, никогда не жалеют стараний, чинят препятствия и затруднения, раздают посулы. Если же граждане скупы, трусливы, малодушны, больше привязаны к покою, чем к свободе, то они недолго могут устоять против все возрастающих усилий Правительства. Вот каким образом, когда противодействующая сила беспрестанно возрастает, власть суверена в конце концов исчезает и большинство Общин слабеют и преждевременно гибнут.

Но между властью суверена и самовластным Правительством иногда встает посредствующая власть, о которой надо сказать отдельно.

## Г л а в а XV О ДЕПУТАТАХ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ

Как только служение обществу перестает быть главным делом граждан и они предпочитают служить ему своими кошельками, а не самолично, — Государство уже близко к

---

\* Приблизительно в том смысле, какой придают этому слову в английском Парламенте. Сходство этих должностей привело бы к столкновению Консулов и Трибунов, хотя бы и была приостановлена всякая юрисдикция.

разрушению. Нужно идти в бой? — они нанимают войска, а сами остаются дома. Нужно идти в Совет? — они избирают Депутатов и остаются дома. Наконец, так как граждан одолевает лень и у них в избытке деньги, то у них, в конце концов, появляются солдаты, чтобы служить отечеству, и представители, чтобы его продавать.

Хлопоты, связанные с торговлей и ремеслами, алчность в погоне за наживою, изнеженность и любовь к удобствам — вот что приводит к замене личного служения денежными взносами. Уступают часть своей прибыли, чтобы легче было ее потом увеличивать. Давайте деньги — и скоро на вас будут цепи. Слово *финансы* — это слово рабов, оно неизвестно в гражданской общине. В стране, действительно свободной, граждане все делают своими руками — и ничего — при помощи денег; они не только не платят, чтобы освободиться от своих обязанностей, но они платили бы за то, чтобы исполнять их самим. Я весьма далек от общепринятых представлений; я полагаю, что натуральные повинности менее противны свободе, чем денежные подати.

Чем лучше устроено Государство, тем больше в умах граждан заботы общественные дают ему перевес над заботами личными. Там даже гораздо меньше личных забот, ибо, поскольку сумма общего блага составляет более значительную часть блага каждого индивидуума, то последнему приходится меньше добиваться его путем собственных усилий. В хорошо управляемой Гражданской общине каждый летит на собрания; при дурном Правлении никому не хочется и шагу сделать, чтобы туда отправиться, так как никого не интересуется то, что там делается, ибо заранее известно, что общая воля в них не возобладает, и еще потому, наконец, что домашние заботы поглощают все. Хорошие законы побуждают создавать еще лучшие, дурные — влекут за собою еще худшие. Как только кто-либо говорит о делах Государства: *что мне до этого?* Следует считать, что Государство погибло.

Охлаждение любви к отечеству, непрерывное действие частных интересов, огромность Государств, завоевания, злоупотребление Властью натолкнули на мысль о Депутатах или Представителях народа в собраниях нации. Это то, что в некоторых странах смеют называть Третьим сословием. Таким образом, частные интересы двух сословий поставлены на первое и второе места; интересы всего общества — лишь на третьем.

Суверенитет не может быть представляем по той же причине, по которой он не может быть отчуждаем. Он заключается, в сущности, в общей воле, а воля никак не может быть представляема; или это она, или это другая воля, сред-него не бывает. Депутаты народа, следовательно, не являются и не могут являться его представителями; они лишь его уполномоченные; они ничего не могут постановлять окончательно. Всякий закон, если народ не утвердил его непосредственно сам, недействителен; это вообще не закон. Английский народ считает себя свободным: он жестоко ошибается. Он свободен только во время выборов членов Парламента: как только они избраны — он раб, он ничто. Судя по тому применению, которое он дает своей свободе в краткие мгновения обладания ею, он вполне заслуживает того, чтобы он ее лишился.

Понятие о Представителях принадлежит новым временам; оно досталось нам от феодального Правления, от этого вида Правления несправедливого и нелепого, при котором род человеческий пришел в упадок, а звание человека было опозорено. В древних Републиках и даже в монархиях народ никогда не имел Представителей; само это слово было неизвестно. Весьма странно, что в Риме, где Трибуны были столь свято чтимы, никто даже не представлял себе, что они могли бы присвоить себе права народа, и что при столь огромной численности населения они никогда не пытались провести собственной властью хотя бы один плебисцит. Пусть судят, однако, о затруднениях, которые иногда вызывает наличие такой массы народа, по тому, что случилось во времена Гракхов<sup>151</sup>, когда часть граждан подавала голоса с крыш.

Там, где право и свобода — всё, затруднения ничего не значат. У этого мудрого народа все было поставлено на соответствующее место; он предоставил своим ликторам<sup>152</sup> делать то, что не осмелились бы сделать Трибуны; он не опасался, что ликторы могут захотеть его представлять.

Чтобы все же объяснить, каким образом Трибуны иногда представляли народ, достаточно постигнуть, как Правительство представляет суверен. Поскольку Закон — это провозглашение общей воли, то ясно, что в том, что относится до власти законодателей, народ не может быть представляем; но он может и должен быть представляем в том, что относится к власти исполнительной, которая есть сила, приложенная к Закону. Отсюда видно, что если рассматри-

вать вещи как следует, мы обнаружим, что законы существуют лишь у очень немногих народов. Как бы то ни было, несомненно, что Трибуны, не обладая никакою частью исполнительной власти, никогда не могли представлять римский народ по праву своей должности, но лишь узурпируя права Сената.

У греков все, что народу надлежало делать, он делал сам; непрерывно происходили его собрания на площади. Он жил в мягком климате; он вовсе не был алчен: рабы выполняли его работу<sup>153</sup>, главной заботой его была собственная свобода. Не имея более тех же преимуществ, как сохранить те же права? Ваш более суровый климат порождает у вас больше потребностей\*: шесть месяцев в году общественной площадью нельзя пользоваться; вашу глухую речь не слышать на открытом воздухе; вы больше делаете для вашего барыша, нежели для свободы вашей, и гораздо меньше страшитесь рабства, нежели нищеты.

Как! Свобода держится лишь с помощью рабства? Возможно. Эти две крайности соприкасаются. Все, чего нет в природе, связано с затруднениями, а гражданское общество более, чем все остальное. Бывают такие бедственные положения, когда можно сохранить свою свободу только за счет свободы другого человека и когда гражданин может быть совершенно свободен лишь тогда, когда раб будет до последней степени рабом. Таково было положение Спарты. Вы же, народы новых времен, у вас вообще нет рабов, но вы — рабы сами; вы платите за их свободу свою. Напрасно вы похваляетесь этим преимуществом, я вижу здесь больше трусости, чем человечности.

Всем этим я вовсе не хочу сказать, что следует иметь рабов и что право рабовладения законно, поскольку я уже доказал противное. Я только указываю причины того, почему народы новых времен, мнящие себя свободными, имеют Представителей и почему древние народы их не имели. Что бы там ни было, но как только народ дает себе Представителей, он более не свободен; его более нет<sup>154</sup>.

Рассмотрев все основательно, я считаю, что суверен отныне может осуществлять среди нас свои права лишь в том случае, если Гражданская община очень мала. Но если

---

\* Допустить в холодных странах роскошь и изнеженность жителей Востока значит положить на себя их цепи; значит подвергнуться этому с еще большей неизбежностью, чем они.

она очень мала, то она будет покорена? Нет. Я покажу ниже\*, как можно соединить внешнее могущество многочисленного народа с легко осуществляемым управлением и добрым порядком малого Государства.

## Г л а в а XVI

### О ТОМ, ЧТО УЧРЕЖДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТНЮДЬ НЕ ЕСТЬ ДОГОВОР

Когда установлена как следует законодательная власть, требуется установить таким же образом власть исполнительную, ибо эта последняя, действующая лишь посредством актов частного характера, по самой своей сущности отличаясь от первой, естественно от нее отделена. Если бы возможно было, чтобы суверен, рассматриваемый как таковой, обладал исполнительной властью, то право и действия так смешались бы, что уже неизвестно было бы, что Закон, а что — не он, и Политический организм, так извращенный, стал бы вскоре добычею того насилия, противостоять которому он был создан.

Поскольку по Общественному договору все граждане равны, то все могут предписывать то, что все должны делать, но никто не имеет права требовать, чтобы другой сделал то, чего он не делает сам. Именно это право, необходимое, чтобы сообщить жизнь и движение Политическому организму, и дает суверен государю, учреждая Правительство.

Многие утверждали<sup>155</sup>, что этот акт является договором между народом и теми правителями, которых он себе находит: договором, в котором оговариваются условия, на которых одна из сторон обязуется повелевать, а другая — повиноваться. Со мной согласятся, я надеюсь, что это странный способ заключать договоры. Но посмотрим, можно ли защищать такое мнение.

Во-первых, верховная власть не может видоизменяться, как не может и отчуждаться; ограничивать ее — значит ее уничтожить. Нелепо и противоречиво, чтобы суверен ста-

---

\* Именно это я и намеревался сделать на протяжении этого произведения, когда, рассматривая внешние сношения, я добрался бы до конфедераций. Предмет этот совершенно нов, здесь должны быть еще установлены первоначальные принципы.

вил над собою старшего; обязываться подчиняться господину значило бы вернуться к состоянию полной свободы.

Кроме того, очевидно, что такой договор народа с теми или иными лицами являлся бы актом частного характера, откуда следует, что этот акт не мог бы являть собою ни закон, ни акт суверенитета, и что, следовательно, он был бы незаконен.

Понятно также, что договаривающиеся стороны подчинялись бы в своих взаимоотношениях единственно естественному закону, без какого бы то ни было поручителя в их взаимных обязательствах, что во всех отношениях противоречит гражданскому состоянию. Тот, у кого в руках сила, всегда управляет и исполнением; стало быть, с равным успехом можно было бы дать имя договора такому действию одного человека, который сказал бы другому: «Я отдаю вам все мое достояние при условии, что вы вернете мне из него то, что вам будет угодно».

Существует только один договор в Государстве, — это — договор ассоциации, и он один исключает здесь любой другой<sup>156</sup>. Нельзя представить себе никакого публичного договора, который не был бы нарушением первого.

## Г л а в а XVII ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В каком же смысле нужно понимать акт, которым учреждается Правительство? Я замечу прежде всего, что — это акт сложный, или состоящий из двух других актов, именно: установления закона и исполнения закона<sup>157</sup>.

Первым из них суверен постановляет, что будет существовать Правительственный корпус, установленный в той или иной форме, — и ясно, что этот акт есть закон.

Вторым — народ нарицает начальников, на коих будет возложено учреждаемое Управление. Но, нарицая их, он творит акт частного характера, не другой закон, но лишь продолжение первого и Действие правительственное.

Трудность состоит в том, чтобы понять, как возможно Действие правительственное, когда нет еще Правительства; и каким образом народ, являющийся лишь сувереном или подданным, может при определенных обстоятельствах стать государем или магистратом.

И в этом раскрывается еще одно из удивительных свойств Политическому организму из тех свойств, посредством которых он примиряет действия, по видимости противоречивые. Это свойство проявляется во внезапном превращении верховной власти в демократию, таким образом, что безо всякой заметной перемены и только в силу нового отношения всех ко всем, граждане, став магистратами, переходят от общих актов к актам частного характера и от Закона к его исполнению.

Это изменение отношений вовсе не какая-нибудь чисто умозрительная тонкость, не имеющая примера в практике: оно имеет место в английском Парламенте тогда, когда Нижняя палата в определенных случаях превращается в большой комитет, чтобы лучше обсуждать дела, и следовательно из Верховного собрания, каким она была в предыдущей момент, становится обыкновенной комиссией; таким образом, она затем уже делает доклад самой себе как Палате Общин о том, что она только что определила в качестве большого комитета, и снова обсуждает в одном качестве то, что она уже решила в другом.

Таково преимущество, свойственное Правительству при демократии: оно может быть установлено посредством простого акта общей воли. После чего это временное Правительство остается у власти, если такова принятая форма, или устанавливает именем суверена образ Правления, предписываемый Законом; и все, таким образом, совершается по правилу. Невозможно учредить Правительство каким-либо иным законным способом, и не отказываясь от установленных выше принципов.

## Г л а в а XVIII

### СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЗАХВАТ ВЛАСТИ

Из этих разъяснений следует, в подтверждение главы XVI, что акт, учреждающий Правительство, — это отнюдь не договор, а закон; что блюстители исполнительной власти не господа народа, а его чиновники; что он может их назначать и смещать, когда это ему угодно, что для них речь идет вовсе не о том, чтобы заключить договор, а о том, чтобы повиноваться; и что, беря на себя должностные обязанности, которые Государство возлагает на них, они лишь

исполняют свой долг граждан, не имея никоим образом права обсуждать условия.

Когда же случается, что народ учреждает Правительство наследственное, то ли монархическое — в одной семье, то ли аристократическое — в одном сословии граждан, это во все не означает, что он берет на себя обязательство: это — временная форма<sup>158</sup>, которую он дает управлению до тех пор, пока ему не будет угодно распорядиться по этому поводу иначе.

Правда, эти изменения всегда опасны, и не следует касаться уже установленного Правительства, за исключением того случая, когда оно становится несовместимым с общим благом. Но эта осмотрительность — правило политики, а не принцип права, и Государство не в большей мере обязано предоставлять гражданскую власть своим высшим должностным лицам, чем власть военную своим генералам.

Правда также, что в подобном случае невозможно соблюсти со всею тщательностью все формальности, которые требуются для того, чтобы отличать акт правильный и законный от мятежного волнения, и волю всего народа от ропота политической фракции. Здесь, особенно в неблагоприятном случае, следует соблюсти только то, что, по всей строгости права, обязательно должно быть соблюдено. И именно из этого обязательства государь и извлекает большое преимущество для сохранения своей власти вопреки воле народа, причем, нельзя сказать, чтобы он ее узурпировал. Ибо, делая вид, что он пользуется лишь своими правами, он очень легко может их расширить и препятствовать, под предлогом сохранения общественного спокойствия, созыву собраний, предназначенных для восстановления доброго порядка; таким образом, он пользуется молчанием, нарушению которого препятствует, и беспорядками, которые вызывает, чтобы истолковать в свою пользу мнение тех, кого страх заставляет замолчать, и чтобы наказать тех, кто осмеливается говорить. Таким именно образом Децемвиры, будучи сначала избраны на год<sup>159</sup>, а затем еще на один, пытались удержать власть в своих руках навсегда, не позволяя более собираться Комициям; и именно таким легким способом все Правительства мира, раз облеченные публичной силой, рано или поздно присваивают себе верховную власть.

Периодические собрания, о которых я говорил выше, способны предупредить или отсрочить это несчастье, осо-

бенно, когда не требуется каких-либо формальностей для их созыва; ибо тогда государь не может им воспрепятствовать, не показав себя открыто нарушителем законов и врагом Государства.

Открытие этих собраний, которые имеют целью лишь поддержание общественного договора, всегда должно производиться посредством двух предложений, которые нельзя никогда опускать и которые ставятся на голосование в отдельности.

*Первое: Угодно ли суверену сохранить настоящую форму Правления.*

*Второе: Угодно ли народу оставить управление в руках тех, на кого оно в настоящее время возложено.*

Я предполагаю здесь то, что, думаю, уже доказал, именно: не существует в Государстве никакого основного закона, который не может быть отменен, не исключая даже и общественного соглашения. Ибо если бы все граждане собрались, чтобы расторгнуть это соглашение с общего согласия, то можно не сомневаться, что оно было бы вполне законным образом расторгнуто. Гроций даже полагает, что каждый может отречься от Государства<sup>160</sup>, членом которого он является, и вновь возвратить себе естественную свободу и свое имущество, если покинет страну\*. Но, было бы нелепо, что-бы все граждане, собравшись вместе, не могли сделать то, что может сделать каждый из них в отдельности.

---

\* Конечно ее нельзя покинуть, чтобы уклониться от своего долга и избавиться от служения отечеству в ту минуту, когда оно в нас нуждается. Бегство тогда было бы преступным и наказуемым; это было бы уже не отступлением, но дезертирством.

## КНИГА 4

### Глава I

#### О ТОМ, ЧТО ОБЩАЯ ВОЛЯ НЕРАЗРУШИМА

До тех пор, пока некоторое число соединившихся людей смотрит на себя как на единое целое, у них лишь одна воля во всем, что касается до общего самосохранения и общего благополучия. Тогда все пружины Государства крепки и просты, его принципы ясны и прозрачны: нет вовсе запутанных, противоречивых интересов; общее благо предстает повсеместно с полною очевидностью, и, чтобы понять, в чем оно, нужен лишь здравый смысл. Мир, единение, равенство — враги всяких политических ухищрений. Людей прямых и простых трудно обмануть именно потому, что они просты; приманки, хитроумные предлоги не вводят их в заблуждение: они недостаточно тонки даже для того, чтобы быть одураченными. Когда видишь, как у самого счастливого в мире народа крестьяне, сойдясь по дубом, вершат дела Государства и при этом всегда поступают мудро, можно ли удержаться от презрения к ухищрениям других народов, что делают себя знаменитыми, несчастными и ничтожными с таким искусством и со столькими тайнствами?

Управляемому таким образом Государству требуется совсем немного законов, и по мере того, как становится необходимым обнародовать новые, такая необходимость ощущается всеми. Первый, кто их предлагает, лишь высказывает то, что все уже чувствуют, и не требуется ни происков, ни красноречия, чтобы стало законом то, что каждый уже решил сделать, как только уверится в том, что другие поступят так же, как он.

Людей, любящих порассуждать, обманывает то, что, видя лишь Государства, дурно устроенные с самого их возник-

новения, они убеждены, что в Государствах невозможно поддерживать подобного рода управления. Они смеются, воображая все те глупости, в которых ловкий мошенник или вкрадчивый говорун могут уверить жителей Парижа или Лондона. Они не знают, что Кромвель был бы заключен в тюрьму<sup>161</sup> жителями Берна, а герцог де Бофор — женеvцами.

Но когда узел общественных связей начинает распускаться, а Государство — слабеть, когда частные интересы начинают давать о себе знать, а малые общества — влиять на большое, тогда общий интерес извращается и встречает противников; уже единокорые не царит при голосованиях; общая воля не есть более воля всех; поднимаются пререкания, споры; и самое справедливое мнение никогда не принимается без препирательств.

Наконец, когда Государство, близкое к своей гибели, продолжает существовать лишь благодаря одной обманчивой и пустой форме, когда порвалась связь общественная во всех сердцах, когда самая низменная корысть нагло прикрывается священным именем общественного блага, — тогда общая воля немеет; все, руководясь тайными своими побуждениями, подают голос уже не как граждане, будто бы Государства никогда и не существовало; и под именем законов обманом проводят неправые декреты, имеющие целью лишь частные интересы.

Следует ли из этого, что общая воля уничтожена или извращена? Нет: она всегда постоянна, неизвратима и чиста; но она подчинена другим волеизъявлениям, которые берут над нею верх. Каждый, отделяя свою пользу от пользы общей, хорошо понимает, что он не может отделить ее полностью, но причиняемый им обществу вред представляется ему ничем по сравнению с теми особыми благами, которые он намеревается себе присвоить. Если не считать этих особых благ, то он желает общего блага для своей собственной выгоды столь же сильно, как и всякий другой. Даже продавая свой голос за деньги, он не заглушает в себе общей воли, он только уклоняется от нее. Его вина состоит в том, что он подменяет поставленный перед ним вопрос и отвечает не на то, что у него спрашивают, таким образом вместо того, чтобы сказать своим голосованием: *выгодно Государству*, он говорит: *выгодно такому-то человеку или такой-то партии, чтобы прошло то или иное мнение.*

Итак, закон, которому в интересах общества надлежит следовать в собраниях, состоит не столько в том, чтобы поддерживать здесь общую волю, сколько в том, чтобы она была всякий раз вопрошаема и всегда ответствовала.

Я мог бы высказать здесь немало соображений о первичном праве — подавать голос при всяком акте суверенитета, праве, которого ничто не может лишить граждан, и о праве подавать мнение, вносить предложения, подразделять, обсуждать, которое Правительство всячески старается оставить лишь за своими членами. Но этот важный предмет потребовал бы особого трактата: и я не могу все сказать в этом.

## Г л а в а II О ГОЛОСОВАНИЯХ

Из предыдущей главы видно, что способ, каким ведутся общие дела, может служить довольно надежным указателем состояния нравов и здоровья Политического организма в данное время. Чем больше согласия в собраниях, т. е. чем ближе мнения к полному единодушию, тем явственнее господствует общая воля; но долгие споры, разногласия, шумные перебранки говорят о преобладании частных интересов и об упадке Государства.

Это проявляется менее явно, когда в его состав входят два или несколько сословий, как в Риме — патриции и плебеи, чьи распри нередко волновали Комиции даже в самые лучшие времена Республики. Но это — исключение, более кажущееся, чем действительное, ибо тогда, вследствие пороков, внутренне присущих такому Политическому организму, образуются, так сказать, два Государства в одном: то, что неверно в отношении обоих вместе, верно для каждого в отдельности. И в самом деле, даже в наиболее бурные времена, плебисциты среди народа, когда Сенат не вмешивался, проходили всегда спокойно и решения их определялись значительным большинством голосов, ибо у всех граждан был лишь один интерес, у народа — лишь одна воля.

В противоположной точке, замыкающей круг, возвращается единодушие: это бывает, когда у граждан, впавших в рабство, нет больше ни свободы, ни воли. Тогда страх и лезть заменяют подачу голосов выкриками; уже больше

не обсуждают: боготворят или проклинаят. Таков был позорный способ подачи мнений в Сенате при императорах. Иногда это делалось со смехотворными предосторожностями. Тацит замечает<sup>162</sup>, что при Отоне<sup>163</sup> сенаторы, осыпая Вителлия<sup>164</sup> проклятиями, старались в то же время поднять ужасный шум, чтобы он, случайно сделавшись повелителем, не мог знать, что, собственно, сказал каждый из них.

Из этих различных соображений рождаются принципы, по которым должно устанавливать способ подсчета голосов и сопоставления мнений в соответствии с тем, насколько легко узнается общая воля и насколько Государство клонится к упадку.

Есть один только закон, который по самой своей природе требует единодушного согласия: это — общественное соглашение. Ибо вхождение в ассоциацию граждан есть самый добровольный акт в мире; поскольку всякий человек рождается свободным и хозяином самому себе, никто не может ни под каким предлогом подчинить его без его согласия<sup>165</sup>. Постановить, что сын рабыни рождается рабом, это значит постановить, что он не рождается человеком<sup>166</sup>.

Следовательно, если после заключения общественного соглашения окажется, что есть этому противящиеся, то их несогласие не лишает Договор силы, оно только препятствует включению их в число его участников: это — чужестранцы среди граждан. Когда Государство учреждено, то согласие с Договором заключается уже в самом выборе местопребывания гражданина; жить на данной территории — это значит подчинять себя суверенитету\*.

За исключением этого первоначального Договора, мнение большинства всегда обязательно для всех остальных: это — следствие самого Договора. Но спрашивается, как человек может быть свободен и в то же время принужден сообразоваться с желаниями, что не суть его желания? Как те, кто несогласен с большинством, могут быть свободны и одновременно подчиняться законам, на которые они не дали согласия?

Я отвечаю, что вопрос неправильно поставлен. Гражданин дает согласие на все законы, даже на те, которые кара-

---

\* Это всегда должно относиться лишь к свободному Государству. Ибо в других случаях семья, имущество, отсутствие пристанища, нужда, насилие могут удержать жителя в стране против его воли; и тогда само по себе одно его пребывание в стране уже не предполагает более его согласия на Договор или на нарушение Договора.

ют его, если он осмеливается нарушить какой-либо из них. Непременная воля всех членов Государства — это общая воля; это благодаря ей они граждане и свободны\*. Когда на собрании народа предлагают закон, то членов собрания спрашивают, собственно говоря, не о том, сообразно оно или нет с общей волей, которая есть их воля. Каждый, подавая свой голос, высказывает свое мнение по этому вопросу, и путем подсчета голосов определяется изъявление общей воли. Если одерживает верх мнение, противное моему, то сие доказывает, что я ошибался и что то, что я считал общею волею, ею не было. Если бы мое частное мнение возобладало, то я сделал бы не то, чего хотел, вот тогда я не был бы свободен.

Это, правда, предполагает опять-таки, что все особенности общей воли воплощены в большинстве голосов. Когда этого уже нет, то какое бы решение ни было принято — нет более свободы.

Показав выше, как в решениях, принимаемых всем обществом, заменяли общую волю изъявлениями воли частных лиц, я уже достаточно определил и средства, способные предупреждать такое злоупотребление; об этом я буду еще говорить ниже. Что до того, какое относительное большинство голосов достаточно, чтобы видеть здесь провозглашение общей воли, то я также излагал уже принципы, по которым можно установить и это. Разница в один-единственный голос нарушает разделение поровну: один-единственный несогласный разрушает единодушие. Но между единодушием и разделом голосов поровну есть ряд случаев, когда голоса разделяются неравно и в каждом из них можно устанавливать число, позволяющее видеть провозглашение общей воли сообразно состоянию и нуждам Политического организма.

Два общих принципа могут служить для определения этих отношений: первый — говорящий о том, что чем важнее и серьезнее решения, тем более мнение, берущее верх, должно приближаться к единогласию; второй — чем скорее требуется решить рассматриваемое дело, тем меньшей

---

\* В Генуе у входа в тюрьмы и на кандалах каторжников можно прочесть слово: *Libertas* (Свобода (*лат.*)). Такое применение этого девиза прекрасно и справедливо. В самом деле, лишь преступники всех состояний мешают гражданину быть свободным. В стране, где все эти люди были бы на галерах, наслаждались бы самой полной свободой.

должна быть разница, требуемая при разделении голосов: для решений, которые должны быть приняты немедленно, перевес в один только голос должен быть признан достаточным<sup>167</sup>. Первое из этих положений представляется более подходящим при рассмотрении законов, второе — при рассмотрении дел<sup>168</sup>. Как бы там ни было, именно путем сочетания этих положений и устанавливаются те наилучшие отношения большинства и меньшинства голосов, чтобы решение считалось принятым.

### Г л а в а III О ВЫБОРАХ

Что до выборов государя и магистратов, представляющих собою, как я сказал, сложные акты, то здесь есть два пути, именно: избрание и жребий. И тот, и другой применялись в разных Республиках, и еще в настоящее время наблюдается весьма сложное смешение обоих способов при избрании дожа Венеции.

*Выборы по жребию, — говорит Монтескье<sup>169</sup>, — соответствуют природе демократии. Я с этим согласен, но почему это так? Жребий, — продолжает он, — есть такой способ выбирать, который никого не обижает; он оставляет каждому гражданину достаточную надежду послужить отечеству. Но причины не в этом.*

Если обратить внимание на то, что избрание начальников есть дело Правительства, а не суверена, то мы увидим, почему выборы по жребию более свойственны демократии, где управление тем лучше, чем менее умножаются акты его.

Во всякой подлинной демократии магистратура — это не преимущество, но обременительная обязанность, которую по справедливости нельзя возложить на одного человека скорее, чем на другого. Один лишь Закон может возложить это бремя на того, на кого падет жребий. Ибо тогда, поскольку условия равны для всех и так как выбор не зависит от людей, нет такого рода применения Закона к частному случаю, которое нарушило бы всеобщий характер его.

При аристократическом строе государя выбирает государь, Правительство сохраняется само собою; и здесь именно уместно голосование.

Пример избрания дожа Венеции подтверждает это различие, а не опровергает его: эта смешанная форма подходит смешанному роду Правления. Ибо это заблуждение — считать форму Правления в Венеции подлинной аристократией. Если народ не принимает там никакого участия в Управлении, то именно знать и является там народом. Множество бедных варнавитов<sup>170</sup> никогда не имело доступа к какой-либо из магистратур, и их принадлежность к дворянству дала им всего-навсего пустое звание *Превосходительства* и право заседать в Большом Совете. Так как этот Совет столь же многочислен, как наш Генеральный Совет в Женеве, то его знатные члены имеют не больше привилегий, чем наши обычные граждане. Очевидно, что если не говорить о крайнем несходстве обеих Республик в целом, то Горожане Женевы в точности соответствуют венецианскому патрициату; наши Уроженцы и Жители — Горожанам и народу Венеции; наши крестьяне — подданным Венеции на материке; наконец, как бы мы ни рассматривали эту Республику, отвлекаясь от ее размеров, ее Правление не более аристократично, чем наше<sup>171</sup>. Вся разница в том, что поскольку у нас нет никакого пожизненного главы, мы не испытываем необходимости прибегать к жребию.

Выборы по жребию создавали бы мало затруднений в подлинной демократии, где ввиду того, что все равны как по своим нравам, так и по своим дарованиям, как по принципам своим, так и по состоянию своему, тот или иной выбор становится почти что безразличен. Но я уже сказал, что никогда не существовало подлинной демократии.

Когда соединяют выборы и жребий, то первым путем следует заполнять места, требующие соответствующих дарований, такие, как военные должности; второй путь более подходит в тех случаях, когда достаточно здравого смысла, справедливости, честности, как в судейских должностях; потому что в правильно устроенном Государстве качества эти свойственны всем гражданам.

Ни жребий, ни голосования совершенно не имеют места при монархическом Правлении. Поскольку монарх по праву один — государь и единственный магистрат, то выбор его наместников принадлежит лишь ему одному. Когда аббат де Сен-Пьер предлагал увеличить число Советов короля Франции<sup>172</sup> и выбирать их членов посредством проводимого в них голосования, он не понимал, что предлагает изменить форму Управления.

Мне остается еще сказать о способе подачи и сбора голов в собрании народа. Но, быть может, очерк истории устройства внутреннего управления в Риме в этом отношении более наглядно объяснит все принципы, чем я мог бы это установить. Не недостойно внимания рассудительного читателя увидеть с некоторыми подробностями, как разбирались дела общественные и частные в Совете из двухсот тысяч человек.

#### Г л а в а IV О РИМСКИХ КОМИЦИЯХ

У нас нет никаких вполне достоверных памятников первых времен Рима. Весьма вероятно даже, что большая часть того, что о них рассказывают — это басни\*; и вообще нам как раз больше всего не хватает именно той наиболее поучительной части летописей народов, которая представляет собою историю их становления. Опыт каждодневно учит нас, по каким причинам возникают перевороты в Государствах, но так как никакой народ больше не образуется, то, дабы объяснить, как образовались народы, нам остается только строить догадки.

Обычай, которые мы находим уже установившимися, свидетельствуют, по меньшей мере, о том, что они имели некогда свое начало. Из традиций, восходящих к этому началу, те, что поддерживаются самыми крупными авторитетами и подкрепляются наиболее вескими основаниями, должны считаться наиболее достоверными. Вот положения, которых стремился я держаться, когда исследовал, как самый свободный и самый могущественный народ на земле осуществлял свою верховную власть.

После основания Рима, зарождающаяся Республика, т. е. армия основателя, состоявшая из альбанов, сабинов и чужеземцев, была разделена на три класса, которые, по этому делению, приняли название *триб*<sup>173</sup>. Каждая из этих триб была подразделена на десять курий, а каждая курия на декурии, во главе которых были поставлены предводители, называвшиеся *курионами* и *декурионами*.

---

\* Имя — *Рома*, которое, как утверждают, происходит от *Ромул*, — это слово греческое и означает *сила*, имя *Нума* — тоже греческое и означает *закон*. Вероятно ли, что оба первых царя этого города уже наперед носили имена, столь соответствующие тому, что они совершили?

Кроме того, из каждой трибы выделили по отряду из ста верховных или всадников, который назывался *центурией*, из чего видно, что эти подразделения, почти бесполезные в городе, были сначала чисто военными. Но как бы предчувствие грядущего величия заставило маленький город Рим уже тогда дать себе внутреннее управление, приличествующее столице мира.

Из этого первого разделения вскоре возникло затруднение: дело в том, что тогда как трибы альбанов\* и сабинов\*\* оставались постоянно в одном и том же состоянии, триба пришельцев\*\*\* беспрестанно увеличивалась в результате постоянного притока этих последних; и она не замедлила обогнать обе другие. Средство, которое нашел Сервий<sup>174</sup>, чтобы устранить этот опасный беспорядок, состояло в том, чтобы изменить разделение; и разделение по племенам, которое он уничтожил, заменить другим — по тем местам города, которые занимала каждая триба. Вместо трех триб он создал четыре, из которых каждая занимала один из холмов Рима и носила его имя. Таким образом, исправляя неравенство в настоящем, он предупреждал его и на будущее; и чтобы это разделение касалось не только мест, но и людей, он запретил жителям одного квартала переходить в другой: это предотвратило смешение племен.

Он удвоил также три уже существовавшие центурии всадников и добавил к ним двенадцать новых, но, все же, под старыми названиями, — способ простой и справедливый: так он окончательно отделил корпорацию всадников от массы народа, не вызвав недовольства этого последнего.

К этим четырем городским трибам Сервий добавил пятнадцать других, названных им сельскими трибами, потому что они были составлены из жителей деревни, разделенных на такое же число округов. Впоследствии было образовано столько же новых, и вот римский народ оказался разделенным на тридцать пять триб, — число, оставшееся неизменным до конца Республики.

Это разграничение триб города и триб деревни имело следствие, которое достойно быть отмеченным, потому что вообще нет другого такого примера и потому что Рим обязан ему и сохранением своих нравов, и ростом своих владений.

---

\* *Ramnenses.*

\*\* *Tatienses.*

\*\*\* *Luceres.*

Можно было бы полагать, что городские трибы вскоре присвоят себе власть и почести и не замедлят унижить трибы сельские: оказалось совсем наоборот. Известна склонность первых римлян к сельской жизни. Эту склонность внушил им мудрый наставник, который соединил свободу с трудами сельскими и ратными и, так сказать, выдворил из деревни в город искусства, ремесла, интриги, богатство и порабощение.

И так как все, кто в Риме выделялся, обитали за городом и занимались земледелием, то уже привыкли искать лишь там главную опору Республики. Этот образ жизни, которому следовали достойнейшие из патрициев, высоко почитался всеми; простую и трудовую жизнь сельских жителей предпочитали праздной и рассеянной жизни горожан Рима; и тот, кто, обрабатывая землю, становился уважаемым гражданином, был бы лишь несчастным пролетарием в городе. Не без причины, говорил Варрон<sup>175</sup>, наши великодушные предки создали в деревне питомник тех крепких и доблестных мужей, что защищали их в период войны и кормили в период мира. Плиний определенно говорит<sup>176</sup>, что сельские трибы, благодаря своему составу, пользовались особым почетом, а в городские трибы из сельских переводили тех презренных, которых хотели унижить. Сабин Аппий Клавдий<sup>177</sup>, прибыв в Рим, чтобы там поселиться, был осыпан почестями и записан в сельскую трибу, которая впоследствии приняла имя его семьи. Наконец, вольноотпущенники входили все в городские трибы, и никогда — в деревенские, и за все время существования Республики не было ни одного примера, чтобы кто-либо из этих вольноотпущенников достиг какой-либо магистратуры, даже став гражданином.

Это был превосходный принцип, но в применении его зашли так далеко, что это в конце концов привело к переменам и, конечно, к злоупотреблениям во внутреннем управлении.

Во-первых, Цензоры, давно уже присвоившие себе, совершенно произвольно, право переводить граждан из одной трибы в другую, позволили большинству записываться в любую из них; это, конечно, не могло привести ни к чему хорошему и отнимало у цензуры одно из важных средств воздействия. Более того, поскольку знатные и могущественные все записывались в сельские трибы, а вольноотпущен-

ники, ставшие гражданами, оставались вместе с чернью в городских, то трибы вообще не имели теперь ни места, ни территории; но все они настолько смешались, что членов каждой можно было отличать только по спискам, так что понятие, выражаемое словом *триба*, перестало быть связано с определенной территорией и оказалось связанным с личностями или даже почти утратило всякое содержание.

Случалось также, что трибы города, будучи ближе к власти и часто оказываясь более сильными в Комициях, продавали Государство тем, кто не гнушался покупать голоса черни, которая заполняла собой эти трибы.

Что до куриий, то поскольку первый законодатель создал их по десяти в каждой трибе, то весь народ римский, тогда живший внутри стен города, оказался состоящим из тридцати куриий, из которых каждая имела свои храмы, своих богов, своих чиновников, своих жрецов и свои празднества, называвшиеся *компиталиями*<sup>178</sup> и напоминавшие те *паганалии*<sup>179</sup>, которые впоследствии появились в сельских трибах.

Так как при новом разделении Сервия это число, тридцать, не делилось поровну между установленными им четырьмя трибами, то он решил оставить это деление нетронутым; и куриии, независимые от триб, сделались новым подразделением жителей Рима. Но о куриях не было и речи ни среди сельских триб, ни среди входившего в их состав населения, потому что раз трибы стали чисто гражданскими установлениями и поскольку был введен другой порядок для набора войск, то военные подразделения Ромула оказались излишними. Таким образом, хотя каждый гражданин и был записан в какую-нибудь трибу, далеко не каждый гражданин был записан в какую-нибудь курию.

Сервий произвел еще и третье разделение, которое не имело никакого отношения к обоим предыдущим, а стало по своим результатам самым важным из всех. Он разделил весь римский народ на шесть классов, различавшихся не по месту проживания и не по людям, но по имуществу; так что в первые классы попали богатые, в последние — бедные, а в средние — люди со средним достатком. Эти шесть классов состояли из ста девяноста трех подразделений, называемых *центуриями*, и эти подразделения распределялись так, что в один первый класс их входило более половины, а последний составляла всего одна. Таким обра-

зом, оказалось, что класс, наименее многочисленный по числу людей, включал наибольшее число центурий, а последний класс целиком считался только одним подразделением, хотя в него входило более половины жителей Рима.

Чтобы народу было труднее проникнуть в суть последний этого последнего передела, Сервий старался придать ему вид военной реформы; он включил во второй класс две центурии оружейников и две центурии орудий войны<sup>180</sup> — в четвертый. В каждом классе, за исключением последнего, он отделил молодых от старых, т. е. тех, кого возраст освобождал от этого по законам, — различие, которое больше, чем различие имущественное, приводило к необходимости часто повторять перепись или пересчет. Наконец он пожелал, чтобы народные собрания проходили на Марсовом поле и чтобы все те, кто по возрасту подлежали военной службе, приходили туда со своим оружием.

В последнем же классе он не провел такого разделения на молодых и старых; причина была в том, что чернь, из которой этот класс состоял, вообще не удостоивалась чести носить оружие для защиты отечества; надо было иметь домашний очаг, чтобы получить право его защищать. И в тех бесчисленных толпах наемных негодяев, которыми блещут ныне армии королей, нет, вероятно, ни одного, кто не был бы с презрением изгнан из римской когорты в те времена, когда солдаты были защитниками свободы.

В этом последнем классе отличали, впрочем, еще *пролетариев* от тех, кого называли *capite censi*\*. Первые, не совсем еще низведенные до ничтожества, давали по крайней мере Государству граждан, иногда даже солдат при крайней необходимости. Что касается до тех, которые ровно ничего не имели и которых можно было пересчитать только по головам, то их вообще сбрасывали со счетов, и Марий был первым, кто удостоил набирать их в солдаты.

Не решая здесь, было ли это третье разделение хорошо или дурно само по себе, я могу, мне кажется, утверждать, что только простые нравы первых римлян, их бескорыстие, их любовь к земледелию, их презрение к торговле и погоне за наживой могли сделать его осуществимым. Где найдется такой народ в новые времена, у которого всепоглощающая жадность, дух беспокойства, интриги, постоянные переме-

\* Вносимые в ценз без имущества (лат.).

щения, вечные перемены в имущественном положении позволили бы подобному устройению продержаться в течение двадцати лет, не перевернув все Государство? Надо еще отметить, что нравы и цензура, более сильные, чем это устройство, исправили многие его недостатки в Риме, и что иной богач оказывался выдворенным в класс бедных за то, что слишком выставлял напоказ свое богатство.

Из всего этого легко можно понять, почему почти всегда упоминаются лишь пять классов, хотя в действительности их было шесть. Шестой, не поставлявший ни солдат в армию, ни голосующих на Марсовом поле\*, и почти ни на что непригодный при Республике, редко принимался в расчет.

Таковы были различные разделения римского народа. Посмотрим теперь, к какому результату это приводило в собраниях. Эти собрания, законно созываемые, назывались *Комициями*; они происходили обычно на римском форуме или на Марсовом поле и разделялись на *Комиции по куриям*, *Комиции по центуриям* и *Комиции по трибам*, соответственно той из этих трех форм, по которой они созывались. *Комиции по куриям* были учреждены Ромулом, по *центуриям* — Сервием, по *трибам* — народными Трибунами. Ни один закон не принимался, ни один магистрат не избирался иначе, как в *Комициях*; и так как не было ни одного гражданина, который не был бы записан в одну из *курий*, одну из *центурий* или одну из *триб*, то отсюда следует, что ни один гражданин не был лишен права голоса и что народ римский был по настоящему сувереном и юридически, и фактически.

Чтобы *Комиции* считались созванными законно и чтобы то, что там делалось, имело силу закона, необходимы были три условия: первое — чтобы корпорация или магистрат, которые их созывали, были для того облечены надлежащей властью; второе — чтобы собрание происходило в один из дней, дозволенных законом; третье — чтобы предзнаменования были благоприятны.

На чем основано первое правило, не требуется объяснять. Второе — это вопрос порядка: так, не дозволялось собирать *Комиции* в праздничные и базарные дни, когда деревенский

---

\* Я говорю на *Марсовом поле* потому, что там именно и собирались *Комиции по центуриям*. При двух других формах народ собирался на *форуме* или в ином месте, и тогда у *capite censi* было столько же влияния и власти, сколько у первых граждан.

люд, прибывавший в Рим по своим делам, не имел времени, чтобы провести день на форуме. Посредством третьего условия Сенат держал в узде гордый и беспокойный народ и кстати умерял пыл мятежных Трибунов. Эти последние, однако, находили не одно средство освободиться от такого рода стеснений.

Обсуждению на Комициях подлежали не только законы и выборы правителей. Так как римский народ присвоил себе самые важные функции Правления, то можно сказать, что судьба Европы решалась на его собраниях. Это разнообразие вопросов порождало и различные формы этих собраний, смотря по тому, о чем надлежало принять решение.

Чтобы судить об этих различных формах, достаточно их сравнить. Ромул, учреждая курии, имел в виду сдерживать Сенат с помощью народа и народ с помощью Сената, господствуя в равной мере над обоими. Посредством этой формы он дал народу преобладание в численности, чтобы уравновесить этим то преобладание в могуществе и богатстве, которое он оставил за патрициями. Но, сообразно с духом монархии, он предоставил все-таки больше преимуществ патрициям, которые через своих клиентов могли влиять на распределение голосов. Это удивительное установление патронов и клиентов было шедевром политики и человеческой природы; без него патрициат, столь противный духу Республики, не мог бы существовать. Риму одному принадлежала честь дать миру этот прекрасный пример, который никогда не приводил к злоупотреблениям, причем ему все же никогда не следовали.

Так как именно эта форма курий существовала при царях до Сервия и так как царствование последнего Тарквиния<sup>181</sup> вообще не считалось законным, то царские законы, в отличие от всех других, стали обозначаться как *leges curiatae*\*.

При Республике курии, все так же ограничиваясь четырьмя городскими трибами и заключая в себе уже одну лишь римскую чернь, не могли удовлетворить ни Сенат, стоящий во главе патрициев, ни Трибунов, которые, несмотря на то, что были плебеями, стояли во главе состоятельных граждан. Поэтому курии потеряли всякое значение; падение их было таково, что тридцать ликторов, со-

\* Законы, принятые куриями (лат.).

бравшись вместе, делали то, что должны были делать Комиции по куриям.

Разделение по центуриям было столь благоприятно для аристократии, что не сразу поймешь, почему Сенат не брал постоянно верх в Комициях, которые носили это название, и посредством которых избирались Консулы, Цензоры и другие курильные магистраты<sup>182</sup>. В самом деле, из ста девяноста трех центурий, которые составляли все шесть классов народа Рима, в первый входило девяносто восемь, а так как голоса считались только по центуриям, то один первый класс имел перевес по числу голосов над всеми остальными. Когда все эти центурии приходили к соглашению, то уже прекращали сбор голосов; то, что решало меньшинство, выдавалось за решение большинства, и можно сказать, что в Комициях по центуриям дела решались скорее в зависимости от того, у кого было больше денег, чем от того, кто собрал больше голосов.

Но эта безмерная власть умерялась двумя средствами. Во-первых, поскольку в классе богатых состояли, обычно, Трибуны и, всегда, — большое число плебеев, то они уравнивали влияние патрициев в этом первом классе.

Второе средство состояло вот в чем: вместо того, чтобы приводить центурии к голосованию в соответствии с тем, в какой они входили класс, что вынуждало бы всегда начинать с первой, выбирали одну из них по жребию, и только эта одна\* участвовала в выборах, после чего все центурии, созываемые на другой день, уже по их положению в общем порядке центурий, снова проводили выборы, и они обычно только подтверждали решение, вынесенное накануне. Так, право подавать пример, определявшееся положением центурии среди других центурий, отдавалось теперь жребию, согласно принципам демократии.

Из этого обычая происходило еще одно преимущество, — то, что граждане деревни имели время между двумя ступенями выборов справиться о достоинствах неокончательно избранного кандидата, так чтобы подавать свои голоса со знанием дела. Но якобы для ускорения дела, в конце концов добились отмены этого обычая, — и те и другие выборы стали проводиться в тот же день.

---

\* Эта центурия, избиравшаяся по жребию, называлась *praerogativa* (от *prae* — пред, спереди и *rogare* — спрашивать (*лат.*)), потому что она была первой, у которой отбирали голоса; и отсюда-то и произошло слово *пре-рогатива*.

Комиции по трибам были собственно Советом римского народа. Они созывались только Трибунами; здесь избирались Трибуны и здесь же проходили проводимые ими плебисциты. Сенат не только не имел здесь никакого влияния, он даже не имел права здесь присутствовать; и, принужденные повиноваться законам, в голосовании которых они не могли принять участия, сенаторы в этом отношении были менее свободны, чем самые последние из граждан. Эта несправедливость понималась совершенно неправильно, а ее одной было достаточно, чтобы сделать недействительными декреты такого целого, куда имели доступ не все его члены. Если бы даже все патриции и присутствовали на этих Комициях по праву, которое они на это имели в качестве граждан, то, обратившись тогда в простых частных лиц, они почти не влияли бы на исход такого рода голосования, которое осуществляется путем поголовного подсчета голосов, и где самый ничтожный пролетарий имеет столько же значения, как и Первый Сенатор.

Таким образом мы видим, что эти различные распределения не только создавали порядок при подсчете голосов столь многочисленного народа, но, кроме того, они никак не сводились к формам, безразличным сами по себе, — каждая давала свои результаты, соответствующие тем целям, которые и заставили предпочесть эту форму всем другим.

Даже если не входить насчет этого в дальнейшие подробности, из предыдущих разъяснений вытекает, что Комиции по трибам были наиболее благоприятны для народного Правления, а Комиции по центуриям — для аристократии. Что до Комиций по куриям, где одна только римская чернь составляла большинство, то, поскольку они годились лишь для того, чтобы создавать благоприятные условия для тирании и дурных замыслов, они должны были потерять всякую славу, потому что даже мятежники воздерживались от такого средства, которое слишком явно раскрывало их планы. Несомненно, что все величие римского народа воплощалось в Комициях по центуриям, которые одни только были полными, тогда как в Комициях по куриям не хватало сельских триб, а в Комициях по трибам — Сената и патрициев.

Что до способа подсчета голосов, то у первых римлян он был столь же прост, как и их нравы, хотя и не до такой степени, как в Спарте. Каждый подавал свой голос вслух,

писец по очереди их записывал; большинство голосов в каждой трибе определяло результат голосования трибы; большинство голосов среди триб определяло результат голосования народа; и так же в куриях и центуриях. Этот обычай был хорош, пока честность царя между гражданами и когда каждый стыдился подавать публично голос за несправедливое мнение или за недостойного кандидата. Но, когда народ развратился и когда голоса стали покупать, уже потребовалась тайная подача голосов, чтобы недоверием сдерживать покупателей и чтобы оставить плутам возможность не быть изменниками.

Я знаю, что Цицерон порицает эту перемену и видит в ней одну из причин падения Республики. Но хотя я и понимаю, какой вес должно иметь в данном случае авторитетное мнение Цицерона<sup>183</sup>, я не могу с ним согласиться: я думаю, напротив, что гибель Государства ускорили тем, что не совершали достаточно часто изменений подобного рода. Как пища людей здоровых не годится для больных, так же не следует желать управлять испорченным народом посредством тех же законов, которые подходят для народа здорового. Ничто не доказывает этого правила лучше, чем долговечность Венецианской Республики, некоторое подобие которой существует еще и сейчас единственно потому, что ее законы годятся лишь для недобрых людей.

Гражданам, таким образом, стали раздавать таблички, с помощью которых каждый мог голосовать так, чтобы неизвестно было, каково его мнение. Установили также новые формальности при собрании табличек, подсчете голосов, сравнении чисел и так далее, что не помешало часто подозревать добросовестность чиновников, на коих были возложены эти обязанности\*. Наконец, чтобы предотвратить частные сделки и куплю-продажу голосов, издавали особые эдикты, самая многочисленность которых свидетельствует о их бесполезности.

В последние времена Республики часто приходилось прибегать к чрезвычайным средствам, чтобы восполнить неудовлетворенность законов. То предвещали чудеса; но это средство, которое могло воздействовать на народ, не действовало на тех, которые им управляли; то спешно созывали собрание прежде, чем кандидаты могли успеть заклю-

---

\* *Custodes, Diribitores, Rogatores suffragiorum* (наблюдатели, раздатчики табличек, собиратели голосов (лат.)).

чить свои сделки; то все собрание посвящали речам, когда видели, что народ обманут и готов принять дурное решение. Но, в конце концов, честолюбие успешно обходило все препятствия; и вот что представляется почти невероятным — среди стольких злоупотреблений, этот огромный народ, следуя старинным правилам, не переставал выбирать магистратов, проводить законы, разбирать тяжбы, отправлять дела частные и общественные почти с такою же легкостью, с какою это мог бы делать сам Сенат.

## Глава V О ТРИБУНАТЕ

Когда невозможно установить точное соотношение между составными частями Государства или когда причины, устранить которые нельзя, беспрестанно нарушают эти соотношения, тогда учреждают особую магистратуру, никак не входящую в общий организм, и она возвращает каждый член в его подлинное отношение и образует связь или средний член пропорции, либо же между государем и народом, либо между государем и сувереном, либо же между обеими сторонами одновременно, если это необходимо.

Этот организм, который я назову *Трибунатом*, есть блюститель законов и законодательной власти. Он служит иногда для того, чтобы защищать суверен от Правительства, как это делали в Риме народные Трибуны; иногда — чтобы поддерживать Правительство против народа, как это делает теперь в Венеции Совет Десяти; иногда же — чтобы поддерживать между ними равновесие, как это делали Эфоры<sup>184</sup> в Спарте.

Трибунат вовсе не есть составная часть Гражданской общины и не должен обладать никакой долей ни законодательной, ни исполнительной власти. Но именно его власть еще больше, ибо, не будучи в состоянии ничего сделать, он может всему помешать. Он более священен и более почитаем как защитник законов, чем государь, их исполняющий, и чем суверен, их дающий. Это очень ясно видно в Риме, когда гордые патриции, всегда презиравшие весь народ, принуждены были склоняться перед простым чиновником народа, который не имел ни покровительства, ни юрисдикции.

Трибунат, разумно умеряемый, — это наиболее прочная опора доброго государственного устройства; но если он получает хоть немногим более силы, чем следует, он опрокидывает все. Что до слабости, то она не в его природе, и если только представляет он из себя кое-что, он никогда не может значить менее, чем нужно.

Он вырождается в тиранию, когда узурпирует исполнительную власть, которую он должен лишь умерять, и когда хочет издавать законы, которые должен лишь блюсти. Огромная власть Эфоров не представляла опасности, пока Спарта сохраняла свои нравы, но она ускорила их начавшееся разложение. Кровь Агиса<sup>185</sup>, убитого этими тиранами, была отмщена его преемником; преступление и наказание Эфоров равным образом ускорили гибель Республики, и после Клеомена<sup>186</sup> Спарта уже была ничем. Рим нашел свою погибель на том же пути; и чрезвычайная власть трибунов, шаг за шагом узурпируемая, послужила, в конце концов, с помощью законов, созданных для сохранения свободы, охранною грамотою императорам, которые ее уничтожили. Что же до Совета Десяти в Венеции, то — это кровавое судилище, одинаково ужасное и для патрициев и для народа; и оно, вместо того, чтобы защищать своим высоким авторитетом законы, служит, после полного вырождения оных, лишь для того, чтобы наносить в потемках удары, которые не смеют даже замечать.

Трибунат ослабляется, как и Правительство, при увеличении числа его членов. Когда Трибуны римского народа, сначала в числе двух, затем пяти, хотели удвоить это число, то Сенат им не противился, твердо уверенный, что сможет сдерживать одних с помощью других: это и не преминуло случиться.

Лучшее средство предупредить узурпацию столь опасного корпуса, средство, о котором не помышляло до сих пор ни одно Правительство, было бы — не делать этот корпус постоянным, но определять промежутки, в течение которых он прекращал бы свое существование. Эти промежутки, которые не должны быть настолько велики, чтобы дать время злоупотреблениям утвердиться, могут устанавливаться Законом, так чтобы их легко можно было в случае необходимости сокращать посредством чрезвычайных указов.

Это средство, мне кажется, не представляет затруднений, потому что, как я сказал, трибунат, не составляя части го-

сударственного устройства, может быть устранен без ущерба для этого последнего; и оно мне кажется действенным, потому что магистрат, вновь введенный, отправляется вовсе не от той власти, которую имел его предшественник, но от власти, которую дает ему Закон.

## Г л а в а VI О ДИКТАТУРЕ<sup>187</sup>

Негибкость законов, препятствующая им применяться к событиям, может в некоторых случаях сделать их вредными и привести через них к гибели Государство, когда оно переживает кризис. Соблюдение порядка и форм требует некоторого времени, в котором обстоятельства иногда отказывают. Может представиться множество случаев, которых Законодатель вовсе не предвидел, и это весьма необходимая предусмотрительность: понять, что не все можно предусмотреть.

Не нужно поэтому стремиться к укреплению политических установлений до такой степени, чтобы отнять у себя возможность приостановить их действие. Даже Спарта давала покой своим законам.

Но лишь самые большие опасности могут уравновесить ту, которую влечет за собою изменение строя общественно-го; и никогда не следует приостанавливать священную силу законов, если дело не идет о спасении отечества. В этих редких и очевидных случаях забота об общественной безопасности выражается особым актом, который возлагает эту обязанность на достойнейшего. Это поручение может быть дано двумя способами, в соответствии с характером опасности.

Если, чтобы ее устранить, достаточно увеличить действенность Правительства, то Управление сосредоточивают в руках одного или двух из его членов, и, таким образом, изменяют не власть законов, а только форму их применения. Если же опасность такова, что соблюдение закона становится препятствием к ее предупреждению, то назначают высшего правителя, который заставляет умолкнуть все законы и на некоторое время прекращает действие верховной власти суверена. В подобном случае то, в чем заключается общая воля, не вызывает сомнений, и очевидно, что первое

желание народа состоит в том, чтобы Государство не погибло. Следовательно, прекращение действия законодательной власти отнюдь ее не уничтожает. Магистрат, который составляет эту власть умолкнуть, не может заставить ее говорить; он господствует над нею, не будучи в состоянии быть ее представителем. Он может творить все, исключая законы.

Первое средство применялось римским Сенатом, когда он формулою посвящения возлагал на Консулов обязанность принимать меры для спасения Республики. Второе — когда один из двух Консулов назначал Диктатора\*: обычай этот был принят Римом по примеру Альбы.

В первые времена Республики к диктатуре прибегали весьма часто, потому, что Государство не было еще настолько устойчивым, чтобы оно могло поддерживать себя одною лишь силою своего внутреннего устройства.

Так как нравы тогда делали излишними множество предосторожностей, которые были бы необходимы в другое время, то не боялись ни того, что Диктатор злоупотребит своей властью, ни что он попытается удержать ее сверх установленного срока. Казалось, напротив, что столь огромная власть была бременем для того, кто ею был облечен, настолько он торопился от нее освободиться, как если бы это было делом слишком трудным и слишком опасным: заменять собою законы.

Поэтому не опасность дурного употребления, а опасность вырождения этой высшей магистратуры заставляет меня осуждать неумеренное пользование ею в первые времена Республики. Ибо если так щедро назначали на эту должность для проведения выборов, освящения храмов, выполнения вещей чисто формальных, то можно было уже опасаться, как бы она не стала менее грозной в случае подлинной необходимости, и как бы постепенно не привыкли видеть в диктатуре пустое звание, если его используют лишь при пустых церемониях.

К концу Республики римляне, став более осмотрительными, избегали диктатуры столь же неразумно, как прежде неразумно ею злоупотребляли. Отрадно было убедиться, что опасения их были мало основательны; что самая слабость столицы была залогом ее безопасности при всяких

---

\* Это назначение совершалось ночью и тайно, как будто стыдились поставить человека выше законов.

посягательствах магистратов, которые пребывали в самом ее лоне; что Диктатор мог в известных случаях защищать свободу общественную, никогда не имея возможности посягнуть на нее; и что надетые на Рим оковы, очевидно, были выкованы вовсе не в самом Риме, а в его армиях. То слабое сопротивление, которое оказали Марий — Сулле и Помпей — Цезарю, ясно показало, чего можно было ожидать от вращенной власти, обращенной против внешней силы.

Эта ошибка заставила их совершить крупные промахи: так, например, когда не назначили диктатора в деле Катилины<sup>188</sup>. Ибо, поскольку вопрос шел лишь о самом городе, и самое большее о какой-нибудь итальянской провинции, то с тою неограниченной властью, которую законы давали Диктатору, он мог бы легко рассеять заговор; а заговор этот был подавлен лишь благодаря счастливому стечению случайностей, на что никогда не должно было полагаться человеческое благоразумие.

Вместо этого, Сенат ограничился передачей всей своей власти Консулам. Так и случилось, что Цицерон, чтобы действовать успешно, был вынужден превзойти свою власть в существенном пункте; и если первые взрывы ликования заставили одобрить его поведение, то впоследствии с полным основанием у него потребовали отчета за кровь граждан, пролитую вопреки законам: этого упрека нельзя было бы сделать Диктатору. Но красноречие Консула пленило всех; и сам он, хотя и римлянин, любил больше собственную славу, чем отечество, и не столько искал наиболее законного и наиболее верного способа спасти Государство, сколько средства приписать себе все заслуги в этом деле\*. Поэтому его справедливо осыпали почестями как освободителя Рима и столь же справедливо наказали как нарушителя законов. Как бы блестяще ни было его возвращение из ссылки, это была уже, несомненно, милость.

Впрочем, каким бы способом ни было дано это важное поручение, важно ограничить его продолжительность весьма кратким сроком, который ни в коем случае не может быть продлен. Во время кризисов, которые и заставляют учреждать диктатуру, Государство вскоре бывает уничтожено или спасено, и, раз настоящая необходимость миновала, диктатура делается тиранической или бесполезной.

---

\* Именно в этом он и не мог быть убежден, если бы предложил назначить Диктатора, так как не смел назвать самого себя и не мог быть уверен, что его коллега назовет его.

В Риме Диктаторы, оставаясь таковыми лишь на шесть месяцев, отказывались большей частью от этой должности еще до истечения срока. Если бы срок был больше, они, быть может, попытались бы еще его продлить, как поступили Децемвиры с годичным сроком. У Диктатора было лишь время, чтобы распорядиться в отношении того крайнего случая, который сделал необходимым его избрание; у него не было времени помышлять о других планах.

## Г л а в а VII О ЦЕНЗУРЕ

Подобно тому, как провозглашение общей воли совершается посредством Закона, так и объявление суждения всего общества производится посредством цензуры. Общественное мнение есть своего рода Закон, служителем которого выступает Цензор; он лишь применяет этот закон, по примеру государя, к частным случаям.

Цензорский трибунал, таким образом, вовсе не является судьей народного мнения, — он лишь объявитель его; и как только он от него отходит, его решения уже безосновательны и не имеют действия.

Бесполезно проводить различие между нравами какого-либо народа и тем, что он почитает, ибо все это восходит к одному и тому же принципу и неизбежно смешивается. У всех народов мира не сама природа, а их взгляды определяют, что им любо. Исправьте взгляды людей, и нравы их сами собою сделаются чище. Любят всегда то, что прекрасно, или то, что находят таковым; но в этом-то суждении и ошибаются; следовательно, именно это суждение и следует выправлять. Кто судит о нравах, судит о чести, а кто судит о чести, тот выводит свой закон из общего мнения.

Взгляды народа порождаются его государственным устройством. Хотя Закон и не устанавливает нравы, но именно законодательство вызывает их к жизни: когда законодательство слабеет, нравы вырождаются. Но тогда приговор Цензоров уже не может сделать того, чего не сделала сила законов.

Отсюда следует, что цензура может быть полезна для сохранения нравов, но никогда — для их восстановления. Учреждайте Цензоров, пока законы в силе; как только они потеряли силу — все безнадежно; ничто, основанное

на законе, больше не имеет силы, когда ее не имеют больше сами законы.

Цензура оберегает нравы, препятствуя порче мнений, сохраняет их правильность, мудро прилагая их к обстоятельствам, иногда даже уточняет их, когда они еще неопределенны. Обычай иметь секундантов на дуэлях, доведенный до умопомрачения во Французском королевстве, был здесь уничтожен единственно следующими словами одного из королевских эдиктов: *Что до тех, которые имеют трусость звать секундантов...* Этот приговор, предупреждая приговор общества, сразу же определил его. Но когда те же эдикты захотели объявить, что и драться на дуэли — это трусость, — что весьма верно, но противоречит общему мнению, то общество подняло на смех это решение, о котором у него уже составилось свое суждение.

Я сказал в другом месте\*, что так как мнение общественное не может подвергаться принуждению, то не требовалось ни малейшего намека на это в коллегии, учрежденной, чтобы его представлять. Нельзя вдоволь надивиться на то, с каким искусством этот движитель, полностью утраченный у людей новых времен, действовал у римлян, а еще лучше у лакедемонян.

Когда человек дурных нравов высказывал верное мнение в Совете Спарты, то Эфоры, не принимая его в расчет, поручали какому-нибудь добродетельному гражданину высказать то же соображение. Какая честь для одного, какое предостережение для другого, хотя ни тот, ни другой не получили ни похвалы, ни порицания! Какие-то пьяницы с Самоса\*\* осквернили трибунал Эфоров: на другой день публичным эдиктом самосцам было разрешено быть негодьями. Когда Спарта выносила приговор относительно того, что честно или бесчестно, то Греция не оспаривала ее приговоры.

## Глава VIII О ГРАЖДАНСКОЙ РЕЛИГИИ<sup>189</sup>

У людей сначала не было ни иных царей, кроме богов, ни иного Правления, кроме теократического. Они рассужда-

---

\* Я лишь указываю в этой главе то, что я более пространно рассмотрел в *Письме к г-ну д'Аламберу*<sup>190</sup>.

\*\* Они были с другого острова, который в этом случае запрещают нам назвать приняты в нашем языке приличия<sup>191</sup>.

ли как Калигула, и рассуждали тогда правильно. Требуется длительное извращение чувств и мыслей, чтобы люди могли решиться принять за господина себе подобного и льстить себя надеждою, что от этого им будет хорошо.

Из одного того, что во главе каждого политического общества ставили бога, следовало, что было столько же богов, сколько народов. Два народа, друг другу чуждых и почти всегда враждебных, не могли долго признавать одного и того же господина; две армии, вступая в битву друг с другом, не могли бы повиноваться одному и тому же предводителю. Так из национального размежевания возникало многобожие, и отсюда теологическая и гражданская нетерпимость, что, естественно, одно и то же, как это будет показано ниже.

Если греки воображали, что находят своих богов у варварских народов, так это потому, что они, точно так же, воображали себя природными суверенами этих народов. Но в наши дни весьма смехотворной выглядит такая ученость<sup>192</sup>, которая доказывает тождественность богов различных народов; как будто Молох<sup>193</sup>, Сатурн и Кронос могли быть одним и тем же богом; как будто Ваал<sup>194</sup> финикийн, Зевс греков и Юпитер латинян могли быть одним и тем же; как будто могло остаться что-либо общее у фантастических существ, носивших различные имена!

Если же спросят, почему во времена язычества, когда у каждого Государства была своя вера и свои боги, не было никаких религиозных войн, то я отвечу, что так было именно потому, что каждое Государство, имея свою веру, равно как и свое Правление, не отличало собственных богов от собственных законов. Политическая война была также религиозной; области каждого из богов были, так сказать, определены границами наций. Бог одного народа не имел никаких прав на другие народы. Боги язычников вовсе не были богами завистливыми; они разделили между собою власть над миром. Даже Моисей и народ древнееврейский иногда склонялись к этой мысли, говоря о боге Израиля. Они считали, правда, за ничто богов хананейн<sup>195</sup>, народов проклятых, обреченных на уничтожение, место которых они призваны были занять. Но посмотрите, как говорили они о божествах соседних народов, нападать на которых им было запрещено: *Разве владение тем, что принадлежит Хамосу<sup>196</sup>, вашему Богу, — говорил Иефай аммонитя-*

нам<sup>197</sup>, — не положено вам по закону? Мы по тому же праву обладаем землями, которые наш Бог-победитель приобрел для себя\*. Это означало, как мне кажется, полное признание равенства между правами Хамоса и правами бога Израиля.

Но когда евреи, подчиненные царям вавилонским, а впоследствии царям сирийским, захотели упорствовать в непризнании какого-либо иного бога, кроме своего, то этот отказ уже рассматривался как бунт против победителя и навлек на евреев те преследования, о которых можно прочесть в их истории и которым примера мы не видим нигде до возникновения христианства\*\*.

Всякое религия была, следовательно, неразрывно связана с законами того Государства, которое ее предписывало, а раз так, то не было иного способа обратить народ в свою веру, как поработить его, ни иных миссионеров, кроме как завоеватели; а так как обязательство изменить веру было законом для побежденных, то нужно было победить, а затем уже говорить об этом. Вовсе не люди сражались за богов, но, как у Гомера, боги сражались за людей; каждый просил победы у своего бога и платил за нее новыми алтарями. Римляне, прежде чем брать какой-нибудь город, приказывали местным богам его покинуть; и если они оставили тарентинцам их разгневанных богов, то лишь потому, что считали тогда этих богов подчиненными своим и принужденными воздавать им почести. Они оставляли побежденным их богов подобно тому, как оставляли им их законы. Венец Юпитеру Капитолийскому<sup>198</sup> был часто единственной данью, которую они налагали.

Наконец, поскольку римляне вместе со своею властью распространяли и свою веру и своих богов и так как они часто сами принимали богов побежденных народов в число своих собственных, предоставляя и тем и другим Право

---

\* *Nonne ea quae possidet Chamos deus tuus tibi jure debentur?* Таков текст Вульгаты<sup>199</sup>. Отец де Каррьер перевел: *Не полагаете ли вы, что имеете право владеть тем, что принадлежит Хамосу, богу вашему?* Мне неизвестно, как сильно выражается это в древнееврейском тексте, но я вижу, что в Вульгате Иефай положительно признает право бога Хамоса и что французский переводчик ослабляет это признание посредством слов *по-вашему*, чего нет в латинском тексте.

\*\* Совершенно очевидно, что Фокейская война<sup>200</sup>, называемая *священной войной*, не была войной религиозной. Она имела целью наказание святотатцев, а не подчинение инаковерующих.

гражданства, то у народа этой обширной империи незаметно оказалась масса богов и верований, почти одинаковых повсюду; и вот каким образом язычество стало в известном тогда мире единственною и единою религией.

При этих-то обстоятельствах Иисус и пришел установить на земле царство духа; а это, отделяя систему теологическую от системы политической, привело к тому, что Государство перестало быть единым, и вызвало междоусобные распри, которые с тех пор уже никогда не переставали волновать христианские народы. А так как эта новая идея царства не от мира сего никак не могла уместиться в головах язычников, то они всегда смотрели на христиан, как на настоящих мятежников, которые, под личиною покорности, искали лишь удобного момента, чтобы сделаться независимыми и повелителями, и ловко захватить власть, которой они, пока были слабы, выказывали лишь притворное уважение. Такова была причина гонений.

То, чего боялись язычники, свершилось. Тогда все изменило свой облик; смиренные христиане заговорили иным языком, и вскоре стало видно, как это так называемое царство не от мира сего обернулось, при видимом земном правителе<sup>201</sup>, самым жестоким деспотизмом в этом мире.

Однако, поскольку постоянно существовали также и государь и гражданские законы, то, в результате такого двоевластия, возник вечный спор относительно разграничения власти, что и сделало совершенно невозможным в христианских государствах какое-либо хорошее внутреннее управление, и никогда нельзя было понять до конца, кому — светскому господину или священнику — положено повиноваться.

Все же многие народы, и даже в Европе или в ее соседстве, захотели сохранить или восстановить прежнюю систему — но не имели успеха. Дух христианства заполнил все. Религия так и осталась или вновь сделалась независимою от суверена и утратила необходимую связь с организмом Государства. У Магомета были весьма здравые взгляды; он хорошо связал воедино всю свою политическую систему, и пока форма его Правления продолжала существовать при Халифах<sup>202</sup>, его преемниках, Правление это было едино и тем именно хорошо. Но арабы, сделавшись народом процветающим, образованным, воспитанным, изнеженным и трусливым, были покорены варварами: тогда снова началось

размежевание между обеими властями. Хотя оно и менее явственно у магометян, чем у христиан, но оно все же есть у первых, в особенности, в секте Али<sup>203</sup>; и есть государства, как Персия, где оно дает себя чувствовать и поныне.

У нас в Европе короли Англии нарекли себя главами Церкви<sup>204</sup>; так же поступили и русские цари<sup>205</sup>. Но, с помощью этого титула, они сделались не столько господами Церкви, сколько ее служителями; они приобрели не столько право ее изменять, как власть ее поддерживать; они в ней не законодатели, они в ней лишь государи. Везде, где духовенство составляет корпорацию\*, оно — повелитель и законодатель в своей области. Существует, следовательно, две власти, два суверена и в Англии и в России так же, как и в других местах.

Из всех христианских авторов философ Гоббс — единственный, кто хорошо видел и зло, и средство его устранения, кто осмелился предложить соединить обе главы орла и привести все к политическому единству, без которого ни Государство, ни Правление никогда не будут иметь хорошего устройства. Но он должен был видеть, что властолюбивый дух христианства несовместим с его системой и что интересы священника будут всегда сильнее, чем интересы Государства. Не столько то, что есть ужасного и ложного в политических воззрениях Гоббса, как то, что в них есть справедливого и истинного, и сделало их ненавистными\*\*.

Я полагаю, что, рассматривая под этим углом зрения исторические факты, легко можно было бы опровергнуть противоположные взгляды Бейля<sup>206</sup> и Уорбертона, из которых один утверждает, что никакая религия не полезна для Политического организма, а другой уверяет, напротив, что христианство — это самая твердая его опора. Можно было

---

\* Следует заметить, что духовенство превращает в единый Корпус не столь его официальные собрания, как во Франции, сколь общение Церквей. Общение и отлучение от него являются общественным соглашением духовенства, соглашением, с помощью которого оно всегда будет повелителем народов и королей. Все священники, которые пребывают между собою в общении, суть граждане, пусть даже они живут на противоположных концах света. Это изобретение — шедевр политики. Ничего подобного не существовало среди языческих священнослужителей; поэтому они никогда не составляли Корпуса духовенства.

\*\* Смотрите, между прочим, в одном из писем Гроция к брату, от 11 апреля 1643 г., что этот ученый человек одобряет и что порицает в книге *de Cive* («О гражданине» (*lat.*)<sup>207</sup>). Правда, склонный к снисходительности, он, по-видимому, прощает автору то, что он сказал хорошего, за то, что он сказал дурного, но не все столь снисходительны.

бы доказать первому, что не было создано ни одно Государство без того, чтобы религия не служила ему основой; а второму — что христианский закон в сущности более вреден, чем полезен, для прочного государственного устройства. Чтобы меня поняли до конца, я должен лишь придать немного более точности тем слишком неопределенным религиозным идеям, которые имеют отношение к моей теме.

Религия по ее отношению к обществу, которое может пониматься в широком значении, или в более узком<sup>208</sup>, разделяется на два вида, именно: религию человека и религию гражданина. Первая — без храмов, без алтарей, без обрядов, ограниченная чисто внутреннею верою во всевышнего Бога и вечными обязанностями морали, — это чистая и простая религия Евангелия, истинный теизм и то, что можно назвать естественным божественным правом. Другая, введенная в одной только стране, дает ей своих богов, своих собственных патронов и покровителей. У нее свои догматы, свои обряды, свой внешний культ, предписываемый законами; исключая ту единственную нацию, которая ей верна, все остальное для нее есть нечто неверное, чуждое, варварское; она распространяет обязанности и права человека не далее своих алтарей. Таковы были все религии первых народов, которые можно назвать божественным правом гражданским или положительным.

Существует еще третий род религии, более необычайный и странный; эта религия, давая людям два законодательства, двух правителей, два отечества, налагает на них взаимоисключающие обязанности и мешает им быть одновременно набожными и гражданами. Такова религия Лам, такова религия японцев, таково римское христианство<sup>209</sup>. Эту последнюю можно назвать религией священнической. Отсюда происходит такой род смешанного и необщественного права, которому нет точного названия.

Если рассматривать эти три рода религии с точки зрения политической, то все они имеют свои недостатки. Третий род ее столь явно плох, что забавляться, доказывая это, значило бы попусту терять время. Все, что нарушает единство общества, никуда не годится; все установления, ставящие человека в противоречие с самим собою, не стоят ничего.

Вторая хороша тем, что соединяет в себе веру в божество и любовь к законам и тем, что, делая отечество предметом почитания для граждан, она учит их, что служить Государ-

ству — это значит служить Богу-покровителю. Это — род теократии, при которой вообще не должно иметь ни иного первосвященника, кроме государя, ни иных священнослужителей, кроме магистратов. Тогда умереть за свою страну — это значит принять мученичество; нарушить законы — стать нечестивцем; а подвергнуть виновного проклятию общества — это значит обречь его гневу богов: *Sacer estod\**.

Но она плоха тем, что будучи основана на заблуждении и лжи, она обманывает людей, делает их легковерными, суеверными и топит подлинную веру в Божество в пустой обрядности. Она еще более плоха тогда, когда, становясь исключительной и тиранической, она делает народ кровавым и нетерпимым; так что он живет лишь убийством и резней и полагает, что делает святое дело, убивая всякого, кто не признает его богов. Это, естественно, ставит такой народ в состояние войны со всеми остальными, весьма вредное для собственной безопасности.

Остается, следовательно, религия человека, или христианство, но не нынешнее, а Евангелия, которое совершенно отлочно от первого. Согласно этой религии, святой, возвышенной и истинной, люди, чада единого Бога, признают себя все братьями; а общество, которое их объединяет, не распадается даже с их смертью.

Но эта религия, не имея никакого собственного отношения к Политическому организму, оставляет законам единственно ту силу, которую они черпают в самих себе, не прибавляя никакой другой; и от этого одна из главнейших связей отдельного общества остается неиспользованною. Более того, она не только не привязывает души граждан к Государству, она отрывает их от него, как и от всего земного. Я не знаю ничего более противного духу общественному.

Нам говорят, что народ из истинных христиан составил бы самое совершенное общество, какое только можно себе представить. В этом предположении я вижу только одну большую трудность: общество истинных христиан не было бы уже человеческим обществом.

Я даже утверждаю, что это предполагаемое общество не было бы, при всем его совершенстве, ни самым сильным, ни самым прочным. Вследствие того, что оно совершенно,

\* Да будет проклят! (лат.).

оно было бы лишено связи; разрушающий его порок состоял бы в самом его совершенстве.

Каждый исполнял бы свой долг: народ был бы подчинен законам; правители были бы справедливы и воздержанны, магистраты — честны, неподкупны; солдаты презирали бы смерть; не было бы ни тщеславия, ни роскоши. Все это очень хорошо, но посмотрим, что дальше.

Христианство — это религия всецело духовная, занятая исключительно делами небесными; отечество христианина не от мира сего. Он исполняет свой долг, это правда; но он делает сие с глубоким безразличием к успеху или неудаче его стараний. Лишь бы ему не за что было себя упрекать, а там — для него не важно, хорошо или дурно обстоит все здесь, на земле. Если Государство процветает, он едва решается вкусить от общественного благоденствия; он боится возгордиться славою своей страны. Если Государство приходит в упадок, он благословляет руку Божью, обрушившуюся на его народ.

Чтобы в обществе царил мир и чтобы не нарушалась гармония, следовало бы, чтобы все граждане без исключения были равно добрыми христианами. Но если, к несчастью, найдется хоть один-единственный честолюбец, один-единственный лицемер, какой-нибудь Катилина, например, какой-нибудь Кромвель, то он, конечно же, легко справится со своими благочестивыми соотечественниками. Христианское милосердие с трудом допускает, чтобы можно было худо думать о ближнем своем. Как только такому человеку, с помощью какой-либо хитрости, удастся их обмануть и завладеть частью публичной силы, — он уже укрепился в своем положении; Богу угодно, чтобы его уважали; вскоре является и власть; Богу угодно, чтобы ей повиновались. Блжуститель этой власти злоупотребляет ею? Это — розга, которою Бог наказывает своих детей. Совестно было бы изгнать узурпатора; нужно было бы нарушить покой общественный, пустить в ход насилие, пролить кровь. Все это плохо вяжется с кротостью христианина, и после всего разве не безразлично, быть ли свободным или рабом в этой юдоли скорби? Главное — попасть в рай; а покорность воле Божьей — это лишь еще одно средство к тому. Случится ли какая внешняя война? Граждане охотно идут на бой; ни один между ними не помышляет о бегстве; они исполняют свой долг, но без страсти к победе; они скорее умеют умирать, чем по-

беждать. Окажутся они победителями или побежденными, какое это имеет значение? Разве Провидение не знает лучше, что им надобно? Представьте себе, какую выгоду может извлечь неприятель гордый, неистовый, страстный из их стоицизма! Поставьте лицом к лицу с ними те благородные народы, которые снедала неукротимая любовь к славе и к отечеству; предположите, что ваша Христианская Республика стоит против Спарты или Рима. Набожные христиане будут разбиты, раздавлены, уничтожены, прежде чем успеют опомниться, или будут обязаны спасением лишь тому презрению, которое будет питать к ним их враг. Прекрасна была, по-моему, клятва солдат Фабия: они клялись не умереть или победить; они поклялись вернуться победителями и держали клятву. Никогда не принесли бы подобную клятву христиане: они подумали бы, что этим искушают Бога.

Но я ошибаюсь, когда говорю Христианская Республика: каждое из этих слов исключает другое. Христианство проповедует лишь рабство и зависимость. Его дух слишком благоприятен для тирании, чтобы она постоянно этим не пользовалась. Истинные христиане созданы, чтобы быть рабами; они это знают, и это их почти не тревожит; сия краткая жизнь имеет в их глазах слишком мало цены.

Христианские войска превосходны, говорят нам. Я это отрицаю. Пусть мне покажут таковые. Что до меня, то я вообще не знаю никаких христианских войск. Мне приведут в пример Крестовые походы. Не вступая в споры о доблести крестоносцев, замечу, что это вовсе не были христиане, это были солдаты первосвященника; это были граждане Церкви. Они сражались за ее духовную страну, которую она неизвестно как превратила в земную. Строго говоря, это опять сводится к язычеству. Поскольку Евангелие не устанавливает никакой национальной религии, среди христиан невозможна священная война.

При языческих императорах христианские солдаты были храбры; все христианские авторы уверяют нас в этом, и я им верю: это было соревнование в чести с языческими войсками. Как только императоры стали христианами, это соревнование прекратилось, и когда крест изгнал орла, не стало и всей римской доблести.

Но, оставляя в стороне политические соображения, вернемся к праву и установим принципы по этому важному пункту. Право над подданными, которое получает суверен

по общественному соглашению, никак не распространяется, как я сказал, далее границ пользы для всего общества\*. Следовательно, подданные обязаны суверену отчетом в своих воззрениях лишь постольку, поскольку эти воззрения важны для общины. А для Государства весьма важно, чтобы каждый гражданин имел религию, которая заставляла бы его любить свои обязанности; но догматы этой религии интересуют Государство и его членов лишь постольку, поскольку эти догматы относятся к морали и обязанностям, которые тот, кто ее исповедует, обязан исполнять по отношению к другим<sup>210</sup>. Каждый может иметь, кроме этого, какие ему угодно мнения, и суверену вовсе не положено их знать. Ибо, поскольку он не обладает никакими полномочиями в ином мире, то какова бы ни была судьба его подданных в грядущей жизни, — это не его дело, лишь бы они были хорошими гражданами в этой.

Существует, следовательно, исповедание веры чисто гражданское, статьи которого надлежит устанавливать суверену; и не в качестве догматов религии, но как правила общежития, без которых невозможно быть ни добрым гражданином, ни верным подданным\*\*. Не будучи в состоянии обязать кого бы то ни было в них верить, он может изгнать из Государства всякого<sup>211</sup>, кто в них не верит, причем не как нечестивца, а как человека, неспособного жить в обществе, как человека, неспособного искренне любить законы, справедливость и жертвовать в случае необходимости жизнью во имя долга. Если же кто-либо, признав уже публично эти догматы, ведет себя, как если бы он в них не верил, пусть он будет наказан смертью; он совершил наибольшее из преступлений: он солгал перед законами.

Догматы гражданской религии должны быть просты,

---

\* *В Республике*, — говорит м[аркиз] д'А[ржансон], — *каждый совершен но свободен в том, что не вредит остальным*<sup>212</sup>. Вот неизменная граница; ее нельзя определить более точно. Я не могу отказать себе в удовольствии сослаться иногда на эту рукопись, хотя и неизвестную публике, чтобы воздать должное памяти славного и уважаемого человека, который, даже став министром, сохранил сердце истинного гражданина и прямые и здравые взгляды на образ правления в своей стране.

\*\* Цезарь защищая Катилину<sup>213</sup>, пытался установить догмат смертности души. Чтобы его опровергнуть, Катон и Цицерон не стали забавляться философствованием; они ограничились указанием на то, что Цезарь говорил как дурной гражданин и выдвигал систему взглядов, губительную для Государства. И Сенату римскому, в самом деле, надлежало принять решение именно относительно этого, а не по богословскому вопросу.

немногочисленны, выражены точно, без разъяснений и комментариев. Существование Божества могущественного, разумного, благодетельного, предусмотрительного и заботливого; загробная жизнь, счастье праведных, наказание злых, святость Общественного договора и законов, — вот догматы положительные. Что касается отрицательных догматов, то я ограничусь одним-единственным: это нетерпимость. Она входит в те религиозные культы, которые мы исключили.

Те, кто отличают нетерпимость гражданскую от нетерпимости теологической, по-моему, ошибаются. Оба эти вида нетерпимости не отделимы друг от друга. Невозможно жить в мире с людьми, которых считаешь проклятыми; любить их, значило бы ненавидеть Бога, который их карает; безусловно необходимо, чтобы они были обращены в нашу веру или чтобы они подверглись преследованиям. Всюду, где допущена религиозная нетерпимость, невозможно, чтобы она не имела никакого воздействия на то, что относится к гражданскому порядку\*. А как только нетерпимость получает возможность такого воздействия, суверен более не суверен, даже в земной жизни. С этих пор священнослужители, это — настоящие повелители, а короли суть лишь их чиновники.

Теперь, когда нет уже и не может быть религии одного только народа, которая исключала бы все остальные, должно терпеть все религии, которые и сами терпимы к другим,

---

\* Брак, например, являясь гражданским договором, дает гражданские права, без коих невозможно даже само существование общества. Предположим, что какому-либо духовенству удастся присвоить себе одному право осуществлять этот акт, — право, которое оно неизбежно должно узурпировать при всякой нетерпимой религии. Разве не ясно в этом случае, что, возвышая власть Церкви, оно делает бесполезной власть государя, которому тогда достанутся лишь те подданные, коих соблаговолит отдать ему духовенство? Поскольку духовенство будет господином над тем, венчать или не венчать людей, смотря по тому, признают или не признают они то или иное учение: смотря по тому, примут или отвергнут они ту или иную форму исповедания; смотря по тому, будут ли они ей более или менее преданы; то разве не ясно, что, поступая благоразумно и не уступая, оно одно будет распоряжаться распределением наследств, должностей, гражданами, самим Государством, которое не сможет существовать, если оно будет состоять только из незаконнорожденных? Но, скажут, в этом увидят злоупотребление; вызовут на суд, издадут декреты, обратятся к светской власти. Какое убожество! Духовенство, если оно будет обладать сколько-нибудь, — я не говорю даже мужеством, — здравым смыслом, не будет противиться и пойдет своим путем. Оно спокойно позволит жаловаться, вызывать в суд, издавать декреты, арестовывать и в конце концов останется господином положения. Это, мне думается, небольшая жертва, — уступить часть, если ты уверен, что завладеешь всем<sup>214</sup>.

если только их догматы ни в чем не противоречат долгу гражданина. Но кто смеет говорить: *вне Церкви нет спасения*, тот должен быть изгнан из Государства, если только Государство это не Церковь, и государь это не Первосвященник. Такой догмат хорош лишь при теократическом Правлении; при всяком другом он пагубен. Причина, по которой, как говорят, Генрих IV перешел в католичество<sup>215</sup>, должна была бы побудить отречься от этой веры всякого честного человека, и, особенно, всякого государя, умеющего рассуждать.

## Г л а в а IX ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После того, как я установил истинные принципы политического права и попытался заложить основания Государства, мне следовало бы укрепить оное посредством его внешних отношений: это включало бы международное право, торговлю, право войны и завоеваний; публичное право, союзы, переговоры, договоры и так далее. Но все это составляет уже новый предмет, черезчур обширный, чтобы мой взгляд мог его охватить. Мне следует рассматривать то, что более близко ко мне.

## ***ПРИЛОЖЕНИЯ***

## **СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАКТАТОВ РУССО ДЛЯ ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ**

Наряду с Гоббсом и Монтескье, Руссо — подлинный родоначальник теоретической социологии. Это в особенности относится к его политическим трактатам.

Сразу отметим некоторые важные исторические взаимосвязи. Э. Дюркгейм читал специальные курсы о Монтескье и Руссо как предшественниках социологии. Его ученику М. Хальбваксу принадлежит один из лучших комментариев к «Общественному договору». Значение Руссо для социологии именно дюркгеймовского толка, вообще говоря, достаточно очевидно, и его легко обнаружить, таким образом, не только через анализ текстов\*. Влияние, которое Руссо оказал на Фихте, Гегеля, Маркса, — факт тоже слишком хорошо известный, чтобы останавливаться на нем специально\*\*. Руссо, иными словами, хорошо освоено в социологической традиции\*\*\*, подобно Гоббсу, о котором Дюркгейм тоже читал курс лекций и которому посвящены специальные исследования Ф. Тенниса и К. Шмитта. Однако, систематическое значение Руссо для социологии гораздо шире, нежели это позволяют предположить легко прослеживаемые линии преемственности. Под систематическим значе-

---

\* Линию идейного развития Гоббс—Руссо—Дюркгейм в связи со значением концепции суверенитета для социологии я сжато представил в статье: «Социология и космос» // СОЦИО-ЛОГОС. Вып. 1. М.: Прогресс, 1991. С. 241—273.

\*\* Другое дело, стоит ли считать эту линию преемственности вполне социологической.

\*\*\* Мы не можем здесь останавливаться специально на серьезной критике Руссо в основополагающих рассуждениях по философской антропологии А. Гелена или на одной из важных работ Р. Дарендорфа, которая посвящена «происхождению неравенства между людьми».

нием мы понимаем такие взаимосвязи идей, которые хотя и были сформулированы мыслителем в ином, не собственно социологическом контексте, обнаруживают, с точки зрения современной теории, именно социологическое содержание, социологическую составляющую, непосредственно затрагивают фундаментальные вопросы социологии\*. Мы находим здесь соответствующие понятия или постановки проблем, или ходы мысли. Иными словами, речь идет не о том, чтобы прервать Руссо в «социолога до социологии» и объявить содержание его трактатов целиком сугубо социологическим. Лишь некоторые понятия и их логические связи, актуальные для фундаментальной теоретической социологии, станут предметом нашего обсуждения.

Укажем, прежде всего, на особенность, не для одного Руссо специфичную, но именно в его случае крайне важную. Здесь обстоятельства жизни оборачиваются теоретической позицией. Это — демократизм Руссо. Если Данте, Макиавелли, Томас Мор или Гроций — сами политические деятели; если Гоббс полжизни проводит при королевском дворе, занимается воспитанием принца и не понаслышке знает, что такое верховное правление; если Вольтер вступает в переписку с государями и какое-то время играет немаловажную роль в духовно-политической жизни Фридриха Великого, при дворе которого он живет, то политический опыт Руссо куда более скромнен и скорее случаен. Разумеется, он ощущает себя политической фигурой: высказывается по политическим вопросам, оценивает образы правления в разных странах, пишет проект конституции для Корсики и всерьез занимается проблемами международного права. Но он не ведает тайн большой политики, творимой произволом князей и в тиши кабинетов, не допущен даже на порог святая святых государства, не знаком с государями. Зато Руссо — при всей своей *уединенности* и симпатиях к арис-

---

\* Многие социологически важные рассуждения Руссо мы оставляем здесь без внимания только потому, что они не имеют именно систематического значения. Для примера приведем только одно из них, знаменитое членение различий, по которым «судят о человеке в обществе»: это «богатство, знатность или ранг, могущество и личные достоинства» («Рассуждение о происхождении неравенства». (*Наст. изд. С. 134*). Немного надо усилий, чтобы вывести отсюда вполне социологическое представление социальной структуры, позиции в которой определяются классовой принадлежностью, принадлежностью к сословной или статусной группе, местом в иерархии власти и личным престижем. И таких рассуждений у Руссо немало. Однако их социологический смысл, как правило, лежит на поверхности и не требует подробного обсуждения.

тократическому правлению\* — пророчествует большúю политику масс\*\*. Это архетипическая фигура социологии, состоятельной, пока речь идет о коллективном поведении множества людей, или небольших групп и даже индивидов, но только представляющих зримую массу, принципиально доступный наблюдению круг. Высшие и вообще закрытые для постороннего взгляда круги недоступны и для социолога. А поскольку социолог претендует на описание *всего* общества, то в одних случаях (в эпохи массовых движений, крушения устоявшихся форм правления и управления, повышения зависимости политиков от макропроцессов, ускользающих от их контроля и понимания) незнание «тайн мадридского двора» существенно улучшает его теоретическую оптику\*\*\*, повышает шансы на понимание происходящего. Здесь социолог не отвлекается на *пустяки*. Но в других случаях (в устойчивых иерархиях, в принципе не только закрывающих доступ к управлению со стороны масс, но и делающих непрозрачной для непосвященных самую структуру иерархии; в ситуациях заговоров и тайных сделок, имеющих серьезные последствия для множества людей) он куда более ограничен в своих возможностях. Здесь социолог не может видеть самого важного. Классическую социологию создают люди, не имевшие шансов, не захотевшие или не сумевшие войти в высшие управленческие круги. Обычно отсюда выводят «ненаучность политики», забывая о том, что другая сторона медали — это особая непопечность науки, дающей описание воздействий властных кругов на массы, но не располагающей подлинным знанием о том, как плетутся интриги и принимаются решения.

Конечно, демократизм Руссо преимущественно умозрительный\*\*\*\*. Но эта умозрительность и априоризм его построений имеют большое теоретическое значение. Никто никогда не видел ни «Суверена», каким нам его рисует Рус-

---

\* Впрочем, в современных терминах, то, что описывает Руссо, — это не столько аристократия, сколько «меритократия» — правление достойнейших.

\*\* В те годы еще больше говорили о *народе*, реже — о *толпе*, затем ранних социологов занимает именно феномен толпы и только ближе к нашему времени речь идет о *массе*. При том, что значения этих терминов сильно различаются, здесь мы можем этим пренебречь.

\*\*\* Иными словами, у такого наблюдателя больше понятий, пригодных для производства значимых описаний.

\*\*\*\* В сочинениях Руссо немало исторического материала, а иногда они и написаны по конкретному историческому поводу. Но это ничего не меняет в оценке принципиального априоризма его конструкций.

со, ни «первоначального соглашения», ни «общей воли»\*. Дело здесь не в том, что Руссо строит теоретические конструкции, но в том, что если «первоначальное соглашение» — это нечто незримое, ибо оно отнесено в давнее прошлое, то «суверен» и «общая воля» *невидимы принципиально*. Важно уяснить это с возможной точностью: государство Платона можно *увидеть* (по замыслу философа) при помощи определенной способности *интеллекта*. Это доступно, правда, лишь тем, кто способен к созерцанию идей. Государство Цицерона можно *увидеть* хотя бы во «Сне Сципиона». «Государство» Гоббса *кажется* его современникам настолько наглядным, что художник *изображает* на фронτισписе «Левинафана» огромного человека, тело которого состоит из тел множества людей. Мы видим именно не «понятие государства», но тело, составленное из других тел.

Иначе обстоит дело у Руссо. Правда, он говорит, что суверен — это «Политический организм», «коллективное существо»\*\*, и образуется он из «частных лиц». Но именно лиц, а не организмов! И недаром Руссо именует его «условной личностью»\*\*\*. Руссо различает тело и душу государства. Основная характеристика Суверена — воля. Волевая природа социального, о которой спустя более чем сто лет после Руссо напишет Тённис, представлена здесь очень выпукло. Видимы проявления воли, но невидима она сама, как невидима душа. Суверен появляется в силу гипотетического «первого соглашения» (также акта «разумной воли»), благодаря которому народ конституируется как народ. С этого момента у народа появляется неотчуждаемый суверенитет, а это значит, что, изъявив согласие безусловно повиноваться некоему правителю, т. е. отказавшись от суверени-

---

\* «Политический организм, — пишет Руссо, — можно измерять двумя способами, именно: протяженностью территории и численностью населения...» (Об общественном договоре, II, X. *Наст. изд. С. 238*). Это вполне «социографическое», как мы бы теперь сказали, и притом немаловажное для него рассуждение. Однако Руссо нигде не пишет, что можно измерить Суверена.

\*\* Поэтому законным было бы предположение, что к Руссо восходят и органицистские версии социологии. Недаром он пишет, что «Политический организм... членосоставленный живой организм, подобный организму человека» («О политической экономии». *Наст. изд. С. 157*). Проблема, однако, состоит в том, что за поверхностной аналогией «общество/организм» стоят зачастую очень разные по их логико-теоретической природе построения. Именно поэтому мы далее не заостряем внимание на собственно органицизме Руссо.

\*\*\* См.: Об общественном договоре, II, IV. *Наст. изд. С. 220*.

тета, он перестает быть народом, а значит, и политическим организмом. Суверен, иными словами, это не просто множество людей и даже не просто множество согласных между собой и согласно действующих людей. Он есть только при особом роде согласия, которое не противоречит его природе\*. Зримое множество согласно действующих на некоторой территории людей обманчиво. Мы не вправе констатировать существование «Политического организма», не добравшись до характеристик общей воли. Так и социология, если она хоть чего-то стоит, не ограничивается объективистскими описаниями. Ей интересны те идеи, которые присущи наблюдаемым множествам людей. Мы не можем, как это в особенности четко фиксирует *понимающая социология*, даже идентифицировать объект наблюдения, не произведя прежде некоторых логических операций. Только наполненность некоторым смыслом делает действие тем, что оно есть. Мы соотносим наблюдаемый («понимаемый») смысл с идеальным образцом и устанавливаем сходства и отклонения. Руссо, разумеется, отнюдь не предлагает нам методологию *идеальных типов*, а идеальный тип, в свою очередь, это, как известно, не идеал, который должен быть достигнут. Излишние сближения здесь не нужны. Но социологически важный аспект этих рассуждений мы можем уже зафиксировать: требуется общая, дедуктивно выводимая нормативная схема, позволяющая проверить соответствие данного состояния воли общему понятию суверенитета.

Но в чем именно распоряжении она может находиться? Во-первых, конечно, в распоряжении исследователя, а во-вторых, в распоряжении, наверное, тех, кто составляет народ, т. е. граждан. Ведь гражданин сверяет свое поведение по предписаниям общей воли, а для этого он должен быть уверен, что она действительно общая. Значит, и ему требуется общее понятие суверенитета? Но если мы оказываемся в сфере общих понятий, то созерцанию придется уступить. «Попробуйте, — говорит Руссо, — представить себе образ дерева вообще — это вам никогда не удастся... и если бы от вас зависело увидеть в нем лишь только то, что свойственно всякому дереву, то образ этот больше не походил бы на дерево. То, что существует только как чистая абстракция, также можно увидеть подобным образом или постигнуть лишь посредством речи. Одно только определение треугольника даст вам о нем истинное представление; но как

\* См.: Об общественном договоре, II, I. *Наст. изд.* С. 216—217.

только вы представите себе треугольник в уме, то это будет именно такой-то треугольник, а не иной... Нужно, следовательно, произносить предложения, нужно, следовательно, говорить, чтобы иметь общие понятия: ибо как только прекращается работа воображения, ум может продвигаться лишь с помощью речи»\*. Это рассуждение, как мы увидим, имеет очень большое значение.

Начнем с того, что в определенном случае народное решение может привести к самоуничтожению народа. Это ошибочное решение общей воли. Она «неизменно направлена прямо к одной цели и стремится всегда к пользе общества, но из этого не следует, что решения народа имеют всегда такое же верное направление. Люди всегда стремятся к своему благу, но не всегда видят, в чем оно»\*\*. Судя по всему, им требуется сопоставить свои представления о благе и суверенитете с *правильной* идеей блага и суверенитета. Если бы суверенитет можно было просто увидеть, ясно и достоверно, такое сопоставление не понадобилось бы, как не требуется сопоставления идеи дерева с конкретным деревом и даже идеи треугольника с данным треугольником, чтобы распознать, *что* же мы видим. Но случай суверенитета — иной. Ведь «общая воля, для того, чтобы она была поистине таковой, должна быть общей как по своей цели, так и по своей сущности», т. е. «она должна исходить от всех, чтобы относиться ко всем» и не может устремляться «к какой-либо индивидуальной и строго ограниченной цели»\*\*\*. Иными словами, мало стремления к общему благу, надо чтобы это было общее стремление к общему благу. Но что значит «общее»? Значит ли это просто «благо всех»? Нет, говорит Руссо. Индивидуальное благо каждого гражданина зависит от его представлений о достоинстве и свободе. Но общественный организм образуется, по договору, посредством отчуждения части «силы, имущества и свободы» каждого человека, вступающего в соглашение. А сколько должно быть отчуждено и сколько ему оставлено, решает суверен. Суверен не может действовать против интересов общественного организма, «ибо как в силу разума, так и в силу

\* Рассуждение о происхождении неравенства. *Наст. изд. С. 91.*

\*\* Об Общественном договоре, II, III. *Наст. изд. С. 219.* Ср. также следующее высказывание: «Общая воля всегда направлена верно и правильно, но решение, которое ею руководит, не всегда бывает просвещенным.» (Об Общественном договоре, II, VI. *См. настоящее издание. С. 229.*)

\*\*\* Об Общественном договоре, II, IV. *Наст. изд. С. 221—222.*

закона естественного ничто не совершается без причины»\*, а сознательно действовать против организма воля организма причин не имеет. Но не заблуждается ли суверен, не ошибается ли общая воля?

Чтобы выяснить это, гражданин мог бы применить универсальный критерий «достоинства и свободы». Но что он должен понимать под этим? Свою естественную свободу он потерял, вступая в общество. Приобрел же он свободу политическую. Это значит, что он может сам не понимать своего счастья, и в таком случае задача суверена — «силой принудить его быть свободным»\*\*. Самым очевидным образом постигнуть общую волю гражданин мог бы, учитывая мнение большинства. Даже перевеса в один голос может быть достаточно, чтобы решить, на чьей стороне «общая воля»\*\*\*. «Если одерживает верх мнение, противное моему, то сие доказывает, что я ошибался и что то, что я считал общею волею, ею не было. Если бы мое частное мнение вобладало, то я сделал бы не то, чего хотел, вот тогда я не был бы свободен»\*\*\*\*. Но не все так однозначно. Руссо не дает полную свободу непосредственному усмотрению, утверждая, что «волю делает общею не столько число голосов, сколько общий интерес, объединяющий голосующих...»\*\*\*\*\*. Как же быть, если народ окажется «испорченным», как это случилось даже с образцовым римским народом в определенный период его истории, и тем более справедливо применительно к народам истории новейшей, для которых характерны «всепоглощающая жадность, дух беспокойства, интриги...»\*\*\*\*\*? Пресловутый демократизм не мешает Руссо высказываться совершенно недвусмыслен-

\* Об Общественном договоре, II, IV. *Наст. изд. С. 221*. Правильное понимание статей Общественного договора, говорит Руссо, позволит свести их к одной: «полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины...» (Об Общественном договоре, I, VI. (*Наст. изд. С. 208*). Курсив мой — А. Ф.). Руссо колеблется в определении меры индивидуального отчуждения, поскольку принимает в расчет, с одной стороны, естественного человека в естественном состоянии, а с другой, — идеального гражданина в идеальном государстве. Один полностью зависит только от себя. Благополучие другого всецело зависит от самоотдачи обществу.

\*\* Об Общественном договоре, I, VII. *См. наст. изд. С. 211*.

\*\*\* См.: Об Общественном договоре, IV, II. *См. наст. изд. С. 292—293*.

\*\*\*\* Там же.

\*\*\*\*\* Об Общественном договоре, II, IV. *Наст. изд. С. 222*.

\*\*\*\*\* См.: Об Общественном договоре, IV, IV. *Наст. изд. С. 299—300*.

но: «Как может слепая толпа, которая часто не знает, чего она хочет, ибо она редко знает, что ей на пользу, сама совершить столь великое и столь трудное дело, как создание системы законов? Сам по себе народ всегда хочет блага, но сам он не видит, в чем оно»\*.

Вернемся теперь еще раз к вопросу о невидимости Суверена. Теперь ясно, что она связана с тем, что можно было бы назвать исключением проблематики пространства из социальной теории. И дерево, и треугольник подпадают под общую категорию, которую Декарт обозначил как *res extensa*, «вещь протяженная». В случае суверенитета и общей воли мы имеем дело с *res cogitans*, вещью мыслящей, для нее не годятся характеристики протяжения, она описывается по-другому. Подчеркнем еще раз: рассуждения Руссо о характеристиках территории и народонаселения, об особенностях в связи этим хозяйственной жизни определенного народа безусловно важны. Мы только утверждаем, что систематическое значение Руссо для социологии заключено в другом, а именно, в обосновании, как мы теперь могли бы сформулировать, с одной стороны, нормативистской, с другой же стороны, консенсусно-дискурсивной концепций социальной жизни. По поводу согласия людей нельзя сказать, «где» оно расположено. Оно рассредоточено во множестве «душ» и «воль» и потому невидимо как отдельному гражданину, так и наблюдателю в качестве особой «вещи». Ведь в отношении созерцания «социального целого» возможны только два альтернативных подхода. Либо Суверен всякий раз недвусмысленно являет себя каждому из граждан, так что спутать Суверен с чем-то иным все равно что спутать дерево с треугольником. Либо высказывание: «Это — Суверен» может быть только результатом последовательных умозаключений, так что сравнивать придется не дерево с треугольником, но более или менее совершенные треугольники с идеальным, несуществующим образцом, не имея возможности увидеть непосредственно не только этот образец, но и самые несовершенные треугольники. Реальный-то треугольник мы видим, о состоянии же единогласия можем только заключать. Это и есть консенсусно-дискурсивная концепция. Пусть мы даже имеем дело с ясно высказанной волей большинства. Но это, возможно, только «воля всех», а не «общая воля». Последняя, говорит Руссо, творит

\* Об Общественном договоре, II, VI. *Наст. изд.* С. 229. Обратим внимание на то, что «народ» и «толпа» здесь синонимичны.

закон, а «в законе должны сочетаться всеобщий характер воли и таковой же ее предмета»\*. Таким образом, необходимо постигнуть всеобщее, а для этого требуется рассуждение. Народ же, скорее всего, на достаточно общее рассуждение неспособен, ибо «есть множество разного рода понятий, которые невозможно перевести на язык народа. Очень широкие планы и слишком далекие предметы равно ему недоступны...»\*\*. Не только «испорченный», но и всякий народ вряд ли непосредственно усматривает и тем более путем правильного рассуждения в общих понятиях постигает сущность суверенитета вообще и отличительные черты своего конкретного государства в частности.

Тем не менее, гражданин в дееспособном государстве ведет себя как должно. Почему? Потому что само понятие правого и неправого есть понятие социальное. В дообщественном состоянии человек, говорит Руссо, не так злобен, как это кажется Гоббсу. У него имеется «естественное сочувствие» к другому. Но морали у него нет, ибо «дикари не злы как раз потому, что они не знают, что значит быть добрыми...»\*\*\*. Правда, в «Происхождении неравенства» Руссо связывает воедино развитие языка и развитие способности к *рассуждению* с развитием общих морально-правовых понятий. Но в «Общественном договоре» недвусмысленно указано, что велениям общей воли гражданин подчиняется не *рассуждая*, ибо дал согласие на повиновение, не оговаривая все конкретные случаи, когда таковое потребует. Кроме того, он воспринимает общественное как то, что важно и нужно именно для него. Можно, иными словами, интерпретировать это как нормативное согласие. Норма — это отнюдь не обязательно некое определенное содержание мышления, обладающее для того, кто ей следует, полной дискурсивной ясностью. Норма воспринимается как самоочевидное должное, как неоспоримое разделение правого и неправого. Голос общества звучит в человеке, но сам он не отделяет его от себя. Вместе с тем, он не просто действует ради общего блага. Он, помимо согласия с согражданами по общим вопросам конституирования общества, ориентируется на мнения людей, которые его окружают, так что «дикарь живет в себе самом, а человек, привыкший к жизни в обществе, всегда — вне самого себя; он может

\* Об Общественном договоре, II, VI. *Наст. изд. С. 228.*

\*\* Об Общественном договоре, II, VII. *Наст. изд. С. 232.*

\*\*\* Рассуждение о происхождении неравенства. *Наст. изд. С. 93—94.*

жить только во мнении других, и, так сказать, из одного только их мнения он получает ощущение собственного своего существования»\*. Это можно назвать, в современных терминах, интеракционистским подходом. Руссо еще не вдается в сложную игру, где переливаются свое «я», которое *как бы* есть до выражения и отражения в реакции другого, далее, собственно выражение «я», ориентированное на другого, ответные реакции другого и реакции «я» на ответные реакции другого. Руссо вообще пишет о современном обществе с осуждением. Только что цитированное высказывание — это инвектива, а не описание. Но Руссо видит важные особенности социальной жизни и не смешивает эти свои рассуждения с концепцией суверенитета и трактовками поведения, направленного на общее благо. Ориентация на других и ориентация на общество как целое — это разные типы поведения и воли.

Итак, в построениях Руссо мы обнаруживаем несколько систематически важных социологических концептуализаций: 1) социальное взаимодействие может и должно быть описано по-разному, в зависимости от того, имеем ли мы дело с контекстами, с одной стороны, отдельных взаимодействий, или, с другой, — с объемлющим их большим обществом, которое Руссо называет «Политическим организмом»; 2) индивид как гражданин должен быть уверен в состоятельности своих частных волений, ибо в обществе он подлинно, даже и неявно для себя, желает того же, что и общая воля, и только эта последняя проводит границы между частным и общим; 3) индивид как гражданин не может быть уверен в состоятельности своих частных волений, ибо он знает, что они могут расходиться с общей волей в трех случаях: когда заблуждается он сам, когда заблуждается общая воля и когда его воления касаются тех целей, которые не входят в число целей общей воли; 4) гражданин (очень часто) не может постигнуть как таковое то общее, членом которого он является; 5) он не может постигнуть идею того общего, членом которого является, дабы применить к нему идеальный масштаб; 6) при заблуждении общей воли усугубляются все обстоятельства, перечисленные в пунктах 2)-5).

Все эти проблемы можно рассматривать, конечно, с точки зрения истории идей, выясняя во всех деталях, что в точности имел в виду Руссо. Но для фундаментальной со-

\* Рассуждение о происхождении неравенства. *Ист. изд. С. 136.*

циологии существенно иное. Ее основной вопрос: «Как возможно общество?»\*. Дело здесь, разумеется, не в том, чтобы выяснить возможность осуществления того, чего нет. Социолог знает, что общество есть, и спрашивает, каковы те условия, при которых оно не перестает быть. Гоббс и Руссо еще не умеют в точности разделить эти два вопроса (о возможности возникновения и возможности существования), но они делают большой вклад в социологию, подчеркивая гипотетический характер общественного договора. Иными словами, для того, чтобы объяснить существование, им еще требуется постулировать определенный характер возникновения, а поскольку свидетельств в пользу такого возникновения нет, то остается лишь предполагать его как необходимый член дедукций. В отличие от Гоббса, который считает признание этого первого соглашения со стороны граждан безусловным, Руссо колеблется. С одной стороны, для каждого человека вхождение (каким бы то ни было образом) в уже существующий общественный организм означает подчинение его законам и, следовательно, условиям первоначального соглашения. С другой стороны, общая воля активирована постоянно, не говоря уже о воле всех, также ориентированной на коллективные решения по частным конкретным вопросам, а это значит, что и отдельный гражданин должен вновь и вновь решать важнейшие вопросы жизни общества.

И Гоббс, и Руссо видят, что проблема таким образом не решена. Гражданин гоббсовского государства то и дело норовит поставить свой частный интерес выше каких-то давно заключенных соглашений, а гражданин Политического организма у Руссо путается в определении общего и путает личное с общественным. В сущности говоря, Руссо, как и Гоббс, тоже хотел бы (от имени Суверена) гарантировать ему жизнь и благополучие, но в сомнительных случаях (например, при необходимости отправить гражданина на войну убивать и умирать) он всегда делает выбор в пользу

\* В такой форме вопрос формулирует, как известно, Г. Зиммель. См.: Зиммель Г. Как возможно общество // Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 509—526. В классической формулировке Парсонса, а затем и у Лумана вопрос звучит несколько иначе: Как возможен социальный порядок? См.: Parsons T. The structure of social action. N.Y.: McGraw-Hill, 1937. P. 89ff.; Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981. S. 195ff. Парсонс называет эту проблему «гоббсовой», и мы не случайно обращаемся ниже к сопоставлению Руссо и Гоббса.

общества. Гоббс находит выход в том, что суверен не только всегда прав, но еще и всех сильнее и притом отделен от остального общества. Никто не имеет достаточно силы, чтобы ему противодействовать, говорит он, а потом, видимо, припомнив кое-что из современной ему истории своей страны, меланхолично замечает: «А если кто и сумеет это сделать, то будет это не по праву». Право и сила суверена взаимно подкрепляют друг друга, причем суверен внятно отделен от граждан как особое лицо или собрание лиц. Иными словами, по Гоббсу, чтобы общество было возможно, силы его граждан должны быть отчуждены у них по их же согласию в пользу того, кто не принадлежит к числу граждан и потому не участвует в соглашении. Его сила — это не просто физическое насилие, но признанность со стороны граждан. У Руссо социальный порядок, так сказать, «держит сам себя». Тот, кого Гоббс объявляет сувереном, у Руссо оказывается «уполномоченным» суверена, т. е. народа, т. е. общества. Он не только не удерживает общество в единстве, но, напротив, может быть смещен народным решением в любой момент. Обычно отсюда выводят крайне опасный политический характер рассуждений Руссо, что в общем, вполне справедливо и подтверждается практикой всех революций. «Чистая воля как таковая, которая для себя самой есть цель своего исполнения, является истинным сувереном. ...Результатом является тотальное государство. Оно покоится на фиктивном тождестве гражданской морали и суверенного решения. Всякое выражение воли совокупности есть всеобщий закон, ибо она может желать лишь собственную тотальность... Тем самым суверенитет разоблачается у Руссо как перманентная диктатура. Он равнозначен перманентной революции, в которую превратилось его государство»\*. Кроме того, в «Общественном договоре» (II, III) Руссо, как известно, выступает против «частичных ассоциаций», которые становятся между гражданином и Сувереном. Самым очевидным образом это можно рассматривать как прототип тоталитарного мышления, сравнительно с

\* Koselleck R. Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1973. S. 136—137. То, что в тотальном обществе (*еще не* тоталитарном!) хозяйственная жизнь не выделяется в отдельную, самостоятельную сферу, которую мы привыкли называть «гражданским обществом» но становится предметом интенсивного государственного попечения, показывает работа «О политической экономии». Здесь Руссо непосредственно наследует И. Г. Фихте, затем марксистский социализм.

которым даже «Левиафан» кажется порождением умеренно либеральной мысли, ибо Гоббс-то как раз описывает и легальные группы, которым есть место в его государстве (*Левиафан, гл. XXII*)\*.

Посмотрим, однако, на дело также с другой стороны. Ведь тотальность политического тела можно понимать не только как перманентную революцию, но и как постоянное самоконституирование общества, составляющего неотчуждаемый контекст морального сознания и социального поведения человека. Именно так понимал это Дюркгейм. «Общая воля должна уважаться не потому, что она более сильна, но потому, что она всеобща». Чтобы в отношениях индивидов между собой существовала справедливость, должно быть нечто, превосходящее их, существо *sui generis*, действующее как арбитр в спорах и определяющее закон. «Это нечто есть общество, которое обязано своим моральным превосходством не своему физическому превосходству, но своей природе, превосходящей природу индивидов. Оно имеет необходимый авторитет для регулирования частных интересов, ибо находится над ними и, следовательно, не является стороной в споре»\*\*. Переключка с пониманием социологии самим Дюркгеймом здесь совершенно очевидна.

Руссо задается вопросом, может ли человек, который еще не вступил в общество, вступить в него, т. е. постигнуть то общее, которое только должно было подействовать в его душе как общая воля, чтобы народ стал народом. Ответ на этот вопрос возможен либо исторический, либо логический. Первый дается в работе «О происхождении неравенства». Гражданское общество рассматривается здесь как результат последовательной деградации «естественного состояния». Второй дается в «Общественном договоре». Здесь следствие, говорит Руссо, предполагается существовавшим прежде, чем причина. Логически это невозможно и, значит, возникновение законов, конституирующих общество, не может быть результатом совместной деятельности людей. Они могут *согласиться* на эти законы, принять их общей волей. Но они не могут их выработать. На это способен лишь мудрый законодатель, а поскольку его средства убеж-

---

\* И здесь с ним расходится, что очень важно именно в виду неоспоримой преемственности, Дюркгейм, придававший огромное значение именно промежуточным (между индивидом и всем обществом) ассоциациям, в первую очередь, профессиональным союзам.

\*\* Durkheim E. Montesquieu and Rousseau. Forerunners of sociology / Transl. By R. Manheim. Ann Arbor, 1970. P. 103.

дения ограничены воспринимающей способностью толпы, ему приходится не столько аргументировать, сколько ссылаться на божественное происхождение законов. И впоследствии законы должны быть для народа священны (и потому нерушимы). Это и есть «гражданская религия». Иными словами, чтобы общество было возможным, оно должно *сакрализовать самое себя*, т. е. то, что произведено обществом и в обществе должно быть противопоставлено обществу как нечто особое и не только будущему решению неподвластное, но и от прошлых решений независимое. Разумеется, общая воля вправе переконституировать общество по своему произволу. Но для благополучия общественного организма лучше, если это не делается.

Теперь вернемся опять к отдельному гражданину. Со своим отдельным, частным интересом он оказывается где-то далеко внизу. Над ним — среднее арифметическое отдельных желаний «воли всех». Еще выше — основополагающие решения «общей воли». И над ними — звездное небо гражданской религии. Впрочем, крайности сходятся, это скорее уже не звездное небо, но моральный закон, живущий в душе гражданина. Только в отличие от кантовского этот моральный закон индивид не обнаруживает с полной ясностью как законодательство разума. Напротив, самый разум его есть в известном смысле вместилище общей воли, поскольку речь идет об общих, касающихся общества предметах. Само разделение частного и общего, добра и зла также имеет характер общественный. Когда Руссо говорит, что деятельность ради общего блага есть в обществе деятельность также и ради индивидуального блага, то это, естественно, предвещает знаменитую марксистскую формулу «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех». Это звучит зловеще. Но мы опять должны обратить внимание на то, что у Руссо еще не разведены социология и социализм, и формулы его не более социалистические, чем социологические. *Социологизм* — это такая трактовка общества, которая предполагает, во всяком случае, со стороны логической, только имманентные объяснения. Все, что есть в обществе, произведено, в конечном счете, обществом. Но именно это обстоятельство и должно быть невидимым! Видимое земное происхождение законов сделало бы их принятие невозможным.

Таким образом, Руссо, с одной стороны, — предтеча Робеспьера, практически учреждающего культ «Верховного

Существа» и успевающего принести ему совершенно реальные человеческие жертвы, но с другой стороны, он предтеча Конта с его «религией человечества», а также — опять-таки — Дюркгейма, утверждающего, что за всеми представлениями о священном стоит само общество как высший авторитет и объект поклонения. Руссо, как мы уже говорили выше, архетипическая фигура социологии — также и потому, что он нацупывает одну из самых болезненных проблем современного общества. Ее можно сформулировать, примерно, так: может ли то общее, каким является для индивида общество, составить, будучи содержанием его мышления и воли, достаточный базис солидарности? Руссо одним из первых указывает на проблематику чисто количественного состава общества: чем больше в нем членов, тем абстрактнее оказывается общее, тем больше оно становится чисто мыслительным, непосредственно не прозреваемым предметом, тем меньше оно годится на роль такого морального авторитета, который не только угрожает, но и стимулирует поведение индивида, тем меньше можно ожидать, что множество (изначально) изолированных индивидов постигнут эту абстракцию как (пользуясь выражением Тённиса) воле- и дееспособное целое, ради которого им стоит объединиться.

Но тогда позволительно спросить, для кого пишутся трактаты и что за общественную роль играет его автор? Демократ, не ведающий тайн правления, пишет вроде бы не для невежественной толпы и не ее просвещает. Он пытается встать в определенное отношение к просвещенным немногим, а главное — к власти, открыть ей ее собственную природу. Он претендует на знание священной тайны гражданской религии, он пророк этой религии и не поступится *своей* властью. Позже Х. Шельски назовет это «жреческой властью интеллектуалов». Он считает такими «интеллектуалами-жрецами» и определенного рода социологов\*, которые наводят ужас на читателей, открывая им всю бедственность их положения («человек рождается свободным, но повсюду он в оковах»!), чтобы предложить производимое ими знание как надежду на спасение.

Однако и социолог, который не намеревается пророчествовать, должен отдавать себе отчет в том, как меняется

---

\* См. Schelsky H. Die Arbeit tun die anderen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975. Подробнее см. в моей статье: Интеллектуалы как «новый клир» // ФРГ глазами западногерманских социологов. М.: Наука, 1989. С. 168—195.

предмет его описаний под воздействием описаний. Ведут ли себя просвещенные им люди иначе? И если он заведомо не рассчитывает их просветить, то для кого пишет? И если он подлинно демократичен, то есть, как мы выяснили, не знает высших тайн политики, то как он может надеяться, что его сочинения нужны неведомым властям? И если они не нужны им, но читаются немногими просвещенными, то как меняется их поведение по отношению к массе, с одной стороны, и по отношению к властям, — с другой? Не испытывает ли теоретик подобного толка настоятельную потребность в том, чтобы либо он сам был допущен к вершинам власти, либо социальная ситуация всегда имела бы характер массового движения, коллективного поведения, неподконтрольной, непредсказуемой, сложной активности? И, наконец, если он желает, чтобы множество людей было просвещено его гением, то уверен ли он, что широкая дискуссия по поводу общих понятий принесет удовлетворяющий его результат? Не должен ли он тогда предполагать в себе некоторую исключительную способность, которой не обладают все остальные, так что теоретик общества — это уже не холодный позитивный ученый, но художник-философ, видящий незримое и творящий новые миры?

Именно потому, что обращение к Руссо позволяет поставить эти вопросы, мы вправе говорить о его непреходящем систематическом значении для фундаментальной социологической теории.

*Александр Филиппов*

## КОММЕНТАРИИ

**РАССУЖДЕНИЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ ПРЕМИЮ ДИЖОНСКОЙ  
АКАДЕМИИ В 1750 ГОДУ ПО ВОПРОСУ, ПРЕДЛОЖЕННОМУ  
ЭТОЙ ЖЕ АКАДЕМИЕЙ:  
«СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ НАУК И ИСКУССТВ  
ОЧИЩЕНИЮ ПРАВОВ?»**

Написано Руссо после того, как он прочел в журнале «Французский Меркурий» за октябрь 1749 г. сообщение Дижонской академии об объявленном ею на следующий год конкурсе на тему «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?» (см. рассказ Руссо об этом в его «Исповеди», кн. 8. — Избр. соч., т. III, стр. 305—307).

Победа Руссо на этом конкурсе была его первым крупным успехом. Осенью 1750 г., в Париже, под наблюдением Дидро было осуществлено первое издание этого сочинения, за которым последовал ряд других изданий и переводов.

Рукопись основного текста не сохранилась, дошло до нас только «Предисловие».

Первый русский перевод П. С. Потемкина появился в 1768 г., второе издание было выпущено в 1787 г. «Типографической Компанией», незадолго до того основанной выдающимся русским просветителем Н. И. Новиковым.

Современное критическое издание с самым подробным комментарием осуществлено Дж. Хевенсом (J.-J. R o u s s e a u. Discours sur les Sciences et les Arts. Edition critique avec une introduction et un commentaire par George R. Havens. New-York—London, 1946, XIII, 278 p.).

1. Имя Руссо (с указанием «Женевец») было указано впервые в повторном издании этого «Рассуждения», вышедшем в том же году в Женеве.

2. «Предуведомление» написано гораздо позже (1763) и впервые напечатано в издании его сочинений 1781 г.

3. Имеется в виду сравнение первого «Рассуждения» с более зрелыми произведениями Руссо, вошедшими в издание его сочинений 1763 г.

4. Речь идет об осуждении «Эмиля» парижским парламентом 9 июня 1762 г., за которым последовал ряд преследований во Франции и в Швейцарии.

5. «Предисловие» было опубликовано вместе с основным текстом в 1750 г.

6. *...удостоился одобрения нескольких Мудрецов...* — Подразумевается отношение группы энциклопедистов во главе с Дидро и д'Аламбером.

7. *Овидий, Публий Назон* (43 г. до н. э.—17 г. н. э.), знаменитый римский поэт, автор «Тристий» — скорбных посланий, написанных в ссылке, в стране, с жителями которой он не имел общего языка. Словами Овидия Руссо иносказательно определил свое положение среди людей, которые назовут его варваром за отказ преклоняться перед ролью искусств и наук.

8. Имеется в виду так называемая Священная Лига 1576 г., периода религиозных войн во Франции.

9. *...в некотором роде новое произведение.* — Рукопись второго варианта не сохранилась.

10. *...которые легко увидеть...* — В действительности, обнаружить сделанные Руссо дополнения с уверенностью не удастся. Ими могла быть выдержка из «Философских мыслей» Дидро, так как они были осуждены парижским парламентом, сам он был в заключении, почему Руссо и не мог их цитировать в 1750 г. Далее речь может идти о филиппике против неравенства (стр. 45) и о сочувственном упоминании о «толпе бедных горцев» — швейцарцев, сокрушивших династию герцогов Бургундских, так как Дижон, куда посылалось «Рассуждение» на конкурс, — главный город Бургундии, утратившей самостоятельность именно в результате этого поражения ее войск в 1477 г. в битве при Нанси.

11. *...или же порче Нравов...* — Руссо, вставив эти слова в текст первоначальной формулировки темы, значительно расширил этим ее рамки.

12. *...перед знаменитой Академией...* — Заслуги этого «ученейшего собрания» Руссо здесь явно преувеличивает, возможно, под влиянием мотивов тактического характера.

13. Эта строка из Горация была избрана Руссо в качестве обязательного девиза.

14. *...человек... рассеивает... светом своего разума мрак...* — В этом значеении налицо влияние просветительской философии истории в лице Вольтера и Кондильяка.

15. *И все эти чудеса вновь совершились на памяти недавних поколений.* — В этих словах содержится частичный положительный ответ на конкретно-исторический вопрос, поставленный темой конкурса, о значении эпохи Возрождения.

16. *Европа уже опять впадала в варварство первых веков.* — Имея в виду эпоху средних веков, Руссо разделяет господствовавшую в историографии Просвещения односторонне отрицательную ее оценку как периода умственного застоя и регресса культуры.

17. ...наукopodobный жаргон, еще более презренный, чем само невежество... — Подразумевается средневековая схоластика.

18. *Тупой мусульманин...* — Турецкий султан Магомет (Мехмет) II (1451—1481), завоевавший столицу Византии — Константинополь.

19. Имеется в виду захват в 1453 г. турками-османами Константинополя, основанного римским императором Константином. В этом разделе Руссо несколько иронически воспроизводит соответствующее место «Введения» д'Аламбера к «Энциклопедии».

20. ...*Литература и Искусство... покрывают гирляндами цветов железные цепи...* — Возможно, эту метафору имел в виду молодой Маркс, когда писал о критике, сбрасывающей с цепей украшавшие их искусственные цветы во имя того, чтобы человечество «сбросило цепи и протянуло руку за живым цветком» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 415).

21. *Александр, желая удержать ихтиофагов в зависимом от него положении...* — Здесь использован рассказ римского автора Плиния Старшего («Естественная история», кн. VI, гл. XXV) об Александре Македонском и ихтиофагах (буквально — пожиратели рыб; это прозвище служило у греков общим названием для многих менее развитых народов, обитавших по берегам Красного моря и Персидского залива).

22. *Как было бы приятно жить среди нас...* — В развиваемом далее обвинении людей в общественном состоянии в двойственности содержится зародыш мысли об отчуждении человеческой личности в такого рода условиях, которую Руссо развивает в ряде позднейших сочинений.

23. ...*заменяется опасным пирронизмом.* — Пирронизм — скептицизм, по имени греческого философа Пиррона (ок. 376—270 гг. до н. э.).

24. Монтень. *Опыты*, кн. III, гл. VIII. Об искусстве собеседования, стр. 180. Монтень, Мишель, де (1533—1592) — знаменитый французский скептик и моралист; его главное сочинение «Опыты», как показывают далее примечания к ряду произведений Руссо, имело для последнего огромное значение источника многих плодотворных мыслей.

25. ...*всех наших остроумцев, кроме одного.* — Здесь, вероятно, Руссо выделяет Дидро.

26. Пример неудачен, ибо впоследствии было доказано существование именно такого рода связи.

27. *Сезострис* — легендарный фараон Египта.

28. ...*завоевана Камбизом, затем греками, римлянами, арабами и, наконец, турками.* — Речь идет о завоевании Египта, куда Камбиз — царь персов — вторгся в 525 г. до н. э., Александр Македонский в 322 г. до н. э., римляне в 30 г. до н. э., арабы в 642 г. и турки в 1547 г. н. э.

29. ...*один раз у Трои, а другой — у собственных своих очагов.* — Имеется в виду победа греков в ходе Троянской войны над малоазийскими племенами и их союзниками и затем Мара-

фонская битва (490 г. до н. э.), где была греками одержана победа над персами.

30. *...получала лишь новых повелителей.* — Греция попала в 338 г. до н. э. под власть Македонии, затем Рима, а после падения Византии — под власть Турции.

31. *Демосфен* (384—322 гг. до н. э.) — величайший оратор Древней Греции. Его образ Руссо воспринимал в свете устоявшейся традиции, выделявшей в нем черты патриотизма (выступления против Филиппа Македонского, «филиппики», попытка восстания против господства Александра Великого), отмеченного приверженностью к старине, с ее патриархальной простотой быта и нравов. В этом отношении фигура Демосфена в известном смысле стояла для Руссо в том же ряду образов античности, что и воспетый Плутархом Фабриций.

32. *Во времена Энниева и Теренциева...* — Римский поэт Энний Квинт (239—169 гг. до н. э.), автор «Анналов», рассматривающихся как национальный эпос, и комедиограф Теренций Публий (195—159 гг. до н. э.) воспринимаются Руссо не только как современники периода упадка Рима, но, в прямом соответствии с центральной концепцией данного «Рассуждения», как одни из виновников этой катастрофы. Причина этого заключается в том, что они воплощают в себе эллинофильскую культуру, противостоящую наследию римской старины.

33. *...Рим, основанный пастухом...* — Согласно Плутарху, мифические основатели Рима — Ромул и Рем — были пастухами.

34. *...прославленный земледельцами...* — Мысль эта может иметь два оттенка — солдаты Рима, принесшие ему славу внешних завоеваний, в большинстве своем были крестьянами; земледелие занимало почетное положение в нравах и воззрениях Рима времен республики.

35. *Но после Овидиева, Катуллова, Марциаллова...* — Творчество этих поэтов I в. до н. э. и I в. н. э., знаменовавшее собой высший подъем культуры Рима, определяет для Руссо его упадок, вероятно, вследствие любовных и шуточных мотивов и сюжетов их произведений.

36. *...был пожалован титул «арбитра хорошего вкуса».* — Автор романа «Сатирикон» Петроний (I в. н. э.) был удостоен звания «арбитр изящного» («arbiter elegantiae») (Т а ц и т. *Анналы*, XVI, 18).

37. *А что скажу я о том центре Восточной империи...* — Имеется в виду Константинополь, ставший столицей восточной части Римской империи после ее распада на два государства.

38. *...вот он, чистый источник, из которого просочились к нам знания...* — Руссо разделял распространенную в его время отрицательную оценку Византии и ее центра — Константинополя, и потому выступает против иной точки зрения, сторонники которой, в частности, Дидро, видели именно в Византии источник ознакомления Европы с наследием античной культуры.

39. *В Азии есть огромная страна...* — Имеется в виду Китай.

40. ...от ига невежественного и грубого монгола... — Монголы напали в X в. на Китай. По-видимому, имеется в виду внук Чингисхана Кублай, положивший начало монгольской династии Юань в Китае (1280—1367).

41. ...нация, где изучали добродетель... — Это — традиционная идеализация древних персов; Монтень в «Опытах» (кн. I, гл. XXV) приводил сообщение греческого историка Ксенофонта (434—355 гг. до н. э.) о том, что персы обучали своих детей «добродетели, как другие народы обучают своих детей наукам».

42. ...история ее установлений стала восприниматься как философский роман. — Речь идет о книге Ксенофонта «Киропедия» (De Cyri institutione) (см. М о н т е н ь. Опыты, кн. I, гл. XXV).

43. Таковы были скифы... — История этого народа, мало известная в фактическом отношении, питала в XVIII в. представление о добрых и счастливых дикарях. Историк Роллен, ссылаясь на римского автора II в. Юстина, писал, что скифы жили «в состоянии невинности и простоты», что им были неведомы ни искусства, ни пороки.

44. ...перо, уставшее описывать преступления... — Имеется в виду римский историк Тацит (54 г.—ок. 117 г. н. э.), который в своих книгах «История» и в особенности «Анналы» гневно осуждает преступные деяния верхов Рима времен Клавдия и Нерона. Но Руссо неверно представляет себе последовательность создания Тацитом его произведений, ибо написание «Германии», с сочувственным описанием нравов ее первобытных обитателей, предшествовало созданию «Анналов», откуда Руссо в 1754 г. начинал делать переводы.

45. ...эта нация крестьян... — Имеются в виду швейцарцы.

46. О, Спарта, вечное посярмление бесплодной учености! — Противопоставление Спарты и Афин (набросок на эту тему сохранился среди фрагментов его сочинений) Руссо воспринимал сквозь призму традиции. Например, Монтень писал: «Говорят, что ораторов, живописцев и музыкантов приходилось искать в других городах Греции, но законодателей, судей и полководцев — только в Лакедемоне. В Афинах учили хорошо говорить, здесь — хорошо действовать» («Опыты», кн. I, гл. XXV, стр. 182). Перифразой этой формулы Руссо заканчивает данное «Рассуждение».

47. ...чей... уклад жизни Монтень без колебаний предпочитает не только законам Платона... — см. «Опыты» (кн. I, гл. XXXI, «О канибалах»). Для понимания генезиса социальных идей Руссо важен монолог, обращенный Монтенем к мудрецам древности: «Вот народ, — мог бы сказать я Платону, — у которого нет никакой торговли., никаких признаков власти., никаких следов рабства, никакого богатства, никаких наследств, никаких разделов имущества... Насколько далеки от совершенства пришлось бы ему признать вымышленное им государство!» (там же).

48. «Но ведь, — говорит он, — они не носят коротких штанов!» — Эти заключительные слова названной выше XXXI гл. I кн. «Опытов» Монтеня произносятся автором после его беседы с одним из трех туземцев, прибывших в 1562 г. в Руан, и связаны с той особенностью одежды индейцев, что они носили длинные брюки (заимствованные от них североамериканскими колонистами, а уже от них — европейцами). Вот почему в оригинале и говорится о том, что туземцы эти не носят *haut-de-chaussées*, коротких штанов с чулками, впоследствии, когда они стали исключительно частью костюма дворянства, известных под названием *culottes*. Но *haut-de-chaussées* могло означать также и нижнее белье.

49. См. Монтень. Опыты, кн. II, гл. XXXVII, стр. 519.

50. См. Монтень. Опыты, кн. III, гл. XIII, стр. 357.

51. ...где тиран с таким старанием собирал творения первого из поэтов... — Употребление Руссо термина «тиран» в ряде случаев восходит к античному, отнюдь не отождествлявшему его с понятием о деспоте (см. об этом в тексте «Общественного договора», стр. 272—273). Руссо имеет в виду афинского тирана Писистрата (ок. 600—527 гг. до н. э.), при котором, согласно преданию, собраны и сведены в единое целое отдельные песни поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», сохранявшиеся до того лишь в памяти певцов-рапсодов.

52. *Лакедемон*. — В древности юго-восточная, гористая часть Пелопоннесского полуострова именовалась Лаконика, почему государство Спарта известно было также под именем Лакедемона.

53. Речь идет о Платоне, вольный перевод выдержки из произведения которого «Апология Сократа» приводится ниже. Руссо не читал по-гречески. В 1693 г. Жири издал французский перевод этого сочинения.

54. *Сначала Сократ в Афинах, за ним Катон Старший в Риме...* — Образы эти в глазах Руссо символизируют лагерь защитников патриархальной старины, с простотой ее быта и нравов. См. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Марк Катон, т. I, ст. 430—451.

55. ...появились имена: Эпикур, Зенон, Аркесилай. — Противопоставление имен этих философов, представителей весьма различных направлений, даже боровшихся между собой (материализм, стоическая школа и скептицизм), свободе и бескорыстию носит произвольный характер и призвано выразить осуждение философии как таковой.

56. *С тех пор, как среди нас начали появляться ученые, ...добродетельные люди сокрылись.* — Это перевод цитаты из 95-го «Послания к Луцилию» римского философа и поэта Сенеки (жил в 6—65 гг. н. э.). Руссо нашел ее скорее всего в «Опытах» Монтеня (кн. I, гл. XXV), где она подкрепляет положение о том, что наука «не учит нас ни правильно мыслить, ни правильно действовать». Один из соперников Руссо на конкурсе в Дижон-

ской академии, Грослей, избрал эти слова Монтеня своим девизом.

57. Эта так называемая прозопопея Фабриция была первоначальным ядром всего «Рассуждения» (см. «Исповедь». — Избр. соч., т. III, стр. 306) и стала его идейным и композиционным центром. Руссо вложил ее в уста исторического персонажа Гая Фабриция Лусцина, консула 287 и 282 гг. до н. э., чье имя стало впоследствии образцом староримских добродетелей. Черты этого образа Руссо взял у Плутарха (см. «Сравнительные жизнеописания». Жизнь Пирра, т. II, стр. 5—55). Традиционную обрисовку этой фигуры содержала книга Мабли («О римлянах и французах», 1740).

58. *Что это за незнакомый язык?* — Речь идет о широком распространении в Риме греческого языка.

59. *...превратились в рабов тех никчемных людей, которых вы покорили!* — Имеются в виду греки: родина их была покорена Римом, а это имело следствием энергичное проникновение в него греческой культуры.

60. *Останки Карфагена стали добычей флейтиста!* — Подразумевается император Нерон (37—68 гг. н. э.). См. Светоний. Нерон, 10.

61. *...это завоевание мира, чтобы установить в нем царство добродетели.* — Пример свойственной Руссо идеализации Древнего Рима.

62. *Когда Киней принял наш Сенат за собрание царей...* — Киней Фессалийский (III в. до н. э.), ученик Демосфена и сам знаменитый оратор, отправленный в Рим в качестве посла Пирром, царем Эпира, у которого он находился на службе, сообщил, что «Сенат показался ему собранием царей» (Плутарх, Сравнительные жизнеописания, т. II, стр. 52). В его устах это, видимо, должно было звучать как похвала.

63. *...чего я не смог бы вложить в уста Людовика XII или Генриха IV?* — Пример либо некритически усвоенной идеализации образа этих монархов, характерного для просветителей (например, для Вольтера), либо следования традиции, независимо от личного отношения к ней самого Руссо.

64. *...тот из богов, который был врагом людского покоя...* — Руссо, вероятно, имеет в виду Гермеса, как глашатая богов, гонца, исполнителя воли их главы Зевса и, кроме того, — автора разнообразнейших открытий и изобретений. Греки отождествляли образ Гермеса, охарактеризованный выше, с фигурой Гермеса Трисмегиста (трижды величайшего), как называли бога древних египтян Тота. Последний же считался у себя на родине божеством разума, изобретателем языка и письменности, творцом искусств и наук.

65. *Нетрудно понять аллегорию сказания о Прометее и не похоже на то, чтобы греки, приковавшие его на Кавказе...* — Здесь в связи с основной концепцией своего «Рассуждения» Руссо

допускает произвольное толкование мифа, по которому Прометей был прикован не «греками», а слугами Зевса в наказание за то, что он похитил у молнии Громовержца божественный огонь и принес его людям на землю. Поэтому — в переносном смысле — Прометей считался греками также изобретателем искусств и образ его был окружен величайшим почитанием.

66. *...огонь жжется, когда к нему прикасаются.* — Источником здесь послужил для Руссо опять-таки Плутарх, рассказ которого был Руссо переосмыслен в том же направлении, что и весь миф о Прометее. Рассказ этот послужил также сюжетом для фронтисписа к первому изданию данного «Рассуждения». Руссо в одном из писем так пояснил эту аллегорию: «Факел Прометей — это факел знания, он предназначен для великих гениев; Сатир, который, увидев впервые огонь, бежит к нему и хочет его обнять, олицетворяет обыкновенного человека, который, пленившись блеском наук, отдался их изучению; Прометей, который кричит и предупреждает об опасности — гражданин Женева». Таким образом, в восприятии или, во всяком случае, в истолковании Руссо в это время его собственная роль критика «обжигающего» огня искусств и наук отождествляется им с ролью Прометей, что резко расходится с исходным содержанием мифа и с многовековой традицией в его понимании. Возможно, что такого рода отход Руссо отчасти объясняется неточностями перевода Амио «Моральных сочинений» Плутарха.

67. Мысль о происхождении наук и искусств из пороков человека имеет давнюю традицию, в которую в средние века многое привнесла церковь.

68. *...колодца, в котором скрылась истина.* — Старинное выражение это восходит к словам Демокрита, приведенным в «Установлениях» Лактанция.

69. Аналогичную мысль см. у Монтеня, «Опыты», кн. I, гл. IX, стр. 47.

70. *Разве перипатетики в чем-либо сомневались?* — Перипатетики — философская школа, основанная в Афинах Аристотелем в 335 г. до н. э.

71. *Разве Декарт не построил вселенную из кубов и вихрей?* — Критическое отношение Руссо к теории родоначальника рационализма Декарта (1596—1650) о происхождении миров в результате вихревых движений частиц материи, вероятно, восходит к мыслям Вольтера в его «Философских письмах» (1734) и «Основам философии Ньютона», несомненно известных Руссо (см. «Эмиль», кн. I, IV).

72. *...объяснить глубокую тайну электричества...* — Проблема эта занимала умы многих современников Руссо, в частности и Дидро (см. его «Объяснение природы», 1754). Академии в Бордо и Дижоне объявляли конкурс на посвященное этой проблеме сочинение.

73. *...каждый бесполезный гражданин может рассматриваться как человек вредный.* — В этих строках заключается

первая по времени формулировка принципов гражданской этики Руссо, направленной как против паразитизма «привилегированных» сословий, так и против бездушного эгоизма богатой буржуазии. Огромное значение этих принципов раскрылось в революции 1789—1794 гг., потребовавшей от каждого патриота активного служения ее делу. Фактически сформулированный Руссо еще в 1750 г., этот принцип лег тогда в основу понятия о «цивизме», служил критерием при «чистках» в Якобинском клубе и т. д.

74. *...вы, которые открыли нам, почему тела притягивают друг друга в пустоте.* — Имеется в виду И. Ньютон (1642—1727), открывший закон всемирного тяготения.

75. *...отношения пространств, пройденных за равные промежутки времени...* — Речь идет о втором законе Кеплера (1571—1630).

76. *...какие кривые имеют сопряженные точки...* — Этот вопрос рассматривался в «Заметках на различные математические темы», опубликованных Дидро в 1748 г.

77. *...как человек все видит в Боге...* — Речь идет о книге Мальбранша (1638—1715) «О розыскании истины» (1674—1675), в которой развивается мистико-идеалистическое воззрение, согласно которому познать вещи — значить увидеть их в боге, содержащем их в виде понятий.

78. *...как душа и тело отвечают друг другу...* — Так Руссо передает смысл той части учения Лейбница (1646—1716), которая говорила о предустановленной гармонии души и тела.

79. *...какие небесные тела могут быть обитаемы...* — Фонтенель (1657—1757) в своих «Беседах о множественности миров» (1686) утверждал, что Луна, а также Марс и некоторые другие планеты обитаемы.

80. *...какие насекомые размножаются необычным образом...* — Естествоиспытатель Реомюр (1683—1757), представлявший Руссо в Академию наук, когда тот выступал там с сообщением о новой системе записи нот, опубликовал в 1732—1742 гг. свой труд о насекомых, в котором писал, что некоторые из них размножаются простым делением.

81. *...вооруженные своими пагубными парадоксами, подкапываются под самые основы веры...* — Следует думать, что источником этой характеристики является, с одной стороны, антипатия Руссо к атеистическим выводам французского материализма, с другой — оправданно критическое отношение к буржуазной части энциклопедистов, в чьих воззрениях он видел тенденции эгоистические и космополитические («враги общественного мнения»). В целом эта характеристика свидетельствует, однако, о том, что Руссо оставались неясны те заслуги энциклопедистов, в которых проявилось их стремление поставить культуру на службу новым, прогрессивным для своего времени, общественным интересам.

82. *...людского тщеславия.* — Ср. М о н т е н ь. Опыты, кн. III, гл. IX «О тщеславии».

83. *...роскошь сообщает блеск государствам...* — Это пункт, кладущий начало социальной критике у Руссо.

84. *...наши — говорят лишь о торговле и о деньгах.* — В этих словах еще более отчетливо сказывается резко отрицательное отношение молодого Руссо к буржуазному духу.

85. *...если продать его в Алжир.* — Имеется в виду, по-видимому, английский экономист У. Петти (1623—1687), в книге которого «Опыт политической арифметики» говорится, что француз стоит примерно 60 фунтов стерлингов, так как такова цена ему в Алжире, на тамошнем рынке рабов.

86. *...где человек не стоит ничего...* — Вероятно, имеется в виду французский экономист Мелон, который, исходя из размеров потребления каждого человека, пытался установить, во что он обходится государству или, как он выражался, какова его стоимость.

87. *...один сибарит стоил бы добрых тридцати лакедемонян.* — Сибарис — древнегреческая колония в Лукании (Южная Италия), разбогатевшая на торговле. Изнеженный образ жизни ее жителей — сибаритов — вошел еще в древности в поговорку. Точно так же Лакедемон, иначе говоря Спарта, стал символом суровой простоты быта, неприхотливости.

88. *...покорена горстью крестьян...* — В 510 г. до н. э. Сибарис был разрушен жителями Кротона, находившейся неподалеку другой колонии, основанной выходцами из Германии.

89. *Монархию Кира завоевал... государь...* — Это был Александр Македонский, вторгшийся в Персию в 334 г. до н. э.

90. Речь идет о безуспешных попытках персидского царя Дария, Александра Македонского и римских завоевателей покорить скифов.

91. *Две знаменитые республики оспаривали друг у друга власть над миром...* — Речь идет о Карфагене и Риме, борьба между которыми привела к трем так называемым Пуническим войнам (264—241; 218—201 и 149—146 гг. до н. э.).

92. *Франки завоевали Галлию, саксы — Англию...* — Первое произошло в III—IV, второе — в V в. н. э.

93. Речь идет о борьбе швейцарского народа против дома Габсбургов, события которой, начала XIV в., связаны с именем легендарного героя Вильгельма Телля, и против дома Бургундов. Герцог Бургундский Карл Смелый, предпринявший попытку покорения швейцарцев, был ими разбит и погиб в битве при Нанси в 1477 г.

94. *...наследника Карла V...* — Речь идет об испанском короле Филиппе II (1527—1598).

95. *...ловцов сельдей...* — Имеются в виду голландцы, жители северной части Соединенных провинций, свергнувшие власть испанской монархии в ходе буржуазной революции в Нидерландах 1565—1576 гг.

96. *...терпят провал шедевры драматической поэзии...* — Имеется в виду провал пьес Мольера «Мизантроп» (1666) и Расина «Федра» (1677).

97. ...отвергаются чудеса гармонии. — Подразумеваются произведения композитора Ж. Ф. Рамо (1683—1764), например, его опера «Зороастр», не имевшая успеха.

98. ...знаменитый Аруэ... — настоящая фамилия Вольтера.

99. Карл, Пьер — французские художники Карл Ван-Лоо (1705—1765), пользовавшийся большим успехом, и Жан-Батист Пьер (1713—1789), профессор Академии изящных искусств, автор рисунка фронтисписа для титульного листа первого издания данного «Рассуждения» Руссо.

100. В оригинале *vis-a-vis* (визави) — так назывался экипаж с двумя сидениями, расположенными друг против друга.

101. А ты, соперник Праксителя и Фидия... — Речь идет о Ж. Б. Пигалье (1714—1785), выдающемся французском скульпторе, названном ниже. Пракситель и Фидий — величайшие ваятели Древней Греции (V и IV вв. до н. э.).

102. ...лепить животы смешных уродцев... — Вероятно, имеются в виду модные в XVIII в. подражания китайской мелкой пластике.

103. Когда готы опустошили Грецию... — Это совершили вестготы под предводительством своего первого короля Алариха в 396 г.

104. Карл VIII оказался повелителем Тосканы... — Французский король Карл VIII в 1495 г. с большой легкостью завоевал ряд земель в Италии, но французам пришлось уйти оттуда в том же году под давлением объединенных сил папы римского, германского императора и Венеции (см. М о н т е н ь. Опыты, кн. I, гл. XXV, стр. 184).

105. ...тот здравомыслящий человек... — Монтень (см. «Опыты», кн. I, гл. XXV).

106. ...начинали понимать толк в картинах, гравюрах... — Руссо, говоря о картинах и гравюрах в Риме, либо проявляет свою неосведомленность, либо имеет в виду не живопись масляными красками и не гравюру как вид графики, поскольку и то, и другое римлянам не было еще известно, а употребляет эти понятия в более широком их смысле, для обозначения мозаик, фресок, гравированных на камне и на металле.

107. ...возвышение дома Медичи и возрождение искусств... — Медичи — род, правивший во Флоренции в XV—XVI вв., в эпоху итальянского Ренессанса.

108. ...вы одержали бы с Ганнибалом победу при Каннах и при Тразимене... — При Тразимене в 217 г. до н. э. и при Каннах в 216 г. до н. э. карфагенский полководец Ганнибал нанес два тяжчайших поражения войскам Рима.

109. ...Цезарь пересек бы с вами Рубикон... — 10 января 49 г. до н. э. Цезарь с одним из своих легионов перешел реку Рубикон, отделявшую провинцию Галлию Предальпийскую от Италии, что нарушало закон и означало начало гражданской войны.

110. ...не с вами перешел бы Ганнибал через Альпы и не с вами победил бы Цезарь ваших предков. — Войска Ганнибала, на-

чавшего в 218 г. до н. э. поход в Италию, преодолевали малодоступные проходы через Альпы, войска Цезаря боролись с воинственным населением Галии в 58—50 гг. до н. э.

111. *...безрассудное воспитание изоцряет наш ум...* — Руссо ведет эту критику с позиций, определяющих мотивы, развитые им впоследствии в «Эмиле». Ср. мысли об этом Монтеня, видевшего цель воспитания в том, чтобы сделать человека добрым и мудрым, а не сообщить ему ненужные знания («Опыты», кн. I, гл. XXVI, стр. 208).

112. *...сказал один мудрец...* — Имеется в виду Монтень (см. «Опыты», т. I, гл. XXXV, стр. 196).

113. «Философские мысли». — Как указывает эта ссылка, сделанная Руссо, данное место «Рассуждения» представляет собой выдержку из названного сочинения Дидро (гл. VIII). Так как оно вышло анонимно и было осуждено, то появление этой ссылки может быть объяснено двумя путями: либо эта фраза и примечание представляют собой одно из тех добавлений, которые Руссо сделал после того, как он отослал рукопись в Академию Дижона (см. выше, прим. 10), либо эту фразу внес Дидро, наблюдая в связи с болезнью Руссо за печатанием «Рассуждения».

114. *...по свидетельству самого великого из их царей.* — Имеется в виду Агесилай (399—358 гг. до н. э.), известный полководец, стремившийся к гегемонии Спарты. Монтень пишет, что, когда Агесилай спросил: чему, по его мнению, следует обучать детей, он ответил: «Тому, что им предстоит делать, когда они станут взрослыми» («Опыты», т. I, гл. XXV, стр. 182).

115. *...благоразумия и справедливости.* — См. Монтень. «Опыты», кн. I, гл. XXV, стр. 181. Перевод исправлен.

116. *...Платон... рассказывает...* — См. его «Первый Алкивиад», XVII.

117. См. Монтень. Опыты, кн. I, гл. XXV, стр. 181.

118. *...Астиаг, — говорится у Ксенофонта, — спросил у Кира...* — Астиаг — последний царь Мидии, низвергнутый его внуком, персидским царем Киrom, покорившим эту страну в 550 г. до н. э. Рассказ этот, содержащийся в «Киропедии» Ксенофонта, Руссо заимствовал у Монтеня («Опыты», кн. I, гл. XXV, стр. 182). Ксенофонт (434—355 гг. до н. э.) — греческий историк и философ, ученик Сократа, автор трудов исторического, историко-политического и философского характера. Находился при дворе Кира-младшего, которого сопровождал в походе против его старшего брата Артаксеркса Мнемона (401 г. до н. э.). С десятью тысячами греков пробился к Геллеспонту (Черное море) и описал эту эпопею в «Анабазисе».

119. *...все заблуждения сердца и ума...* — Руссо имеет в виду искусство Рококо, в частности, вероятно, живопись Буше, в которой мифологические сюжеты трактовались в эротическом духе.

120. *...если не из пагубного неравенства...* — Как было отмечено выше (стр. 342, примечание 10), существует предположение,

что этот раздел был добавлен Руссо при подготовке рукописи «Рассуждения» к печати.

121. *...погибают там в бедности и пренебрежении.* — Это первое по времени проявление той глубокой симпатии к труженикам полей, которая станет затем характерной для всей системы взглядов Руссо.

122. *...этот великий монарх...* — Людовик XIV (1643—1715); восхваление его не могло быть искренним.

123. *...эти знаменитые общества...* — Во Франции еще при Ришелье в Париже были учреждены Академия наук (1637), а затем Академия искусств (1648), Академия надписей и изящной словесности. В подражание им и под тем же названием «академия» в провинции стали возникать общества любителей наук и искусств, игравшие роль не столько научных, сколько культурно-просветительных центров (1700—Лион, 1705—Кан, 1726—Марсель, 1736—Руан, 1740—Дижон, затем — Бордо, Тулуза, а всего — более 40).

124. *...его августейшим приемником...* — Людовик XV (1710—1774).

125. *...послужившие образцом для всех королей Европы...* — По примеру Франции академии стали учреждаться в Германии, России, Италии и в других странах.

126. *...все есть мое представление о них...* — Имеется в виду философия субъективного идеализма английского мыслителя Беркли (1684—1753), хорошо известная во Франции.

127. *...ни много бога, кроме вселенной.* — Вероятно, здесь речь идет о французском философе-материалисте Ламетри (1709—1751), чья «Естественная история души» появилась в 1745 г., а «Человек-машина» — в 1748 г.

128. *...добро и зло в области нравственности — это выдумки.* — Мысль об относительности этих понятий характерна для философии Просвещения. Например, Вольтер писал: «Добродетель и порок, добро и зло в каждой стране — это то, что полезно или вредно обществу».

129. *...люди суть волки...* — Это одно из первых выступлений Руссо против воззрений английского философа Т. Гоббса (1588—1679), который свою ненависть к английской буржуазной революции XVII в. и убежденность в необходимости абсолютной, неограниченной власти монарха выразил в трактовке естественного состояния, как ожесточенной «войны всех против всех», конец которой якобы и кладет заключение договора с правителем о полном подчинении ему всех подданных. В то же время в этой концепции отразились и особенности враждебных взаимоотношений индивидуумов в системе буржуазных отношений, рано развившихся в Англии. Основными сочинениями Гоббса были: «О гражданине» (1642) и «Левиафан» (1651).

130. *Нечестивые писания Левкиппа и Диагора...* — Левкипп — греческий философ V в. до н. э., которому приписывают создание атомистической теории и роль учителя Демокрита. Диагор —

греческий философ V в. до н. э., который, став последователем атомистической теории Демокрита, пришел к отрицанию существования богов и надобности в религиозных таинствах и культах, за что и был прозван атеистом.

131. *Султан Ахмет* — Ахмет III (1703—1730), при котором в Константинополе появилась первая типография (1727).

132. *Халиф Омар* (634—644) — преемник Магомета; при нем завершилось объединение Аравии и одержаны победы над Персией и Византией. В 642 г. он покорил Египет.

133. *...как верх нелепости.* — Руссо имеет в виду отрывок из «Опыта о нравах и духе народов» Вольтера, посвященный Аравии и магометанству (гл. VI), опубликованный в 1745 г. в журнале «Французский Меркурий».

134. *Григорий Великий* — римский папа Григорий I (ок. 540—604). Дидро писал в «Философских мыслях» (№ XLIV), на которые Руссо ссылается выше, что Григорий Великий подражал отцам церкви, уничтожавшим произведения своих противников.

135. *Спиноза* — выдающийся голландский философ (1632—1677); отрицательное отношение к нему Руссо объясняется тем, что он видел в нем атеиста.

136. *Бэконы, Декарты и Ньютоны...* — Имена Декарта и Ньютона упоминаются уже в юношеской поэме Руссо «Сад в Шарментах» и впоследствии не раз встречаются в его сочинениях, имя же английского философа Фрэнсиса Бэкона (1561—1626) он больше не упоминает. Причислил он его к наставникам человеческого рода в данном случае, несомненно, под влиянием Дидро, который считал Ф. Бэкона во многом учителем и предшественником создателей французской «Энциклопедии» в этом их предприятии.

137. *...был в Риме консулом...* — Речь идет о Цицероне (106—43 гг. до н. э.), выдающемся политическом деятеле и ораторе, избранном в 63 г. до н. э. римским консулом.

138. *...величайший из философов — канцлером Англии.* — Имеется в виду Ф. Бэкон (см. прим. 136).

139. *...когда страсти безмолвствуют?* — Это выражение мы встречаем у Мальбранша в предисловии к его «Розысканиям истины».

140. *...между двумя великими народами...* — Имеются в виду Афины и Спарта.

### РАССУЖДЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ОСНОВАНИЯХ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Как и первое «Рассуждение», это тоже написано на конкурсную тему, объявленную Дижонской академией на 1754 год. Впервые напечатано в июне 1755 года.

Премия, однако, была присуждена сочинению другого соискателя — аббата Тальбера, — произведению явно посредственному.

Впрочем, на этот раз и сам Руссо не рассчитывал на успех. Трактат вызвал возмущение всего правого, буржуазного крыла Просвещения во главе с Вольтером.

«Рассуждение» посвящено Женевской республике, т. е. всем гражданам Женевы, являющимся членами Генерального Совета. Посвящение было встречено весьма холодно Малым Советом, высшим органом исполнительной власти в Женеве, который счел себя оскорбленным тем, что произведение не посвящено непосредственно ему, не говоря уже о том, что идеи этого произведения были враждебны представителям буржуазного патрициата.

По своему замыслу «Рассуждение» является как бы связующим звеном между первым «Рассуждением» Ж. Ж. Руссо и статьей «О политической экономии» (1755).

На русский язык переведено впервые в 1770 г.

Новейшее критическое издание — Ж. Л. Лесеркля (J.-J. Rousseau. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Introduction, commentaires et notes explicatives par J. L. Lecercle. Paris, 1954) и «Сочинения» в библиотеке «Pléiade», т. III. Paris, 1964. Неоднократно переводилось на русский язык. Первый перевод — П. С. Потемкина (1770), последний по времени перевод — С. Н. Южакова (1907).

1. Как сообщает Руссо в «Исповеди» (Избр. соч., т. III, стр. 342), это «Посвящение» он начал писать в Париже до 1 июня 1754 г. — дата отъезда его и его гражданской жены Терезы Левассер в Женеву, а закончил по дороге туда в Шамбери и пометил этим пунктом 12 июня 1754 г.

Вероятно, во время своего пребывания в Женеве (июнь—октябрь 1754 г.) Руссо по секрету и познакомил некоторых женецев с текстом этого «Посвящения». Во всяком случае Ж. Ф. Де Люк в своем письме к Руссо от 20 января 1755 г. говорит о его «замечательном «Посвящении». В некоторых письмах, посланных Руссо из Парижа, по возвращении из Женевы, он сообщал, что сначала намерен был получить предварительное согласие Генерального Совета на опубликование этого «Посвящения», но убедился, что в случае обращения туда встретил бы отказ.

Когда началось печатание книги, Руссо старался сделать так, чтобы Совету были посланы ее первые экземпляры. Как свидетельствует запись в протоколах Совета от 18 июня 1755 г., получив текст «Посвящения» вместе с письмом от Руссо от 4 июля, там решили, поскольку оно уже отпечатано, не подвергать его обсуждению, выразив лишь свое удовлетворение тем, что один из сограждан прославляет себя произведениями, говорящими о его выдающихся дарованиях. В таком же духе высказались в своих личных письмах к Руссо первый Синдик Ж. Л. Шуэ и его предшественник Дю Пан. Впрочем, второй из них заметил, что автор «Посвящения» явно польстил магистратам Женевы, представив их такими, какими они должны были бы быть, а не такими, каковы они в действительности. Такого же рода упрек прозвучал и среди отзывов печати; например, Формей прямо писал,

что нарисованная Руссо картина жизни Женевы относится к области утопии, а не к реальной действительности.

2. *...уже тридцать лет тружусь...* — Здесь Руссо явно преувеличил давность своих размышлений и трудов на темы гражданского характера, отнеся их начало к дням своей юности.

3. *...и о неравенстве, которое установлено людьми...* — Следует учитывать глубокие различия между содержанием «Посвящения», адресованного буржуазному патрициату Женевы, и содержанием самого «Рассуждения», пронизанного ненавистью ко всем видам неравенства.

4. *Аристотель* (384—322) — величайших древнегреческий философ.

5. Еще Монтескье в «Размышлениях о причинах величия и падения римлян» (гл. IX) указывал на то, что республиканский строй может удержаться лишь в стране, ограничивающей размеры своей территории (Избр. произв., стр. 85—88).

6. *...склониться под какое-либо иное.* — В 1751 г. Руссо писал женевицу Марсе де Мезьеру: «Я понял всю цену свободы, так как был вынужден жить среди рабов. Как вы счастливы, живя в лоне своей семьи и вашей страны, живя среди мужей и повинуюсь только законам, т. е. разуму».

7. *...налицо один правитель, принадлежащий данному народу, а другой — чуждый ему...* — В оригинале это выражено сложно: «s'il y a un chef national et un autre étranger». Второй из них это, вероятно, римский папа. Термин «national» в смысле «национальный» почти не встречается у Руссо в связи с тем, что термин «нация» (nation) у него не отделился еще от термина «народ» (peuple).

8. *...вышел из-под гнета Тарквиниев.* — Тарквиний Гордый (VI в. до н. э.), по преданию последний царь древнего Рима, был изгнан в результате восстания.

9. *...выгодно его захватить.* — Женева граничила с Савойей, Швейцарскими Кантаонами и Францией, правительство которой вело значительные денежные дела с женевискими банкирами.

10. *...одним только магистратам.* — Руссо, таким образом, защищает одно из тех исключительных прав патрициата Женевы, против которых он впоследствии так решительно выступит в «Письмах с Горы», отстаивая права и свободы большинства ее населения. По акту о посредничестве 1738 г. Генеральный Совет, включивший всех граждан, получил широкие права: выборов должностных лиц, заключения договоров, издания законов и введения налогов. Однако при этом устанавливалось, что ни одно предложение не может вноситься в этот Совет до того, как оно обсуждалось и было одобрено в Совете Двадцати пяти и в Совете Двухсот, что фактически давало семьям патрициата право контроля над Генеральным Советом.

11. *...устройство первых Правлений.* — Ниже об этом состоянии «зарождающегося общества» говорится, что оно наименее подвержено переворотам и является «лучшим для человека».

12. *...нарушили общественное согласие...* — Намек на события гражданской войны 1737 г. в Женеве; о неизгладимом впечатлении, произведенном ими на Руссо, он гораздо более откровенно рассказал в V книге своей «Исповеди».

13. *...зловещим кривотолкам и ядовитым речам...* — Этими словами Руссо осуждает недовольных Посредническим актом 1738 г.

14. *...о добродетельном гражданине...* — Имеется в виду отец философа — Исаак Руссо, часовых дел мастер и одно время учитель танцев. В 1722 г. он покинул Женеву и поселился неподалеку, в г. Нийон; умер в 1747 г. в Лионе.

15. *...книги Тацита, Плутарха и Гроция...* — *Плутарх из Херонеи* (Беотия) (ок. 46—126 гг. н. э.) — величайший древнегреческий писатель-моралист, отчасти философ, но работы его в этой области (т. н. моралии) эклектичны и особого значения не имеют. Бессмертие принесли Плутарху его «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греческих и римских деятелей, имевшие огромную популярность и влияние на общественную мысль XVII и в особенности XVIII в.

*Гроций, Гуго* (1583—1645) — нидерландский правовед, государственный деятель и историк, выдающийся авторитет в области буржуазной теории естественного права и происхождения государства из общественного договора.

16. *...граждане и даже простые обитатели...* — Гражданами (citoyens) в Женеве считались полноправные подданные Республики; вторую группу составляли уроженцы (natis), которые могли рассчитывать перейти в первую, члены же третьей, низшей группы, именовавшиеся обитателями (habitants), пользовались лишь правом проживания на территории Женевы и могли заниматься там определенной профессией, но были полностью лишены каких бы то ни было политических прав.

17. *...память о тех злосчастных бытиях...* — Имеются в виду события гражданской войны в Женеве в 1737 г.

18. *...любовь к земной отчизне, что их кормит.* — Речь идет о церковнослужителях Женевы; идеализируя их, Руссо приписывает им высокие моральные качества; впоследствии же они выступают активно против «Общественного договора» и «Эмиля».

19. *...общества богословов и литераторов...* — (Société de Theologiens et de Gens de Lettres). — Речь идет, вероятно, об Академии, учрежденной Кальвином в Женеве в 1559 г.

20. *...принципы тех варваров, что считаются священными...* — Вероятно, здесь имеется в виду деятельность ордена иезуитов и кровавая практика инквизиции.

21. *...и наименее продвинувшимся из всех знаний...* — До нас дошел в виде фрагмента набросок несколько иного текста начала этого «Предисловия» (Библиотека г. Невшателя, рукописи № 7854, л. 17 об.): «Если верно, что надпись дельфийского храма представляет собой одно из наиболее полезных наставлений человеческой мудрости; если верно, что для человека столь важно

познать себя, — то нельзя отрицать, что тема этого рассуждения составляет один из наиболее важных вопросов из числа тех, которые философия могла бы...». Впоследствии в «Эмиле» Руссо изменит свою точку зрения и будет считать, что эта задача должна следовать за приобретением других знаний.

22. *...надпись дельфийского храма...* — Дельфы — общегреческий религиозный центр в Фокиде, у подножия горы Парнас, известный своим оракулом и храмом Аполлона. Древнейший храм здесь был сооружен в середине IX в. до н. э. легендарными зодчими Трофонием и Агамедом. На его внутренних колоннах золотом были начертаны изречения семи мудрецов: «Хорошо во всем соблюдать меру»; «все наперед обдумай»; «лови время»; «много рук напортят дело»; «поручисься — намучишься»; «познай самого себя»; «ничего слишком». Руссо имеет в виду предпоследнее изречение.

23. *Подобно статуе Главка...* — Главк — морское божество в мифологии древних греков. Скульптурные изображения представляют его в образе получеловека-полурыбы, с грудью, покрытой водорослями и раковинами, с длинными волосами и бородой. Саму эту метафору Руссо мог встретить у Платона («Государство», X, 611), хотя там она использована в ином, характерном для Платона идеалистическом смысле: соединенная с телом душа настолько изменяется, что ее бессмертная природа становится неузнаваемой.

24. *...состояние... которое, быть может, никогда не существовало...* — это место вызывало множество истолкований. Его объясняли стремлением Руссо оградить себя от нападков со стороны богословов, но против этого говорит широкая распространенность представлений о естественном состоянии в литературе Просвещения. Указывалось, что, оценивая это представление как гипотезу, он мог иметь в виду отсутствие убедительных фактических доказательств существования в далеком прошлом этого состояния, — но ведь на протяжении этого же «Рассуждения» Руссо не раз применяет чисто рационалистический метод доказательств, не говоря уже, например, о всецело построенном на этом методе «Общественном договоре». Значительно позже, отвечая на нападки архиепископа Парижского на эту книгу, Руссо писал: «Этот [естественный] человек не существует, говорите вы, пусть будет так, но мы можем допустить его существование» («Письмо Кристофу Бомону»). Впрочем, и Пуфендорф полагал, что в действительности естественное состояние существовало только частично и в ограниченном виде.

25. *...Аристотелей и Плиниев нашего века.* — Плиний — имеется в виду Плиний Старший (23—79 гг. н. э.) — древнеримский писатель, ученый. Главный его труд «Естественная история в 37 книгах» представляет собой своеобразную энциклопедию. В данном случае имена Аристотеля и Плиния служат Руссо в собирательном и переносном смысле для обозначения современных ему философов и естествоиспытателей.

26. *Бурламаки Жан Жак* (1694—1748) — швейцарский правовед и публицист, занимал в Женевской Академии кафедру естественного права, видным теоретиком которого являлся. В своих сочинениях он ищет основы этого права, основы нравственности и политики в первоначальной природе человека, с чем Руссо не был согласен. Здесь Руссо цитирует вышедшее в 1747 г. сочинение Бурламаки «Принципы естественного права» (гл. I, § 2).

27. *...для их общего сохранения.* — Один из главных авторитетов римского права Ульпиан (170—228 гг. н. э.) давал следующее определение: «Естественное право — это то, чему природа учит все живые существа» (Дигесты, I, I, 1). Формулировка эта восходит к взглядам стоиков. Руссо мог знать об этой позиции «древних» из сочинения Пуфендорфа («Право естественное и право международное»), которого в этом вопросе комментировал его французский переводчик Барбейрак (кн. II, гл. II, § 3, прим. 7).

28. *...уже в самом этом обществе.* — Это представление о весьма постепенном процессе развития человека и его разума существенно и выгодно отличают Руссо от его предшественников — теоретиков естественного права.

29. *...простейших действиях человеческой души...* — Психологические воззрения Руссо находятся под влиянием сенсуализма Кондильяка. Человек, в понимании Руссо, существо сначала чувствующее, а лишь потом уже мыслящее. Естественное право основано поэтому на двух принципах, предшествующих появлению разума: себялюбию и состраданию. Себялюбие (*amour de soi*) как императив самосохранения, естественный и законный, Руссо при этом противопоставляет самолюбию (*amour propre*), рождающемуся из сравнения с другими людьми, источнику зла для совести и для общества. Необходимо, таким образом, иметь в виду отличие данного словоупотребления от принятого в русском языке.

30. *...добавлять сюда еще свойство общежительности...* — В заключающемся здесь совершенно произвольном утверждении Руссо о сугубо индивидуальном образе жизни человека в естественном состоянии заключается существенное расхождение его со взглядами по этому вопросу философов его эпохи, в частности с Дидро, чью позицию Руссо критикует позже в первом варианте «Общественного договора».

31. *...прежде, чем делать из него человека.* — Это положение связано с утверждением Руссо о том, что появление чувствительности предшествует формированию разума. Основывая нравственную сторону жизни человека именно на первой черте, свойственной всем людям, он, в отличие от энциклопедистов, выводивших нравственную жизнь из разума, что исключало из нее «непросвещенный» народ, придавал тем самым большую демократичность своей общефилософской позиции.

32. *...мучениям по вине другого.* — Эти воззрения восходят к мыслям античных авторов, особенно в их описаниях золотого века (см., например, С е н е к а. Послания к Луцилию, XC, 45).

Эти мысли Руссо мог встретить и у Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XI, «О жестокости», стр. 125).

33. *...при разрешении вопроса о происхождении неравенства в положении личностей...* — Здесь фигурирует нелегкое для истолкования, а значит и для перевода, понятие о «*inégalité morale*». Трудность понимания определения «*moral*» связана прежде всего с тем, что по традиции оно воспринимается как «моральный», т. е. относящийся к нравственности. Действительно, оно употребляется Руссо и в этом смысле, но, например, не в данном случае, ибо было бы бессмысленно говорить о нравственном неравенстве людей. Поэтому тут мы предлагаем понимать «*inégalité morale*» как «неравенство в положении личностей». Мы встретим еще это понятие в его принятом в XVIII в. значении антонима «физический» и тогда передадим как «духовный», а иногда как «условный» (*personne morale*), т. е. опять-таки личность, не имеющая своего физического естества.

34. *...то, что создано божественной волей...* — Здесь, как и в ряде аналогичных мест, проявляется дуализм позиции Руссо в проблемах происхождения человека, общества и государства. Явное преобладание у него в целом реалистической тенденции позволяет все же считать некоторые из таких упоминаний о роли «божественной воли» уступкой деистического характера.

35. *Персий, Флакк* (34—62 гг. н. э.) — римский поэт; в дошедших до нас шести его сатирах, проникнутых влиянием философии стоиков и представляющих подражание Горацию, он осуждает испорченные нравы своего времени, рассуждает об истинной свободе.

36. В настоящем издании опущены примечания, посвященные вопросам естественно-исторического характера, уже устаревшие, и сохранены те, в которых нашли свое отражение социальные воззрения Руссо. Изменена в связи с этим и нумерация примечаний.

37. *Одни не колебались предположить...* — См. Г у г о Г р о ц и й. О праве войны и мира. Вступление, § IX.

38. *Другие говорили...* — См. Д. Л о к к. О государственном правлении, книга вторая «О гражданском правлении», гл. II «О естественном состоянии», § 4.

39. *Третьи, наделив сперва...* — См. Т. Г о б б с. О Гражданине, I, XIV.

40. *...к писаниям Моисея...* — Имеется в виду включающее десять заповедей так называемое законодательство Моисея, записанное им, согласно Библии, непосредственно со слов Бога (Библия, вторая книга Моисеева, гл. 20—24).

41. *Начнем же с того, что отбросим все факты...* — Примеры, рассмотренные Руссо, не могли содержать данных, подтверждающих существование одинокого доисторического человека; тем решительнее он отбрасывает саму возможность и необходимость обращения к истории и этнографии и провозглашает достаточность метода чисто аналитического, националистического.

Но эта решимость отбросить факты могла иметь еще другой смысл и другое значение. Можно было считать, что Руссо имеет в виду те факты, при помощи которых объясняла происхождение вселенной и человека религиозная, библейская традиция, приписывавшая сотворение их Богу. Среди авторов XVIII в., известных Руссо, у него были в этом отношении предшественники. Так Б. Лами еще в 1737 г. в своей «Риторике» отстранял версию Библии, чтобы объяснить изобретение языка людьми, «рожденными землей». Это было повторено в 1749 г. Кондильяком во второй части его «Опыта о происхождении человеческого знания».

42. ...наши натуралисты. — Намек на «Теорию земли» Бюффона и «Опыт Космологии» Мопертюи.

43. ...предоставлен самому себе. — В этих словах видели отзвук известной фразы из «Апологии Раймунда Сабундского» Монтеня: «Рассмотрим с этой целью человека, взятого самого по себе, без всякой посторонней помощи, вооруженного лишь своими человеческими средствами...» («Опыты», кн. II, гл. XII, стр. 141).

44. ...нахожусь в Лицее афинском... — Лицей, или Ликей — первоначальное название священной рощи, расположенной вблизи древних Афин, где сооружен был храм Аполлона Ликейского, потом — здания для гимнастических игр. Там в 335 г. до н. э. Аристотель основал философскую школу, носившую это имя и просуществовавшую до IV в. н. э.

45. ...имея судьбы Платонов и Ксенократов. — Ксенократ — древнегреческий философ (394—314 гг. до н. э.), один из первых учеников Платона и его преемник в Академии, известный чистотой своих нравов; до нас дошли лишь незначительные отрывки из его сочинений. Образ Ксенократа Руссо мог встретить у Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XXXIII, стр. 473).

46. ...стал в конце концов тем, чем он стал. — Позиция Руссо в вопросе об эволюции видов ограничена и выражена не отчетливо. Дидро в своем сочинении «Об истолковании природы» (XI—XII) высказался по проблеме эволюции гораздо смелее и определеннее.

47. Гоббс утверждает... — См. «О Гражданине» (I, 4 и 12) и «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (Избр. произв. в двух томах, т. 2, стр. 150—151). Находя в самой природе людей такие три основные причины войн их друг с другом, как соперничество, недоверие и жажду славы, этот философ видел в них в свою очередь следствие первоначального равенства физических и в еще большей степени духовных способностей человека (в то время как Руссо подчеркивал неравенство сил и способностей людей в естественном состоянии).

48. Один знаменитый философ... — Речь идет о Монтескье, который в своем произведении «О духе законов» (кн. I, гл. II) писал, что человек в естественном состоянии «чувствует лишь свою слабость» и что поэтому «стремление нападать друг на друга чуждо таким людям» (Избр. произв., стр. 165—166).

49. *Кэмберленд Р.* (1631—1718) — епископ англиканской церкви, автор трактата о естественных законах (1672), переведенного на французский язык Барбейраком (1744). Тезису Гоббса о «войне всех против всех» Кэмберленд противопоставляет закон всеобщей благожелательности.

50. *Пуфендорф, Самуил* (1632—1694) — немецкий правовед, теоретик естественного права, учение о котором он использовал, однако, не для борьбы с феодализмом и абсолютной монархией, а для узаконения феодально-крепостнических порядков. Основные труды его «О праве естественном и праве международном» и «Об обязанности человека и гражданина по естественному праву». В данном случае Руссо имеет в виду первое из этих сочинений (кн. I, гл. I и II).

51. *...говорит Франсуа Кореаль...* — Кореаль, Франциско (1648—1708) — автор «Путешествий в Западную Индию», первый том вышедшего в 1722 г. французского перевода которых Руссо почти дословно цитирует здесь (ч. I, гл. VIII, стр. 117).

52. *...не замечают этого сами.* — Древние авторы, описывая золотой век, начиная с Гесиода («Труды и дни», стих 116), именно так описывали безболезненную кончину счастливых людей.

53. *...мнение Платона.* — См. «Государство», кн. III, 405—406.

54. *Подалирий и Махаон* — сыновья Асклепия, врачи в архейском войске, осаждавшем Трои (их имена фигурируют во II, IV и XI песнях «Илиады» Гомера). Фенелон упомянул их в XII книге «Приключений Телемака».

55. *Цельс, Авл Корнелий* — римский писатель I в. до н. э., давший в своем энциклопедическом сочинении лучшее, систематизированное и критическое изложение основ античной медицины.

56. *Гиппократ* (ок. 460—377 гг. до н. э.) — выдающийся греческий врач и естествоиспытатель, один из основоположников античной медицины. В настоящее время считается, что диета была введена задолго до Гиппократа.

57. *...согласно Кореалю...* — См. «Путешествия Франсуа Кореаля в Западную Индию». Париж, 1722, т. I, ч. I, гл. V, стр. 85.

58. *...в Мексике называют тлакатцином...* — Животное, о котором идет речь, это, по-видимому, опоссум, из семейства сумчатых.

59. *Лазт, Жан* (1593—1649) — голландский географ, натуралист. Он изложил наблюдения, сделанные мореплавателями Маркграфом и Пизоном во время экспедиций, предпринятых Голландской компанией Западной Индии, в книге «Новый свет, или Описание восточной Индии», появившейся сначала по-голландски, затем по-латыни в 1633 г., переведенной на французский язык в 1650 г. Тлакатцин упоминается на стр. 143 этого издания.

60. *...готтентоты мыса Доброй Надежды...* — Главным источником сведений Руссо о готтентотах была цитируемая им ниже

книга П. Кольбе «Описание мыса Доброй Надежды», изданная на франц. языке в Амстердаме в 1741 г. и вошедшая затем в V том «Всеобщей истории путешествий», изданной в Париже в 1748 г., откуда Руссо и делал обширные выписки; см. также в книге Ж. Шинар (G. Chinar. L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVII et au XVIII siècle, Paris, 1934, I, 34 и в статье Ж. Пира («Revue d'histoire littéraire de la France», 1956, p. 355—378).

Из всех авторов работ, поданных на конкурс Дижонской академии, Руссо единственный так тщательно работал над материалами путешествий, черпая в них данные по этнографии и антропологии (см. R. T i s s e r a n d. Les concurrents de J.-J. Rousseau à l'Académie de Dijon pour le prix de 1754. Paris, 1936).

61. *Во всяком животном я вижу лишь хитроумную машину...* — В этом сравнении проявляется влияние на Руссо идей механистического материализма, выраженных, в частности, в книге Ламетри «Человек—машина».

62. *...человек отличается... от животного лишь как большее от меньшего.* — Руссо не выделяет человека из царства животных, как существо разумное. Он не признает картезианского противопоставления разума ощущениям. Эти его мысли навеяны идеями сенсуализма.

63. *...способности к совершенствованию...* — В этом месте заключена полемика с Кондильяком, ибо Руссо пытается воссоздать историю человека как рода, а Кондильяк пишет историю человека как индивидуума.

64. *...подсказал обитателю берегов Ориноко, как применять дощечки...* — Ф. Кореаль в своем сочинении (т. I, стр. 260—261) рассказывает, что племена, обитающие между Ориноко и Амазонкой, «имеют смешной обычай сплющивать голову и лицо своих детей сейчас же после их рождения. Они помещают для этого голову между двумя предназначенными для этого дощечками». Вольтер в своих заметках на полях этого «Рассуждения» записал, что дикари сплющивают детям лоб, чтобы они могли стрелять в птиц, пролетающих над их головами.

65. *...а разум человеческий все же многим обязан страстям...* — Руссо возражает тут христианским моралистам, с присущим им осуждением страстей и проповедью аскетизма и «умерщвления плоти». Он во многом опирается на Монтеня, утверждавшего, что большинство добрых действий нашей души нуждаются в импульсе и ими вызваны («Опыты», кн. II, гл. XII). Еще более энергичную защиту страстей предпринял Дидро, заявивший в своих «Философских мыслях», что только страсти, и притом великие страсти, могут подвигнуть душу на великие дела. Бурламаки видел в страстях причину, вызвавшую отход человека от естественного закона («Принципы политического права», гл. III, IV). Оригинальность Руссо в этом вопросе состоит в мысли о взаимозависимости страстей и разума с момента появления понятия о потребности. Таким образом, в представлениях об эволюции

оказались тесно связанными потребности, видоизменения в нравственном облике человека и в развитии его умственных способностей. Кондильяк также писал, что наши «потребности упражняют наши способности» («Трактат об ощущениях», IV, 9, 3).

66. ...отдаляясь от животного состояния. — Наблюдение это сделано еще античными философами (см. например, Ц и ц е р о н. De officiis, I, XI), встречается оно и у Монтескье в «Духе законов», кн. I, гл. I.

67. ...вместе с разливами Нила. — Это утверждение, само по себе отнюдь не оригинальное, вместе с тем представляет собой явный отказ от наивно идеалистического объяснения происхождения наук и искусств из пороков человека, дававшегося Руссо в первом «Рассуждении».

68. Еврот — небольшая река Лакедемона (Спарты).

69. ...чем народы Юга... — Здесь Руссо воспроизводит мысли Монтескье, введшего в широкий оборот идеи географического материализма, писавшего в «Духе законов», что «бесплодие земли делает людей изобретательными, воздержанными, закаленными в труде, мужественными, способными к войне; ведь они должны сами добывать себе то, в чем им отказывает почва» (кн. XVIII, гл. IV «Прочие следствия плодородия и бесплодия страны»). Вольтер в своих замечаниях на полях этого «Рассуждения» Руссо не согласился с этими мыслями и написал: Это неверно — все искусства идут из теплых стран».

70. ...на ближайшую ночь. — Сведения эти взяты из цитируемой ниже книги отца Дю Тертра «Общая история островов св. Христофора, Гваделупы и Мартиники и других в Америке», 1654; дополненное издание вышло в 1667 г. под названием: «Общая история Антильских островов, обитаемых французами».

71. Ср. С. П у ф е н д о р ф. О праве естественном и о праве международном, кн. II, гл. 11, § 2.

72. ...с вопросом о происхождении языков. — Проблема эта привлекала Руссо прежде всего своим общесоциологическим аспектом. В то время как традиция, восходящая к Аристотелю («Политика», I), видела своего рода атрибуты изначальной природы человека в его социабельности и в обладании речью, Руссо видит в этом приобретения, сделанные человеком только лишь в ходе длительного исторического пути его развития. См. также принадлежащий Руссо «Опыт о происхождении языков», опубликованный только после его смерти (Избр. соч., т. I, стр. 221—267). Эта проблема в середине XVIII в. привлекала большое внимание. Мопертюи посвятил ей свои «Философские размышления о происхождении языков и значении слов» (1748), Дидро — «Письма о глухонемых» (1751).

73. ...исследований по этому вопросу г-на аббата де Кондильяка... — Имеется в виду «Опыт о происхождении человеческих знаний» (1746), написанный в то время, когда его автор, живя в Париже, находился в близких отношениях с Дидро и Руссо. На замечания последнего Кондильяк ответил в одном из примеча-

ний к своей «Грамматике», входящей в его «Курс уроков принцу Пармскому», т. II, 1775.

Кондильяк, Этьен Бонно де Кондильяк (1715—1780), младший брат философа-моралиста аббата Габриэля Бонно Мабли — выдающийся представитель французского сенсуализма, в разработку которого он внес значительный вклад своим «Трактатом об ощущениях» (1754), представляющим его главный труд.

74. ...его собственным созданием. — Это гипотеза Кондильяка («Опыт о происхождении человеческих знаний», ч. II, разд. I, гл. I, § 7).

75. ...изобрести искусство речи... — Эту трудность увидеть до этого и Кондильяк (назв. соч., ч. I, разд. II, гл. V, § 49), разрешая ее разделением языков на инстинктивный и рассудочный.

76. ...крик самой природы. — Эта мысль также уже была выдвинута Кондильяком, различавшим три вида знаков: 1) случайные, 2) естественные, или крики, которые природа создала для выражения ощущения радости, страха и т. д., 3) избранные самими людьми (назв. соч., ч. I, разд. I, гл. IV, § 35). Таким образом, «крик природы» это самый простой вид естественных знаков, к числу которых Кондильяк относит также жесты.

77. ...смысл целого предложения. — Эта мысль также уже была высказана Кондильяком (назв. соч., ч. II, разд. I, гл. IX, § 82); ее мы находим также у Мопертюи («Рассуждение о различных способах, которыми люди пользовались для выражения своих понятий» (Сочинения, т. III. Лион, 1756, стр. 444).

78. ...единственным временем глаголов. — Ср. Кондильяк, назв. соч., ч. II, разд. I, гл. IX, § 85.

79. ...а что до прилагательных... — И тут мысль Руссо совпадает с выводом Кондильяка (назв. соч., ч. II, разд. I, гл. IX, § 82), в то время как Дидро придерживался противоположной точки зрения, полагая, что прилагательные возникают первыми («Письма о глухонемых». — Собр. соч., т. I).

80. ...обширнее становился словарь. — Кондильяк, напротив, считал это невозможным (назв. соч., ч. II, разд. I, гл. X, § 102).

81. ...нужно, следовательно, говорить, чтобы иметь общие понятия... — Эта номиналистская теория общих понятий навеяна Локком («Опыт о человеческом разуме», II, 11 и IV, 7, 9), где он пишет: «Первопонятие в уме — это понятие об отдельных предметах, от которых разум возвышается незаметными ступенями к небольшому числу понятий более общих». Руссо «слово» и «понятие» объединяет более тесно, чем Локк, и в еще большей мере, чем Кондильяк, для которого слово это всего лишь «знак понятия» (см. К о н д и л ь я к, назв. соч., ч. I, разд. IV, гл. I).

82. ...средств чисто человеческих... — Руссо как бы вынужден к этому признанию, не видя выхода из противоречий, к которым приводит стремление объяснить происхождение языков без вмешательства посторонних сил. В то же время ясно, что это признание наносит сильный удар всей исторической и во многом материалистической концепции происхождения неравенства, развитой

в данном «Рассуждении». Это со злорадством подметил филолог Н. Бозе (1717—1789), в статье «Язык» в «Энциклопедии»; не мог скрыть позже своей радости по поводу этой слабости Руссо и такой идеолог аристократической реакции, как Жозеф де Местр («Санкт-Петербургские вечера», беседа вторая).

83. *...мало подготовила она их способность к общежитию...* — Мысль о врожденной социальности человека поддерживалась в древности Аристотелем, Цицероном, стоиками, в новое время — Пуфендорфом, Барбейраком, энциклопедистами — Дидро, Жокурром. Руссо отрицает существование природной социальности в естественном состоянии, поскольку она основана на удовлетворении потребностей, не существующих еще в этом состоянии. Впрочем, позиция Руссо в этом вопросе не была последовательной и постоянной. Например, в «Исповедании веры Савойского vicaria», он склонен признать существование у человека от природы в потенции некоторых зачатков чувства социальности.

84. *...столь несчастного, как человек в этом состоянии.* — Такого рода суждение было распространено в социологической мысли XVII и XVIII вв., но в данном случае Руссо отвечает непосредственно С. Пуфендорфу («О праве естественном и о праве международном», кн. II, гл. I, § 8).

85. *...ни пороков, ни добродетелей...* — Руссо считал, что естественный человек добр, не сознавая этого, а только гражданин, связанный общественным договором, может быть добродетельным. Мысль Руссо будет колебаться между идеалом естественной доброты и высшим моральным идеалом гражданской добродетели. Только разум, умение рассуждать и сравнивать себя с другим человеком в ходе постоянных отношений с ним рождает в человеке понятия о морали, о добре и зле в нравственном смысле.

86. *...заклЮчать вместе с Гоббсом...* — Этот философ, охотно цитируемый Пуфендорфом, писал: «В естественном состоянии мы находим лишь страсти, правящие на свободе, войны, страх, бедность, ужас, одиночество, дикость, невежество, жестокость» («О Гражданине», гл. I, § 1). Французский переводчик Гоббса Барбейрак возражал против этого, предвосхищая, таким образом, несогласие Руссо.

87. *...мнит себя единственным обладателем всего мира.* — Руссо поддерживает принцип Гоббса — «Природа дала каждому человеку право на каждую вещь». В то же время он категорически отрицает вывод Гоббса о неизбежности состояния «войны всех против всех» в дообщественном, естественном состоянии.

88. *Злой, — говорит он...* — Вольтер в своих замечаниях подчеркнул слово «злой» и написал: «Дикарь не в большей мере является злым, чем волк, испытывающий голод».

89. *...отвращением, которое он испытывает при виде страданий ему подобно.* — Сходное место встречается у Дидро (Oeuvres, IV, стр. 101). Это можно объяснить, по-видимому, тем, что эти вопросы ими часто обсуждались и их точки зрения совпадали.

90. ...самый злостный хулитель добродетелей человеческих. — Руссо имеет в виду Б. МанDEVИЛЛЯ, автора «Басни о пчелах» (1723 и 1728) (Франц. перевод 1740), в которой проводится мысль о том, что индивидуальные пороки обуславливают процветание общества, а добродетель ведет к разорению.

91. ...автор «Басни о пчелах»... — Речь идет о Б. МанDEVИЛЛЕ (см. предыдущее примечание) и приводится краткое изложение отрывка из этого его сочинения (франц. перевод 1740 г., т. II, «Опыт ловли к людям», стр. 27—29).

92. Слова эти, сказанные о скифах в «Истории» Юстина (II, 15), представляющей собой изложение 44 книг «Истории» Помпея Трога, Руссо взял, вероятно, в хорошо знакомой ему книге Г. Гроция «О праве войны и мира» (кн. II, гл. II, §2).

Юстин, Марк Юниан, римский историк II в. до н.э.

93. Сулла — римский диктатор (138—78 гг. до н. э.), представитель наиболее реакционной части крупных землевладельцев-оптиматов. О его чувствительности см. П л у т а р х. Сравнительные жизнеописания, т. II, стр. 144.

94. ...этому Александру Ферскому... — Пример этот взят у Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XXVII, «Трусость мать жестокости»); первоисточником же служит Плутарх. — «Сравнительные жизнеописания», т. I. «Жизнь Пелопида», XXIX.

Александр Ферский — тиран в Ферах, в Греции, в 70 г. до н. э., известный своей жестокостью: он закапывал своих врагов живыми в землю или бросал на растерзание диким зверям.

95. ...вместе с Андромахой и Приамом... — Андромаха — жена Гектора, легендарного героя Троянской войны, сына Приама, царя Трои; они выведены в поэме Гомера «Илиада».

96. Ю в е н а л. Сатиры, XV, II, 131—133.

Ювенал — римский поэт (ок. 60—130 гг. н. э.). Его критика нравственного упадка рабовладельческого Рима была созвучна Руссо.

97. ...на место того, кто страдает... — Это говорил Ларошфуко в своих «Моральных рассуждениях». Руссо читал эту книгу вместе с г-жей Варан (см. «Исповедь». — Избр. соч., т. I, стр. 89). См. также Ж а н д е Л а б р ю й е р. Характеры, гл. IV «О сердце», № 48. М.—Л., 1964, стр. 92. Два принципа моральной жизни, предшествующие разуму: любовь к себе и сострадание, обладают разной природой, но Руссо не сомневается, что они могли быть одной и той же природы. В «Эмиле» он их сближает, объединяет — сострадание вытекает из любви человека к самому себе.

98. ...отождествить себя с тем, которого убивают. — Здесь Руссо полемизирует с Б. МанDEVИЛЛЕМ.

99. Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой... — Заповедь христианской религии, сформулированная в Евангелии от Матфея, 7, 12 и в Евангелии от Луки, 6, 31.

100. ...который должен был бы подчиняться. — Хотя Руссо в первой части «Новой Элоизы» и протестовал против угнетения

женщины, которую выдают замуж из соображений выгоды, вопреки ее желанию, тем не менее его взгляды на положение женщины не выходят за рамки буржуазного кругозора. Как известно, и французская революция XVIII в. не поставила проблему эмансипации женщины, а «Гражданский кодекс» Наполеона I закрепил ее зависимое положение. Даже Вольтер против слов о подчинении написал: «Почему?», ибо в отличие от Руссо не признавал естественного неравенства между полами и считал, что женщины могут делать все то же, что и мужчины.

101. Ср. Монтень. *Опыты*, кн. I, гл. XXXI, «О каннибалах».

102. *...огородив участок земли...* — В литературе вопроса вслед за Шатобрианом («Гений христианства», ч. III, кн. II, гл. VI) видели прообраз всей этой сцены в словах Б. Паскаля: «Эта собака моя — сказали эти бедняги; это мое место под солнцем. Вот начало и образ захвата всей земли» (Паскаль, ч. I, гл. II. Париж, изд. Астье, 1883, стр. 404). Однако, несмотря на то, что после этого у Паскаля следует рассуждение о пагубности имущественного неравенства, все же связь мысли Руссо с этим отрывком весьма сомнительна.

103. *... требовали от них новой изобретательности.* — Здесь налицо очевидное противоречие. Руссо говорит в данном месте не об одиноком человеке, а о человеческом обществе, ибо ни одно изобретение человека изолированного не могло быть передано детям и в их лице следующим поколениям.

104. *...движущая сила человеческих поступков...* — Тут позиция Руссо формально совпадает с точкой зрения энциклопедистов, в действительности же они расходятся в понимании самого этого благополучия. Первые мыслят его более индивидуалистически, Руссо — более гражданственно.

105. *...он объединялся с ними в одном стаде...* — Руссо тут отступает от своего тезиса о полном одиночестве первобытного человека и приближается к пониманию исторической истины. Дидро в «Продолжении апологии аббата де Прад» (§ 5) также говорит о том, что природа толкает человека к объединению в стадо, как она это делает с животными.

106. *...совершенствовались изобретательность и навыки.* — Тут сказывается просветительская переоценка духовного фактора и недооценка роли общественной практики.

107. *...своего рода собственности...* — Попытка проследить постепенное ее образование есть шаг вперед по сравнению с картиной, нарисованной в начале II части. В этом отношении Руссо мог опереться на соответствующие мысли Платона («Законы», кн. III, 680—681). Бюффон в 1752 г. описал семейную организацию индейцев Северной Америки («Естественная история»).

108. *Каждая семья превращалась в маленькое общество...* — Затем Руссо откажется от этой мысли, чтобы вновь прийти к ней в окончательном тексте «Общественного договора».

109. *...и люди чувствовали себя несчастными, потеряв их, хотя они и не чувствовали себя счастливыми, обладая ими.* —

Руссо не понимал, что рост потребностей движет развитие производства. Для него потребности — своего рода оковы, тормоз для развития. Один из источников этой мысли — Платон («Государство», кн. II, 369—373).

110. Ср. близкое к этому описание геологических катастроф в истории Земли у Бюффона («Естественная история», т. II).

111. *...человек от природы жесток...* — Имеется в виду точка зрения Гоббса и то, что именно для смягчения нравов человек нуждается в системе внутреннего управления.

112. *...побуждаемый равно инстинктом и разумом...* — Трудное для понимания место. Речь не может идти о самом древнем периоде, когда человек еще не пользовался разумом, и в то же время это стадия, предшествующая появлению собственности. Трудность понимания снимается, если видеть тут разум в зачаточном его виде. Ибо человек в естественном состоянии хоть и руководствуется одним инстинктом, но является свободно действующим.

113. *...согласно аксиоме мудрого Локка...* — См. Л о к к. Опыт о человеческом разуме, кн. IV, гл. III, § 18.

114. *...как раз посередине (juste milieu)...* — «Какая химера», — написал Вольтер против этого места. Большая часть критиков поддержала это мнение (например, автор статьи в «Journal des savants». — «Журнал ученых», 1756, т. II, июнь, стр. 414).

115. *...не нарушившими их независимость.* — Описание счастливой жизни такого рода, общества, не знающего ни бедности, ни богатства, ни применения металлов, дал Платон («Законы», кн. III, 678, 679). Известно, что во Франции в первой половине XVIII в. был создан ряд социальных утопий (см. извлечения из них в издании: W. K r a u s s. Die Reise nach Utopie. Berlin, 1964), но нам не известно о знакомстве с ними Руссо, кроме упоминаемой им в «Письмах с Горы» книги Д. В е р а с. История севарабов. Знал же он, наверное, статью Дидро в первом томе «Энциклопедии» «Бакхиониты», в которой описываются философы, изгнавшие из своей среды пагубные различия между «твое» и «мое» и ставшие после этого счастливыми в той мере, в какой это дозволено человеку. Знал Руссо, конечно, и «Утопию» Томаса Мора.

116. *...одному полезно иметь запас пищи на двоих...* — Проницательность этой мысли отмечена Ф. Энгельсом в «Анти-Дюринге» (Соч., т. 20, стр. 100).

117. *...обработки металлов и земледелие...* — Дидро в статье «Земледелие» (Agriculture) в «Энциклопедии» также связывает его происхождение с появлением собственности.

118. *...этот огромный переворот.* — Именно об этих строках Энгельс говорит, что учение Руссо в первом своем изложении, можно сказать, блистательно выставляет напоказ свое диалектическое происхождение. Руссо видит в возникновении неравенства прогресс, который был антагонистичен; он в то же время был и регрессом, ибо с каждым новым шагом вперед, который делает

цивилизация, делает шаг вперед и неравенство («Анти-Дюринг», отд. I. — Соч., т. 20, стр. 143).

119. *...прочнее и лучше цивилизованною...* — Здесь применен термин «*policer*», однозначный в данном случае с «*civiliser*».

120. *...залежи руды образуются только в бесплодных местах...* — Таково было распространенное в XVIII в. в науке мнение, лишенное действительных оснований. Для Руссо это соображение говорило еще об одной трудности в прогрессе материальной культуры.

121. *...овощи и корни...* — Эту картину Руссо нашел, вероятно, в книге Дю Тертра «Общая история островов св. Христофора», ч. V, гл. I, § 5.

122. *...область их применения.* — См. П л а т о н. Государство, кн. II, 369—371.

123. *Когда древние, говорит Гроций, прозвали Цереру законодательницей...* — Этот философ допускал существование первобытного коммунизма, первоначальной общественной собственности, в первую очередь на землю. Он, как и Пуфендорф, считал, что разрушившее это коллективное владение право первой заимки было затем упрочено соответствующими соглашениями между людьми. Руссо привел этот отрывок буквально из французского перевода сочинения Гроция «О праве войны и мира». (кн. II, гл. II, § 2), который в свою очередь здесь использовал комментарии Сервия к «Энеиде» Вергилия (к стиху 53, кн. IV).

Церера (Деметра) — греческая богиня плодородия и земледелия.

124. *...назвали Фесмофориями...* — Фесмофории — празднества в честь богини Деметры в Древней Греции. Так как земледелие явилось основой оседлости и благосостояния, то Деметру начинают почитать как богиню-законодательницу (Фесмофору). Она становится покровительницей брака и семьи и, таким образом, как бы основательницей гражданского общества.

125. *...наряду со складывающимся неравенством...* (*inégalité de combinaison*). — Как видно, Руссо предполагает теперь наличие двух видов неравенства — естественного и возникающего при переходе к общественному состоянию — к гражданскому обществу.

126. *Быть и казаться* — это, отныне, две вещи совершенно различные... — Более подробно Руссо развил эту мысль в своем «Письме к Кристофу де Бомону», архиепископу Парижскому. Быть и казаться для современного человека вещи столь же разные, как действовать и говорить, и первое вытекает из второго. Подлинная же причина этого — противоречие между характером общественного строя (*ordre social*) и природой: отсюда все пороки людей и все беды общества.

127. *...их рабом, даже становясь их господином...* — Это первое появление мысли, которая была разработана впоследствии в «Общественном договоре» и в «Эмиле».

128. *...стали бедняками, ничего не потеряв.* — Это рассуждение предвосхищает мысль левого якобинца А. Шометта, высказанную им в речи 27 февраля 1793 г. в Конвенте.

Руссо присоединяется тут к Гоббсу, но глубокое различие между ними в данном вопросе состоит в том, что для него «война всех против всех» не есть проявление человеческой сущности, а порождена возникновением частной собственности в конце эпохи естественного состояния; более подробно развита эта мысль во фрагменте «О состоянии войны» (J.-J. Rousseau. Political writings, v. I, 1915, p. 293—307 и J.-J. Rousseau. Oeuvres compl., t. III. Paris, 1964, p. 601—616).

129. Следует отметить, что в отличие от ряда социальных критиков этого и даже позднейшего времени, Руссо не дал себя сколько-нибудь серьезно увлечь мыслью о двустороннем ущербе, причиненном развитием неравенства и богатам, и беднякам.

130. *...сколь противоречило его интересам естественное право.* — В огромной литературе XVIII в. по естественному праву и теории общественного договора это один из немногих примеров трактовки возникновения государства как акта защиты интересов богатей, предпринятого по их инициативе.

131. *...закон собственности и неравенства...* — Соединение этих двух понятий в сфере действия одного закона подтверждает сказанное в предыдущем примечании.

132. *...немногих граждан мира (âmes cosmopolites)...* — В наши дни Руссо употребил бы здесь слово «гуманист». Он осуждает космополитизм в том сугубо отрицательном смысле, какой мы сейчас придаем этому слову как презрение к своему народу. Прославляемый Руссо патриотизм свободен от какой бы то ни было национальной ограниченности. Он сохраняет чувство человеческой общности. Это демократический патриотизм, предшественник позднейшего революционного патриотизма масс времен Великой французской революции.

133. *...между собой в естественном состоянии...* — Ср. Монтескье. О духе законов, кн. X, гл. II.

134. *...завоеваниями более могущественного...* — Намек на Гоббса, «Левиафан», гл. XX.

135. *...объединением слабых...* — См. д'Аламбер. Вступительная статья к «Энциклопедии», 1751, стр. III.

136. *...кроме закона более сильного.* — У Руссо, тут и в дальнейшем, острая критика права завоевания — опровержение Гроция и Пуфендорфа, признававших это «право». Руссо здесь мог опираться на аргументы, выдвинутые Дидро в статье «Власть» (Autorité) в «Энциклопедии».

137. *...как это сделал Ликург в Спарте...* — Предание приписывает именно этому деятелю создание основных законов Спарты, установивших раздел земель между ее гражданами на началах равенства, учреждавших суровое общественное воспитание в возрасте с 7 до 20 лет и предусматривавших умерщвление физически слабых детей.

138. ...как можно скорее отдать себя в рабство. — Это критика воззрений Т. Гоббса, очень близкая к тому, что писал по этому поводу Локк («О гражданском правлении», гл. VII, §§ 12 и 93).

139. Полагают, что речь идет о басне Лафонтена «Старик и осел», в которой второй говорит первому: «Наш враг — это наш хозяин».

140. ...говорил Плиний Траяну... — См. П л и н и й. Панегирик Траяну, V, 7.

141. ...говорил Брасид... — По рассказу Геродота (VII, 135) — таковы были слова, сказанные Булисом и Спертием сатрапу Гидарнесу. Текст этот фигурирует в книге Э. Де ла Бозси «О добровольном рабстве».

Брасид — спартанский полководец во время Пелопенесской войны в V в. до н. э.

142. Персеполис — столица древней Персии.

143. ...из которой многие... — В частности, Руссо, несомненно, имеет в виду вышедшую в Англии в 1680 г. книгу сторонника наследственной монархии Р. Филмера «Патриарх».

144. Локк это сделал в своем первом трактате «О государственном правлении».

145. А. Сидней говорил об этом в своих «Рассуждениях о Правлении», написанных в 1680—1683 гг. и изданных только в 1698 г.; первый французский перевод вышел в 1702 г.

146. ...чем мягкость этой власти... — Боссюэ писал: «Королевская власть — это власть отцовская, и ее отличительная черта — это доброта».

147. Эта цитата из «Истории» Тацита приведена в XV разделе книги А. Сиднея «Рассуждения о Правлении», которую Руссо читал в период его работы над «Рассуждением о неравенстве». Одна из рукописей Библиотеки г. Невшателя (Ms 7842) содержит два листа его выписок из этой книги, среди которых имеется и эта цитата.

148. ...факты с точки зрения права... — Это позиция, противоположная той, которую Руссо в «Общественном договоре» критикует в методе Гроция (кн. I, гл. II).

149. ...известного сочинения... — Это «Трактат о правах христианнейшей королевы на различные владения, входящие в Испанское королевство», 1667. Авторами его были А. Билен и аббат де Бурзейс. Оно представляет собой манифест, опубликованный после смерти Филиппа IV, когда Людовик XIV готовился к вторжению в Испанские Нидерланды, и в то же время желал, чтобы иностранные державы смотрели на него как на правителя, якобы подвластного законам, вынуждающим его нарушить данное ранее слово и взяться за оружие.

На этот памфлет А. Сидней намекал в своей книге (франц. перевод 1702 г., т. II, стр. 238); саму же цитату Руссо нашел у Барбейрака, который, оспаривая Гоббса и солидаризируясь с Пуфендорфом, в своем переводе его книги «О праве естественном и

о праве международном» (кн. VII, гл. VI, § 10, прим. 2), цитируя этот памфлет, утверждает, что король должен подчиняться основным законам государства.

150. *...авторитетным мнением Барбейрака, который ясно заявляет, следуя Локку...* — Речь идет о переводе Барбейрака «Гражданского правления» Локка. По странной непоследовательности, Руссо, поддержав мнение Пуфендорфа, присоединяется к противоположной позиции Локка («О гражданском правлении», гл. IV, § 23). Эта ссылка на Барбейрака появилась только в издании 1782 г. Руссо полностью разделяет теорию Локка по этому вопросу. Он мог прочесть также у Монтескье: «Неправда, что свободный человек может себя продать» («О духе законов», кн. XV, гл. 2).

151. *Пуфендорф говорит...* — См. П у ф е н д о р ф. «О праве естественном и о праве международном», а также «Общественный договор», кн. I, гл. IV («О рабстве»).

152. *...и юрисконсульты, которые с важностью провозгласили...* — Речь идет о тех, кто в древности и в последующие эпохи присоединялись к позиции, сформулированной Аристотелем.

153. *...следуя общепринятому мнению...* — Руссо, по-видимому, ссылается на статью «Власть политическая», написанную Дидро для «Энциклопедии». Твердого мнения Руссо здесь еще не высказывает, из чего можно заключить, что его трактат «Политические установления» (Institutions politiques) еще находился в процессе создания.

154. *...договор между народом и правителями, которых он себе выбирает...* — В трактовку этого договора Руссо позже внесет свое особое, демократическое содержание.

Р. Дерагэ полагает, что в этот период Руссо еще представляет себе договор скорее как договор подчинения (acte de soumission); что позже он эту мысль отвергнет и придет к пониманию договора как акта ассоциации (contrat de l'association) (см. R. D e r a t h é. J.-J. Rousseau et la science politique de son temps. Paris. 1950. p. 222—223).

155. *...на всех членов Государства без исключения...* — Здесь Руссо свою точку зрения излагает более четко, чем это выражено у Пуфендорфа (см. П у ф е н д о р ф. О Праве естественном и о праве международном, кн. VII, гл. VI, § 9).

156. *...и власть магистратов...* — Исправления в черновиках «Политической экономии» показывают, что в этом месте Руссо пишет «магистраты», а подразумевает — «король».

157. *...отняло у подданных пагубное право ею распорядиться.* — Эта оговорка Руссо указывает на его значительные колебания в вопросе о насильственных мерах общественных преобразований.

158. *...фанатизм заставляет ее проливать.* — Руссо следует в данном месте Пуфендорфу («О праве естественном и о праве международном») и еще далек от идей, развитых им в последней главе «Общественного договора».

159. ...геронты в Спарте, сенат в Риме и даже сама этимология нашего слова сеньор... — Все три слова означают старейших, старших (греч. и лат.).

160. ...называть самих себя богоравными и царями царей. — В поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» мы встречаем эти определения применительно, например, к Агамемнону.

161. ...власти, основанной на законах... — В оригинале «*provoir légitimé*», что обычно переводится как «законная», но это не совсем точно передает мысль Руссо.

162. ...ни в магистратах, ни в законах. — Здесь в окончательном варианте был опущен отрывок, вписанный рукой неизвестного лица на набольшом листке, куда Руссо внес свои исправления. Впервые отрывок опубликован А. Р., т. XXXIV, 1956—1958, р. 71—77. Он говорит о ненужности наемных войск в том государстве, где «магистраты делают общее дело с народом», интересы которого совпадают с интересами его главы.

163. ...заставить говорить о себе... — Вольтер подчеркнул эти слова и сделал пометку, обращенную к автору: «О ты, обезьяна, подражающая Диогену, как ты осуждаешь сам себя». И несколько ниже добавляет: «Как ты все утрируешь, как ты все изображаешь в ложном свете».

164. ...защищать общие интересы государства. — В оригинале chose commune, и мы это понимаем в данном случае как государство.

165. Лукан, Марк Анней (39—65 гг. н. э.) — древнеримский поэт, названная выше поэма которого была направлена против единовластия императора. Эти строки приведены в «Рассужениях о правлении» А. Сиднея, разд. XIX.

166. ...усилить власть, всех их сдерживающую. — Вольтер, подчеркнув эти слова, написал на полях, как бы обращаясь к Руссо: «Говоря, что королевская власть сдерживает и подавляет все группировки, ты этим воздал великую хвалу монархии, против которой сам восстаешь».

167. Воган предполагает, что цитата в оригинале должна выглядеть так: «*сui compositis rebus nulla spes*», если это выдержка из Тацита («История», I, 21). Вполне допустимо предположение, что в таком виде она заимствована у А. Сиднея, у которого она приведена в таком виде «*quibus ex honesto nulla est spes*» (А. С и д н е й. Рассуждения о правлении, разд. XIX).

168. ...только сила его и низвергает. — Дидро в «Энциклопедии» (в статье «Политическая власть») оправдывает таким же способом восстание против деспотизма (см. D i d e r o t. *Textes choisis*, т. II, 1955, р. 164—165): «Тот же закон, что создал деспотическую власть, затем сокрушает ее: это закон более сильного».

169. ...Диоген никак не мог найти человека... — Диоген (400—423 гг. до н. э.) из Синопа, греческий философ, ученик Антисфена, основателя кинической философской школы. Диоген отвергал все достижения цивилизации и призывал ограничиться только удовлетворением необходимых потребностей. Слова Руссо связа-

ны с легендой о Диогене, якобы с фонарем в руках искавшем добродетельного человека.

170. *Катон*, — скажет этот читатель, — погиб вместе с Римом. — Катон — речь идет о Катоне Младшем, или Утическом (95—46 гг. до н. э.), стороннике республиканского строя (см. прим. 37 на стр. 380).

171. *Геродот рассказывает, что после убийства Лже-Смердиса...* — Геродот (484—425 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, автор истории греко-персидских войн, в третьей книге которой описывается этот эпизод (III, 67—84). Лже-Смердис — самозванец, выдававший себя за Смердиса, брата царя Персии Камбиза, корону которого он узурпировал в его отсутствие. В 521 г. до н.э. был убит семью заговорщиками, передавшими власть Дарию.

172. *«Естественная история»*. — Речь идет о сочинении знаменитого представителя французского естествознания этой эпохи Бюффона (1707—1788), имевшего большое влияние на формирование естественно-научных воззрений Руссо.

173. *Один знаменитый автор...* — Намек на Мопертюи, который проводит эту мысль в своем «Опыте моральной философии», вторая глава которого озаглавлена: «О том, что в обычной жизни сумма несчастий превосходит сумму благ». Для животных Бюффон устанавливал обратное соотношение («Естественная история», т. XII).

174. *...это я доказал*. — Ср. «Последний ответ г. Борду». Идеализированные изображения природной доброты людей в «естественном» состоянии Руссо мог в изобилии найти в описаниях путешествий, в частности, у того же П. Кольбе, писавшего, что «доброта готтентотов, их честность, любовь к справедливости и целомудрие составляют такие добродетели, которыми немногие народы обладают в такой же степени».

175. *...огромный и страшный лондонский пожар...* — Вероятно, Руссо имеет в виду пожар 1666 г., во время которого было уничтожено 13 200 зданий.

176. *...Монтень порицает афинянина Демада...* — Демад — афинский оратор IV в. до н. э., противник Демосфена, государственный деятель. Монтень пишет о нем в «Опытах» (кн. I, гл. XXII — «Выгода одного — убыток для другого»). Сам пример заимствован у Сенеки.

177. *...всякого цивилизованного человека*. — Вольтер пишет против этого места на полях: «И в еще большей мере всякого дикаря, насколько только это для него возможно».

178. Руссо возобновит этот аргумент в связи с обсуждением «Поэмы о катастрофе в Лиссабоне» Вольтера, которому он по поводу землетрясения 1755 г. писал 18 августа 1756 г.: «Согласитесь, что это не природа сосредоточила в одном месте двадцать тысяч шести- и семиэтажных домов, и если бы жители этого большого города селились бы более равномерно... то жертв было бы намного меньше, а возможно, что их не было бы вовсе». («С. Г.», т. II, р. 306).

179. Подчеркивается, что собственность не относится к «естественным» правам.

180. ...*приносятся в жертву суетным песнопениям...* — Речь идет о хорах кастратов.

181. ...*оскорбляют требования человечности.* — Мы узнаём здесь одну из главных в общественном отношении тем романа Руссо «Новая Элоиза».

182. ...*лишить себя жизни...* — Ср. «Новую Элоизу», ч. III, письма XXI и XXII, в которых Руссо развивает свои мысли о самоубийстве (Избр. соч., т. II стр. 316—331).

183. ...*реальгара* (также реагал или реалгал). — Минерал оранжево-красного цвета, сернистый мышьяк. Применяется к красильному делу и для борьбы с вредителями сельского хозяйства, в XVIII в. также в медицине.

184. ...*не одним философом.* — См. Монтескье. Персидские письма. Письмо CXVIII. М., 1956, стр. 273—274.

185. ...*средства к жизни бедным...* — Объяснение это было весьма распространенным. См., например, Монтескье. «О духе законов», кн. VII, гл. IV.

186. ...*единственное оправдание заповеди...* — Некоторые исследователи полагают, что речь здесь идет о запрете вкушать плод «древа познания добра и зла» (Библия, кн. Бытия, 2, 16—17).

187. ...*Паламед изобрел числа во время осады Трои...* — В «Илиаде» Паламед представлен как человек, придумавший ряд игр.

188. Речь идет о Платоне («Государство», кн. VII, 522).

189. *Агамемнон* — царь Микен, возглавлявший греческие войска в походе против Трои.

190. *Исаак Фоссиус* (1618—1689). Трактат его, изданный в Оксфорде в 1673 г., в том, что касается изначальной роли ритма и пантомимы, превосходит мысли Руссо, высказанные им в «Эмиле», в «опыте о происхождении языков» и в «Словаре музыкальных понятий» («Dictionnaire musical»), где он вновь цитирует этого автора в статьях «Музыка» и «Ритм».

191. *Герцог де Виллар, Клод Луи Гектор* (1635—1734) — маршал Франции. Анекдот, рассказанный Руссо, не фигурирует в его «Мемуарах», отчасти, впрочем, апокрифических, опубликованных в 1736 г. в Гааге.

192. ...*то место у Исократ...* — См. «Ареопагитика», 21, 22 (143—144). Исократ (436—338 гг. до н. э.) — четвертый из десяти аттических ораторов. Прославился своими писанными речами, предназначавшимися для чтения, к числу которых относится и названная выше, призывающая восстановить устройство Солона.

### О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Статья эта впервые была напечатана в V томе «Энциклопедии», вышедшем в 1755 г. Отдельным изданием опубликована под названием «Гражданин, или Политическая экономия» в Же-

неве Дювиларом без согласия Руссо (см. письмо Руссо к Верну от 22.10.1758 г.). Некоторые поправки и дополнения были внесены по рукописи в посмертное издание сочинений 1782 г., оуществленное Дюпейру и Мульту.

В этом издании перевод сделан со сводного текста, изданного Воганом после сверки всех пяти печатных изданий статьи.

Большая часть рукописи хранится в городской библиотеке Невшателя (Швейцария).

Статья дважды переводилась на русский язык — А. М. Лужковым в 1777 г. и В. Медведевым в 1787 г.

1. *...управление домом...* — Понятие «экономия», встречающееся у Ксенофонта, было рассмотрено Аристотелем, понимавшим под «οἶκος» не просто дом, а хозяйство в более широком смысле, нежели домашнее. Взгляды именно этого античного мыслителя оказали значительное влияние на Руссо. Мы имеем, в частности, в виду тот факт, что Аристотель под экономией понимал совокупность непосредственно полезных вещей, т. е. потребительских стоимостей, имеющую, по природе своей, естественные количественные границы, в отличие от «хрематистики» — накопления богатства в виде денег, предела не имеющего, к которому он, в общем, относился отрицательно.

2. *...политической экономией...* — или еще Руссо ее именует «публичной» (publique) и гражданской (civile).

3. См. «Новую Элоизу», где мы находим довольно детальное изображение принципов ведения домашнего хозяйства. О домашних слугах и поденщиках говорит часть IV (письмо X. — Избр. соч., т. II, стр. 377 и сл.), об обязанностях хозяев, об их образе жизни, об управлении своим состоянием — часть V (письмо II, стр. 456—485), о воспитании детей — тоже часть V (письмо III, стр. 485—512).

4. *Если бы между Государством...* — Этот и последующие четыре абзаца повторяются с незначительными отклонениями в тексте первого наброска «Общественного договора» (кн. I, гл. V). Косвенное свидетельство того, что Руссо включил в эту статью отрывок из уже существовавшего первого наброска «Общественного договора».

5. *...самую природой.* — Фактически Руссо уже тут близок к точке зрения, выраженной в «Общественном договоре» (кн. I, гл. II), где говорится, что «самое древнее из всех обществ и единственно естественное — это семья».

6. *...тогда как богатство казны...* — В первом наброске «Общественного договора» это место выглядит иначе: «богатство государя, далекое от того, чтобы добавлять нечто к благополучию частных лиц, почти всегда стбит им покоя и изобилия».

Воган полагает, что этот текст является первоначальным.

7. *...затем из благодарности...* — В «Рассуждении о причинах неравенства» и в «Общественном договоре» отрицается вытекающая из признательности детей их обязанность повиноваться отцу после достижения самостоятельности. То, что в данной статье

автор придерживается иной, общепринятой точки зрения, может рассматриваться как свидетельство ее более раннего происхождения.

8. *...о рабстве...* — Руссо упомянул его, возможно, лишь потому, что Аристотель в той части «*Политики*» (см. прим. 1), где он рассматривает экономику «домашнюю», рассматривает отношения между хозяином и его рабами (гл. IV—VII).

9. *...очень немного хороших магистратов.* — В изданиях 1758 и 1772 гг. эта фраза заканчивается так: «но сомнительно, что за то время, сколько стоит мир, человеческая мудрость создала десять человек, способных править себе подобными». Окончательный текст появился лишь в издании 1782 г..

10. *Роберт Филмер (1604—1688)* — английский политический деятель и политический писатель, автор ряда книг, в том числе и «*Патриарх, или Естественная власть Монархов*» (1680).

11. *...два выдающихся человека...* — Это, подвергшие книгу Филмера критике, Альджернон Сидней и Джон Локк, первый в своих «*Рассуждениях о правлении*», второй — в трактате «*О государственном правлении*» (кн. II).

12. См. А р и с т о т е л ь. *Политика*, кн. I, гл. II.

13. *...власть исполнительная...* — В оригинале «*executrice*», а не «*executive*», как в первом наброске «*Общественного договора*» и в его окончательном тексте (кн. III, гл. I).

14. *Да будет мне позволено...* — В черновой рукописи этой фразе предшествует следующая: «Если бы я намеревался точно определить, в чем состоит политическая экономия, я нашел бы, что ее задачи сводятся к трем главным: руководить осуществлением законов, поддерживать гражданскую свободу и заботиться о нуждах государства. Но чтобы уразуметь связь этих трех целей, необходимо обратиться к принципу, их объединяющему». Таким образом, Руссо еще не различает отчетливо собственно предмета политической экономии, сливающейся у него не только с экономической, но и со всей внутренней политикой данного государства.

15. *...дают этой машине...* — Легкость, с которой Руссо переходит от сравнения общества с живым организмом к сравнению его с машиной, во многом объясняется тем, что эти слова во французском языке его времени звучали почти как синонимы, что объясняется их употреблением в латинском языке, где под машиной понималось всякое соединение частей и органов, образующих некое целое, одушевленное или нет (см. G. G a u r o u. *Le français classique*. 6 ed. Paris, 1948, p. 530).

16. *...в здоровом состоянии.* — Этот абзац весьма близок к «*Введению*» к «*Левиафану*» Гоббса, где государство сравнивается с «*искусственным человеком*».

17. *...чтобы заслужить свой скудный обед...* — Это замечание вызвано словами Гоббса о роли гражданского закона («*О гражданине*», гл. VI, § 16).

18. *...в статье «Право»...* — Речь идет о статье Дидро «*Естественное право*» («*Droit naturel*») в V томе «*Энциклопедии*». Вели-

кий принцип, о котором идет здесь речь, — несомненно идея главенства общей воли, но значение слов Руссо, называющего свою статью лишь развитием принципа, взятого им у Дидро, до сих пор остается неясным.

19. *...мир — как один большой город...* — Вероятно, здесь имеется в виду она из концепций философии стоиков, которые, согласно сообщению Цицерона («De Finibus bonorum et malorum», III, 64), видели в мире, управляемом провидением, общий «большой» город богов и людей.

20. *...ее изображению в своих пещерах.* — См. Д. Д и д р о. Собр. соч., т. VII, стр. 205.

21. *...и в сатирах Макиавелли.* — Вероятно, имеется в виду критика действительности в сочинении Макиавелли «Князь». Отдельных сочинений в жанре сатиры у этого автора нет.

22. *...объединившихся в большое общество...* — Значит, здесь Руссо допускает существование такового, что им полностью отрицается в первом наброске «Общественного договора» (кн. I, гл. II).

23. *...общую защиту.* — Эта формулировка совпадает с той, что дает Локк («О гражданском правлении», гл. IX, § 123).

24. *...должен соблюдать их он сам...* — Таким образом, Руссо решительно отбрасывает принцип права, характерный для абсолютистских режимов, гласивший: «princeps legibus solutus est» (правитель свободен от соблюдения законов).

25. *...Платон и рассматривает...* — см. «Законы», кн. IV, с. 719 и до конца книги.

26. *...суровость наказаний...* — Руссо следует тут мыслям, высказанным Монтескье как в «Персидских письмах» (письмо XXX), так и в «Духе законов» (кн. VI, гл. IX, XII и XIV).

27. См. развитие этих мыслей в «Общественном договоре» (кн. II, гл. XI и кн. III, гл. VIII). Связь эта указывает на значение данной статьи в творческой истории этого трактата.

28. *Оснований собирать нацию тем меньше...* — Пример изменения точки зрения Руссо, который в «Общественном договоре» высказывается как раз за частый созыв общих собраний данного народа (кн. III, гл. XIII) для выявления общей воли.

29. *В Китае...* — В отличие от «Духа законов» Монтескье и книг других авторов той эпохи Китай занимает в политических сочинениях Руссо сравнительно скромное место. Все же в данной статье он трижды ссылается на пример этого государства (которое сызло в XVIII в. образцовым), не указывая, однако, своих источников.

Мы знаем, что по просьбе г-жи Дюпен он читал «Описание Китайской империи» отца Дю Хальда, к которому часто прибегал Монтескье.

30. *...интенданта сажают в тюрьму.* — Здесь Руссо применяет термин, бытовавший во Франции, где интендантами именовались наместники, управлявшие отдельными провинциями и областями.

31. *...в центре и на севере Азии...* — В оригинале «Tartarie» (Тартария). Во французской системе географических наименований XVIII в. под этим понимались обширные пространства Центральной и Северной Азии за Уралом, в Сибири, в Монголии, заселенные, по мнению авторов, народами преимущественно тюрко-монгольского происхождения. Само слово «Tartarie», возможно, связано со словом «татары».

32. *...самого Сократа Катону...* — В «Исповеди Савойского викария» Руссо по сходным мотивам противопоставляет Сократа Иисусу.

33. *Августин. Аврелий (354—430)*, епископ Гиппонский (в Северной Африке); крупнейший древнехристианский богослов, философ-мистик.

34. *Помпей, Гней (106—48 гг. до н. э.)*, римский полководец и политический деятель. В 60 г. до н. э. вступил в состав Триумвирата, включавшего Красса и Юлия Цезаря; в борьбе с последним за власть потерпел поражение, бежал в Египет, где был убит.

35. *...воюет с софистами...* — Софисты (греч. — мастер, художник) — древнегреческие философы, являвшиеся учителями «мудрости» и «красноречия» (V в. до н. э.). «Старшие» софисты в большинстве своем были материалистами в понимании природы (Протагор, Гипсий и др.). Они выражали интересы рабовладельческой демократии. Другая группа тяготела к рабовладельческой аристократии (Критий, Гипподам) и являлась идеалистами. Софисты в спорах нередко использовали всякого рода уловки, неправомерные доводы, отсюда — софизм.

36. *...от завоевателей мира...* — Имеется в виду главным образом Юлий Цезарь, завоевавший Галлию, Египет, ведший войну в Британии и на Балканах.

37. *...покидает землю...* — После поражения своих сторонников, республиканцев, Катон Младший в 46 г. до н. э. покончил с собой.

38. *...не может отказать никому?* — Руссо связывал весьма тесно и, может быть, даже несколько односторонне понятие о патриотизме с чувством гражданским, политическим. Он писал 1 марта 1764 г., в горькие для него дни изгнания, из Мотье, полковнику Пикте: «Не стены и не люди образуют отечество: это делают законы, нравы, обычаи, Правительство, конституция, всем этим обусловленный образ жизни. Отечество заключено в отношениях между Государством и его членами: когда они изменяются или уничтожаются, исчезает и отечество; итак, милостивый государь, оплатем наше: оно погибло, а остающийся ныне призрак способен лишь его позорить» (С. Г., X, р. 337—338).

39. *...или уничтожил другого...* — В черновике далее говорится: «кроме тех случаев, когда речь идет о самосохранении общественного целого и частного лица» (conservation publique et particulier).

40. *...основные соглашения...* — Речь идет о самом общественном договоре, т. е. об акте, оформляющем ассоциацию.

41. *...своим имуществом...* — В черновике добавлено: «и своей свободой».

42. Подразумевается Александр Македонский. Вынести осуждающий приговор в Афинах могло лишь народное собрание голосованием, подвергая обвиненного остракизму — изгнанию.

43. *...среди всего великолепия триумфов.* — Триумф — в Древнем Риме — торжественный въезд в столицу победоносного полководца по окончании похода.

44. *Порций Лека* — народный трибун (199 г. до н. э.) — автор «Порцийских законов» (*leges Porciae*), запрещавших наказание плетью и смертную казнь для римских граждан.

45. *...ремесел полезных и трудных...* — Мысль эта восходит к Платону («Государство», кн. II, 13, 372 с—373 d).

46. *...дурным гражданином.* — Идя вслед за Монтескье, для которого каждый вид правления основывался на определенной страсти, Руссо им придает большое значение в системе политической организации: «Все человеческие установления основаны на страстях и поддерживаются ими: все то, что борется против страстей и подавляет их, не способно, следовательно, укреплять эти установления» («Письма с Горы», письмо первое).

47. Ср. «Общественный договор», кн. II, гл. VII.

48. *...повиноваться другим...* — В «Эмиле» (кн. II) Руссо займет противоположную позицию.

49. *...результат воспитания...* — В черновике после этого: «ибо они могли бы из них сделать очень хороших сыновей и очень плохих граждан».

50. *Общественное воспитание... осуществляемого посредством законов.* — В черновике мысль об общественном воспитании развита следующим образом. «Оно является одним из основных принципов правления народного и основанного на законах (*populaire et légitime*), и при его помощи станут «удачно» наставлять молодых граждан в том, как надо соединять все свои страсти в любви к отечеству, все свои желания в общей воле, и как, следовательно, возвысить свои добродетели до такой высоты, куда их может вознести человеческая душа, воспитанная для столь великих целей».

51. *...и вершиною...* — В дальнейшем Руссо изменил свой взгляд на последовательность получения роли воспитателя. Сначала Руссо считал, что она самая почетная и тем самым достойна увенчать деятельность гражданина, позже эта должность становится в его глазах лишь первым шагом на пути служения обществу.

52. *...критяне, лакедемоняне и древние персы...* — Действительно, древние греки и персы уделяли большое значение общественному воспитанию детей.

53. *...совершило чудеса.* — Руссо здесь непосредственно отправляется от Монтеня («Опыты», кн. II, гл. XXXI), а косвенно от Платона, отстаивающего идею общественного воспитания как в «Государстве», так и в «Законах» (кн. I), где он имеет в виду опыт Спарты и Крита.

54. ...никогда не бесполезен. — Ср. «Эмиль», кн. III.

55. ...к управлению имуществом. — Было бы полезно исследовать соотношение этого определения Руссо с формулировкой сенсимонистов, различавших управление людьми и управление вещами.

56. ...как показал Пуфендорф... — См. «О праве естественном и праве международном», кн. IV, гл. X, § 4.

57. ...предназначенными для другого. — В «Эмиле» (кн. III) на очень широкой основе, в предвидении приближающихся революций, отвергнута эта точка зрения, отдающая дань влияниям консервативным и патриархальным.

58. Ср. «Общественный договор», кн. III, гл. IV.

59. ...состоит трудность справедливой и мудрой экономики. — В черновике говорится: «Чтобы устранить эти противоречия, представим себе дела (gerpenons les choses) после установления Правительства и станем исследовать не то, что есть, а то, что должно было бы быть» (moins ce qui est que ce qui devrait être). Это одно из ярких свидетельств намечающегося уже в этой статье нормативного подхода к анализу явлений общественной жизни, окончательно возобладавшего в «Общественном договоре».

60. ...основатель учрежденной Республики... — Это законодатель, охарактеризованный подробно в «Общественном договоре» (кн. II, гл. VII).

61. ...разойтись в мнениях с Бодэном... — Жан Бодэн (1530—1596) — французский политический мыслитель. Считал частную собственность неприкосновенной, а причину переворотов видел в существовании имущественной дифференциации. Его сочинение «Шесть книг о Государстве» имело большое и еще недостаточно изученное влияние на Руссо. В данном случае имеется в виду книга VI этого сочинения, гл. II, стр. 617, изд. 1577 г.

62. Ромул — вместе с братом его Ремом — по преданию, внуки Нумитора, царя Альбалонги, основавшие Рим, названный Ромулом по своему имени, где он стал его первым царем в 753—716 гг. до н. э.

63. ...квестора Катона... — Речь идет о Катоне Утическом, успешно исправлявшем в 65 г. до н. э. пост квестора — одного из управляющих государственной казной, эрариумом.

64. ...мало находится Гальба... — Гальба Сервий Сульпиций (5 г. до н. э.—69 г. н. э.) — в 68—69 гг. н. э. римский император. Возможно, Руссо имеет в виду тот факт, что, будучи уже в 32 г. н. э. консулом и правителем нескольких провинций, Гальба при преемниках Августа отклонял предложения стать императором, управлял Африкой и Испанией и только после низвержения Нерона принял этот сан.

65. ...поставку хлеба в годы неурожайные... — Руссо воспроизводит конкретные черты экономической политики французского абсолютизма. См. об этом: Г. Е. А ф а н а с ь е в. Условия хлебной торговли во Франции в конце XVIII столетия. Одесса, 1892.

66. ...*устроить общественные склады*. — Руссо высказывает здесь точку зрения, противоположную развитой основателем доктрины физиократов Кенэ в статье «Зерно» в VII томе «Энциклопедии» (1757), написанной с позиций буржуазного требования свободы торговли, где он решительно выступал против идеи общественных складов. К этой мысли внимание Руссо, кроме опыта Женевы, могла привлечь еще и книга Ж. Мелона «Политический опыт о торговле и промышленности», считавшего, что в небольших странах такого рода склады могут быть весьма полезны.

67. *Иосиф* («Прекрасный») — по библейским сказаниям — один из сыновей патриарха Иакова, проданный своими братьями в Египет и занявший впоследствии высокую должность при дворе египетского фараона. Он воспользовался семилетним неурожаем, чтобы превратить независимых землевладельцев в государственных крестьян и заставить их платить казне пятую часть своего дохода.

68. ...*отбираем у людей полезных*. — В черновике добавлено: «что рано или поздно должно привести к разорению народа и к обезлюдению страны».

69. ...*победы Александра*... — Речь идет об Александре Македонском.

70. *Лишь при осаде Вей начали платить римской пехоте*... — На значение этого факта Руссо обратил внимание благодаря Монтеスキе (См. «Размышления о причинах величия и падения римлян», гл. I). Вейи — этрусский город, расположенный к северу от Рима, который вел с ним упорную и долгую войну.

71. ...*Марий был первым, кто во время Югуртинской войны*... — Марий (156—86 гг. до н. э.) — римский полководец, началом его военной славы послужили победы в войне с нумидийским царем Югуртой (111—105 гг. до н. э.).

72. ...*быть телохранителями Цезаря*... — В Риме телохранителями царей было 300 всадников. Сципион впервые набрал себе телохранителей из римских воинов, получивших при Марии название преторианцев. Преторианская гвардия была преобразована при Августе и приобрела огромное влияние.

73. ...*мирное пользование тем, что ему принадлежит*. — Характер этого определения еще раз свидетельствует о близости многих мыслей этой статьи Руссо к Локку, писавшему, что «основной целью вступления людей в общество является стремление мирно и безопасно пользоваться своей собственностью» («О гражданском правлении», гл. XI, § 134. — Избр. философ. произв., т. II, стр. 76).

74. ...*при обложении*. — На полях черновика в этом месте написано: «Смотри у Локка», что подтверждает сказанное выше.

75. ...*или его представителей*... — Эта мысль и сама ее формулировка также взяты у Локка, считавшего, что для сбора налогов всегда необходимо получать согласие большинства, которое дает его либо само, либо через посредство избранных им представителей («О гражданском правлении», гл. XI, § 140. — Избр. фило-

соф. произв., т. II, стр. 82). Вероятно, именно этим влиянием Локка в данном случае объясняется и то, что в своей статье Руссо отводит такого рода важную роль представителям народа, правомерность самого института которых он впоследствии будет отрицать (см. «Общественный договор», кн. III, гл. XV).

76. ...не исключая самого Бодэна. — Бодэн писал, что монархи «не имеют права облагать своих подданных налогом без их согласия» («Шесть книг о Государстве», кн. VI, гл. II).

77. ...в книге О духе законов. — См. М о н т е с к ь е. О духе законов, кн. XIII, гл. XIV.

78. ...обложение... для свободных людей. — В черновике следовали за этим следующие строки о косвенных налогах, затем вычеркнутые автором: «Что касается обложения зерна и товаров, то здесь трудно сделать так, чтобы оно было пропорциональным имущественному положению отдельных групп, потому что есть пищевые припасы, которые бедняки потребляют в большем количестве, а их-то преимущественно и облагают налогами».

79. ...различие между необходимым и избыточным. — Этим понятием пользуется также и Монтескье для определения роскоши («О духе законов», кн. XIII, гл. VII); понимая его весьма относительный характер, авторы XVIII в. не могли внести сюда никаких уточнений.

80. ...сверх необходимого. — Монтескье («О духе законов», кн. XIII, гл. VII), вопреки утверждению Руссо, также учитывает относительную тяжесть налога для той или иной категории населения.

81. ...приказывать вам. — Этот отрывок К. Маркс приводит в I томе «Капитала», вставив в начале, после слов «вы во мне нуждаетесь», — «говорит капиталист» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 23, стр. 756).

82. ...поземельная талья... — Налог, падавший во Франции при «старом порядке» всей своей тяжестью на Третье сословие, т. е. в основном на крестьян, так как духовенство и дворянство были от него освобождены.

83. ...стеснения народа. — Однако впоследствии, например в «Соображениях об образе Правления в Польше» (1772), Руссо решительно выскажется в пользу поземельного налога, взимаемого при этом без всяких исключений.

84. ...сколько родит его поле... — Такая система существовала во Франции, о пагубных ее последствиях Руссо говорит в своей «Исповеди» (Избр. соч., т. III, стр. 148—149).

85. Дарий I Гистасп (550—485 гг. до н. э.) — персидский царь, совершавший походы в Скифию и против греков.

86. ...и не делает их ни более, ни менее самостоятельными. — Это критика доктрины меркантилизма, отождествлявшей умножение количества денег в стране с ростом благосостояния населения.

87. В «Шести книгах о Государстве» (кн. VI, гл. II) Бодэн называет этих людей *imposteurs*. Тогдашнее написание этого слова

придавало ему внешнюю форму, аналогичную с графемой слова «обманщики», «лжецы», что во времена Руссо создавало определенную игру слов, которая пропала с того момента, как слово «налог» стало писаться не «*impôt*», а «*impôt*».

### ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ, ИЛИ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРАВА

То центральное место, которое занимает этот трактат в творчестве Руссо, как социального и политического мыслителя, делает излишним его характеристику в данной справке. Историю публикации трактата освещает переписка Руссо с его постоянным издателем М. Реем в Амстердаме (см. «*Lettres inédites de J.-J. Rousseau à Marc-Michel Rey*», publ. par. J. Bosscha. Amsterdam—Paris, 1858, а также переписка Руссо с другими лицами (С. Г., т. VII). Библиографию изданий содержит книга Сенелье (J. Senelier. *Bibliographie générale des oeuvres de J.-J. Rousseau*. Paris, 1950). На русский язык «Общественный договор» переводился в конце XVIII в., однако этот перевод не был опубликован; затем «Общественный договор» переводился В. Ютаковым в 1903 г., С. Нестеровой (1906), Френкелем (1906) и Л. Немаковым (1907).

Основными критическими изданиями являются издания Ч. Вогана (J.-J. Rousseau. *Political writings*, v. II, p. 1—134) и отдельное издание 1918 г.; наиболее подробный комментарий: J. Beaulavon (1918), M. Halbwachs (1943) и P. Дерагэ в Собр. соч. Руссо в библиотеке «Плеяда», т. III, Париж, 1964.

1. *Этот небольшой трактат извлечен мною из более обширного труда...* — Речь идет о «*Политических установлениях*», о которых Руссо в письме к Мульту от 18 января 1762 г. сообщал, что предпринял эту работу десять лет тому назад, т. е. примерно 1752 г. (С. Г., т. VII, p. 63—64). До нас дошел только первый набросок «Общественного договора», попытки же рассматривать отдельные наброски и отрывки как части первоначального сочинения оказались несостоятельными (см. J.-J. Rousseau. *Contrat social*, ed. E. Dreyfus-Brissas. Paris, 1903).

2. *Я хочу исследовать, ...если принимать людей такими, каковы они, а законы — такими, какими они могут быть.* — Это определение отчетливо указывает на отличие целей Руссо от задач Монтескье, который в своем «*Духе законов*», как отмечено в «*Эмиле*» (кн. V, п. 377), довольствовался изучением права так называемого позитивного, т. е. известного из практики и существующих в разных государствах видов практик, в то время как Руссо делает предметом своего исследования само политическое право, в его теоретическом виде, и законы — в их идеальном, т. е. нормативном виде. При этом он намерен опираться на нравственность и логику, а не на историю и юриспруденцию. «Я ищущу права и основания (*droit et raison*) и не оспариваю фактов», —

говорит он в первом наброске «Общественного договора» (см. стр. 318 в изд. 1969 г.).

3. *...чтобы не оказалось никакого расхождения между справедливостью и пользой.* — В этой формулировке проявляется представление Руссо об изначальном характере справедливости. Но зародыш ее, присущий человеку, может развиваться только в общественном, гражданском состоянии. Именно сочетание справедливости и пользы должно позволить Общественному организму (Corps social) укрепить свою внутреннюю связь и прочность.

4. *Поскольку я рожден гражданином свободного Государства и членом суверена...* — Речь идет о Женевской Республике, сыном гражданина которой родился Руссо. Говоря о том, что он является членом суверена, Руссо мог иметь в виду и народ Женевы в целом и ее Генеральный Совет, куда входили только две полноправных категории жителей.

5. *Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах.* — Противопоставление это в сущности метафизично, ибо в дообщественном состоянии человек не был свободен уже из-за крайнего подчинения своего силам природы. В «Эмиле» (кн. II, п. 35) Руссо разъясняет, что существует два вида зависимости человека: зависимость от вещей (лежащая в самой их природе), и зависимость от других людей (создаваемая обществом). Первая, не заключая в себе никаких элементов нравственных, якобы не вредит свободе и не порождает в человеке никаких пороков; вторая же, не будучи упорядочено (а это нельзя сделать в общественном состоянии по отношению к какой-либо частной воле), порождает все пороки. Положение о том, что человек рождается свободным, противостоит тезису идеологов «старого порядка», например Боссюэ, о том, что «все люди рождаются подданными».

6. *Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они.* — Понятие о рабской зависимости фигурирует здесь в переносном смысле, что видно опять-таки из более распространенного изложения этой мысли в «Эмиле» (кн. II, п. 27). Руссо утверждает, что свобода и власть человека простираются лишь до тех пор, куда простираются его природные силы; остальное — это рабство, иллюзии, тщеславие. Самое господство бывает рабским, когда оно основано на человеческих предрассудках (именно таково в данном случае значение понятия *opinion*), ибо в этом случае человек зависит от предрассудков тех, которыми управляет с помощью предрассудков. «Чтобы руководить ими как тебе угодно, ты должен вести себя — как им угодно». Так, правитель оказывается подданным своих министров, те — своих секретарей, хозяева — своих слуг. Поэтому важнейшее благо не власть, а свобода. См. также «Письма с Горы», письмо VIII.

7. *Самое древнее из всех обществ и единственное естественное — это семья.* — В этом определении Руссо явно отступил от позиций, которые он занимал в статье «О политической экономии» и в первом наброске «Общественного договора» (см. стр.

319 в изд. 1969 г.), где он выступает в качестве решительного противника патримониальной теории, видевшей происхождение общества в семье и выводившей власть монарха из власти отцовской. Это изменение взглядов Руссо может объясняться тем, что в трактовке семьи в окончательном тексте «Общественного договора» он делает упор на роль соглашения в ее сохранении и упрочении и в этом смысле видит в ней древнейшую модель общества. Ранее же отношение Руссо к договорной теории происхождения общества было гораздо более сдержанным. В своей новой аргументации Руссо опирается на Бодэна, утверждавшего, что руководством делами семьи представляет «подлинную модель управления Государством» («Шесть книг о Государстве», кн. I, гл. II), и на Локка («Опыт о гражданском управлении», гл. V, §§ 4, 14, 23).

8. *Гроций отрицает, что у людей всякая власть устанавливается для пользы управляемых...* — См. Гуго Г р о ц и й. О праве войны и мира. Книга первая, гл. III, VIII, 1—16. Этот философ утверждал, что положение о решающей роли интересов подданных при установлении власти не является всеобщей истиной, поскольку некоторые правительства сами по себе существуют ради правителя, как, например, правление хозяина, при котором польза раба — чужда и случайна для хозяйства (Г. Гроций, указ. соч., стр. 132).

9. *Так же полагает и Гоббс.* — Имеется в виду в особенности его книга «Левиафан» (ч. II, гл. XVIII), в которой этот философ исходит из того, что члены общества, обязавшись по общественному договору повиноваться монарху, не могут без его разрешения ни изменять форму правления, ни осуждать действия этого монарха, ни наказывать его, равно как и посягать на его право судить их, объявлять войну и заключать мир, назначать министров и т. д. (см. Т. Г о б б с. Избр. произв. в двух томах, т. 2, стр. 197—209).

10. *Филон Александрийский, или Филон-иудей* (ок. 20 г. до н. э.—54 г. н. э.) — видный представитель еврейского эллинизма. Участвовал в посольстве, направленном еврейской общиной Александрии к римскому императору Гаю Цезарю Калигуле (37—41 гг. н. э.) в поисках защиты от преследований за отказ воздвигнуть его статуи в синагогах. Посольство это было отвергнуто императором, и Филон написал тогда посвященное этой коллизии защитительное сочинение, прочитанное в римском сенате после смерти Калигулы.

11. *Аристотель прежде, чем все они...* — См. его «Политику», кн. I, гл. V, где утверждается: «Природа, в видах сохранения, создала определенные существа, чтобы повелевать, и другие, чтобы повиноваться». В противоположность Руссо Г. Гроций полностью солидаризировался с этой концепцией; больше того, он фактически шел еще дальше, добавляя к этому положению Аристотеля, что «так точно и некоторые народы по свойственному им образу мыслей предпочитают лучше подчиняться, нежели господст-

зовать», и приводит ряд примеров, трактуемых им в этом духе (Г. Г р о ц и й. О праве войны и мира, кн. 1, гл. III, стр. 129).

Отрывок из книги Аристотеля, резюмированный Руссо, цитируется Пуфендорфом («О праве естественном и праве международном», кн. III, гл. II, п. 8).

12. *...Трактат...* — В первом издании после этого слова стояло «рукописный» и в связи с этим отсутствовало указание на место издания. Оно было осуществлено в 1765 г. в Амстердаме под названием: «Соображения о древнем и нынешнем Правлении Франции».

Маркиз Р. Л. д'Аржансон (1694—1757) занимал в 1744—1747 годах пост министра иностранных дел, но был удален вследствие происков фаворитки, маркизы Помпадур.

13. *...вплоть до желания от них освободиться...* — В этом утверждении проявляется свойственная Руссо недооценка силы и упорства сопротивления рабов, обусловленная, возможно, недостаточной изученностью в XVIII в. истории классовой борьбы эпохи античности.

14. *...спутники Улисса...* — Улисс — латинское имя Одиссея. Имеются в виду его спутники, о которых в кн. X поэмы Гомера «Одиссея» повествуется, что на острове Эя волшебница Цирцея превратила часть их в свиней. Однако здесь ничего не говорится о том, что они полюбили свое скотское состояние.

15. *...ни о короле Адаме, ни об императоре Ное...* — Иронически титулуя королем первого человека, согласно библейской традиции вылепленного богом из глины, Руссо, возможно, намекает на книгу Р. Филмера «Патриарх». Французский переводчик книги Пуфендорфа — Барбейрак в одном из своих примечаний пишет, что Филмер выводит неограниченную власть современных монархов из верховной власти Адама.

Ной — библейский патриарх, спасшийся со своей семьей во время всемирного потопа и давший затем основание новому роду. Развивая свой намек, Руссо именует Ноя императором, а под тремя великими монархами, возможно, подразумевает его сыновей — Хама, Сима и Иафета.

16. *...дети Сатурна...* — Сатурн — римское имя греческого бога Кроноса, младшего из Титанов, отца Зевса.

17. *...Робинзон...* — Имеется в виду герой романа «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо из Йорка» (1719) английского писателя Даниэля Дефо (1660—1731).

18. *Всякая власть — от Бога...* — Воспроизведение текста из Евангелия: «Ибо нет власти не от Бога» («Послание к римлянам апостола Павла», 13). Утверждая, что повиноваться следует только властям законным, и определяя закон как выражение общей воли членов данного общества, Руссо тем самым фактически отрицает традиционную богословскую аргументацию божественного происхождения, а следовательно, незыблемого характера прерогатив всякого монарха.

19. Это одна из центральных по значению глав всего трактата. Написана она, вероятно, в период разработки главного вопроса — о природе общественного договора, — одной из последних, ибо нет следов ее происхождения в первом наброске трактата и по сравнению с самим заголовком и замыслом разработана она совсем в другом плане.

Предполагалось, очевидно, вначале историческое рассмотрение вопроса об античном рабстве (в плане «Духа законов» Монтескье, который гл. II кн. XV своего труда посвятил взглядам римских законников на происхождение рабства). Но вместо спора с Аристотелем и другими авторами древности, Руссо ополчается на Гроция, Гоббса и Пуфендорфа.

Задача главы — опровергнуть тезис первого из них о том, что вовсе не является истиной, будто суверенитет всегда и без исключения принадлежит народу. Тем самым Руссо готовит читателя к восприятию гл. I кн. II — О неотчуждаемости суверенитета.

20. *...говорит Гроций...* — Имеются в виду следующие слова этого философа: «Каждый человек волен отдаться кому угодно в личную зависимость <...> Так разве же не волен свободный народ также подчиниться кому угодно <...> не сохранив за собой ни малейшей доли этой власти» (см. Гуго Г р о ц и й. О праве войны и мира. Кн. I, гл. III, VIII, стр. 128).

21. Уже один из первых оппонентов — Э. Люзак в «Письме анонима к Ж. Ж. Руссо» (1766) — выступил против того, что последний свел понятие об «отчуждении» только к двум случаям — дать или продать, и заявил, что оно означает всякую передачу права, почему и может осуществляться многими путями и способами.

22. *...как говорит Рабле...* — Имеется в виду роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» великого французского писателя-гуманиста Ф. Рабле (1483—1555), изобразившего потребности короля в крайне преувеличенном виде.

23. *...в пещере Циклопа...* — Имеется в виду «Одиссея» Гомера, в девятой песне которой содержится этот эпизод. Циклоп — одноглазый великан в греческой мифологии.

24. *...безумие не творит право.* — См. Ш. М о н т е с к ь е. «О духе законов», кн. XV, гл. II.

25. *Гроций и другие видят происхождение... права рабовладения еще и в войнах.* — См. Г. Г р о ц и й. О праве войны и мира, кн. III, гл. VII, «О праве на пленных», где он писал: «По природе, т. е. независимо от человеческих действий, или в первобытном состоянии природы, никто из людей не является рабом... В этом смысле можно принять за истину изречение юристов, что рабское состояние противно природе. Однако, когда рабство возникает в силу акта человека, т. е. вследствие договора или правонарушения, оно не противоречит естественной справедливости. Провозглашая, что взятые в войне, формально объявленной (solepennement), что ошибочно передано в цитируемом выше нашем новей-

шем переводе, как «торжественная (!?) война»), все пленные становятся рабами в силу международного права, Гроций присоединяется к мнению тех античных авторов, которые маскировали подлинные цели этого порабощения заботой о жизни пленнных и в связи с этим само наименование раба (*servus*) выводили из обычая сохранять им жизнь (*servare*), вместо того чтобы убивать.

26. *...от природы люди вовсе не враги друг другу.* — Это утверждение прямо направлено против концепции Т. Гоббса (см. «О гражданине», гл. I и «Левиафан», ч. II, гл. XIII), которая подвергается еще более острой и открытой критике в незавершенной работе Руссо «Состояние войны» (см. J.-J. Rousseau. *Political writings, with introductions and notes by C. E. Vaughan, v. I. Cambridge, 1915, p. 281—308*).

27. *...не может существовать войны частной...* — Этот тезис Руссо направлен одновременно как против концепции войны каждого против каждого в естественном состоянии, развивавшейся Гоббсом, так и против политической практики осуждаемого здесь Руссо феодализма.

28. *...Установлениями Людовика IX...* — Людовик IX — французский король из династии Капетингов (1226—1270), по прозванию Святой. Подразумеваемые здесь преобразования способствовали укреплению центральной власти и преодолению проявлений феодальной раздробленности и анархии.

29. *...что прекращались Божьим миром...* — Под этим названием (*Pax Dei* или *Treuga Dei*) известны постановления, принимавшиеся первоначально в порядке самозащиты католической церковью, а затем воспринятые в своих интересах и королевской властью в ряде стран в средние века: запрещение вести военные действия в определенные дни и периоды (праздники и посты) в отношении духовенства, монастырей и церквей, затем женщин, купцов и т. д.

30. *...системы самой бессмысленной...* — В данном случае Руссо, как и многие его современники, под феодальным правлением (*gouvernement féodal*), по-видимому, подразумевает существование иерархии политической власти и сохранение широких прерогатив в руках более крупных владетельных señоров, соперничество и борьба которых принимает форму характерных для этой эпохи феодальных междоусобиц.

Говоря о том, что эта система противна всякому упорядоченному внутреннему управлению, Руссо употребляет термин *politie*, ведущий свое происхождение от древнегреческой терминологии, в которой оно означало «внутреннее устройство». Боясь, чтобы термин этот не был смешан с *politique* (политика) Руссо предупредил издателя «Общественного договора» Рея, в письме к нему от 23 декабря 1761 г., о недопустимости подобной ошибки. В дальнейшем изложении Руссо многократно пользуется этим понятием, но уже выраженным в словах французского языка (*police*) и значение которого восходит к древнегреческой «полити-

ке» в смысле «правление», «внутреннее управление», как это передавали по-русски в XVIII в. — «уставы благочиния».

31. ...*Катон-сын начинал свою военную службу...* — Речь идет о Марке Порция Катоне Лицинии, который служил в 173 г. до н. э. в римских легионах в Лигурии (южное побережье современной Франции и граничащие с ним области Италии), умер в 152 г. до н. э.

32. ...*Катон-отец написал Попилию...* — Отец Марка Порция Катона Лициния Марк Порций Катон Старший, или Цензор (234—149 гг. до н. э.).

Попилий — Марк Попилий Лений, будучи консулом в 173 г. до н. э. успешно вел войну в Лигурии.

33. ...*осаду Клузиума...* — Клаузиум — главный город Этрурии, где в 225 г. н. э. галлы одержали победу над римлянами.

34. ...*победитель не имеет более никакого права на их жизни.* — Ср. Ш. Монтескье. О духе законов, кн. X, гл. III, «О праве завоевания», в которой уже были высказаны эти мысли (Избр. произв., стр. 275—277).

35. Ср. Ш. Монтескье. «О духе законов», кн. XV, гл. II.

36. ...*не приводит к уничтожению состояния войны...* — Этот вывод вносит существенный корректив в сказанное Руссо выше о том, что якобы рабы начинают любить свое рабское состояние.

37. ...*основание общества.* — Руссо возражает против теории двойного договора — пакта ассоциации и акта подчинения народа правителю, выдвинутой Пуфендорфом («О праве естественном и о праве международном», кн. VII, гл. II). Для Руссо подлинным договором является лишь первый из них.

38. ...*люди не могут создавать новых сил...* — В этом рассуждении явственно ощущается влияние на мышление Руссо в области социологии механицистских тенденций философской мысли XVIII в.

39. *Такова основная задача, которую разрешает Общественный договор.* — Подобная трактовка концепции договорного происхождения государства была направлена против прочно укоренившегося до того отождествления понятия о суверенитете с правами единоличного и неограниченного государя (англ. — *sovereign*, франц. — *souverain*, итал. — *sovrano*), т. е. как атрибута правительственной, королевской власти, но ни в коем случае не народа.

40. В первом наброске: «неотъемлемой», буквально неотчуждаемой (*inaliénable*).

41. ...*акт ассоциации...* — В первом наброске: «акт первоначальной конфедерации».

42. ...*к суверену.* — В этом коренное отличие понятия об этом акте у Руссо и у Гоббса, видевшего в этом серию взаимных соглашений между частными лицами (*mutual covenants one with other*), и у тех теоретиков, кто видел здесь акт подчинения народа избранным им правителям. У Руссо же люди образуют сами две

договаривающиеся стороны, ибо они рассматриваются с двух точек зрения — как члены суверена и как частные лица, подданные Государства. Собравшись, народ образует то целое (суверен), с которым он и заключает соглашение.

43. *...а горожанина — за гражданина.* — Здесь Руссо опирается на главу шестую книги первой «Шести книг о Государстве» Бодэна; она называется «О гражданине и о различии между подданным, гражданином, чужеземцем, городом, городской общиной и Государством». Бодэн здесь утверждает, что «город (ville) — это городская община (cité), как это некоторые пишут, не в большей мере чем дом составляет семью». Понятие о гражданской общине (sité) оформляется у Бодэна на почве развития во Франции городов-коммун и при использовании представлений античности о полисе греков и civitas римлян (см., например, Цицерон. De officiis, I, 17, 53).

44. *Когда Бодэн собрался говорить о наших Гражданах и Горожанах...* — Имеется в виду то место главы VI первой книги Бодэна о государстве, в котором говорится: «В Женеве Гражданин не может быть ни Синдиком города, ни членом Совета XXV, а Горожанин может ими быть», в то время как в действительности дело обстояло как раз наоборот.

45. Имеется в виду статья «Женева» в VII томе «Энциклопедии» (1757), на которую Руссо ответил «Письмом к д'Аламберу о зрелищах» (Избр. соч., т. I, стр. 65—178).

46. Этот аргумент уже был учтен Гоббсом («О гражданине», гл. VI, п. 14).

47. *...не обязателен даже Общественный договор.* — Вот это признание за народом, как сувереном, ничем не ограниченного права изменять законы своего государства, даже самые лучшие, и лежащее в их основе первоначальное соглашение, а следовательно, изменять и форму правления — и вызвало в Женеве ярость ее буржуазной олигархии. Ведь принципы и статьи Конституции Женевы по Акту о посредничестве 1738 г. подчеркивали, что она представляет собою договор между правящими и управляемыми и может быть пересмотрена лишь с взаимного «согласия обеих сторон».

48. *«Святость Общественного договора и законов»* фигурирует ниже среди позитивных принципов гражданской религии (кн. IV, гл. VIII, стр. 254).

49. *...никому из них в отдельности.* — В отличие от Правительства, имеющего дела с отдельными гражданами, Суверен, т. е. народ как целое, знает только ту их совокупность, общие интересы которой отражает и выражает общая воля, проявляющаяся в законе, трактующем предмет общего характера, затрагивающий всегда равно всех граждан и никогда никого из них в отдельности.

50. *...за потребностями и трудом...* — Наличие этих условий делает у Руссо, в отличие от Локка («О государственном управле-

нии», кн. II, гл. V), понятие о трудовой собственности конкретным и недвусмысленным.

51. *Когда Нуньес Бальбоа...* — Васко Нуньес де Бальбоа (1475—1517) — испанский мореплаватель, авантюрист, конквистадор.

52. *...как хранители общего достояния...* — Эта мысль будет воспринята идеологами демократических групп в период буржуазной революции 1789 г. в процессе борьбы со стяжательскими тенденциями и спекулятивными действиями городской и сельской буржуазии.

53. Ср. Г о б б с. О Гражданине, гл. XII, п. 7.

54. *Но наши политики...* — Здесь Руссо имеет в виду не Монтескье, как это обычно считают, а Гроция, Барбейрака и Бурламаки, считавших, что суверенитет должен быть разделен между отдельными лицами или органами, в то время как для Руссо неделимая суть его сводится к осуществлению права законодательства, а многие из тех прерогатив, в которых названные ученые видели также «части» суверенитета, Руссо относит не к нему, а к компетенции верховной исполнительной власти.

55. *Каждый может увидеть в третьей и четвертой главах первой книги Гроция.* — Речь идет о сочинении Гроция «О праве войны и мира».

56. *Георг I (1714—1727)* — английский король, ранее — курфюрст Ганноверский (под именем Георга Людвига — 1698—1714).

57. *Яков II (1685—1688)* — английский король из династии Стюартов, пытавшийся восстановить абсолютную королевскую власть. Реакционная политика Якова II вызвала недовольство, и в 1688 г. заговорщики пригласили на престол его зятя — Вильгельма Оранского, штатгаудера Нидерландов. Последний с помощью нидерландского флота высадился в Англии и низложил Якова II. Эти события получили в буржуазной историографии название «Славной революции».

58. *...чтобы не выставить Вильгельма узурпатором.* — Речь идет об охарактеризованной выше т. н. «Славной революции» 1688 г., фактически представлявшей собой дворцовый переворот, осуществленный в Англии новым дворянством и буржуазией.

59. По мнению некоторых исследователей, при написании этой и следующей главы большую роль сыграла статья Дидро «Естественное право», опубликованная в V т. «Энциклопедии». Налицо даже текстуальная близость некоторых формулировок, хотя в то же время несомненно стремление Руссо прийти к собственному пониманию и определению сущности общей воли.

60. *...он желает дурного.* — Руссо применяет здесь к общей воле известное рассуждение Сократа о поведении индивидуумов, согласно которому никто не является злым по собственной воле, которая всегда имеет верное направление, а в понимании ее.

61. *...частичные ассоциации...* — Гоббс называет их «подчиненные объединения».

62. См. д'Аржансон «Соображения о древнем и нынешнем правлении Франции», гл. II. Как это часто бывает у Руссо, цитата приведена не совсем точно.

63. *Нума Помпилий* — по преданию, второй из семи римских царей. С его именем связан ряд правовых и религиозных реформ.

64. *Сервий Туллий* (578—534 гг. до н. э.) — шестой римский царь, сын одного из богов и рабыни Тарквиния Приска, который сделал его своим зятем. Сервию Туллию приписывается реформа, разделившая население столицы, включая плебеев, на основании имущественного ценза, на 193 центурии, а все население и всю территорию Рима на 4 городских и 26 сельских округов, или триб. Он был убит своим зятем Тарквинием Гордым.

Имена Нумы и Сервия объединены с Солоном как авторов реформ, отнюдь не предупредивших рост политического неравенства между отдельными группами граждан.

65. *Маккиавелли*. История Флоренции, кн. VII.

66. См. *Локк*. О гражданском правлении, гл. VIII.

67. *Спрашивают: как частные лица...* — Это ответ на вопрос, поставленный Локком (см. «О гражданском правлении», гл. IX).

68. *...то право, которого у них нет.* — Самоубийство с точки зрения Руссо не есть использование права. См. письмо милорда Эдуарда в «Новой Элоизе» Руссо (часть III, письмо XXII. — Избр. соч., т. II, стр. 325—331). Ср. *Локк*, назв. соч., гл. III.

69. *...кого опасно оставлять в живых.* — Этот ход рассуждения приводит к выводу о том, что право наказания и его пределы может определяться только правом законной защиты общества. Эту точку зрения несколько позже разовьют итальянские просветители Ч. Беккариа, в его ставшей знаменитой книге «О преступлениях и наказаниях», и Г. Филанджери.

70. *То, что есть благо и соответствует порядку...* — В данном, более широком аспекте понятие о порядке (ordre) ведет свое происхождение от философии Платона. Об этом говорит, в частности, следующее далее указание на божественное происхождение справедливости.

71. Возможно, Руссо имеет в виду даваемое Монтескье определение закона как отношений, неизбежно вытекающих из природы вещей («О духе законов», кн. I, гл. I. — Избр. произв., стр. 136).

72. *...я называю Республикою всякое Государство, управляемое посредством законов...* — Эта позиция Руссо оказалась в дальнейшем сдерживающее влияние на формирование республиканской идеи во Франции, так как затрудняла усвоение классовой природы монархии. Проявилось это, в частности, в линии поведения М. Робеспьера в дни политического кризиса лета 1791 г., когда впервые возникло массовое демократическое республиканское движение, к которому он, однако, не примкнул.

73. *...в своей книге о Правлении.* — Это название скорее может обозначать сочинение Платона «Государство», однако место, которое имеет в виду Руссо, находится в диалоге «Политик», гл.

X—XIII и XXIX—XXXII (П л а т о н. Сочинения, ч. VI. М., 1879, стр. 69—71, 98—100, 127).

74. *...создают правителей Республик.* — См. Монтескье. Размышления о причинах величия и падения римлян, гл. I (Избр. произв., стр. 50).

75. *...от царской власти.* — В первом наброске Руссо употребил по традиции термин «*souveraineté*», связанный с «*souverain*» — государь, верховный правитель. Но поскольку он вложил в это понятие новое содержание, именуя сувереном только народ в его совокупности, то он заменил его другим понятием «*royauté*» (королевская, царская власть).

76. *...Децемвиры никогда не присваивали себе...* — Децемвиры — коллегия из десяти лиц (отсюда ее название), избиравшаяся у римлян для различных поручений. Руссо имеет в виду наиболее известную, созданную в 451 г. до н. э., выработавшую законы, выгравированные на десяти медных досках. Ввиду недостаточности этих законов, избранные в 450 г. децемвиры сделали необходимые дополнения («Законы 12 таблиц»), но не сложили с себя чрезвычайных полномочий по истечении их срока и вели себя диктаторски, что и вызвало их отрешение от власти.

77. *Те, кто смотрят на Кальвина лишь как на богослова...* — Кальвин (1509—1564) — один из главных представителей движения буржуазной реформации. С 1541 г. он стал во главе теократического правления протестантской Женевы, подавляя оппозицию суровыми мерами, вплоть до смертной казни. При нем преследовались театр, танцы и иные светские развлечения. Суровый дух кальвинизма имел известное влияние на формирование взглядов Руссо, а фигуру самого Кальвина здесь он явно идеализирует. Изменяя в целом свой взгляд на настоящее и прошлое Женевы, под влиянием событий 1762 г., Руссо увидел по образу Кальвина, о котором напишет во втором из своих «Писем с Горы», что это был, конечно, великий человек, но в конце концов это был человек, и «что особенно скверно — богослов; у него было честолюбие гения, чувствующего свое превосходство и возмущающегося, если это оспаривают».

78. *...его «Наставление».* — Имеется в виду сочинение Кальвина «Наставление в христианской вере» (1536), представляющее собой как бы свод воззрений протестантизма.

79. *...поблинное чудо...* — Фигура законодателя близка в глазах Руссо к традиционному образу пророка. См. кн. II. гл. II первого наброска «Общественного договора» и «Письма с Горы», письмо III.

80. *...иудейский закон и закон потомка Исмаила...* — Потомок Исмаила — Магомет; арабы рассматривают себя как потомков Исмаила и его 12 сыновей.

Иудейский закон — законодательство Моисея, высокую оценку которому Руссо дает во II гл. «Соображений об образе правления в Польше» и в одном из дошедших до нас набросков («О евреях»).

81. *...горделивая философия или слепой сектантский дух видят в них лишь удобных обманщиков...* — Имеются в виду как общая концепция сущности религии, свойственная Просвещению в целом, так и отмеченные этими чертами отдельные произведения, например, пьеса Вольтера «Магомет», в которой он трактуется именно как лицемер.

82. *Уорбертон, Уильям (1698—1779)* — епископ Глочестерский, автор трактатов «Союз Церкви и Государства» (1736) (французский перевод 1742 г.) и «Божественное законодательство Моисея» (1737—1741).

83. *...одна служит орудием другой.* — Это мысль Макиавелли («Рассуждение на первую декаду Тита Ливия», кн. I, гл. XI).

84. *Аркадия* — область в Древней Греции, в центре Пелопоннеса, с мягким климатом и условиями, благоприятными для животноводства, что и сделало в древности Аркадию символом легко добываемого достатка.

85. *Киренаика* — плодородная страна на севере Африки, где греческие колонисты в VII в. до н. э. основали первые поселения с центром в г. Кирене. Впоследствии, в 321 г. Кирена создала союз пяти государств под копровительством Птолемеев — македоно-греческих правителей Египта.

86. *...Минос взялся установить порядок...* — Минос — мифический царь острова Крита. Ему приписывается создание морского господства Крита и древнекретское законодательство, в разработке которого ему помогал Зевс, являвшийся его отцом.

87. Речь идет об изгнании представителей испанских и австрийских Габсбургов из Нидерландов в ходе буржуазной революции 1566—1609 гг. и из Швейцарии на протяжении XIV и начала XV в.

88. *...движитель гражданский износился.* — Ср. М а к к а в е л л и. Указ. соч., кн. I, гл. XVI и XVII.

89. *Юность — не детство.* — Как показывает хранящийся в Женевской городской библиотеке экземпляр первого издания этого трактата с пометками Руссо, он вписал эти слова, чтобы устранить противоречие между положением о том, что большинство народов восприимчивы (dociles) лишь в молодости, и следующим за этими словами утверждением о том, что подчинять народы законам надо в пору юности или зрелости.

90. *...еще не созрел для уставов гражданского общества.* — Этот отрывок один из наиболее сложных для понимания. В значительной мере он направлен против идеализации деятельности и всего образа Петра Великого Вольтером, в посвященной ему книге и в книге о Карле XII, причем Руссо впадает в противоположную крайность.

Главный упрек Руссо состоит в том, что правитель этот «начал создавать из своих подданных немцев и англичан, в то время когда надо было формировать русских» — обусловлен тем, что Руссо видел первое правило деятельности законодателя в создании или укреплении национального характера.

91. Предположения эти носят произвольный характер, и Вольтер был прав в их критике (см. его «*Idées republicaines*», XXXVII).

92. Проблема эта была поставлена Аристотелем в его «*Политике*» (VII, 4, 1326 а—в), затем вновь Монтескье в «*Духе законов*» (кн. VIII).

93. ...*срок неизбежного их падения*. — Тут усматривали реминисценции из Макиавелли («*Рассуждение на десятую главу Тита Ливия*», 1, 6) и из Монтескье («*Размышления о причинах величия и падения римлян*», гл. IX).

94. ...*собственными средствами*... — Мысль эта, возможно, восходит к взглядам Аристотеля («*Политика*», VII, гл. IV, 1326 а—в).

95. ...*вернул и отстоял свою свободу*... — Речь идет о борьбе жителей Корсики против Генуи и Франции, успешно возобновленной ими в первой половине XVIII в.

96. ...*этот островок еще удивит Европу*. — В этом пророчестве хотели видеть предсказание появления Наполеона Бонапарта, родившегося на Корсике семь лет спустя, в 1769 г. Но, конечно, Руссо имел в виду нечто совсем иное, а именно: он видел в неиспорченности корсиканцев духовной и материальной цивилизацией, в лучших сторонах их природы, проявившихся в борьбе за независимость, в энергии их предводителя Паскуале Паоли источник тех свежих, созидательных сил, которые могут позволить этому небольшому народу осуществить у себя идеал свободы и справедливости.

97. *Гласкаланская республика*... — была признана испанцами во время их завоевания Мексики.

98. ...*для Рима — добродетель*. — Идеалистическая мысль эта сформулирована Руссо под явным влиянием Монтескье, писавшего об этой, свойственной каждому из государств, своей особой цели: «Так у Рима была цель — расширение пределов государства, у Лакедемона — война, у законов иудейских — религия, у Марсея — торговля, у Китая — общественное спокойствие, у родосцев — мореплавание» («*О духе законов*», кн. XI, гл. V. — Избр. произв., стр. 289). Как видим, на историю Рима Монтескье смотрел более реалистично, нежели Руссо, постоянно ее идеализирующий.

99. ...*от этого не улучшается*. — Как это часто бывает у Руссо, цитата эта из книги д'Аржансона «*Соображения о древнем и нынешнем Правлении Франции*» неточна. Вот текст этого места: «Та или иная отрасль торговли, приобретаемая ценою денег, приносит лишь мнимую выгоду Королевству в целом и лишь обогащает несколько городов или частных лиц, которые уже и так находятся в довольстве».

100. Ср. М о н т е с к ь е. О духе законов (кн. I, гл. III).

101. См. «*Письма с Горы*», письмо V, в котором Руссо поясняет суть понятия о Правительстве в монархии и республике.

102. ...*единение души и тела*. — Сравнение это взято из философии картезианства. Для Декарта существовали не только два

принципа — душа и тело, но и третий, посредствующий, представляющий собой союз этих двух.

103. *...среднее пропорциональное которой — Правительство.* — Попытка Руссо определить место и роль высшей исполнительной власти при помощи математических аналогий отражает влияние господствующих тенденций века и носит явно механицистский характер, своеобразным образом сочетающийся со свойственным ему уподоблением государства и правительства двум — большему и меньшему — организациям.

104. *...коллегию именуют светлейший государь...* — Речь идет о так называемом Большом Совете («коллегия мудрых»). На этом примере видно также, что для Руссо существует не только едиличный, но и коллегияльный государь.

105. *...в понимании геометров...* — Во времена Руссо область отношений и пропорций относили к компетенции геометров.

106. *...бывало до восьми императоров одновременно...* — Имеется в виду период резкого обострения кризиса Римской империи в III в. н. э., когда императоров назначал сенат и возводила на трон преторианская гвардия.

107. *...что империя разделена.* — Римская империя была окончательно разделена при императоре Феодосии в 395 г. н. э. на Западную, с центром в г. Риме, и Восточную, столицей которой стал Константинополь (Византия).

108. Это — Монтескье (см. «О духе законов», кн. III, гл. III).

109. *...один и тот же принцип...* — это суверенитет, верховенство народа.

110. *Станислав Лещинский (1705—1709)* — польский король, ставленник короля шведского Карла XII. Руссо мог взять эту цитату из «Замечаний о правлении Польши» С. Лещинского, французский перевод которых появился в 1740 г. Близкое по смыслу место отсюда приводит Руссо в «Письмах с Горы» (письмо IX, стр. 392) и вспоминает о них в своих позднейших «Соображениях об образе Правления в Польше». Мабли приписывает слова эти не отцу, а деду С. Лещинского. («О правлении и о законах Польши», *partie I, ch. 1.* — *Oeuvres, t. VIII. Londres, 1789, p. 67—68.*)

111. *Первые общества управлялись аристократически.* — Руссо здесь отходит от античной традиции (Аристотель. Политика. III, 10, 7), видевшей древнейшую форму в монархии.

112. Слово «жрецы» — «*prêtres*» — происходит от латинского «*presbyter*» — «старейший» (заимствовано из греческого). «Старейшины» — «*les anciens*» — от латинского «*anteanus*», от «*ante*» — «вперед», «перед», т. е. «первоприсутствующие». «Сенат» — «*sénat*» — от латинского «*senex*», «*senes*» — «совет старейших». Геронты — от греческого слова «*γερωντες*» — «старцы» — название старейших членов племени, составлявших его совет.

113. Совсем иной, отрицательный отзыв о Бернской республике дает Руссо в своих «Соображениях об образе Правления в Польше» (гл. XI).

114. Здесь явное заблуждение Руссо; преобладание богачей Аристотель видел в олигархии («Политика», III, VII, 1279в), в аристократии же он, верный патриархальным традициям античного полиса, считал возможным осуществить наиболее совершенную гражданскую организацию общества при условии численного и политического преобладания «среднего класса» («Политика», IV, II, 1295в).

115. *Архимед* (ок. 287—212 гг. до н. э.) — великий греческий математик и физик.

116. Хотя в предыдущей главе Руссо и объявил худшим из видов правления, основанных на законе, наследственную аристократию, но теперь читателю становится ясно, что эта пальма первенства должна остаться за наследственной монархией. Недаром в «Полисинадии аббат де Сен-Пьер» он приходит к выводу о том, что «у всех народов, имеющих короля, абсолютно необходимо установить такую форму Правления, которая могла бы без него обходиться» (см. J.-J. Ro u s s e a u. Political writings, v. I, p. 399).

117. Имеется в виду текст Библии из первой Книги Царств, 8, именуемой также первой книгой пророка Самуила, последнего судьи Израиля, которому Бог, в наказание за отступничество его народа, открыл картину того произвола и угнетения, которому его соотечественников подвергнет новый царь, поставленный над ними в виде кары.

118. ...показал *Макиавелли*. — В следующих за этим строках и в примечании, которое было включено составителями в издание его «Сочинений» 1782 г., Руссо дает этому противоречивому деятелю положительную характеристику, довольно резко расходящуюся с его позднейшей репутацией. Точка зрения Руссо имеет своих предшественников, например в лице Спинозы (см. его «Политический трактат», гл. V, § 7), и более отдаленных в лице профессора права XVI в. в Оксфорде А. Жентили («De Legationibus», кн. III, гл. 9), соответствующую выдержку откуда приводил П. Бейль в своем знаменитом «Словаре» (ст. «Макиавелли»). Весьма существенно, что сходную позицию занимал Дидро, который в статье «Макиавеллизм» в т. IX «Энциклопедии» (1765, стр. 793) писал, что когда автор «Государя» создавал этот свой трактат, то он им словно хотел сказать своим согражданам: «читайте хорошенько это произведение. Если вы когда-либо согласитесь иметь повелителя, он будет таким, каким я вам его нарисовал: вот хищный зверь, которому вы отдаетесь».

119. В «Государе» Макиавелли изображает Цезаря Борджиа (ок. 1476—1507), известного своими чудовищными преступлениями, ценой которых он захватил власть в ряде отдельных феодальных владений, на которые тогда распадалась Италия.

120. *Римская курия*... — В оригинале «la cour de Rome», т. е. римский двор, но в тексте речь явно идет о Ватикане, который один только присвоил себе право налагать запрет на ту или иную

книгу. Но в то же время имеется в виду и двор папы как светского государя.

121. ...*повиноваться безропотно*... — Именно к этому призывал, например, Боссюэ, считавший единственно возможным со стороны подданных «почтительные представления», но без ропота, без мятежей; Кальвин в своем «*Institution de la religion chrétienne*» (1560, t. IV, ch. XX, § 24), известном Руссо, писал, что «мы должны настолько соблюдать порядок, установленный Богом, что нам надлежит почитать даже тиранов, находящихся у власти».

122. Явное указание на посвященную этому вопросу кн. XI, гл. VI «О духе законов» Монтескье.

123. Здесь речь идет не о *liberum veto*, как это часто предполагают, а о неограниченных полномочиях министров и других высших должностных лиц в сфере их деятельности.

124. В древности этот вопрос обсуждали Платон («Законы», кн. III и IV), Аристотель и Полибий.

125. ...*демократия — для Государств малых и бедных*. — Руссо неоднократно сетовал на недостаточную определенность терминов, к которым ему приходилось прибегать. Именно так получилось с терминами «демократия» и «монархия». Подразумеваемая и в том, и в другом случае верховенство народа-суверена по отношению к исполнительной власти, Руссо видел в монархии республику с постоянным президентом, для более оперативного действия исполнительной власти в стране больших размеров. Но даже такие страстные поклонники Руссо, как А. Н. Радищев, не могли не стать жертвой недоразумения, считая, что этот философ, «не взяв на помощь историю, вздумал, что доброе правление может быть в малой земле, а в больших должно быть насилие» (Полн. собр. соч., т. III, М.—Л., 1952, стр. 47).

126. См. *Chardin. Voyages en Perse*, v. III, Amsterdam, 1735, p. 76, 83—84.

127. ...*к экватору*... — в оригинале *la linge*.

128. ...*маис, кускус, горго, хлеб из маниоковой муки*... — Слово «кускус» арабского происхождения, означает шарики из мяса и муки жареные в масле: было заимствовано неграми Африки, которые по сходству называли так зерна маиса (кукурузы). Хлеб из маниоковой муки (*casseve*) готовится некоторыми народами Южной Америки из корней кустарника маниоки (исп.) после удаления оттуда ядовитых веществ.

129. *Позиллио* — горный кряж к северо-западу от Неаполя, покрытый виноградниками, впоследствии его предместье.

130. *Агрикола, Гней Юлий* (39—93) — римский политический деятель и полководец, тесть Тацита.

131. Имеется в виду Вольтер.

132. *Кoadъютор* — помощник или заместитель епископа (викарный епископ). Речь идет о занимавшем этот пост известном своим распутием кардинале Жане де Ретц.

133. Это не цитата, а пересказ отрывка из «Введения» к «Истории Флоренции» Макиавелли.

134. «Serrari di Consiglio», точнее «Serrata del maggiore Consiglio» — «Закрытие Совета» — один из актов, оформлявших аристократическо-олигархический строй Венеции, в котором теперь принадлежность к этому Совету стала наследственной привилегией семей так называемых нобилей, чьи имена впоследствии были внесены в особую золотую книгу.

135. «Squittinio della libertà veneta» — анонимный памфлет, изданный в 1612 г. и имевший целью доказать права императоров на Венецианскую республику.

136. Речь идет о древнейших преданиях, а не об исторических фактах.

137. См. М а к и а в е л л и. Рассуждение на первую декаду Тита Ливия, кн. I, кгл. II и III.

138. *Август, Гай Юлий Октавиан* — первый римский император (63 г. до н. э.—14 г. н. э.).

139. *Тиберий, Клавдий*, римский император (14—37 г. н. э.).

140. *Охлократия* — этот греческий термин (от «оллос» — чернь) впервые, кажется, употреблен Полибием.

141. *Олигархия* (иначе олигократия), по терминологии Аристотеля — государство, в котором власть принадлежит ограниченному числу фамилий.

142. *Корнелий Непот* (95—25 гг. до н. э.) — римский историк, главным из многочисленных сочинений которого является серия биографий знаменитых людей, предвосхитивших некоторые приемы «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Мильтиад — афинский полководец и политический деятель, прославившийся победой над персами при Марафоне в 490 г. до н. э.

143. «*Гиерон*» — диалог греческого историка Ксенофонта, в котором описываются средства, какими государь может осчастливить свою страну. Гиерон Старший, царь Сиракузский, в Сицилии правил в 478—467 гг. до н. э.

144. См. М о н т е с к ь е. О духе законов, кн. XI, гл. VI, где аналогичное рассуждение кончается словами «погибли Рим, Лакедемон и Карфаген».

145. Ср. с Гоббсом («Левиафан», гл. XXVI).

146. *Ценз* — В древнем Риме со времени нового государственного устройства Сервия Туллия проводились имущественная перепись населения граждан и распределение их на пять классов. На основе этой переписи — ценза — осуществлялись раскладка податей, распределение граждан по центуриям в войска, давалось право участия в выборах, право быть избранным, занимать известные должности. Перепись населения касалась только римских граждан.

147. Эта глава, как и последняя глава третьей книги с красноречивым названием «Способы предупреждать захват власти», направлена против Совета Двадцати пяти в Женеве — органа

власти буржуазной олигархии и подготавливает непосредственное разоблачение последней в «Письмах с Горы» Руссо.

148. *...великому царю...* — имеются в виду, вероятно, походы на Грецию персов при царе Дарии I Гистаспе (550—485 гг. до н. э.).

149. *...австрийскому дому.* — Речь идет о династии Габсбургов.

159. *Комиции* — народные собрания в Древнем Риме.

151. *Грахи* — народные трибуны (в 133 г. до н. э. Тиберий и в 123 г. Гай), безуспешно пытавшиеся провести в жизнь аграрные и другие реформы в интересах плебеев.

152. *Ликторы* — служители (преимущественно из вольноотпущенников), которые давались высшим магистратам для услуг и приведения в исполнение наказаний. Они носили при себе пучки розог.

153. *...рабы выполняли его работу...* — Это приближение к пониманию рабовладельческого характера греческой демократии.

154. В дальнейшем эта позиция полного и безоговорочного отрицания Руссо представительной системы несколько видоизменилась. В главе VII своего проекта реформ образа правления в Польше (1772) Руссо признает, что «законодательная власть не может проявляться сама по себе и не может действовать иначе, как через депутатов» (J.-J. R o u s s e a u. Oeuvres, complètes, t. III. Paris, 1964, p. 926). Поэтому речь может и должна идти лишь о более частой смене этих депутатов и о предъявлении им императивных мандатов, т. е. наказов избирателей, чтобы не допустить той бесконтрольности, которую Руссо клеймил в практике английского парламентаризма.

155. *Многие утверждали...* — В сущности это были все авторы, трактовавшие со времен средних веков общественный договор как акт подчинения. Они изображали его как формальное и взаимное обязательство — подданных повиноваться, а государя — править в общих интересах. Эта концепция в XVIII в. стала общим местом; мы находим ее и в «Энциклопедии» (статья «Политическая власть», т. I), и в «Рассуждении о неравенстве» Руссо. Но, в силу различных соображений, ее не принимали Гоббс и Локк.

156. Имеется в виду тезис Пуфендорфа («О праве естественном и о праве международном», кн. VII, гл. II, § 8) о том, что за актом ассоциации следовал акт подчинения.

157. Здесь Руссо использует аргументы, при помощи которых Гоббс («О гражданине», гл. VII) показывает, как политический организм переходит от первоначальной демократии к аристократии или к монархии.

158. *...временная форма...* — К этому абзацу с особенной энергией привлекал внимание членов Совета Двадцати пяти прокурор Женевы Троншен, упирая на то, что Руссо рассматривает существующие формы политической организации как опытные и потому сугубо временные.

159. Этот раздел главы — о периодических собраниях — явился для Генерального прокурора Женевы Троншена основным

материалом для обвинения Руссо в стремлении к ниспровержению всех существующих правительств (С. G., t. VII, p. 373).

160. См. Г р о ц и й. О праве войны и мира, кн. II, гл. V, § 24, где провозглашается такого рода право за каждым подданным при условии, что он его осуществит в одиночку, а не в группе и не тогда, когда Государство в нем нуждается (мысль, высказанная Руссо в примечании).

161. В Берне тюрьма, где отбывали наказание осужденные за наиболее тяжелые преступления, называлась «Schallen haus» или «Schallenberg», т. е. дом, заведение с колокольчиками, вероятно потому, что арестантам вешали, посылая их на общественные работы, на шею колокольчики; в Женеве же исправительная тюрьма носила прозвище «дисциплина» — («La discipline»), что значило в ту эпоху «бичевание» и «плеть». Поэтому слова Руссо «*mis aux sonnettes et, a la discipline*» означают в обоих случаях, учитывая эту игру слов, — заключить в тюрьму или подвергнуть исправительным работам.

162. См. Т а ц и т. История, I, 85.

163. *Отон, Марк Сальвий* (32—69 г. н. э.) в 69 г. н. э. был на короткое время провозглашен императором.

164. *Вителлий, Авл* — был в 69 г. н. э. провозглашен войсками императором, но в том же году убит солдатами Веспасиана. Речь идет о периоде, когда Вителлий был еще только претендентом на власть.

165. Ср. П у ф е н д о р ф. Указ, соч., кн. VII, гл. II, § 7.

166. Ср. Б у р л а м а к и. Принципы политического права, ч. I, гл. V, § 13. Женевы, 1751, стр. 34.

167. Ср. «Соображения об образе Правления в Польше», гл. IX.

168. ...*при рассмотрении дел.* — Из этого явствует, что Руссо допускает и такой случай, когда суверен, наряду с функциями законодательными, хотя бы частично вершит и дела правительственные.

169. См. М о н т е с к ь е. О духе законов, кн. II, гл. II.

170. ...*бедных варнавитов* (Barnabots)... — Варнавиты в Венеции называли обедневшую часть знати, жившую в квартале, носившем имя св. Варнавы.

171. ...*ее Правление не более аристократично, чем наше.* — Руссо этим хотел сказать, что поскольку в Венеции власть сосредоточилась в руках узкой группы знати (фактически уравнивая тем самым многих ее представителей в правах с обычными гражданами), то род ее правления, строго говоря, ближе к олигархическому, чем к аристократическому.

172. Речь идет о сочинении Сен-Пьера «Рассуждение о Полисинодии» (1718). Как и из сочинений этого автора о вечном мире, Руссо сделал и из этой его работы извлечение, а также написал свое «Суждение» о ней (см. J.-J. R о u s s e a u. Oeuvres complètes, t. III, p. 617—634, 635—645).

173. По Преданию, Ромулом были учреждены три трибы, считавшиеся благодаря древности происхождения своих членов патрицианскими. Традиция отождествляет первые две с племенами, жившими вблизи Альбанских гор у Рима (альбаны, Ramnenses), вторую с племенем сабинов (по имени их царя Татия — Tatienses). Третья триба (Luceres), отождествляемая с племенем этрусков, жившим севернее первых двух, именуется чужестранцами, отличавшимися языком и многими другими чертами.

174. *Сервий Туллий*. шестой римский царь (VI век до н. э.) установил деление населения Римского государства не по племени, а по имущественному принципу (на основании ценза). Сервий Туллий был свергнут Тарквинием Гордым.

175. В а р р о н. О сельском хозяйстве, III, 1. Это место цитируется Сигониусом («О древнем гражданском праве римлян», I, 3, стр. 15), откуда, вероятно, и взял его Руссо.

176. П л и н и й. Естественная история, XVIII, 3.

177. *Сабин, Анний Клавдий* — переселился в Рим в 504 г. до н. э., положил начало клавдийской трибе, прозван так по народности сабинов, к которой принадлежал.

178. *Компиталии* — праздник 2 мая в честь ларов — добрых духов, покровителей домашних очагов и улиц города. Название идет от слова compita — перекресток.

179. *Паганалии* (от паг — крестьянская община) — религиозный праздник, учрежденный Сервием Туллеем, отмечавшийся 24 января.

180. ...*орудий войны* (instruments de guerre)... — так назывались саперы в войсках Рима.

181. ...*последнего Тарквиния*. — Тарквиний по прозвищу «Гордый», седьмой и последний царь Рима (534—510 гг. до н. э.).

182. ...*курильные магистраты*. — Права магистратов в Древнем Риме различались в зависимости от их ранга. Некоторые обладали правом обращения к народу, другие — правом наложения взысканий и т. д. Магистраты делились на высших и низших, на имевших присвоенное курильное кресло и не имевших, на обыкновенных и чрезвычайных.

183. Ц и ц е р о н. О законах, II, 15. Возможно, что Руссо пользуется тут изложением этой мысли у Монтескье в «Духе законов», кн. II, гл. II. — Избр. произв., стр. 172.

184. *Эфоры* — высшие должностные лица в Спарте, введенные (по преданию) Ликургом.

185. *Агис III* — спартанский царь, задумавший восстановить Ликургово устройство Спарты, однако в 241 г. до н. э. он был убит.

186. *Клеомен* — спартанский царь (235—220 гг. до н. э.), сын Леонида II, боровшегося против реформ Агиса IV: по его указу были убиты четыре эфора и отменен эфорат. После его падения последний был вновь восстановлен.

187. См. М а к и а в е л л и. Рассуждение на первую декаду Тита Ливия, кн. I, гл. XXXIV и XXXV.

188. *Катилина, Луций Сергий* (108—62 гг. до н. э.) — представитель патрицианского рода, пытавшийся путем заговора подготовить захват власти, но безуспешно. Цицерон, избранный консулом на 63 год, вел против Катилины борьбу в сенате.

189. Черновой текст трактата, посланный Руссо издателю М. Рею в Амстердам в декабре 1760 г., не содержал этой главы, она была добавлена позже (письмо ему же от 23 декабря 1761 г., С. G., t. VII, p. 2). Первоначальный, более краткий текст этой главы, еще даже без заглавия, мы находим на обороте листов главы о законодателе первого наброска «Общественного договора», с которой у нее есть логическая связь. Это скорее всего и говорит о времени написания главы о гражданской религии в процессе подготовки окончательного текста трактата.

190. Имеется в виду «Письмо к д'Аламберу о зрелищах» (Ж. Ж. Руссо. Избр. соч., т. I, стр. 65—177).

191. Эпизод этот Руссо взял у Плутарха, рассказывающего его более подробно и приписывающего его жителем острова Хиоса. В более обширном примечании, сделанном Руссо от руки в его печатном экземпляре, он говорит, что не мог привести это название. Объясняется это, вероятно, игрой слов, связанной с тем, что во французском произношении название этого острова (Chio) звучит так же, как название опухоли такой части тела, которая, по мнению Руссо, не могла быть названа в печати.

192. *...такая ученость...* — Эта точка зрения представлена как несомненная в статье де Жокура «Миф» (Fable) в «Энциклопедии» (т. VI, 1756, стр. 343). Руссо знал специально посвященные этой теме книги, например «Историю манихейства» Бособра, но скорее всего говорит о тех авторах, которые популяризовали эти воззрения, как это делал Фонтенель («О происхождении мифов», 1724) и в особенности Юм («Естественная история религии», франц. перевод 1759—1760 гг.).

193. *...Молох...* — Молох — в Библии так назван бог аммонитян, которому приносились человеческие жертвы.

194. *Вaal* (или владыка) — первоначально у хананеян божество, покровительствующее определенному месту, бог племени и, кроме того, верховное божество. Ваал сходен с Зевсом и Юпитером по своему главенствующему положению в системе верований данного народа.

195. *Хананеяне* — библейский термин, далекий от исторической определенности. Так именовались сначала жители прибрежных («низменных») земель в отличие от горных частей Палестины, Финикии и страны филистимлян. Кроме финикиян сюда входили моавитяне, аммонитяне, идумеи и другие народы.

196. *Хамос* — бог аммонитян.

197. *...говорил Иефай аммонитянам...* — Иефай — в Библии один из судей израильских, избранный в предводители против аммонитян и победивший их. Цитируемые его слова — Библия. Книга Судей, гл. II.

198. *Юпитер Капитолийский*. — Назван так по месту нахождения храма, воздвигнутого в Древнем Риме в его честь на Капитолийском холме, где были крепость и святилище.

199. *Вульгата* — латинский перевод Библии.

200. *Фокейская война*. — Фокея — колония Афин в Ионии, была захвачена персами при Дарии Гистаспе, потом, приняв сторону царя Сирии Антиоха III в его войне с римлянами, была последними завоевана и разграблена.

201. *...видимом земном правителе...* — выражение, заимствованное у Монтескье («О духе законов», кн. XXIV, гл. V); имеется в виду папа римский.

202. *Халифы* — или *калифы* — представители или наместники пророка, титул, присвоенный себе преемниками Магомета; отсюда название их государства — халифат.

203. *Али, Ибн-Абу-Талиб* (род. ок. 600—601 гг. н. э.) — племянник и зять Магомета, халиф с 656 г. Те, кто признавал его законным преемником пророка, образовали секту шиитов, которая внесла в ислам элементы мистики и пантеизма, распространилась в Персии (Иран) и Индии.

204. *...нарекли себя главами Церкви...* — Имеется в виду так называемая «королевская реформация» в Англии, когда Генрих VIII актом о супрематии объявил себя в 1533 г. главой англиканской церкви.

205. *...русские цари*. — Петр I учредил в 1721 г. Синод для руководства делами церкви и веры, находившийся под контролем верховной светской власти, возглавляемой монархом.

206. Пьер Бейль, чей «Словарь» хорошо знал Руссо, был его непосредственным предшественником и, вероятно, учителем в критике христианства с политико-государственной точки зрения; вопреки утверждению о невозможности для христиан создать жизнеспособное государство, Монтескье шел за Гоббсом, писавшим, что государство и христианская республика — это одно и то же, а Руссо — за Бейлем, когда писал, что эти понятия исключают друг друга.

207. См. Г о б б с. О гражданине, гл. XVII, § 28 и гл. VI, § 11. Далее в оригинале: «il porait pardonner à l'auteur le bien en faveur du mal».

208. *...в широком значении, или в более узком...* — Имеются в виду два аспекта религии: один чисто идеологический, другой — политический, см. письмо Руссо к Ж. Устери от 18 июля 1763 г. (С. G., t. X, p. 37) и «Письма в Горы», письмо I.

209. Подразумевается римско-католическая церковь.

210. Ср. «Письмо к Кристофу де Бомону», в котором такого рода неправомерные притязания государства Руссо объясняет предположением о том, что верования людей определяют их мораль и что от их представлений о будущей жизни зависит их поведение в этой. Но в обществе каждый его член вправе только знать — считает ли другой для себя обязательным быть справедли-

ливым, а суверен вправе изучать мотивы, на которых каждый основывает это обязательство.

211. Руссо, в принципе убежденный сторонник свободы совести и полной терпимости, стоя в общефилософском плане на позициях деизма, а не материализма, вслед за Локком отказывает атеистам в гражданских правах, как бы видя в них тех, кто не хочет присоединиться к общественному договору (см. кн. IV, гл. II), и потому не имеющих права оставаться в среде данного гражданского общества.

212. Когда в 1765 г. Рей издал «Соображения» д'Аржансона, то в них не оказалось цитируемых здесь Руссо строк. Возможно, это объясняется неисправностью рукописи, которую печатали уже после смерти автора, о чем говорится в предисловии издателя.

213. Когда заговор Катилины (см. выше, прим. 188) потерпел поражение, Цезарь выступил против смертной казни для него.

214. Страница книги с этим примечанием была уже отпечатана, когда издатель Рей получил от Руссо письмо с требованием снять его. Выполняя волю автора, он отпечатал заново эту часть книги, и лишь несколько ее экземпляров разошлись в первоначальном виде.

215. Речь идет о продиктованном политическими мотивами переходе Генриха IV в 1593 г. в католичество. Руссо намекает на связанный с этим эпизод, изображенный в написанной епископом Роденским Гардуэном де Префиксом «Истории короля Генриха Великого» (1661, стр. 200).

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Август, Гай Юлий Октавиан 273, 382, 383, 401  
 Августин Аврелий 6, 380  
 Агамед 358  
 Агамемнон 148, 374, 376  
 Агесилай 352  
 Агис III 306, 404  
 Агис IV 404  
 Агрикола Гней Юлий 271, 400  
 Адам 200, 388  
 Аламбер, д' (см. д'Аламбер)  
 Аларих 351  
 Александр Македонский 27, 171, 183, 343, 344, 350, 381, 383  
 Александр Ферский 97, 367  
 Алексеев-Попов В. С. 9, 11  
 Али Ибн-Абу-Галиб 315, 406  
 Алкивиад 352  
 Амио Жак 348  
 Андромаха 97, 367  
 Антиох III, царь Сирии 406  
 Антисфен 374  
 Аполлон 358, 361  
 Аржансон Рене луи д', маркиз 199, 219, 242, 320, 388, 394, 397, 407  
 Аристотель 53, 65, 74, 156, 199, 200, 258, 274, 348, 356, 358, 361, 364, 366, 373, 377, 378, 387, 389, 397—401  
 Аркесилай 34, 346  
 Артаксеркс II Мнемон, царь Персии 352  
 Аруэ (см. Вольтер)  
 Архимед 259, 399  
 Асклепий 362  
 Астиаг, царь Мидии 44, 352  
 Астье 368  
 Афанасьев Г. Е. 382  
 Ахмет III, турецкий султан 47, 354  
 Бальбоа Васко Нуньес 214, 393  
 Баньковская С. П. 8  
 Барбейрак Жан 127, 218, 359, 362, 366, 372, 373, 388, 393  
 Бейль Пьер 315, 399, 406  
 Беккариа Чезаре 394  
 Беркли Джордж 353  
 Бернар Сюзанна 15  
 Билен Антуан 372  
 Бобович А. С. 12  
 Бодэн Жан 179, 185, 194, 209, 382, 384, 392  
 Бозэ Никола 366  
 Бомон Кристоф де 358, 370, 406  
 Борд Шарль 375  
 Борджиа Цезарь 399  
 Боровой Л. Я. 11  
 Борщевский Л. В. 11  
 Боссюэ Жак Бенин 372, 386, 400  
 Бофор Франсуа, де, герцог 289  
 Бозси Этьенн, де ла 372  
 Брасид 125, 372  
 Булис 372  
 Бургундские герцоги 40, 350  
 Бурзейс Амабль, аббат, де 372  
 Бурламаки Жан-Жак 66, 359, 363, 393, 403  
 Буше Франсуа 352  
 Бэкон Фрэнсис 48, 354  
 Бюффон Жорж-Луи Леклерк 16, 17, 361, 368, 369, 375  
 Ваал 312, 405  
 Ван-Лоо Шарль Андре 41, 351  
 Варап Луиза Элеонора 16—18, 367  
 Варнава 403

- Варрон Теренций 297, 404  
 Верас Дени 369  
 Вергилий 197, 370  
 Верн Жакоб 377  
 Версиллс Л., де, графиня, 16  
 Верцман И. Е. 12  
 Веспасиан Тит Флавий, римский император 403  
 Виллар Клод Луи Гектор, герцог, де 150, 376  
 Вильгельм Оранский, штатгаудер Голландии, затем король Англии под именем Вильгельма III 218, 393  
 Вильгельм Телль (см. Телль Вильгельм)  
 Виндельбанд Вильгельм 14, 16, 19  
 Вителлий Авл, римский император 291, 403  
 Воган Чарльз Эдвин 11, 374, 377, 385  
 Волгин В. П. 9  
 Вольтер Франсуа-Мари Аруз 14, 16, 17, 19, 41, 326, 342, 347, 348, 351, 353, 354, 355, 363, 364, 366, 368, 369, 374, 375, 396, 400  
 Габсбурги, императорский дом 350, 396, 402  
 Гальба Сервий Сульпиций, римский император 180, 382  
 Ганнибал 43, 351  
 Гаргантюа 389  
 Гардуэн де Префикс Жан 407  
 Гегель Георг Вильгельм Фридрих 325  
 Гектор 367  
 Гелен А. 325  
 Генрих IV, король Франции 35, 322, 347, 407  
 Генрих VIII, король Англии 406  
 Георг I, король Англии 218, 393  
 Геракл (Геркулес) 261  
 Гермес (Гермес Трисмегист) 347  
 Геродот 139, 140, 189, 372, 375  
 Герцен А. И. 14  
 Геснод 362  
 Гадарнес 372  
 Гиерон Старший, царь сиракузский 274, 401  
 Гийе Мишель, де Тонон  
 Гийом (см. Вильгельм Оранский)  
 Гипсий 380  
 Гипподам 380  
 Гиппократ 79, 362  
 Главк 64, 358  
 Гоббс Томас 12, 48, 76, 95, 96, 199, 315, 325, 326, 328, 333, 335—337, 353, 360—362, 366, 369, 371, 372, 378, 387, 389, 390—393, 401, 402, 406  
 Гольбах Поль  
 Гомер 313, 346, 362, 367, 374, 388, 389  
 Горацій Флакк Квинт 25, 342, 360  
 Грабарь-Пассек М. Е. 13  
 Грахх Гай 281, 402  
 Грахх Тиберий 281, 402  
 Григорий I Великий, папа 48, 354  
 Грослей Пьер-Жан 347  
 Гроций (де Гроот) Гуго 12, 60, 116, 199, 201, 203, 205, 206, 218, 287, 315, 326, 357, 360, 367, 370—372, 387—390, 393, 403  
 Гувон Ж. А., аббат 16  
 Д'Аламбер Жан Батист Лерон 18, 209, 311, 342, 343, 371, 392, 405  
 Данте А. 326  
 Дарендорф Р. 325  
 Дарий I Гистасп 189, 350, 375, 384, 402, 406  
 Декарт Рене 37, 48, 237, 332, 348, 354, 397  
 Де Люк Жан Франсуа 355  
 Демад 142, 375  
 Деметра (см. Церера)  
 Демокрит 47, 348, 353, 354  
 Демосфен 30, 344, 347, 375  
 Дератэ Робер 373, 385  
 Дефо Даниэль 388  
 Диагор 47, 353  
 Дидро Дени 12, 17, 18, 20, 341—344, 348, 349, 352, 354, 359, 361, 363—366, 368, 369, 371, 373, 374, 378, 379, 404

- Диоген 137, 374, 375  
 Дионисий 262  
 Дювиллар Эммануэль 377  
 Дю Пан Жан Луи 355  
 Дюпейру Пьер-Александр 377  
 Дюпен Луиза-Мари 379  
 Дюркгейм Э. 325, 337, 339  
 Дю Тертр Жан Батист 364, 370  
 Дю Хальд Жан-Батист 379
- Жентили Альберик 399  
 Жири Луи 346  
 Жокур Луи, де, шевалье 366, 405
- Зевс 312, 347, 348, 388, 296, 405  
 Зенон 34, 346  
 Зиммель Г. 335
- Иаков 383  
 Иафет 388  
 Иефай 312, 313, 405  
 Исмаил (Измаил) 233, 395  
 Иисус Христос 314, 380  
 Иосиф (♦Прекрасный♦) 182, 383  
 Исократ 150, 376
- Калигула Гай Цезарь 199, 230, 312, 387  
 Кальвин Жан 231, 357, 395, 400  
 Камбиз, царь Персии 30, 343, 375  
 Кант Иммануил 6  
 Капетинги, династия 390  
 Карл V Габсбург, император 40, 350  
 Карл VIII Валуа, король Франции 42, 351  
 Карл XII, король Швеции 396, 398  
 Карл Смелый, герцог Бургундский 350  
 Каррьер Луи, де 313  
 Катилина Луций Сергий 309, 318, 320, 405, 407  
 Катон Марк Порций Цензор, Старший 34, 204, 346, 391  
 Катон Марк Порций Лициний 204, 391
- Катон Марк Порций Младший, или Утический 137, 168, 169, 180, 320, 375, 380, 382  
 Катулл Гай Валерий 30, 344  
 Кенэ Франсуа 383  
 Кеплер Иоганн 349  
 Киней Фессалийский 35, 347  
 Кир, царь Персии 39, 44, 350, 352  
 Кир, персидский царевич 352  
 Клавдий — Тиберий Клавдий Друз, римский император 345  
 Клеомен 306, 404  
 Коган-Бернштейн Ф. А. 12  
 Козелек Р. (Koselleck R.) 336  
 Кольбе Петер 363, 375  
 Кондильяк Этьен Бонно, де 17, 87, 342, 359, 361, 363, 364, 365  
 Кондосе Жан-Антуан 17  
 Константин I Флавий Валерий Аврелий, римский император 26, 343  
 Конт О. 339  
 Кореаль Франциск (Франсуа) 77, 80, 362, 363  
 Корнелий Непот 274, 401  
 Красс Марк Лициний 380  
 Краусс Вернер (Krauss W.) 369  
 Критий 380  
 Кромвель Оливер 318, 289, 318  
 Кронос 312, 388  
 Крылов С. Б. 12  
 Ксенократ 72, 361  
 Ксенофонт 44, 274, 345, 352, 377, 401  
 Кублай, хан 345  
 Кэмберленд Ричард 76, 362
- Лабрюйер Жан 367  
 Лактанций 348  
 Ламетри Жюльен 353, 363  
 Лами Бернар 361  
 Ларошфуко Луи-Александр 357  
 Лафонтен Жан 372  
 Лаэт 80, 362  
 Левассер Тереза 19, 355  
 Левкипп 47, 353  
 Лейбниц Готфрид Вильгельм 349  
 Леонид II, спартанский царь 404

- Лесеркль Ж.-Л. 355  
 Лещинский Станислав 398  
 Лже-Смердис, самозванец 139, 375  
 Ликург 44, 124, 132, 220, 230, 231, 234, 371, 404  
 Локк Джон 12, 113, 126, 127, 360, 365, 369, 372, 373, 378, 379, 383, 384, 387, 392, 394, 402, 407  
 Лонэ Мишель 11  
 Лотман Ю. М. 11  
 Лужков А. М. 377  
 Лука, апостол 367  
 Лукан (Лукван) Марк Анней 135, 374  
 Луман Н. 335  
 Луппол М. К. 12  
 Луцилий 346, 359  
 Людовик IX 204, 390  
 Людовик XII 35, 347  
 Людовик XIII 218  
 Людовик XIV 127, 353, 372  
 Людовик XV 353  
 Люзак Э. 389
- Мабли Габриэль Бонно 17, 347, 365, 398  
 Мабли (брат Габриэля Бонно Мабли) 17  
 Магомет 214, 395, 396, 406  
 Магомет (Мехмет) II, турецкий султан 343  
 Макаровский А. А. 12  
 Макиавелли, Николо ди Бернардо, деи 160, 220, 232, 260, 272, 273, 326, 379, 394, 396, 397, 399, 401, 404  
 Мальбранш Николая 349, 354  
 Мангейм Р. 337  
 Мандевилл Бернар, де 97, 367  
 Мариьо Пьер-Шарль 17  
 Марий Гай 183, 299, 309, 383  
 Маркграф 362  
 Маркиш С. Л. 13  
 Маркс Карл 9, 325, 343, 384  
 Мармонтель Жан Франсуа 17  
 Марсэ де Мезьер Исаак Ами 356  
 Марциал Марк Аврелий 31, 344  
 Магфей, апостол 367  
 Махаон 79, 362
- Медведев В. 377  
 Медичи, дом 42, 260, 351  
 Мелон Жан Франсуа 350, 383  
 Местр Жозеф Мари, де, граф 366  
 Мильтиад 274, 401  
 Минос 234, 396  
 Моисей 72, 312, 360, 395, 396  
 Молох 312, 405  
 Мольер Жан Батист Поклен 350  
 Монтегю Пьер-Франсуа, де, граф 17  
 Монтень Мишель 12, 29, 32, 44, 142, 343, 345, 346, 348, 349, 351, 352, 360, 361, 363, 367, 368, 375, 381  
 Монтескье Шарль-Луи де Сеноконда 13, 17, 188, 230, 265, 293, 325, 356, 361, 364, 371, 373, 376, 379, 381, 383—385, 389, 391, 393—395, 397—401, 403, 404, 406  
 Мопертюи Пьер-Луи Моро, де 361, 364, 365, 375  
 Мор Томас 326, 369  
 Мульту Поль 377, 385
- Наполеон I 368, 397  
 Немаков Л. 385  
 Нерон, римский император 345, 347, 382  
 Нестерова С. 385  
 Новиков Н. И. 341  
 Ной 200, 388  
 Нума 295  
 Нума Помпилий 220, 394  
 Нумитор, царь Альбалонги 382  
 Ньютон Исаак 48, 348, 349, 354
- Овидий Публий Назон 23, 30, 119, 342, 344  
 Одиссей (см. Улисс)  
 Ознобишин Д. В. 9  
 Октавиан (см. Август)  
 Омар, халиф 47, 48, 353  
 Станес 139, 140  
 Отон Марк Сальвий, римский император 291, 403
- Павел, апостол 388  
 Пантагрюэль 389

- Паоли Паскуале 397  
 Паламед 148, 376  
 Парсонс Т. 335,  
 Паскаль Блез 368  
 Пелопид 367  
 Первов П. 12  
 Персий Флакк 69, 360  
 Петр I 235, 396, 406  
 Петроний, прозванный Арбитр  
 344  
 Петти Уильям 350  
 Пигаль Жан-Батист 41, 351  
 Пизон Гильом 362  
 Пикте Шарль 380  
 Пир Жорж 363  
 Пирр 347  
 Пиррон 343  
 Писистрат 346  
 Платон 32, 40, 44, 72, 79, 127,  
 148, 162, 188, 230, 233, 264, 328,  
 345, 346, 352, 358, 361, 362, 368—  
 370, 376, 379, 381, 394, 395, 400  
 Плиний Старший 65, 125, 297,  
 343, 358, 372, 404  
 Плутарх 13, 16, 60, 200, 344,  
 346, 347, 348, 357, 367, 401, 405  
 Подалирий 79, 362  
 Полибий 400, 401  
 Полторацкий Н. А. 11  
 Помпадур Жанна Антуанетта,  
 де, маркиза 388  
 Помпей Гней 169, 309, 380  
 Помпей Грог 367  
 Понвер А.-Л., де, аббат 16  
 Попилий 204, 391  
 Порций Лека 171, 381  
 Потемкин П. С. 341, 355  
 Прад Жан-Мартин, де, аббат  
 368  
 Пракситель 41, 351  
 Приам 97, 367  
 Прометей 36, 347, 348  
 Протагор 380  
 Птоломеи, династия 396  
 Пуфендорф Самуэль 76, 128,  
 177, 358, 359, 362, 364, 366, 370—  
 373, 382, 388, 389, 391, 402  
 Пьер Жан-Батист 41, 351  
 Рабле Франсуа 202, 389  
 Радищев А. Н. 400  
 Рамо Жан-Филипп 351  
 Расин Жан 350  
 Рей Марк Мишель 199, 385,  
 405  
 Рейналь Гильом Тома, аббат  
 17  
 Рем 344, 382  
 Реомюр Рене Антуан, де 349  
 Ретц Жан-Франсуа, де, карди-  
 нал 400  
 Ришелье Арман Жан Дюплес-  
 си, кардинал 353  
 Робеспьер Максимилиан 338,  
 394  
 Робинзон 200, 388  
 Роллен Шарль 345  
 Рома 295  
 Ромул 179, 273, 295, 298, 300,  
 301, 344, 382, 404  
 Руссо Жан Жак 5, 7—20, 63,  
 325—407  
 Руссо Исаак 15, 357  
 Рыкова Н. Я. 12  
 Сабин Аппий Клавдий 297, 404  
 Сабундский, Раймунд 361  
 Саккети А. Л. 12  
 Самуил, пророк 260, 399  
 Саркитов Н. Д. 8  
 Сатир 36, 348  
 Сатурн 200, 312, 388  
 Светоний Гай С. Транквилл  
 347  
 Сезострис 30, 343  
 Сенека Луций Анней 346, 359,  
 375  
 Сенелье Жан 385  
 Сен-Пьер Шарль Ирине Кас-  
 тель, аббат 16, 294, 399, 403  
 Сервий Маур Гонорат 370  
 Сервий Туллий, римский царь  
 220, 296, 298, 299, 300, 301, 394,  
 401, 404  
 Сигониус (Сигонио) Карло 404  
 Сидней Альджернон 126, 372,  
 374, 378  
 Сим 388  
 Славин Л. 11  
 Смердис 375  
 Смирнов А. А. 12  
 Соколов В. В. 12  
 Сократ 33, 34, 35, 99, 168, 169,  
 346, 352, 380

- Солон 220, 376, 394  
 Спертий 372  
 Спиноза Бенедикт (Барух) 48, 354, 399  
 Стюарты, династия 393  
 Сулла Луций Корнелий 97, 273, 309, 367  
 Сципион Публий Корнелий 328  
  
 Тальбер Франсуа Усавье, аббат 354  
 Тарквинии, царский род 55, 234, 273, 356  
 Тарквиний Гордый Луций, римский царь 301, 356, 394, 404  
 Тарквиний Приск 394  
 Татий 404  
 Тацит Корнелий 60, 126, 263, 271, 272, 291, 344, 345, 357, 372, 374, 400, 403  
 Телемак 362  
 Телль Вильгельм 350  
 Тённис Ф. 325, 328, 339  
 Теренций Публий 30, 344  
 Тиберий Клавдий, римский император 273, 401  
 Тиссеран Роже 363  
 Тит Ливий 233, 260, 396, 397, 401  
 Толстой Л. Н. 15  
 Тот 36, 347  
 Траян Ульпий, римский император 125, 372  
 Троншен Жан-Робер 402  
 Трофоний 358  
 Тюрго Анн-Робер-Жак 17  
  
 Улисс 200, 388  
 Ульпиан Домиций 359  
 Уорбертон Уильям 233, 315, 396  
 Устери Леонард 406  
  
 Фабий Кунктатор 319, 319  
 Фабриций Гай Лусцин 34, 35, 344, 347  
 Фенелон Франсуа Салиньяк, де ла Мот 362  
 Фесмофора 370  
 Фидий 41, 351  
 Филанджери Гаэтано 394  
  
 Филипп II, король испанский 350  
 Филипп IV, король испанский 372  
 Филипп Македонский 344  
 Филиппов А. Ф. 8, 340  
 Филмер Роберт 156, 372, 378, 388  
 Филон Александрийский 199, 387  
 Фихте Иоганн Готлиб 325, 336  
 Фонтенель Бернар ле Бовье, де 16, 17, 349, 405  
 Формей Жан-Луи-Самуэль 355,  
 Фоссий Исаак (Фосспус) 148, 376  
 Френкель 385  
 Фридрих Великий 326  
  
 Хам 388  
 Хальбвакс Морис 325  
 Хамос 312, 313, 405  
 Хаютин А. Д. 9, 13  
 Христос (см. Иисус Христос)  
 Хевенс Джордж 341  
  
 Цезарь Гай Юлий 43, 169, 184, 273, 309, 320, 351, 352, 380  
 Цельс, Авл Корнелий 79, 362  
 Церера 116, 370  
 Циклоп 202  
 Цирцея 388  
 Цицерон Марк Туллий 304, 309, 320, 328, 354, 364, 366, 379, 392, 404, 405, 407  
  
 Чингисхан 345  
  
 Шарден Жан 189, 268  
 Шатобриан Франсуа Рене, де 368  
 Шельски Х. (Schelsky H.) 339  
 Шинар Жильбер 363  
 Шмитт К. 325  
 Шометт Пьер Гаспар (назв. Анаксагор) 371  
 Шуэ Жан-Луи 355,  
  
 Энгельс Фридрих 343, 369, 384  
 Энный Квинт 30, 344  
 Эпикур 34, 346

- 
- Юань, династия 345  
Ювенал, Деций Юний 367  
Югурта, царь нумидийский  
383  
Южаков С. Н. 355  
Юм Дэвид 19, 20, 405  
Юпитер 312, 313, 405, 406
- Юстин Марк Юниан 96, 345,  
367  
Юсупов Н. Б., кн. 11  
Ютаков В. 385
- Яков II Стюарт, король Англии  
218, 393

## СОДЕРЖАНИЕ

От издателей	
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ	5
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА ( <i>А. Д. Хаютин</i> )	9
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА ( <i>Н. Д. Саркитов</i> )	14
РАССУЖДЕНИЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ ПРЕМИЮ ДИЖОНСКОЙ АКАДЕМИИ В 1750 ГОДУ ПО ВОПРОСУ, ПРЕДЛОЖЕННОМУ ЭТОЙ ЖЕ АКАДЕМИЕЙ: «СПОСОБСТВОВАЛО ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ НАУК И ИСКУССТВ ОЧИЩЕНИЮ НРАВОВ?»	
Перевод с франц. <i>А. Д. Хаютина</i>	21
РАССУЖДЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ОСНОВАНИЯХ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ	
Перевод с франц. <i>А. Д. Хаютина</i>	51
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ Перевод с франц. <i>А. Д. Хаютина</i> и <i>В. С. Алексеева-Попова</i>	151
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ, ИЛИ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРАВА Перевод с франц. <i>А. Д. Хаютина</i> и <i>В. С. Алексеева-Попова</i>	195
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	323
<b>А. Ф. Филиппов</b> СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАКТАТОВ РУССО ДЛЯ ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ	325
КОММЕНТАРИИ <i>В. С. Алексеев-Попов</i> и <i>Л. В. Борщевский</i>	341
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	408

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**Жан-Жак Руссо**

**ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ**

**ТРАКТАТЫ**

Научный редактор *Р. А.-А. Рустамов*  
Оформление *Н. Д. Саркитова*  
Верстка *А. Н. Саркитова*  
Корректор *В. А. Подолинская*

Издательство «КАНОН-пресс-Ц»,  
Москва, Вешняковская ул., 6-3-92;  
издательство «Кучково поле»,  
113534, Москва, ул. Янгеля, д. 14, корп. 6.

ЛР № 062947

При участии ООО «Познавательная книга плюс».

По вопросам реализации по Московскому региону звонить:  
370-15-01; 113-31-31

Региональным оптовым книготорговым организациям  
обращаться: 109202, Москва, Перовское шоссе 10/1  
Факс: 170-66-74; тел: 174-76-16; E-mail: [poznkn@orc.ru](mailto:poznkn@orc.ru)  
Web site смотреть на <http://www.opc.ru/~poznkn>

Подписано в печать 17.03.98. Формат 84x108<sup>1/32</sup>. Печать офсетная.  
Гарнитура SchoolDL. Бумага офсетная №1. Усл. печ. л. 21,84. Тираж  
3.500 экз. Заказ № 3517

Отпечатано с оригинала-макета заказчика во 2-й типографии  
издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., д. 6.